

ЛЕОНИД ПЕРВОМАЙСКИЙ

СОЛДАТСКИЕ ПЕСНИ

Дорога к дому

передовых дороною степною
мы к городу внезапно подошли.
в туманной дымке, в сказочном покое
ряд нами он явился вдруг вдали.
сж двух холмов округлых и покатых
сжал он тихо, как дитя во сне.
цветущих яблонях и ароматах
ссь обращенный к жизни и к весне.
ома в садах издалека белели
вселяя таким живым теплом,
то бодрость разлилась в усталом теле,
ак будто мы пришли в родимый дом.
орога дальняя к родному дому,
огда же ты окончишься для нас?
Но лунному сиянью голубому
Вошли мы в город в полуденный час.

Все, что манило издали красотою,
Белело, серебрилось и цвело.
Все, что блестело, искрилось росой,
Сверкало ослепительно светло.—
Ужасной явью встало перед нами,
Когда за тучей месяц вдруг погас...
Развалинами, тягостными снами
Пустыня улиц обступила нас.
Холодный пепел и цвет яблонь белых,
Как странный снег неведомых миров,
Кружились срь развалин обгорелых
И у порогов падал в темный ров.

Дорога дальняя к родному дому.
Тебя какие вьюги замели?
Но лунному сиянью голубому
Чрез город вымерший мы дальше шли.

Вот улица, где детворой веселой
Играли мы... Разрушены дома...
Ни кровель, ни дверей... Нет больше
школы...

Новсюду разрушенье, ужас, тьма...
У этого окна в кустах сирени
Другую майскую мы помним ночь,
Но нас теперь встречают только тени,
И мы тоски не в силах превозмочь.

Вот этим бережком мы шли с работы...
Труба упала, запрудив ручей...
И к горлу кожом подступает что-то,
И нам не подавить тоски своей,—

Мы знаем: на пути к родному дому
Лежат лишь кучи глины и золы...
Но лунному сиянью голубому
Но мертвым улицам мы шли срь
ммы.

Пусть гаснет месяц в небе молчаливом,
Пускай во тьме лежит моя земля,
Пусть ранняя весна бурлит разливом.

Души солдатской не развеселя.
 Как пахнут тяжело цветы и травы!
 Не спи, солдат, и отдыха не знай.
 Отравлен воздух чумною ограной,
 Покуда тончет враг родной твоей край,
 Не спи, солдат... Ты видишь, —
 не тебе ли

Заря-красица замятала почвой землю.
И мир лежит, как будто в колыбели,
Где наше будущее счастье спит.
Оно проснется от удара грома.
И молния прорежет облака...
Дорога дальняя к родному дому
Уже не так, как прежде, далека!

Перевел с украинского
М. И. Х. ЗЕНКЕВИЧ

Трубка

Закурим трубку, чорт возьми!
 Деятельнось опять.
 Зенитка бьет. Ну, что ж, время —
 Нам все равно не спать...

Набьемте ж трубку и тогда
Тяни, солдат, до дна!
Плывет дымок и нет следа.
Не жалуй... на то война...

Два года, день и ночь подряд,—
Кто умер, тот не в счет,—
Кривую трубочку солдат
Задумчиво грызет.

Не жаль... Кто это говорит?
 А сам забыть не мог!
 Не жаль (как трубка горит —
 Рассеется дымок).

От лютого огня в бою
Ее он прикурил,
Любовь и молодость свою
Сменил на дымный пыл.

Что ж, если так, пусть будет так. —
На то, солдат, война...
Закурим трубку. Что за знамя.
Что гаснет вновь она?

Винный тонкий корешок,
Заветный кремешок,
А жар такой, как в трубке той,
Не каждый уберет...

Голь жар погас — забыли нас.
Не думают равно:
Как жить оно, как жить оно,
Бродило, как вино...

Закурим трубку: дым плывет,
 Душистое кольцо.
 Опять в тумане оживет
 Любимое лицо.

Ну, что же! Надо закурить,
Чтоб дым синел и тас,
Хоть та, которой не забыть,
Не думает о нас.

Давайте вспомним о любви,
Как будто в первый раз,
О тех, кто письма шлет свои,
О тех, кто помнит нас.

Ведь остаются от огней
Лишь песни да тоска,
Да пенел в трубочке моей,
Да запахи табака...

О том, что вспомнить мы могли,
С собой насдиве...
О смехе, что звенит вдали
Теперь — ави! — не мне.

Закурим трубку, чорт возьми!
Летят бомбы опять.
Зенитка бьет. Ну что ж, греми —
Нам все равно не спать...

Пеневол - украинское
ИЛЛА ФРЕЧЕЛЬ

Третья весна

Тишина... По умолкшим полям и ночным переправам
Ходит шагом шеслыжным в холодном раздумьи весна.
Звезды снят, припавшие к седым, подмороженным травам,
Не шелохнет камыш, не дохнет ветерком тишина.
Дремят пушки во рвах, притаились в кустарнике танки,
Пулемет в амбразуре заснул и не дышит во сне.
Спят огни, блиндажи, захолустные снят полустанки.
Артиллерией скошенный лес и поля — в тишине.
Самолеты умолкнут в таинственной мгле расстоянья,
И ракеты сверкнут, и не веришь — была ли она...
Снят вода и земля. Тихо, словно в канун мпроздания,
Только в черном окне солдатской душе не до сна.

Тишина. Наваливают из тьмы на солдатские очи
Все развили дорог, верстовые косые столбы.
Все, кто стигнул бесследно, все те, кто в июньские ночи
Шел бок о бок, все люди живой или мертвой судьбы.
Он идет через память, как огненный брод переходит...
Ветер пулями свищет. Свинцовый тудит листопад.
И, ломясь сквозь буран, он счастливую долю находит,
По старинным дорогам весной возвращаться назад.
Наше горькое счастье — на выжженных дочиста нивах.
Пусть горячую кровь они окропятся сполна.
Снят бугор и овраг. Дремят искры в холодных огнивах.
Только в черном окне солдатской душе не до сна.

Тишина... Месяц вышел в дозор, пробираясь от тучи до тучи
Как объятья, на тысячу верст все открыто вокруг.
Сад бы время садить. Землю резать железом могучим —
Рукоятки плугов ждут солдатских задымленных рук.
Одинокая молит земля, чтобы сеятель шел бороздою,
Содрогается жадное лоно ее и во сне.
Всем дыханием земным, всей святою печалью землею
Отвочает простор истомленной и ждущей весне.
Меркнет в небе звезда... Я хочу, чтобы все возвратилось
Перед тем, что сберег. будет сердце стоять, как стена.
Снят леса и пруды. Мать лицом к колыбели сложилаась.
Только в черном окне солдатской душе не до сна.

Тишина... Пушкири в темноте подошли к батарее.
В танк садятся тинкветы. Мотор еще спит. Тишина...
За холмами пехота лежит... Начинать бы скорее!
Затаивши дыхание, вдоль фронта проходит весна...
Две ракеты уже в рассветающем небе сгорают
И выводит грозу за собой в пробужденную даль.

Его хоть раз пачинал, тем припомнится, как начинают,
Как от сна пробуждаются порою, солдаты и сталь.
Жарко вспыхнул восток. Тень ночная бежит перед нами.
А открылась глазам беспредельная голубизна,
Над простором песни, над лесами, дугами, полями
Солнце смотрит в окон, где солдатской душе не до сна.

Перевел с украинского
ИЛЬЯ ФРЕНКЕЛЬ

Сапер и смерть

Сапер — он держит смерть в руках,
он с нею в спор вступает:
как видно, о других делах
он нынче забывает.

Он ходит по полю один,
где в шахматном порядке
расставлено две сотни мин
сомнительной повадки.

С ним смерть заводит разговор
такого направления:
— Сыграем в шахматы, сапер,
по боям поражения!

— Давай! — сапер молодой
ей говорит, — я знаю:
на смерть играть обычай твой,
а я на жизнь играю!

Хоть смерть грозит со всех сторон,
но и сапер в ударе:
себя по клеткам движет он,
вокруг руками шара.

И смерть готова плутовством
решить судьбу солдата.

Смешается орудий гром
стрельбой из автомата.

Сапер ползет, ползёт солдат,
игрой захвачен ярой.
на все, чем только он богат,
играя с ведьмой старой.

И ставит он на этот свет. —
на всю семью играя.
На всю весну, которой нет
конца, границы, края,

На эти птичьи голоса
над этими ярами,
на тех, кто через полчаса
пойдет его путями.

Он честно выиграл... Ну что ж,
попробуем вторую?
Лишь зная цель, вперед идешь,
самим собой рискуя.

Сапер — он держит смерть в руке,
пути он расчищает...
И вот по шахматной доске
пехота наступает.

Перевел с украинского
НИК. УШАКОВ

Солдатские письма

Любишь или разлюбила,
не плаши мне, строк не трать. —
сколько б почта ни спешила,
быстрой почту не назвать!

Цензор медленно читает,
долго ставит птениеля,
долго твой конверт блуждает
там, где вся в крови земля.

Грузовик во мгле осенней
долго рыскать принужден,
в поисках соединений
долго бродит почтальон.

Но проходит срок, и милый
или немилый развернет
твой листок небыстрокрылый
и его с трудом прочтет.

Стерся адрес, как нарочно,
чтоб не знать — куда писать,
фраз твоих и так неточных,
печерка не разобрать.

Буря снежная стонала,
стоном разрывая тишь.
В зимний день ты мне писала,
что ты любишь и грустишь.

А теперь июнь воздушный,
светлосиний, голубой.
Блещет небо равнодушно
всей прозрачной синевой.

А теперь в разгаре лето,
и, покамест почта шла,

ты, не получив ответа,
дважды разлюбить могла.

Почта шутит... ну и ладно!
Вся земля, весь шар земной
так беседуют нескладно,
А не только мы с тобой.

Хоть солдат не доверяет
почте медленной весьма,
жизнь свою он измеряет
От письма и до письма.

Он письмом любимым дышит.
Лишь одна за ним вина:
сам он слишком редко пишет,
Что поделаешь — война!

Если он напишет все же, —
Всю печаль отдаст письму,
и вину вторую тоже
надо отпустить ему.

Ведь — достойный извиненья —
повторяет, как сквозь сон,
даже в смертное мгновенье
дорогое имя он.

Та секунда адресату
скажет явственней еще —
как хотелось жить солдату,
как любил он горячо.

Письма же — счастливый случай, —
им ли новое сказать!
Он писал живым, и лучше
меж живых его считать!

*Перевел с украинского
НИК. УШАКОВ*

К. СИМОНОВ

ДНИ И НОЧИ

Глава X¹

Дома, в батальоне, Сабурова ждал гость. За столом, против комиссара, сидел незнакомый человек, средних лет, в очках, с двумя шпалами на петлицах. Когда Сабуров вошел, оба — и незнакомец и комиссар — поднялись.

— Вот, позволь представить тебе, Алексей Иванович, — товарищ Авдеев, из Москвы, корреспондент центральной прессы.

Сабуров поздоровался.

— Из Москвы, — сказал он с интересом. — Давно?

— Вчера утром был еще в Москве на центральном аэродроме, — сказал Авдеев.

— По-моему, я ваши статьи иногда читал в «Известиях», да?

— Да, главным образом, там.

— Вчера еще в Москве, а сегодня здесь, — с некоторой завистью сказал Сабуров. — Ну, как там Москва без нас?

Авдеев улыбнулся. Сколько бы он ни встречал людей, пожалуй, ни один не мог удержаться от этого вопроса.

— Ничего, стоит, — сказал он. — Как была, так и стоит, — ответил он той же стереотипной фразой, какой отвечал всегда на этот вопрос. — А вы что — москвич?

— Нет, я там учился. Вы уже давно у нас?

— Как только ты ушел, — сказал Ванин, — так он и явился. Мы уж тут немножко потоворили...

— Кто же вас к нам направил?

— Командир вашей дивизии. Впрочем, мне еще во фронте посоветовали захватить именно к вам.

— Ну? — сказал Сабуров.

— Да, к вам, в батальон Сабурова.

— Ишь как, уже официальное наименование мы получили, — сказал Сабуров, стараясь под грубоватой шутливостью скрыть удовольствие, которое он почувствовал, услышав, что во фронте, на том берегу Авдееву сказали, чтобы он приехал сюда, именно к нему.

— Что ж вам там сказали, когда отправляли к нам? — спросил он прямодушно, — интересно все-таки.

— Сказали, что вы решительной атакой отбили три дома и площадь и с тех пор за шестнадцать суток ничего не отдали немцам.

— Это верно, не отдали, — сказал Сабуров, — хотя, впрочем, последнюю неделю они и не особенно собирались брать. Вот если бы вы попали к нам дней семь-восемь тому назад, вам бы, пожалуй, было интересно. А сейчас тихо.

¹ Начало см. «Знамя» № 9—10 за 1943 г.

Авдеев улыбнулся. Сколько раз в своей жизни фронтового корреспондента он слышал эти слова: «Вы бы приехали к нам пораньше...» Людям всегда казалось, будто все, что у них происходит сейчас — не самое интересное, что заслуживающее внимания у них или уже было или еще только будет.

— Ничего, — сказал он, — я посижу у вас, соберу материал. Это даже хорошо, что тихо, можно будет с людьми поговорить.

— Да, — согласился Сабуров, — тогда бы не поговорили...

Они посмотрели друг на друга.

— Ну, что про Сталинград пишут, что говорят вообще? — спросил Сабуров с жадностью человека, давно не видавшего газет.

— Много пишут, — сказал Авдеев, — а еще больше говорят, а еще больше думают... Я недавно был на Северо-Западном фронте, там многие командиры просто изводятся: вот сидим тут, в то время как в Сталинграде... И в большинстве случаев, знаете, не сомневаются, что здесь ад, и все-таки искренне хотят сюда ехать.

— Вы к нам надолго? — спросил Сабуров.

— Да нет, на денек, на два, потом еще на южный участок...

— Правильно... — сказал Сабуров, — там сейчас горячее.

— С кем вы посоветуете поговорить у вас?

— Ну, с кем же? Вот с Конюковым можно поговорить. Есть у нас такой старый солдат. Потом тут один недавно в разведку удачно ходил — Васильев... Ну, да по ротам можно сходить, Гордиенко — командир первой роты или хотя бы Масленников — мой начальник штаба, молодой, но очень хороший командир. — вам командиры тоже нужны?

— Конечно.

— Тогда с Масленниковым поговорите...

— Я с вами хочу поговорить, — сказал Авдеев.

— Со мной? Можно и со мной поговорить, — ответил Сабуров, — только со мной потом, с батальоном познакомьтесь сначала. Ведь командира батальона узнать можно только, узнав, какой батальон у него. А что он сам про себя расскажет — это дело второе. Верно, комиссар? — улыбнувшись, обратился он к Ванину.

— Верно, — сказал Ванин. — А то что сам командир батальона забудет о себе рассказать, то я напомню, — кивнул он Авдееву.

— Сколько времени? — поглядев на часы Сабуров. — Четыре часа! Долго я провожился... Надо спать. Как вы?

— Да, я тоже не прочь, — согласился Авдеев.

— Мы вам, если вы останетесь, завтра сюда койку притащим, а сегодня уж вы с начальником штаба или с комиссаром, они у меня телосложения не завидного, так что поместятся. Положил бы с собой, но боюсь, что прогадаете.

— Да, боюсь, что так, — согласился Авдеев, поглядев на могучую фигуру Сабурова.

Сабуров уже совсем собрался укладываться спать и стоял посреди комнаты, размышляя над тем, где бы достать еще одно одеяло для гостя. Вдруг его взгляд упал на стоявшую на столе фляжку, и ему, что редко с ним бывало, вдруг захотелось выпить, вот именно выпить и потом посидеть, задавая этому человеку из Москвы всякие вопросы, которые сразу не пришли в голову.

— А вам очень хочется спать? — сказал он.

— Да нет, не очень.

— Тогда, может быть, все-таки... Ты кормил его, комиссар?

— Да, немножко кормил...

— Ну, если немножко, так это не называется кормил, значит, не кормил. Давайте поужинаем, если спать не очень хочется...

Пока Петя собирал на стол, Сабуров один за другим задавал Авдееву короткие неожиданные вопросы.

— Как, баррикады стоят еще в Москве?

— Нет, разобрали.

— А укрепления есть? Прибавили к тому, что было?

— По-моему, прибавили,— сказал Авдеев.

— А люди там на всякий случай сидят?

— По-моему, сидят.

— Вот это хорошо. Тогда это, значит, действительно укрепления... Все время сидят?

— По-моему, все время.

— Хорошо. А в опере вы бывали?

— Бывал.

— На чем?

— На «Евгении Онегине».

— Интересно,— сказал Сабуров.— Не то, чтобы я хотел обязательно туда попасть, мне интересна не сама опера, а то, что она идет, то, что, как раньше, люди в зале сидят, вот что мне интересно, одним глазом бы глянуть только... Я, знаете, вообще-то не люблю оперу.

— Я тоже,— сказал Авдеев.

— Певцы обычно все такие полные, а играют все девушек, не вяжется никак. Может сейчас, в связи с войной, они похудели, а?

— Нет, не похудели,— улыбнулся Авдеев.

— Ну, это ничего,— сказал Сабуров,— если глаза закрыть, слушать все равно хорошо. Все-таки я бы туда хотел попасть. А милиционеры как, попрежнему в белых перчатках, а?

— Вот не заметил. Него не заметил, того не заметил...

— Да это не важно,— сказал Сабуров,— хотя, впрочем, может быть, и важно. Машин, наверное, стало меньше в Москве?

— Меньше, а народу опять больше, не то что в декабре. Вы были в декабре?

— Был. Хорошо было в декабре... Я один раз заснул на день. Москва была какая-то пустая, спокойная.

Петя принес суповую тарелку с жареными консервами.

— Вот американские консервы,— сказал Сабуров,— прошу. Мы тут между собой, шутя, их вторым фронтом называем. Вы пьете? — сказал он с некоторым колебанием, ставя перед Авдеевым фужерчик.

— Конечно,— сказал Авдеев.

Он уже привык к тому, что ему постоянно задавали этот вопрос, даже на фронте, когда обычно человека не спрашивают, пьет он или не пьет.

То ли его внешность научного работника средних лет, то ли сильные с двойными стеклами очки, которые придавали ему особенно интеллигентский вид, то ли медлительная манера разговаривать, а может быть, и все это вместе взятое — заставляло людей, которые с ним не были близко знакомы, считать

его за человека серьезного, пожалуй, даже скучного. При нем, казалось, было неудобно солоно пошутить, выругаться или выпить лишнее.

В ответ на вопрос Сабурова, пьет он или не пьет, Авдеев, хитро сощурился под очками глаза, тихонько улыбнулся.

— Пью, конечно,— сказал он.

Они вышли по одному футаснику, а потом и по второму.

Сабуров страшно устал за день и против обыкновения водка не то что ударила ему в голову, но просто создала в нем неожиданное ощущение теплоты, уюта и трогательности всего происходящего сейчас в блиндаже.

— Я вам советую завтра во вторую роту сходить, там у меня очень хорошие люди, особенно с Конюковым поговорите, сами посмотрите, полазьте. А вы знаете,— сказал он, приостанавливаясь, как будто внезапная мысль пришла ему в голову,— вы знаете, хотя, быть может, мы тут большей опасности в общем, чем вы, подвергаемся, но вам должно быть страшнее на войне.

— Почему?

— Ведь вы же свое дело делаете потом, когда в Москву вернетесь, или там, на телеграфе, в штабе, а тут только смотрите, чтобы потом написать... Мне почему не так страшно? Потому, что я занят, мнедохнуть некогда. Тут идет обстрел, мины рвутся, а я говорю по телефону — мне доложить нужно, но телефонист не слышит, я его матом, ну и понимаете, за всем этим как будто и забудешь про мины. А вам же тут делать нечего, только сиди и жди — попадет или нет. Вот вам и страшней. И не возражайте, это же так.

— Да, может быть, вы и правы,— сказал Авдеев.

Они оба помолчали.

— Может, ляжем спать? — сказал Сабуров.

— Сейчас ляжем,— нехотя ответил Авдеев.

Ему не хотелось прерывать беседы. Он твердо убедился за год войны, что люди на войне стали проще, чище и умнее. Быть может, они остались в сущности теми же самыми, какими были, но хорошее у них выплыло на поверхность оттого, что их перестали судить по многочисленным и неясным критериям, то есть по тому, посещал ли человек собрания или нет, вежлив ли он, любезен ли, умеет ли разговаривать, показывает ли внешние признаки внимания и добродушия... И вдруг наступила война, и все это оказалось не самым существенным, и люди перед лицом смерти перестали думать о том, как они выглядят и какими они кажутся,— на это у них не оставалось ни времени, ни желания.

Никогда за всю свою бродячую журналистскую жизнь не слышал Авдеев сразу такого количества откровенных разговоров, какое он услышал за год войны. Поэтому, как бы он ни устал, но если заходил душевный разговор, Авдеев старался затянуть его как можно дольше.

— Сейчас ляжем,— сказал он.— Я только хотел вас спросить...

Но Сабуров так и не узнал, о чем хотел его спросить Авдеев, потому что вошел Петя и доложил, что разведка вернулась.

Сабуров посмотрел на часы — было пять утра.

— Кто сегодня ходил?

— Васильев,— сказал Петя.

Сабуров усмехнулся:

— Ровно в пять. Прошлый раз он пришел тоже ровно в пять. Пунктуаль-

ний человек, понимает только, чтобы он опять вошел сейчас с унтер-офицерскими документами и жармане и с немецким автоматом в руках. Ну, пусть войдет,— сказал Сабуров.

Васильев пошел. Автомата в руках у него не было, и, откозыряв капитану, он только положил на стол пачку документов. На этот раз он принес документы Фельдфебеля.

— О,— сказал Сабуров,— хорошо. Где ты его?

— У дома номер четыре. Посты он обходил. Между двумя постами взял.

— Взял?

— Нет, не взял, товарищ капитан, кончил... Нельзя оттуда взять было.

— Оружие не принес?

— Нет,— сказал Васильев, внутренне еще раз досадуя на немецкого майора, который и на этот раз не дал ему, вопреки его просьбе, парабеллум. Теперь из-за глупой скупости немца приходилось врать лишний раз, а лишний раз этого никогда не стоило делать.

— У него парабеллум был,— сказал Васильев,— я взял, заложил за пояс, но как позлз, так и выскочил он где-то... Прямо для вас, товарищ капитан, нес, хороший парабеллум, вороненый, новенький...

Васильев действительно в эту минуту вспомнил новенький вороненый парабеллум, лежавший на столе у майора.

— Так,— сказал Сабуров, проглядев документы,— садись вот там на табуретку.

У Васильева на секунду екнуло сердце: «Зачем задерживает?» — подумал он.

— Вот тут товарищ корреспондент,— сказал Сабуров,— он с тобой поговорит. А это,— обратился он к Авдееву,— как раз Васильев, о котором я вам говорил. Ну, вы посидите тут пока, поговорите, а я пойду посты проверю.

Он поднялся и пошел к дверям.

— Вы в который раз в разведку ходите? — спросил Авдеев.

Сабуров остановился.

— Вы его лучше не об этой разведке спросите, а о той, в которую он прошлый раз ходил. Тогда у него трагически обернулось дело, вам будет интересно.

Сабуров вышел. Авдеев посмотрел на Васильева. Перед ним сидел человек лет тридцати с довольно невыразительной внешностью и спокойными ленивыми глазами.

— Значит, вы второй раз ходили? — спросил Авдеев.

— Да.

— Вот капитан говорил о первой вашей разведке, расскажите мне о ней...

— Что ж рассказывать? — сказал Васильев.

Узнав, что его расспрашивает корреспондент, он приободрился, пожалуй, он даже злорадовался: вдруг где-нибудь в «Известиях» или в «Правде» напечатают статью о подвиге его, Васильева.

— Расскажите все по порядку.

— Что ж рассказывать? — повторил Васильев. — Вышли в одиннадцать часов вечера вдвоем, ну, потом добрались, немцы не стреляли... Сняли часового унтер-офицера, я его штыком заколол... Потом поползли обратно. Мы вдвоем ходили... На обратном пути убили моего товарища, то есть это потом оказалось, а первоначально его смертельно ранили, он еще полз. Но я-то думал, что он убит...

— Так,— сказал Авдеев.— Нет, вы мне все не то рассказываете.

— Как не то? — спокойно, но с внутренней дрожью спросил Васильев.

— Не то,— сказал Авдеев.— Вы мне рассказываете так, как капитану своему, наверное, докладывали... Мне не это интересно. Вы мне расскажите — шаг за шагом, как вы шли, что чувствовали, когда подползли, как немцы убили, какое ощущение у вас в этот момент было, как потом обратно поползли, что у вас на душе было,— вот все это расскажите.

— Ну, как же было... Дали нам задание, мы и пошли вдвоем с Панасюком. Пошли... — Он остановился. у него вдруг стало смутно и противно на душе так, словно этот сидевший против него спокойный человек в очках все знает и просто расспрашивает его для проверки. Ему почудилось, что перед ним сидит следователь, между тем как это было явно не так; все было в порядке, нужно было просто рассказать...

— Ну, пошли мы с ним... Сначала в рост шли до линии...

— О чем вы говорили в это время? — спросил Авдеев.

— О чем говорили? Да ни о чем.

— Ну, что вы думали?

Что он думал? Он вспомнил, что он думал о том, где удобнее убить Панасюка — сразу же, перейдя линию, или ближе к немцам... Потом он думал о том, как поползти так, чтобы не попасть под немецкий обстрел... Что он еще думал? Потом он думал об отце, что вдруг отец здесь...

— Так, о чем же вы думали? — повторил вопрос Авдеев.

Васильеву часто приходилось лгать, но придумывать жизнь он не умел.

— Я ничего не думал...

— Не может быть,— сказал Авдеев,— человек всегда что-нибудь думает. Вы попробуйте вспомнить, мне это интересно...

— Ничего не думал,— упрямо сказал Васильев.— Думал о том, как лучше выполнить задание,— неожиданно выпалил он,— вот и все...

— Ну, хорошо. А что вы чувствовали, когда вы подползли к немцу?

Что он чувствовал?

— Это было уже на немецкой линии.— настойчиво продолжал Авдеев.— Вы шептались с товарищем или молча давали друг другу знаки, как действовать. Ну, вспомните?

Васильев вспомнил, как Панасюк пополз немножко впереди него, слева, и как он сам подвинулся еще немножко вправо, чтобы было сподручнее сбоку ударить лытком, и как он ударил, и как Панасюк загреб руками обломки кирпича... Они зашумели... И как он схватил Панасюка за руки, чтобы тот не шумел в агонии, потому что немцы могли выстрелить на этот шум,— но всего этого он, естественно, не мог рассказать.

— Нет, мы ничего не делали и не шептались, просто ползли,— сказал он.

— Ну, хорошо,— сказал Авдеев.— А когда вы подползли к немцу, что в этот момент вы чувствовали?

— Ну, он был рядом,— сказал Васильев, внезапно вспомнив, как он ударил ножом Панасюка.— Ну, он был рядом, и я его ударил ножом в бок.

— Вы вскочили и ударили?

— Нет, зачем же вскочил? То есть, да, конечно, вскочил, ударил...

— А ваш товарищ что в это время делал?

— Ничего,— сказал Васильев,— он помогал мне.

— Как?

— Ну, помогал потом, когда мы оттаскивали.

— Ну, как вы потом ползли?

— Потом ползли... обыкновенно ползли... Потом его убили, Манасюка...

— Как убили?

— Стали стрелять и убили.

— Ну, он нам что-нибудь сказал, когда ранили его. Его же ранили.

— Да, ранили, но он ничего не сказал мне, я думал, что он убит.

Васильев чувствовал пустоту под ложечкой от этого вопроса. У него не было ни упрямости совести, ни жалости к Манасюку. Но то, что из него сейчас словно за словом вытягивали все обстоятельства дела, а ему трудно было выдумывать сейчас на ходу, привело его в состояние тупого раздражения.

— Потом я вернулся и доложил капитану, — желая закончить разговор, сказал он.

Он боялся, что Авдеев опять начнет задавать ему вопросы, но Авдеев посмотрел на него и сказал:

— Ну, хорошо, спасибо. Все... — и что-то записал в блокнот.

Васильев поднялся:

— Разрешите идти?

— Да.

Он вышел.

— Поговорили? — сказал вошедший Сабуров, поглядев вслед Васильеву. — Ну, как разведчик?

— Ничего, — неопределенно сказал Авдеев, — ничего.

— Писать о нем будете?

— Не знаю. Нет, не буду. Мне очень важно, когда люди рассказывают, расспросить их о чувствах, что они думали, что чувствовали. А вот он рассказал, и я никак не мог восстановить картину, — так рассказал, как будто с чужих слов. Нет, я не буду писать...

— Так это же часто бывает, — сказал Сабуров, — человек делает, а рассказать не может...

— Нет, — сказал Авдеев, — почти всегда может, надо только уметь расспросить, но иногда не хочет, не то что не умеет, а именно не хочет... И обычно, знаете, когда это бывает, — когда про человека говорят одно, а на самом деле было другое и коротко солгать ему просто, но когда начнешь подробно расспрашивать, то лгать ему уже трудно и рассказывает он плохо. Обычно не хочет и не может не оттого, что не умеет, а оттого, что этого на самом деле не было.

— Ну, тут уж было, — сказал Сабуров.

— Наверное так, — не знаю, но писать нечего... Ни одного живого слова.

— Ну, ничего, — сказал Сабуров — завтра поговорите с другими, сами найдете того, с кем стоит поговорить, у меня много хороших людей, почти все хорошо. Вам, наверное, часто от командиров приходится слышать эту фразу.

— Часто, — подтвердил Авдеев.

— Ну, что ж, она правильная. Не знаю, какими были эти люди до войны и какими будут после нее, но сейчас они действительно почти все хорошо. И думаю, большинство останется хорошими, те, конечно, кто будет жив. И знаете что?... Я почти уверен в этом. Ну, будем спать.

Сабуров подошел к кровати, на которой, раскинувшись, лежал уже давно уснувший Ваня, приподнял его и переложил к краю.

— Зачем? — торопливо сказал Авдеев. — Разбудите.

— Нет. — сказал Сабуров. — Я же знаю, будет спать. Вот если телефон зазвонит, так проснется сразу, а так можно хоть три раза перевернуть, я по себе знаю. Ложитесь, поспите свободно.

Авдеев снял сапоги и, не раздеваясь, лег, накрывшись шинелью.

Сабуров сел на свою кровать, снял гимнастерку, брюки, аккуратно сложил все, поставил сапоги и вложил в них сверху портянки. Потом, накрывшись одеялом, закурил.

— Я, когда можно, всегда раздеваюсь. — сказал он. — Я когда-то на границе служил, так у меня все по старой пограничной привычке сложено в порядке, одеться мне пятьдесят секунд, высчитано. По-моему, война еще надолго. Вот сплю под одеялом... Что, не одобряете, — улыбнулся он.

— Нет, одобряю. — сказал Авдеев, — одобряю и желаю спокойной ночи.

Сабуров откинулся на подушку и несколько раз подряд затынулся.

Ему не спалось. Дверь блиндажа была, очевидно, открыта, и снаружи доносился равномерный, унылый шелест дождя, быть может, последнего в этом году.

XI

Рано утром Авдеев с Ваиным ушли в первую роту. Сабуров остался, он хотел воспользоваться затишьем и сделать те дела, которые обычно сделать не успевал. С самого утра они два или три часа просидели с Масленичковым за составлением различной военной отчетности, часть которой была действительно необходимой, а часть казалась Сабурову лишней и заведенной только в силу давней мирной привычки ко всякого рода канцелярщине.

Когда Масленичков ушел, Сабуров сел за давно отложенное и тяготившее его дело — за ответы на письма, пришедшие к мертвым. Как-то так уж повелось у него почти с самого начала войны, что он брал на себя трудную обязанность отвечать на эти письма. Его всегда огорчало, что мы стараемся, когда человек умирает, как можно дольше не ставить в известность его близких, как можно дольше тянуть с ответом, и если возможно, то и вообще не отвечать. Эта кажущаяся доброта всегда представлялась ему, по-существу, не чем иным, как просто желанием пройти мимо чужого горя, постаравшись не коснуться его, чтобы не сделать больно себе самому.

Первым было письмо жены Парфенова.

«Петенька, милый. — начиналось письмо (Парфенова, оказывается, звали Петей, Сабуров и не знал этого). — мы все без тебя скучаем и ждем, когда кончится война, чтобы ты вернулся... Галочка стала совсем большая и уже ходит сама и почти не падает...»

Сабуров внимательно прочел письмо до конца. Оно было не длинное, — привет от родных, несколько слов о работе, пожелание поскорее разбить фашистов. В конце две строчки детских каракуль, написанных старшим сыном, и потом несколько нетвердых палочек, сделанных детской рукой, которой водила рука матери, и приписка: «А это написала сама Галочка...»

Что ответить? Всегда в таких случаях Сабуров знал, что ответить можно только одно: он убит, его нет. — и все-таки всегда он неизменно думал над

этим, словно писал ответ в первый раз. Что ответить? В самом деле, что ответить?

Он вспомнил маленькую фигурку Парфенова, лежавшего навзничь на цементном полу, его бледное лицо и положенные под голову полевые сумки. Этот человек, который погиб у него в первый же день боев и которого он до этого очень мало знал, был для него только товарищем по оружию, одним из многих, слишком многих, которые дрались рядом с ним и гибли рядом с ним, тогда как он сам остался цел. Он привык к этому, привык к войне, и ему было просто сказать себе: вот был Парфенов, он сражался и умер. Но там, в Пензе, на улице Маркса, 24, эти слова — «он умер» — были катастрофой, потерей всех надежд. После этих слов там, на улице Маркса, 24, жена переставала называться женой и становилась вдовой, дети переставали называться просто детьми, они уже назывались сиротами... Это было не только горе, это была полная перемена жизни, всего будущего. И всегда, когда он писал такие письма, он больше всего боялся, чтобы тому, кто прочтет, не показалось, что ему, писавшему, было легко. Ему хотелось, чтобы тем, кто прочтет, казалось, что это написал их товарищ по горю, человек, так же горюющий, как они, — тогда легче прочесть. Может быть, даже не то: не легче, — но не так обидно, не так скорбно прочесть...

Людам иногда пужна ложь, он знал это. Они непременно хотят, чтобы тот, кого они любили, умер героически, или, как это лишут, — пал смертью храбрых... Они хотят, чтобы он не просто погиб, чтобы он погиб, сделав что-то важное; и они непременно хотят, чтобы он их вспомнил перед смертью.

И Сабуров, когда отвечал на письма, всегда старался утолить эти желания, и, когда нужно было, он лгал, лгал больше или меньше — это была единственная ложь, которая его не смущала. Он взял ручку и, вырвав из блокнота листок, начал писать своим быстрым размашистым почерком. Он написал о том, как они долго служили вместе с Парфеновым, как Парфенов героически погиб здесь, в ночном бою в Сталинграде (что было правдой), и как он, прежде чем унасть, сам застрелил трех немцев (что было неправдой), и как он умер на руках у Сабурова, и как он перед смертью вспоминал сына Володю и просил передать ему, чтобы тот помнил об отце.

Докопчив письмо, Сабуров взял лежавшую перед ним фотографию и, прежде чем вложить в конверт, посмотрел на нее. Она была снята еще в Саратове, где они формировались. — у уличного фотографа: маленький Парфенов стоял, вытянувшись в воинственной позе, придерживая рукой кобурку пистолета — наверное, на этом настоял фотограф.

Следующее письмо было сержанту Тарасову из первой роты. Сабуров знал только мельком, что Тарасов тоже погиб в первом бою, но как и при каких обстоятельствах погиб — не знал. Это было простое письмо из деревни, письмо крестьянина, написанное крупными буквами, на клетчатой тетрадной бумаге, с упоминанием всех родных, короткое, обычное письмо, в котором, однако, за каждой буквой его чувствовалась любовь и тоска, неумело выраженные, но от этого не менее сильные... И, отвечая на это письмо, не зная, как погиб Тарасов, Сабуров все-таки написал, что тот был хорошим бойцом, погиб смертью храбрых и, что он, командир, гордился им.

Окончив это, Сабуров взялся за третье письмо и, дописав его до конца, позвонил в первую роту, где были сейчас комиссар и Авдеев.

— Уже пошли к вам, — сказал в телефон командир роты Гордненко.

— Много лазили? — спросил Сабуров.

— Порядочно.

Сабуров услышал, как Гордиенко усмехнулся в телефон, и положив трубку, облегченно вздохнул.

Обедали вчетвером: кроме комиссара и Авдеева, подошел и Масленников. Ванин был таким, как всегда. Что же до Авдеева, то он устал и, вернувшись в штаб, испытывал то радостное облегчение, какое появляется у человека на войне тогда, когда чувство опасности сменяется чувством относительной безопасности.

За обедом он заговорил как раз об этом.

— Вы знаете, откровенно сказать, ощущение опасности и возможности умереть — утомительное чувство, от него устаешь, не правда ли?

— Правильно, — сказал Сабуров.

— Солдат мне иногда напоминает, — сказал Авдеев, — водолаза, которого пускают постепенно, все время увеличивая давление. Так же и тут. Постепенно увеличивается опасность и возрастает привычка к ней. В тылу часто не понимают, что опасность не есть величина постоянная, что на фронте все относительно. Когда после атаки солдат попадает в окоп, окоп кажется ему безопасным; когда я из роты прихожу в батальон, мне ваша эта пюра кажется крепостью; когда вы попадаете в штаб армии, вам кажется — там тишина, а на том берегу Волги, хоть его и обстреливают, для вас курортом почти курорт, между тем как для человека, который в первый раз туда шел из тыла, уже тот берег кажется страшной опасностью. Как по-вашему. Чрно я говорю?

— Верно. Вообще, конечно, верно, — сказал Сабуров, — с той поправкой, что в Сталинграде, что здесь иногда штаб армии находится так же близко от немцев и в такой же опасности, как мы, или даже, учитывая сегодняшнее положение у нас, даже в большей, чем мы.

После обеда Сабуров взял шинель и, надевая ее, без всякой задней мысли сказал:

— Ну, я пойду во вторую роту...

Но Авдеев воспринял это, как приглашение или, может быть, даже вызов. Он тоже поднялся и молча надел шинель.

— А вы куда?

— К вам, — сказал Авдеев.

Сабуров посмотрел на его усталое лицо, хотел сначала возразить, но потом, что раз этот человек принял простые, не относившиеся к нему слова предложение идти, то если теперь отговаривать его идти, он все равно стоит на своем. И, питая неприязнь к липким разговорам, Сабуров просто сказал:

— Ну, хорошо, идите.

Второй ротой попрежнему командовал сибиряк Потапов. Увидев Сабурова незнакомым человеком, должно быть из штаба, Потапов, по укоренившейся у офицеров в дни латинских привычке, начал с того, что пригласил их обе в блиндаж закусить чем бог послал.

— Ничего особенного, правда, нет, наши сибирские медведи, только и того...

Сабуров знал, что если уж у Потапова есть медведи, то это отличные медведи. И вообще в тоне, которым было сказано Потаповым «ничего особенного»,

бенного», было то особое фронтовое щегольство, с которым младшие начальники приглашали к столу старших, повсюду, начиная с роты и кончая армией. Всегда, когда это было мало-мальски возможно, они старались устроить так, чтобы у них повар был лучше, чем у начальства, и готовил вкуснее... И надо сказать, что это им часто удавалось.

Отказавшись от пельменей, Сабуров и Авдеев пошли по окопам.

Отделение, которым командовал Конюков, находилось в окопе, за передней стеной дома. Окоп был вырыт под самой стеной, вдоль фундамента.

Два хороших хода сообщения шли из окопа назад под дом, где была вырыта надежно покрытая обгорелыми бревнами землянка. Два пулеметных гнезда были аккуратно устроены, места для стрелков тоже, причем слева всюду были сделаны земляные полочки, где лежал всякий солдатский припас: котелки, табак и прочее.

— Курите, курите, — сказал Сабуров, когда собравшиеся перекурить бойцы вытянулись при его появлении.

— Шасынай табачок да курп, землячок! — сказал в рифму Конюков, все кругом засмеялись, и Сабуров почувствовал, что разговор в рифму не случайность, что, видимо, Конюков часто щеголяет этим.

— Ну, как живешь, Конюков? — спросил Сабуров.

— Хорошо, товарищ капитан.

В Конюкове не исчезла дисциплинированность, но некоторая излишняя деревянность сейчас, после полумесяца боев, смягчилась в нем. Среди опасностей, он стал чувствовать себя невольно более на товарищеской ноге с начальством.

— Как, привык к бомбам?

— Так точно, привык. Если к ним тут не привыкнуть, так, разрешите доложить, в Волге тониться надо. Уж он... («он» на солдатском языке неизменно означало — немец)... Уж он бросает их, бросает, приучает, приучает, как же тут не привыкнуть...

— Вот старший сержант Конюков, — сказал Сабуров, повернувшись к Авдееву. — За храбрость представлен мной двадцать седьмого числа к ордену.

Конюков счастливо улыбнулся. Собственно говоря, он уже слышал от командира роты, что его представили к ордену, но то, что сейчас командир батальона вслух повторил это при всех его бойцах, было ему особенно приятно. Как это часто бывает с людьми в минуту волнения, он вспомнил не то, что нужно было сказать сейчас, а то, что влезло в него издавна, еще с действительной, а вместо: «Служу Советскому Союзу» — рявкнул: «Рад стараться!» — с трудом в последнюю минуту прикусив язык, чтобы фраза не выскочила полностью с «вашим благородием».

— Вот, товарищ батальонный комиссар — из Москвы, — сказал Сабуров, — расскажи ему Конюков, чем ты двадцать седьмого отличился, а мне дай пока бинокль.

Конюков снял с груди и передал капитану большой цейссовский бинокль, подобранный им в первый день при взятии дома. Он неизменно носил бинокль на груди, что придавало ему почти командирский, во всяком случае, не совсем солдатский вид. Он сам это чувствовал и сейчас отдавал бинокль Сабурову с некоторым душевным трепетом, ибо еще с той войны знал, что занима-

ценные и полезные трофеи начальство иногда любит отбирать у подчиненных в свою пользу.

Пока Сабуров, примостившись за выступом стены, внимательно рассматривал в бинокль развалины соседней улицы, Конюков неторопливо приступил к рассказу. 27-е число он и сам считал своим особенно удачным днем, и рассказывать об этом ему доставляло удовольствие.

27-го он был связан и семь раз засветло переползал по открытому месту из второй роты в первую и обратно, где все остальные связанные были убиты. Рассказывал он об этом со свойственной старым солдатам особой картинностью изображения.

— Ползу, значит, это я, а пули так поверх меня летят и летят, а у меня на спине такой такой мешочек, и в нем табачок да хлебушко. Потому что хлебушко да табачок, хотя и легче без них ползти, оставлять нельзя — не знаешь, куда ползешь, вдруг обратно не приползешь... Или разляж посередине дороги, опять же перекурить талю и хлебушка пожевать... И котелок у меня за спиной поверх мешка, потому что пет едока, чтобы он был без котелка, — опять срифмовал он. — Ползу и так у меня котелок мотается из стороны в сторону, гремит, и не потому гремит, что привязал плохо, а потому, что пули по нему бьют, он же высок. — ползу и вдруг чувствую, что на спине у меня горячо. Ну, на спине горячо... Я это голову поднял, лежижу, а горячо, силы нету. Вытащил нож, чиркнул по ремню и отрезал — жарок спалился рядом со мной и дымится. Он его, значит, зажигательной пулей прожег. И тут я засмеялся — мне смешно стало, потому что, думаю, что я танк, что ли, что он у меня башню поджег... Ну, скинул мешок и дальше пополз, а табак пропал, сторел. Опять дальше ползу... Совсем ровное место, а грязно было, слякоть, и до того ползу к земле тесно, что аж уризь в голенища залезает, а он еще и еще по мне бьет. Ну, я уж совсем к земле прижимаюсь...

Тут он оглянулся на внимательно слушавших его бойцов. Они слушали не в первый раз, и на лицах их изобразилась в этом месте готовность улыбнуться, они предвидели, что здесь будет уже известная им и неизменно доставлявшая удовольствие шутка.

— ...Ползу и до того тесно к земле прижимаюсь, так по первому году к молодой жене не прижимался, ей-богу, вот те крест, — серьезно перекрестился Конюков под хохот окружающих. — А потом я за развалину заполз, так он меня из пулемета взять не может и в живых отпустить тоже не хочет — обидно ему: вторую войну все в меня целит, а попасть не может, промахивается... Ну, и начал он в меня мины бросать. А кругом грязь... Мина разорвется, а осколки кругом меня илещают, как будто овцы по грязи идут...

— Ну, вы еще тут пока поговорите, — сказал, прерывая Конюкова, Сабуров, — я сейчас вернусь. — И, отдав обрадованному Конюкову бинокль, вышел из окопа и пошел в соседний взвод.

Минут через тридцать, когда он собирался вернуться, он услышал слева от себя, там, где было отделение Конюкова, несколько длинных пулеметных очередей из «максима».

Он не успел подумать, с чего бы это вдруг, как сейчас же одна за другой пять или шесть немецких мин просвистели над его головой и разорвались примерно там, где был Конюков. Выжав в минуту, Сабуров пополз обратно. Он застал Конюкова и Авдеева сидящими друг против друга в окопе.

— Вот видишь, я ж говорил, — рассудительно произнес Конюков. — Нам мы по ему стеганули, так и он по нас.

— Ну, и правильно, — отвечал несколько взволнованный Авдеев. — Правильно, так и надо...

— В чем тут дело? — спросил Сабуров. — Ни в кого же попало?

— Нет, вот только ихнюю фуражечку попортило, — сказал Конюков, поднимаясь и насмешливо двумя пальцами беря с края окопа донышком вниз фуражку Авдеева. — Они ее, как целиться стали, силки к ней положили. А немец аккурат, как яйца в лукошко, туда осколки и сыплет.

Действительно, на дне фуражки лежало два мелких осколка мины, попадавших туда уже на излете и не прорвавших фуражки насквозь, а только ее множко поцарапавших ее так, как словно проела моль. Сабуров, увидев осколки, посмотрел на фуражку.

— Все скажут — моль проела, никто не поверит вам, если скажете, что осколки попали.

— А я и не буду рассказывать, — сказал Авдеев.

— Значит, это вы стреляли? — спросил Сабуров.

— Я. Вот по тем развалинам. Он мне сказал, — там немцы сидят.

— Сидят, так точно, — подтвердил Конюков, — оттого и ответ дают сидят.

— Вот видите, — сказал Авдеев, — была тишина и сразу нет. А вы редко стреляете? Патроны бережете?

— Чего патроны, — сказал Конюков, — не патроны бережем, а чем стрелять, пока его не видно. Как видно будет, так и будем стрелять, а пока не видно...

— Кончили разговор? — спросил Сабуров, не желая здесь вдаваться в подробности инцидента.

— Кончили.

— Ну, хорошо, тогда пойдемте.

Когда они шли к потаповскому блиндажу, Авдеев повернулся к Сабурову и вдруг сказал:

— А знаете, ведь я нарочно, принципиально из пулемета стрелял.

— Что, самому немца захотелось убить?

— Нет, вы не сердитесь, может быть, я вмешиваюсь в ваши дела, но мне показалось, что это неправильно...

— Что неправильно?

— Что вот такая тишина. Это вроде перемирия.

— Почему?

— Нет, — сказал Авдеев, — может быть, это и верно, что пока не промнем немцев, в них не стреляют, но мне показалось, что еще и отдрундить можно.

— Отчего?

— Оттого, что не хотят, чтобы отвечали, хотят, чтобы тихо было. И во дал несколько очередей — и немцы сразу мины выпустили. Еще дать несколько очередей — они опять выпустят мины, а то получается так: мы не будем стрелять, и они не будут стрелять, по-моему, это не хорошо. Как по-вашему?

— Да, пожалуй.

— Мне почему это в голову пришло? — сказал Авдеев. — Я на Западню

фронте этой весной наблюдал, как после наступления затишье было, и вот так же молчали, иногда больше чем нужно, по-моему...

— Да, может быть, вы и правы,— задумчиво сказал Сабуров и про себя подумал, что этот человек и в самом деле, очевидно, прав. После тяжелых боев и постоянной ежеминутной возможности умереть, солдатам, да, пожалуй, и ему самому иногда, может быть, подсознательно хотелось хоть немножко не нарушать эту тишину, не обмениваться, пока это возможно, пулеметными очередями и минами. Это было естественно и в то же время этого нельзя было делать. «Он прав,— подумал Сабуров.— Надо будет приказать, чтобы помимо ночных вылазок днем не только отвечали на немецкий огонь, но и от времени до времени сами беспокоили немцев даже бесприцельным огнем, так, просто, чтобы первировать их».

Когда они добрались до блиндажа Потапова, Потапов, встретивший их на пороге, опять заговорил о нелзях. За время их отсутствия он настропал своего повара и решил обязательно их угостить.

— Ну, очень прошу, хотя бы ради приезда гостя, а, товарищ капитан,— начал Потапов и именно в эту секунду сразу три или четыре тяжелых снаряда разорвались позади блиндажа.

Сабуров толкнул Авдеева в блиндаж, а сам, прижавшись к стенке, стал ждать. Вслед за первыми, спереди и сзади обрушилось еще десятка полтора снарядов, потом начали рваться мины, и снова снаряды, и снова мины, и так продолжалось минут пятнадцать.

Стараясь перекрычать шум, Потапов уже давал приказания связным, и те по ходам сообщения бежали во взводы.

Сабуров поглядел на небо. Построившись аккуратным гусиным клином, шли немецкие бомбардировщики. Он прикинул на глаз: отсюда, издали, трудно было разобрать, но казалось, что их не меньше шестидесяти.

После минутной паузы начала снова бить артиллерия. Сзади блиндажа вздымались черные фонтаны.

— Вот и кончилось затишье,— тихо сказал Сабуров, скорее себе, чем Авдееву.— Потапов! — позвал он.

— Слушаю.

— Товарищ батальонный комиссар останется у вас, пока не кончится артподготовка. Выберите паузу и пошлете его с автоматчиком ко мне. Я пойду в батальон.

— Товарищ Сабуров, я с вами!

— Нет,— резко сказал Сабуров.— Сейчас мы с вами дискутировать не будем. Потапов выберет минуту и пошлет вас с автоматчиком.

— А не лучше ли...

— Всё. Не спорьте. Здесь хозяин я. Петя, пошли...

И, выскочив из окопа, Сабуров и Петя быстрыми перебежками двинулись к дому, где помещался штаб батальона.

Затишье действительно кончилось. И Сабуров, переносная от воронки к воронке, подумал о том, что если самое большое через пятнадцать минут не начнется немецкая атака, значит он еще ничему не научился на этой войне.

XII

Было утро. После затишья шли уже пять суток боев. Васильев лежал на дне окопа, прикрытый сверху от дождя плащ-палаткой. Он лежал лицом кверху и, приоткрыв краешек плащ-палатки, смотрел в серое тусклое осеннее не-

бо. Ночью он вернулся после удачной разведки, уже третьей за это время, и ему дали возможность, в награду, как следует поспать. Он без памяти проспал три часа, но дальше ему не спалось. Он лежал, открыв глаза, и думал.

Уходя от немцев, он договорился, что в эту ночь будет устроена ловушка среди развалин дома, ставших теперь питьевой землей. Это была обыкновенная военная ловушка — не слишком хитрая и не слишком простая, такая, в какую обычно попадают, если не произойдет какой-нибудь особой неслучайности или промаха.

Утром, вернувшись из разведки и притаившись на этот раз для большей убедительности уже не унтер-офицерские, а офицерские документы и парабеллум. Васильев, выслушав благодарность Сабурова, доложил ему, что проход между южными развалинами — так условно в батальоне называли развалины бывшего кинотеатра — и черным домом — так называли обгоревшие развалины баньки, — этот проход, видимо, только заминирован и то неаккуратно и не охраняется немцами.

— Если там ночную атаку сделать, то можно всю роту, которая у немцев впереди развалин, отрезать, побить и в плен взять. Это уже точно, товарищ капитан, — сказал Васильев. — Только надо аккуратно проверить. Сами посмотрите, правду я говорю или нет. Мы по этому проулочку почти в тыл к ним выйдем. А на другую ночь можно и атаку сделать.

Соблазн произвести в эти тяжелые дни ночную атаку и захватить пленных немцев был для Сабурова очень велик. Вопрос заключался только в том, решится ли капитан сам ночью вдвоем или втроем пойти на рекогносцировку. Васильев думал, что решится — так он и сказал в немецком штабе, договариваясь на эту ночь о засаде, которая сможет взять Сабурова почти голыми руками.

Когда Васильев, вернувшись, стоял перед Сабуровым и равнодушным тоном человека, привычного и не видящего в этом особенного риска, предлагал капитану свой план рекогносцировки, в душе он волновался — клюнет или не клюнет. Сабуров клюнул.

— В котором часу там тише всего? — спросил он.

— Часов с одиннадцати и до полночи.

— Иди к себе и выспишься, — решительно сказал Сабуров, — в двадцать три часа явишься ко мне...

В окопе было грязно и мокро: по стенкам стекала вода; она сочилась по плац-палатке и каплями сползала сквозь прореху в ней. Уже трое суток подряд шли поздние осенние дожди, все так отсырело, что почти nowhere было укрыться. Васильев лежал, глядя в небо, и думал о том, что бесконечно выносить все, что он выносил последнее время, дальше нельзя. Иногда он, помимо своей воли, даже завидовал лежавшим с ним рядом людям, над которыми с таким же воем, как над ним, проносились немецкие снаряды: в этом был смысл — они стреляли по немцам, и немцы стреляли по ним. А он подвергался одинаковой опасности с ними, неизменно чувствуя всю глупость своего положения: ненавидеть всех этих людей, с которыми он рядом сидел, учиться год в краковской немецкой школе, надеяться после победы немцев занять, наконец, свое место под солнцем, и вдруг среди грязи и слякоти глупо погибнуть от осколков немецкого снаряда — пасть «смертью храбрых». И тогда его же соседи пожалеют его и зарюют как бойца, погибшего в отечественной войне против немцев. Что может быть глупей этого?

Когда он сегодня ночью предложил немцам завести в ловушку своего командира батальона, они дали ему понять, что после этого ему представится возможность на некоторое время остаться на той стороне и отдохнуть. Пусть это будет короткая передышка, он постарается ее затянуть — в конце концов война скоро кончится, а если нет — может быть, его забросят подальше в тыл, опять в какую-нибудь формирующуюся часть на более спокойную работу.

Если что-нибудь могло еще увеличить его ненависть ко всему окружающему, то это страх за свою жизнь, который он испытывал в последние дни. Он боялся глупой смерти и от этого еще больше ненавидел окружающих.

Эта ненависть не была новым для него чувством, она родилась давно, почти с детства, хотя, собственно говоря, ни отец, ни мать не воспитывали ее в нем, и он потом в душе презирал их за это, особенно отца... Ну, мать, что с нее взять, она была простая, тихая и забитая женщина. Но отец — это тяжелая рука всегда чувствовалась в доме, он был властен, временами груб... И, однако, при всем том в отце не было ненависти. Он не любил демобилизованного красноармейца Степанюка, открывшего в селе ячейку «Безбожник»; он не любил председателя сельсовета, который хотел закрыть церковь; он не любил в селе еще двух-трех человек, которые в свою очередь не любили его. Но все вместе взятое, называвшееся «советской Россией», он не умел ненавидеть, он говорил про нее «Россия», или иногда даже «Россиюшка», он любил ее приточки, пашни, леса, любил свое село Городище, любил людей, живших в соседних с ним домах.

Когда Васильев с затаенным дыханием расспрашивал отца о прошлом, он отвечал равнодушно. Его огорчали вообще все людские неправды, о которых он говорил, что они всегда были и, наверное, никогда не выведутся. Он столько крестил, венчал и хоронил за свою жизнь, что ему казалось, — люди не меняются, все равно они всегда будут рождаться, жениться и умирать, а правы они или не правы перед ним, отцом Николаем из Городищенской церкви, в этом бог рассудит его с ними потом. Он не поднимал руки на власть, потому что кругом была Россия, и власть так и осталась русской, и он не брал на себя права судить ее и призывать против нее кого-нибудь.

Сын в этом отношении был непохож на него. Он начал ненавидеть школы. Он плохо учился, не любил ничего особенно и завидовал тем, которым что-то давалось и которые что-то любили. Он плохо кончил школу и провалился, когда хотел учиться дальше. Постепенно он стал озлобленным неудачником. Препятствия, которые в те времена возникали перед ним, как перед сыном попа, не возбуждали в нем желания преодолеть их, учиться лучше всех или стараться быть умнее всех. Нет, они были для него не столько камнем преткновения, сколько отдушиной: — Ну, конечно, — говорил он себе, — конечно, его не любят потому, что он сын попа; провалился на экзамене — потому что сын попа; не приняли — потому что сын попа... Если бы старое время... Он не знал старого времени, но считал: если сейчас его не ласкают и гонят, то в старое время, наоборот, его должны были ласкать, помогать ему возвышаться над всеми теми, которые сейчас возвышались над ним. И когда отец в минуты раздражения говорил ему, что из такого, как он, отродясь, ни сейчас, ни в старое время никакого толку не вышло бы, он принимал это за старческое брюзжание, за ложь. Ему казалось, что при старом режиме из него вышел бы большой человек: и только то, что сейчас все иначе, что иная

власть и к той закон — единственно это мешало ему выйти в люди, и он не видел эту власть, и это время, и этот закон. По отношению к ним постепенно ему стало казаться позволительным все: можно было украсть, потому что он думал, что эта власть медленно убивает его. Из-за того, что он был ничтожеством, непохожим на других, ему казалось, что он-то и есть настоящий, а ничтожества — это все остальные, именно потому что они непохожи на него...

Он кончил тем, чем и должен был кончить — уголовщиной, в которой было достаточно политических мотивов для того, чтобы поймав его, ему предъявили статью о контрреволюции. Работая кладовщиком в совхозе, он перед весенним севом разворовал запасные автомобильные части, а когда кража была выявлена наружу поджег склад. Его приговорили к расстрелу, замешив потом это многими годами заключения.

Он бежал из лагеря в первый же месяц войны с заранее обдуманной твердой намерением добраться до немцев. Обстоятельства немецкого наступления ему благоприятствовали и в августе 41 года где-то вблизи Смоленска он оказался на той стороне.

Он выдал себя за убежденного борца с советской властью и пропитировал допрашивающего его немца несколько перевранных афоризмов из Ницше, затрепанную книжку которого он читал когда-то еще в библиотеке отца.

Впрочем, немцам это было безразлично. Он мог быть полезен им при всех обстоятельствах и они взяли его без долгих расспросов. Так для него началась Краковская шпионская школа, а потом — работа. Отныне безвыходность положения в соединении с силой немецкой муштры и силой собственной ненависти заставили его на войне действовать смелее и решительнее, чем он раньше мог бы предположить сам. Иногда он со свойственной ему способностью самообольщаться, даже тайно любовался своей работой. Но сейчас... Сейчас в Сталинграде он бесконечно и отвратительно устал от чувства постоянной опасности. Самое простое сосущее тошнотворное ощущение страха охватывало его при каждом близком разрыве. Сейчас он хотел только отдыха, отдыха во что бы то ни стало.

Мысли Васильева прервал немецкий снаряд, разорвавшийся в десяти шагах от окопа. Силой воздуха плащ-палатку сорвало, хлестнув грязным концом ее по лицу Васильева. В окоп посыпались комья густой грязи...

«Началось», — с раздражением подумал Васильев.

Последние пять дней начиналось каждый раз одинаково, примерно в то же самое время, в шесть часов утра, с рассветом.

Канонада продолжалась минут пятнадцать, после чего донесся далекий грохот гусениц. Охрипший взводный крикнул: «Готовься!» и Васильев, так же, как и другие, схватив автомат, поднялся к окопу.

Отсюда было хорошо видно все, что делалось впереди. Танки выползали с улицы и двинулись на соседнюю, третью роту. Против той роты, где был Васильев, шли автоматчики. На этот раз их было много, больше чем обычно.

Когда другие начали стрелять, Васильев тоже приложился и дал первую очередь из автомата. Злость за то, что он для немцев в эту минуту ничто, и если они доберутся до окопа, то в этой горячке они убьют его так же, как других, заставляла его стрелять. Больше того, он знал, что если немец подбегает к нему вплотную, а так уже один раз было, он непременно постарается застрелить, потому что если он не застрелит немца, то немец застрелит его.

Он знал это и как часто бывает с людьми, которым известно, что не се-

годня-завтра они уже будут находиться в безопасности, сегодняшняя опасность, именно в этот день, когда вечером возможно предстояло освобождение от всех опасностей, казалась ему особенно страшной. Он судорожно бил из автомата, почему-то быстро шепча про себя с детства привычную фразу: «Боже мой, боже мой, боже мой...»

Сабуров, все-таки кое-как спавший и в эту ночь, проснулся тогда же, когда и Васильев, от грохота канонады. Быстро, еще не открывая глаз, он нашарил рядом с собой свалившуюся с койки шинель, натянул ее и только тогда, сев на койку, открыл глаза. В первый раз за всю войну он почувствовал головокружение: в воздухе плясали огненные точки, потом они превращались в сплошные огненные круги и вертелись перед глазами, как ярмарочное колесо.

Он поднялся, подошел к лампочке и, взяв со стола зеркало, посмотрелся в него. «Сегодня можно еще не бриться», — подумал он. Собственное лицо показалось ему уже не бледным, а зеленым. В блиндаже было душно и вместе с тем сыро, со степ текло. Кладя на стол зеркало, он уронил его, и оно, упав на пол, разбилось. Он подобрал самый большой осколок, в который можно было еще посмотреться, и положил обратно на стол.

«Разбить зеркало — дурная примета, говорят, к беде». Он усмехнулся.

В самом деле, война сейчас была такая, что все дурные приметы и сны неизменно исполнялись. Не одно, так другое несчастье или беда приходили каждый день. Да, стать суеверным в таких условиях не трудно.

Он свернул цыгарку и чиркнул спичку. Спичка не зажглась. Он чиркнул еще и еще, подряд штук десять. Плюнув, бросил на пол и цыгарку и спичечную коробку. В блиндаже скопилось столько углекислоты, что спички не загорались. Он перешел сюда позавчера. В первый же день немецкого наступления после затишья, у него разбило несколькими прямыми попаданиями снарядов подвал котельной. Он перешел в другой, но на следующий день к вечеру разбило и другой. Тогда он перебрался сюда.

Этот блиндаж был еще глубже подвала. Здесь когда-то лежали канализационные трубы, уходившие под землю. Саперы расширили за одну ночь отверстие и сделали блиндаж. За пять дней третий командный пункт! Он не мог понять — то ли немцам начало неслыханно везти, то ли у них здесь в его батальоне были свои глаза и уши. Он невольно старался отмести эту мысль, хотя каждый раз, отмечая, снова наталкивался на нее. По своему складу души, он любил верить людям и не хотел поддаваться мысли о предательстве. Ему казалось, что сейчас, вот здесь, в Сталинграде, где они все равны перед лицом смерти, предательства среди них не должно и не может быть. Нет, это простая случайность, дикое совпадение. Бывают же на войне, в конце концов, и такие удивительные совпадения...

Он вышел из блиндажа, по ходу сообщения добрался до наблюдательного пункта и оттуда стал руководить отражением атаки. Телефонная связь с ротами рухнула три раза; за час убило двух связных. Наконец, немцев отбили. День обещал быть трудным.

Сабуров вернулся в блиндаж, позвал Масленникова и отдал приказания, необходимые для отражения новых атак.

Едва он успел поговорить с Масленниковым, как к нему в блиндаж вошел

знакомый военюрист из дивизии, следовательно прокуратуры. Сабуров, поднявшись с койки, поздоровался с ним.

— Что,— спросил он.— со Степанова допрос снимать будете?

— Да.

— Горячо сегодня, не время.

— Ну, что ж — не время. Все время не время, неизвестно, когда время будет,— возразил следователь.— Ничего не поделаешь.

— Отряхнитесь,— сказал Сабуров.

Следователь только теперь заметил, что был весь в грязи.

— Ползли?

— Да.

— Хорошо, что благополучно.

— Да, почти,— сказал следователь.— У вас сапожника нет в батальоне?

— А что?

— Да вот осколком, как на смех, полкаблука оторвало.

Он выткнул ногу: у сапога действительно было аккуратно отрезано полкаблука.

— Нет сапожника. Был один — вчера ранили. Где же Степанов? Петя,— кивнул Сабуров,— проводи товарища командира к дежурному, там у него за помощника Степанов сидит — боец, знаешь?

— Знаю.

— Как, помощник дежурного? — удивился следователь.

— А что же мне с ним делать? Охрану возле него оставить? У меня и так людей нет...

— Так он же под следствием.

— Так что ж, что под следствием. Говорю вам — нет людей. Тут мне в ожидании ваших решений его охранять нечем и, по совести говоря, на этот раз, по моему, не для чего...

Следователь вышел вместе с Петей. Сабуров, глядя им вслед, подумал, что война изобилует странными вещами, почти нелепыми. Конечно, этот следователь делает свое дело, и Степанова, быть может, и надо отдать под суд, но вот следователь приполз допрашивать здесь... Для того, чтобы снять допрос, он рисковал жизнью... Его пять раз могли убить по дороге, и когда он будет допрашивать, его тоже могут убить, и когда он пойдет обратно в дивизию, и, может быть, возьмет с собой Степанова, то и Степанова и его на обратном пути совершенно одинаковым образом могут убить. А между тем все это вместе взятое как будто происходило по правилам, так, как и должно было происходить.

Забрав Степанова из дежурки и для порядка взяв конвоира, следователь устроился в полуподвале с обвалившимися окнами и просвечивающим сквозь дыру в перекрытии небом. Стена была в двух местах насквозь пробита снарядами, на каменном полу застыли темные пятна крови — наверное тут кого-нибудь убили или ранили.

Степанов сидел на корточках у стены, следователь на кирпичах посредине подвала. Он записывал, положив на колени планшет...

Степанов был колхозник из-под Пензы, боец второй роты. Ему было тридцать лет. Дома у него остались жена и двое детей. Его призвали в армию, и он сразу же попал в Сталинград. Вчера вечером, во время последней атаки немцев, когда он со своим напарником Смышляевым сидел в глубоком «ластеч-

кином гнезде» и стрелял по танкам из длинного противотанкового ружья, он промахнулся два раза подряд, и шедший на окопы танк, прогрохотав гусеницами над головой и обдав окоп запахом бензина и гари, прополз дальше. Смышляев закричал что-то непонятное, яростное, приподнялся и бросил вслед танку под гусеницу тяжелую противотанковую гранату. Она взорвалась, танк остановился, но в это время второй с тем же ревом пронесся над окопом. Степанов успел нырнуть глубоко в гнездо и его только засыпало землей. Смышляев не успел. Когда Степанов приподнялся, вместе с землей в «ласточкино гнездо» свалился Смышляев, вернее, нижняя часть его, до пояса,— все, что было выше, было отрезано и раздавлено танком. Когда этот кровавый обрубок упал в окоп, рядом со Степановым, он не выдержал и, не думая больше ни о чем, пополз из окопа. Он полз все время к Волге, ничего не соображая, стремясь только отползти как можно дальше назад.

Ночью его нашли уже в расположении штаба полка. Он не был в состоянии что-либо скрыть, и просто рассказал все, как было. Бабченко дал ему допвопра и с сопроводительной отправил обратно к Сабурову, послав по официальной линии в дивизию сведения о нем, как о дезертире.

Сабурову доложили об этом случае, но он в суматохе боя не успел поговорить со Степановым, а теперь по допосланию Бабченко сюда уже явился следователь разбирать дело...

Степанов сидел перед ним и отвечал то же самое, что он отвечал вчера ночью Бабченко. Следовательно против обыкновения медлил и задавал много вопросов. Происходило это от того, что он, в сущности, не знал, что делать со Степановым. Степанов был дезертир, но в то же время ничего преднамеренного он не сделал. С ним произошел шок: он не вынес ужаса и пополз назад. Может быть, если бы он дополз до берега Волги, он бы опомнился и вернулся обратно. Так думал следователь, так думал сейчас, придя в себя, и сам Степанов. Но факт дезертирства оставался фактом и ради общего порядка оставить это безнаказанным было нельзя.

— Я бы обратно пришел, ей богу,— после молчания, не ожидая новых вопросов, убежденно сказал Степанов.— Я бы и сам пришел...

В эту минуту беспрерывно гремевшая кругом канонада прекратилась и раздалась близкие автоматные очереди. Петя, пробежавший через подвал от Сабурова к дежурному, крикнул находку:

— Немцы прорываются. Капитан приказал всем, кто с оружием, в бой,— и побежал дальше.

Следователь, молодой и, в сущности, штатский человек, переодетый в военное, снял очки, протер стекла, снова надел их, и взяв лежавший рядом с ним автомат, оружие, с которым уже давно никто в дивизии не расставался, неторопливо вылез через пролом наружу. Красноармеец, охранявший Степанова, в сомнении посмотрел на него, потом на пролом в стене, потом снова на Степанова, и, спокойно сказав: «Ты посиди пока тут», вылез вслед за следователем.

Это была вторая за день решительная атака немцев, когда их автоматчики, человек двадцать или тридцать, через стену забрались в самый двор дома. Во дворе шла перестрелка, в упор. Были подняты на ноги все, кто находился в штабе батальона и кругом него.

Сабуров сам выбрался наверх и руководил боем настолько, насколько вообще можно руководить рукопашной.

Минут через двадцать большинство немцев было убито, остальные были выбиты за ограду двора. Следователь и конвоир влезли обратно через пролом и устало опустились на кирпичи. У следователя из кисти руки, слегка задетой пулей, сочилась кровь.

— Надо перевязать, — сказал конвоир.

— У меня пакета нет.

— Нет? — сказал Степанов и, порывшись в кармане гимнастерки, вытащил оттуда индивидуальный пакет.

Он и конвоир вдвоем перевязали раненому руку. Потом Степанов отошел и снова присел у стены. Лишь теперь они вспомнили, что допрос был прерван атакой и его очевидно надо продолжить. Но продолжать допрос следователю не хотелось. Чтобы протянуть время и отдышаться, он здоровой рукой вытащил из кармана кисет с табаком, с трудом, помогая себе забинтованными пальцами, свернул цыгарку, потом, посмотрев на Степанова и конвоира, машинально, с той автоматической привычкой делиться табаком, которая появляется у людей, долго пробывших на фронте, протянул им кисет.

— Берите.

Степанов вслед за конвоиром тоже взял щепотку и, вытащив заботливо хранимый обрывок газеты, оторвал полосу и свернул цыгарку. Они все втроем закурили. Это молчаливое курение продолжалось минут десять. Тем временем снова началась канонада. Под звуки ее следователь стал торопливо заканчивать допрос, с трудом придерживая планшет раненой рукой.

Вскоре допрос был окончен, предстояло только сделать заключение. В эту минуту, так же, как и в первый раз, канонада прекратилась, и снова началась немецкая атака.

Заслышав автоматные очереди, следователь снова молча потянул к себе автомат, взял его в здоровую руку и, не оборачиваясь, вылез из подвала. Конвоир полез вслед за ним.

Степанов снова остался один. Он растерянно огляделся по сторонам. За стеной слышались близкие выстрелы. Степанов еще раз поглядел по сторонам и полез в пролом следом за конвоиром. Выскочив наружу, он огляделся и, увидев рядом с лежавшим на земле трупом красноармейца, винтовку, схватил ее. Пробежав несколько шагов, он лег за груды кирпичей, неподалеку от следователя и еще нескольких лежавших тут же бойцов. Когда левее него немцы выскочили из-за стены, он вместе со всеми начал стрелять по ним. Потом поднялся, пробежал несколько шагов и, перевернув винтовку, прикладом ударил по голове пробежавшего на него автоматчика. Потом снова упал за камни и несколько раз выстрелил по двигавшимся в глубине двора немцам.

Немцы тоже стреляли. На этот раз во двор их забрались человек десять и через несколько минут они все были или убиты или ранены.

Атака отхлынула, выстрелы гремели уже далеко за стеной. Степанов встал и, не зная что делать, подошел к стене, где лежали следователь и конвоир. Конвоир встал, но следователь продолжал лежать: он был ранен в ногу. Степанов поднял его, увидев, что нога, почти пересеченная автоматной очередью, сильно кровоточит, и, взяв следователя на плечи, потащил в подвал. Там он опустил его на пол, подложив, чтобы было выше, два или три кирпича в изголовье.

— Сходи за сестрой или санитаром, — сказал следователь Степанову.

Через несколько минут Степанов привел санитаря, который, согнувшись

над раненым, стал перевязывать ему погу. Раненый не стонал. Он лежал молча и ждал, когда кончится эта боль.

По дороге к себе в блиндаж, через подвал прошел Сабуров. Он сегодня окончательно устал. Несмотря на всю его физическую силу, ему было даже тяжело нести автомат, и он волочил его за собой прикладом по земле.

Он посмотрел на Степанова, потом на раненого и спросил:

— Сильно задело?

— Порядочно.

— Сейчас скажу, чтоб вынесли вас, а то опять начнется.

Он с сочувствием посмотрел на белое без кровинки лицо следователя и, не зная, что добавить, спросил:

— Что с допросом-то хоть кончили?

— Да, кончили,— сказал следователь, кивнув на Степанова.

— Ну, и какое же ваше заключение?

— Какое ж заключение,— сказал следователь.— Будет воевать. Вот и все.

Он взял планшет, вытащил оттуда протокол и написал внизу: «Состава преступления, достаточного для предания суду трибунала, нет. Отправить на передовые», и расписался.

— Отправить на передовые,—повторил он вслух и, преодолевая боль, улыбнулся, вспомнив все, только что происшедшее с ними.

— Да,— сказал Сабуров, в свою очередь усмехнувшись,— отправлять будет недалеко, шагов сто. Ну,— повернулся он к Степанову,— иди к себе в роту. Винтовка у тебя чья?

— С убитого взял, товарищ капитан.

— Ну, будет твоя. Можешь идти... Доложи Потанову, что я тебя прислал.

Был особенно тяжелый день,—один из тех, когда напряжение всех душевных сил доходит до такой степени, что в самый разгар боя неожиданно и невыносимо хочется спать. После двух утренних атак в полдень последовала третья. В обращенной к немцам части двора выросло небольшое полуразрушенное складское здание. Было оно построено прочно, с толстыми стенами и глубоко уходившим в землю подвалом. Среди остальных зданий, занимаемых Сабуровым, оно стояло особняком, немного впереди и на отлете. Именно сюда и направили немцы свою атаку в третий раз.

Когда четверем или пяти танкам удалось подойти вплотную к складу и они, прикрывшись его стенами от огня артиллерий, стали стрелять из пушек прямо внутрь, немецкие автоматчики забрались через проломы, и через пятнадцать минут там прозвучал последний выстрел. Первое, естественное, желание Сабурова было попытаться тут же, среди белого дня, отбить склад. Но Сабуров сдержал себя. Он принял трезвое решение: сосредоточить весь огонь позади склада, не давая немцам до темноты втянуться туда крупными силами, а контратаку произвести в темноте, когда решимость и привычка к ночной штурмовой работе возместят ему очевидный недостаток людей.

Бабченко, которому он доложил по телефону о потере склада, ничего не ответил по существу, но долго и злобно матюгался и в заключение сказал, что сейчас придет сам. Нельзя сказать, чтобы это обрадовало Сабурова. Он предчувствовал столкновение с Бабченко, и его опасения оправдались. Бабченко, согнувшись, влез в блиндаж, злой, потный, с головы до ног обрызганный грязью. Сабуров ждал его внутри.

- Ишь, забрался,— сказал Бабченко.— Сколько метров над головой?
- Три,— сказал Сабуров.
- Ты бы еще глубже залез.
- А мне глубже не надо,— сказал Сабуров.— И так не пробьет.
- Залез в землю, как крот,— сказал Бабченко тем же злым голосом.

В сущности, ему не к чему было придираться. Сабуров копал этот блиндаж не специально, а только расширил канализационные трубы, и то, что блиндаж его был глубоко и находился в безопасности даже от прямых попаданий, было только хорошо. Но в связи с тем, что немцы отбили склад, Бабченко хотел сказать Сабурову что-нибудь обидное, и он сказал эти слова о блиндаже именно в обидном смысле,— что вот Сабуров закопался в землю, в те время как его бойцы сидят наверху.

— Закопался,— повторил он.

Сабуров сегодня устал, был зол и не меньше, а может быть больше, чем Бабченко, расстроен потерей склада. Он чувствовал, что до самого вечера,— до тех пор, пока не удастся отбить склад обратно, эта мысль, как заноза, будет мучить его, и поэтому в ответ на слово «закопался» сказал с вызовом:

— Что, товарищ подполковник, прикажете командный пункт наверх перенести?

— Нет,— сказал Бабченко, почувствовав в словах Сабурова иронию.— Склад отдавать не надо было, вот что.

Сабуров промолчал. Он ждал продолжения.

— А что думаешь делать?

Сабуров доложил свой план ночной контратаки.

— Что ж,— сказал Бабченко, посмотрев на часы.— Сейчас два. Значит, так и будут они до темноты там сидеть? Ты приказ читал, что ни шагу назад, а? Или, может быть, ты с приказом не согласен?

— В шесть часов я начну атаку,— стараясь сдержаться, сказал Сабуров,— а в семь склад будет у меня.

— Ты мне это не говори. Ты приказ читал, что ни шагу назад?

— Да,— сказал Сабуров.

— А склад отдал?

— Да.

— Сейчас же отбить! — крикнул не своим голосом Бабченко, вскакивая с табуретки.— Не в семь, а сейчас же.

По его лицу и движениям Сабуров понял, что Бабченко был на той же грани усталости и нервного иступления, на которой находился сегодня он сам. Спорить с Бабченко в эту минуту было бесполезно, и если бы дело шло лишь о том, что вот сейчас ему, Сабурову, было бы приказано идти одному к сараю среди белого дня,— то он бы встал и пошел, с горьким чувством, что если нельзя командиру полка доказать его неправоту не чем иным, кроме своей собственной смерти, то,— черт с ним,— он, Сабуров, докажет ему это своей смертью. Но в контратаку сейчас пужно было вести людей, то есть надо было доказывать Бабченко, что он прав, не только ценой собственной жизни, но и жизни других.

— Товарищ подполковник, разрешите доложить...

— Ну?

Сабуров еще раз повторил все мотивы, по которым он решил отложить атаку до ночи, и добавил, что он ручается за то, что в течение дня будет держать всю площадь за складом под таким огнем, что до ночи там внутри не прибавится ни одного немца.

— Ты приказ, чтобы ни на шаг не отступать, читал? — еще раз спросил Бабченко все с тем же беспощадным упрямством.

— Читал, — сказал Сабуров, вытягиваясь, не сводя глаз с Бабченко, и встречая его взгляд таким же злым и беспощадным взглядом. — Читал. Но я не хочу сейчас людей класть там, где их не надо класть, где можно почти без потерь все взять обратно.

— Не хочешь? Я тебе приказываю.

У Сабурова вдруг мелькнула мысль, что надо вот сейчас же что-то сделать с Бабченко, заставить его замолчать, не дать ему больше повторять этих слов, ради спасения жизни многих людей, позвонить Проценко и доложить ему, что делать так, как хочет Бабченко, нельзя.

Но вместо всего этого, продолжая все тем же беспощадным взглядом смотреть на Бабченко, Сабуров сказал: — Разрешите выполнять?

— Выполняй.

Все, что произошло после этого, осталось надолго в памяти Сабурова, как дурной сон. Они вылезли из блиндажа, Сабуров в течение получаса собрал всех, кто был под рукой. Бабченко по телефону приказал поддержать контратаку пятью, оставшимися еще в полку, пушками, которые, впрочем, едва ли могли принести тут пользу. И контратака началась.

Хотя батальон начинал бои всего двадцать дней назад почти в полном составе, но сейчас, когда понадобилось днем, среди боя, организовать контратаку, Сабуров собрал вокруг себя тридцать человек. Это были весь резерв, на который он мог рассчитывать.

Бабченко торопил. Слова «ни шагу назад» он понимал буквально, не желая считаться ни с тем, что было, ни с тем, чего будут стоить эти ненужные сегодняшние потери завтра, когда немцы снова пойдут в атаку. Атака не была подготовлена, к началу ее с левого фланга не успели перетащить даже минометы, которые хоть как-то могли помочь, а Сабуров со своими тридцатью бойцами, перебегая от стены к стене, от развалин к развалинам, уже пошел в атаку на дом.

Кончилось это так, как он и ожидал. Десять человек остались лежать между развалин. Остальные нашли себе каждый какое-нибудь укрытие неподалеку от склада, и никакая сила не могла заставить их подняться. Атака не удалась и, очевидно, в таких условиях не могла удалась.

Когда люди залегли, немцы стали засыпать их минами. Остаться здесь лежать, где понало, за ненадежными укрытиями, означало верную смерть. Огонь все усиливался. Разорвавшаяся рядом мина слегка контузила Сабурова: вся левая половина лица вдруг сделалась чужой, словно набитой ватой. Обломками кирпича его ошарахало, по лицу текла кровь, но он ее не замечал. Когда огонь стал совершенно невыносимым, Сабуров, дав знак остальным, пополз обратно.

На обратном пути убило еще одного. Через час после начала этой затей Сабуров стоял перед Бабченко за низким, обвалившимся выступом дома, где

тот, почти не прячась, с самой близкой дистанции, все время под огнем, наблюдал за атакой.

Сабуров козырнул и с хрустом опустил на землю автомат. Должно быть, его измазанное кровью и грязью лицо было так страшно, что Бабченко сначала ничего не сказал, а потом произнес:

— Отдохните.

— Что? — спросил Сабуров, не расслышав.

— Отдохните, — повторил Бабченко.

Сабуров опять не расслышал. Тогда Бабченко крикнул ему в самое ухо.

— Меня контузило, — сказал Сабуров.

— Отдохните, — сказал Бабченко в четвертый раз и пошел по направлению к блиндажу.

Сабуров двинулся вслед за ним. Они не снустились в блиндаж, а сели на корточки рядом, у выступа стены, где была дежурка. Оба молчали, обоим не хотелось смотреть друг другу в глаза.

— Кровь, — сказал Бабченко. — Ранен?

Сабуров вытащил из кармана грязный, земляного цвета, носовой платок, плюнул на него несколько раз и вытер лицо. Потом ощупал голову.

— Нет, поцарапал, — сказал он.

— Вызовите из рот всех, кого можно вызвать, — приказал Бабченко, — я сам поведу их в атаку.

— Сколько людей? — спросил Сабуров.

— Сколько есть.

— Больше сорока не будет, — сказал Сабуров.

— Сколько есть, я уже сказал, — повторил Бабченко.

Сабуров распорядился вызвать людей и перетянуть поближе минометы: все-таки они хоть чем-то могли помочь. Он понимал состояние Бабченко. При всем своем упрямстве Бабченко сознавал, что эта атака была неудачной по его вине и что следующая атака едва ли предвещает что-нибудь хорошее. Но после того как на его глазах, по его приказанию, бессмысленно погибли люди, он считал необходимым для себя попробовать сделать самому то, что не сумели сделать его подчиненные, — доказать, что он хотел возможного.

Пока подтаскивали минометы и собирали людей, пока давались последние приказания перед атакой, Бабченко вернулся обратно за обломок стены, откуда он наблюдал первую атаку, и стал внимательно рассматривать лежавшее впереди пространство двора, прикидывая, откуда будет удобнее и безопаснее перебежать. Сабуров молча стоял рядом с ним. Шагах в сорока разорвалась тяжелая немецкая мина.

— Заметили, — сказал Сабуров. — Отойдемте, товарищ подполковник.

Бабченко молчал и не двигался. Вторая мина разорвалась с другой стороны, тоже не дальше, как в сорока шагах.

— Отойдемте, товарищ подполковник. Заметили, — повторил Сабуров.

Бабченко продолжал стоять. Это был вызов. Он хотел показать, что только что, посылая людей в атаку, он требовал от себя такой же готовности к смерти, какой требовал от других.

— Ийдемте, — почти крикнул Сабуров в третий раз, когда очередная мина разорвалась совсем близко.

Бабченко молча повернулся к нему, посмотрел ему в глаза, плюнул себе под ноги и твердыми, недрогнувшими пальцами достав из кисета щепоть табаку, свернул папироску.

Следующая мина разорвалась прямо перед стенкой. Над их головами пролетело несколько осколков, посыпалась пыль. Сабуров заметил, как Бабченко вздрогнул, и это естественное человеческое движение заставило Сабурова в свою очередь вдруг сказать простые человеческие слова:

— Филипп Филиппович, — сказал он Бабченко, — отойдемте, а?

Бабченко молчал. Потом, вспомнив, что папироска уже скручена, он кистью из кармана зажигалку, несколько раз чиркнул, зажег ее, повернулся против ветра и низко наклонился, чтобы закурить.

Может быть, если бы он не повернулся, его бы не убило, но он повернулся, осколок разорвавшейся в пяти шагах мины попал ему в голову. Он упал на ноги Сабурова, тело его только один раз вздрогнуло и замерло. Сабуров опустился рядом с ним на четвереньки, повернул его изуродованную, опрессованную голову и с неожиданным для себя равнодушием подумал, что так оно и должно было случиться. Он приложил ухо к груди Бабченко, сердце не билось.

— Убит, — сказал он.

Потом повернулся к Пете, лежавшему в пяти шагах, за стенкой и приказал:

— Петя, иди помоги.

Петя подполз к нему. Они взяли Бабченко за плечи и за ноги и, согнувшись, быстро перенесли его к блиндажу.

— Машинеты перетасили, — сказал подбежавший к Сабурову лейтенант. — Приказано открыть огонь?

— Нет, — сказал Сабуров. — Сейчас же перетасите их обратно.

Он позвал Масленишкова и приказал ему отменить все приготовления к атаке и вернуть людей на их места. Потом, спустившись в блиндаж, позвонил в колокол. К телефону подошел комиссар. Сабуров доложил, что Бабченко убит, сообщил, при каких обстоятельствах и сказал, что доставит его тело в военный госпиталь, когда стемнеет.

Он издал распоряжение об оказании помощи раненым и о подготовке к ночной атаке склада.

Немцы не предпринимали пока ничего нового. Привычным чутьем своим Сабуров угадывал, что на сегодня с их стороны, пожалуй, все кончено и можно не ждать повторения атак до следующего утра. Он поговорил по телефону с Петей Масленишковым, приказав разбудить его в пять, перед началом темноты.

XIII

Он проснулся не от шума, а от пристального взгляда. Перед ним стояла Аня. Она смотрела на него своими большими, спокойными детскими глазами. Он не дышал и молча сидел, тоже глядя на нее.

— Я просила вашего ординарца вас разбудить, — сказала Аня, — а он не пришел. А я уже давно здесь. Мне уже надо было уходить. А видеть вас очень хотелось. — Она протянула Сабурову руку: — Здравствуйте.

— Садитесь, — сказал Сабуров, подвигаясь на койке. Аня села.

— Вижу, вы совсем поправились.

— Да, совсем, — сказала Аня. — Я ведь была легко ранена. Только много крови потеряла. А так совсем легко. Вы знаете, — быстро добавила она, не дав ему ничего сказать, — я встретила маму. Мы теперь с ней вместе.

— Вместе?

— Ну, не совсем вместе. Она там же в деревне, в избе, живет, где наш медсанбат стоит. Я там почую с ней вместе. То есть не почую, я по утрам сплю, когда возвращаюсь с переправы. В общем, мы вместе с ней.

— Вы уже давно опять ездите сюда?

— К вам первый раз, а вообще четвертый день. Я маме про вас рассказывала..

— Что же вы рассказывали?

— Все, что знаю.

— А что ж вы знаете про меня? — улыбнулся Сабуров.

— Очень много, — сказала Аня.

— Ну, а все-таки?

— Много, много, почти все, — в свою очередь улыбнулась она.

— Все?

— Я даже знаю, сколько вам лет. Вы тогда говорили правду. Вам двадцать девять лет. Мне ваш ординарец сказал.

— А вот я привлеку его к ответственности за разглашение военной тайны, — с шутиливой строгостью сказал Сабуров. — Что же он вам еще рассказывал?

— Рассказывал, что вас сегодня чуть не убили.

— Еще?

— Еще? Больше ничего. Мне у него некогда было спрашивать. Мы раненых сейчас сносили в одно место. У вас много раненых.

— Да, много, — помрачнев, сказал Сабуров. — Много. Значит, некогда было? А если бы было время, еще бы спрашивали?

— Да, непременно.

— Ну, тогда спрашивайте у меня самого. — Он посмотрел на часы. — У меня есть время.

— Вы лучше спите. Я вас разбудила.

— Почему разбудили, я сам проснулся.

— Нет. Это я вас разбудила. Я на вас так долго смотрела, что вы проснулись. Нарочно. Я хотела, чтобы вы проснулись.

— Выходит, у вас магнетическая сила взгляда, — сказал Сабуров, чувствуя, что он говорит совсем не то, что хочет, и сразу добавил другим тоном:

— Я очень рад вас видеть.

— Я тоже, — сказала Аня и посмотрела ему в глаза.

Он понял, что тот неожиданный поцелуй ночью, когда она лежала на полках, ею не забыт, и вообще ничего не забыто и что все то немногое, что было между ними, на самом деле очень важно. Он почувствовал это сейчас, когда взглянул на нее.

— Я тут совсем замотался, — сказал он вслух. — Я даже редко вспоминаю о вас, так тут все было...

— Я знаю,— сказала Аня.— Я расспрашивала. У нас в медсанбате несколько раз были ваши бойцы. Я у них спрашивала, как у вас тут.

Сабуров поглядел на Аню. Она сидела неподвижно и теребила пальцами краешек гимнастерки. Он понял, что это не от смущения, а оттого, что она хотела сказать что-то важное и подбирала слова.

— Ну? — выжидающе спросил он.

Она молчала.

— Ну, что? — повторил он.

— Я много думала о вас, очень много,— сказала она с отличавшей ее серьезной прямоотой.

— И что надумали?

— Я ничего не надумала. Я просто думала о вас. Мне очень хотелось еще раз с вами поговорить.

Она вопросительно посмотрела на него, ожидая, что он ей ответит, и он почувствовал, что она ждет, чтобы он сказал что-то хорошее, умное и успокоительное, что все еще будет хорошо, и что они оба будут живы и еще что-нибудь такое же взрослое, отчего она почувствовала бы себя девочкой, находящейся под его защитой. Но ему ничего не хотелось говорить, ему просто хотелось придвинуться к ней и обнять ее. Он положил руку ей на плечо, как тогда на пароходе, чуть придвинул ее к себе и сказал:

— Я так и думал, что вы придете.

И за этими словами она почувствовала, что он тоже хорошо помнит этот поцелуй на посылках и что именно поэтому говорит: «Я так и думал».

— Вы знаете,— сказала она,— наверное, у всех так бывает в жизни, как у меня сейчас. Вот приходит день, и чего-то в этот день очень ждешь как сегодня с утра я весь день ждала, что увижу вас, и ничего кругом не замечала. Днем очень стреляли, а я почти не замечала. Так я, если к вам ездить буду, пожалуй, и храбрее стану, а?

— Вы и так храбрая.

— Нет, так не храбрая. а вот сегодня храбрая.

Он посмотрел на часы.

— ...На улице уже начинает темнеть?

— Да,— сказала она.— Наверное. Я не заметила. Наверное, наверное.— встала она.— Надо уже вывозить раненых. Я пойду.

Он был рад этим ее словам «я пойду», потому что по часам следовало уже начать готовиться к атаке и он был рад, что она уходит первой.

— Вы ведь в один раз не заберете всех? — спросил он.

— Нет,— сказала она.— Я еще раза два буду сегодня. До утра бы всех снести, то хорошо...

Чувствуя, что разговор сейчас уже не может продолжаться, Сабуров, нечаянно что добавить в эту последнюю минуту, встал и сказал:

— У нас командир полка убит сегодня. Вы знаете?

— Да, знаю. Рядом с вами, мне сказали. Вас контузило сегодня?

— Немножко.

Он посмотрел на нее и только теперь догадался, что она сегодня говорила больше, чем обычно, наверно потому, что знала о его контузии.

— Тоже Петя рассказал?

— Да... Я вас еще увижу сегодня?

— Да, да, конечно,— заторопился Сабуров.— Конечно, увидите. А как же. Только...

— Что?

Он хотел сказать, чтобы она была осторожнее и остановилась. Как она могла быть осторожнее? Всегда один и тот же, обычный путь, по которому надо нести раненых, в одно и то же время дня. Как она могла быть осторожнее? Просто глупо было бы говорить ей об этом.

— Нет, ничего,— сказал он.— Конечно, увидимся. Непременно.

Когда она вышла, Сабуров с минуту посидел молча. Потом встал и быстро надел шинель. Ему захотелось поскорей покончить с атакой склада и на этот раз не только потому, что это было нужно вообще, но еще и потому, что только после этого он мог снова увидеть Аню. Он подумал об этом и сам испугался и удивился этой мысли, потому что он не мог скрывать от себя того, что это была мысль о любви.

Однако, мысль все-таки возникла и не исчезала. Она оставалась с ним и тогда, когда он давал последние распоряжения перед атакой, и тогда, когда они пошли в эту атаку и сначала ползли среди развалин, а потом перебежали под огнем, и тогда, когда бросив две гранаты, он ворвался с остальными в сарай и там началась та ночная перестрелка с выстрелами, криками и стонами, которая называется рукопашной.

На этот раз он взял склад обратно, имея только одного убитого и пятерых раненых. И хотя у него было, как у многих русских людей, не показное, а действительное душевное правило не думать и не говорить плохо о мертвых, но он еще раз с раздражением подумал о Бабченко.

Ванин, вернувшийся днем из второй роты, участвовал в атаке вместе с ним. Хотя это и было неблагоприятно, но он настоял на этом и Сабуров не нашел в себе силы отказать. Вообще он сейчас испытывал такое душевное состояние, при котором ему трудно было отказать человеку в чем-нибудь хорошем. Они все время были рядом и вернулись вместе. Сейчас комиссар, сидя против него на койке, возился с автоматом. Автомат был в грязи, надо было разобрать его и почистить. Сабуров, сидя против комиссара, видел, как тот, уперев приклад автомата себе в живот, с усилием пробовал отогнуть защелку. При этом Сабуров заметил, что дуло комиссарского автомата направлено прямо на него.

— Когда оружие чистишь, целясь в пол или в потолок... а не в соседа. Возьми себе за правило,— опять-таки в этот момент подумав о своем будущем свидании с Аней, неожиданно строго сказал он.

— Да он же не заряжен,— сказал Ванин.

— Все равно.

Ванин пожал плечами, щелкнул автоматом в доказательство того, что он не заряжен, и продолжал чистить его, теперь уже направив дуло в пол.

— Этот сарай, между прочим,— сказал он,— был для декораций. Вот тогда, что впереди, это ведь театр строился, а при нем сарай был для декораций. И двор. Там рельсы были положены, чтобы на вагонетке декорации прямо со сцены увезить. Здорово, верно?

— Верно.— сказал Сабуров и несколько улыбнулся.

— Ты что? — спросил Ванин.

— Улыбаюсь? Я улыбаюсь потому, что подумал — кажется нет ни одного дома кругом, о котором бы ты не знал самых интимных подробностей.

— А как же? Я же все это строил. И не только дома, я почти всех людей тут знаю. Тут девушка-сестра была у тебя, да?

— Да,— сказал Сабуров пастороженно. Он подумал, что сейчас Ванин позволит себе какую-нибудь шутку на этот счет, и приготовился дать отпор.

— Ну, вот,— сказал Ванин.— Я ведь ее тоже знаю. Она на тракторном работала... в инструментальном цехе нормировщицей. Мы ее хотели комсомолом цеха назначить—я ее хорошо помню,— перед войной.

Оказалось, это было все, что он хотел сказать о девушке.

— Всех помню,— сказал он, уже забыв о ней.— Тракторный себе представляю не таким, как он есть, а каким он раньше был. А за станками людьми. Представляю себе даже их лица... Ты чего угрюмый сегодня? Устал?

— Нет,— сказал Сабуров.— Я уже отдохнул, спал днем.

— А все-таки угрюмый.

— Нет, я не угрюмый. Просто думаю.

— О чем думаешь? О Бабченке?

— И о Бабченко.

— Да,— сказал Ванин,— убили. Интересно, кого теперь назначают. Может, тебя?

— Нет,— сказал Сабуров,— наверное, Власова из первого батальона назначают. Он майор.

— Да... Бабченко убили,— повторил Ванин.— Ты поругался с ним сегодня.

— Да.

— Мне говорили.

— Кто?

— Масленников.

— Он приказал делать дневную атаку, а я не хотел. И не надо было. Однинадцать человек потеряли.

— А переубедить нельзя было?

— Нет. Если б можно было, я не пошел бы в атаку.

Зазвонил телефон.

— Вас спрашивают,— сказал связист.

Сабуров подошел. У телефона был Проценко. Сабуров обрадовался его голосу.

— Как живешь? — спросил Проценко.

— Хорошо.

— Что же хозяйина своего не уберег, а?

— Не мог,— сказал Сабуров.— Хотел и не мог.

— А легко отбили склад? — спросил Проценко.

— Легко, с малыми потерями.

— Вот так с самого начала и надо было,— отсечь подход подкреплений и отбивать ночью. Так и на будущее себе заведи.

Это звучало упрямом, правда, мягким, но упрямом. Сабуров хотел было сказать, что не он устраивал эту дневную атаку, а Бабченко, но потом вспомнил, что Бабченко уже убит, и плох он был тогда хорош, но тоже погиб за Сталинград, и промолчал.

Аня действительно сдержала свое слово и поздно вечером забежала еще раз. Она очень торопилась, так торопилась, что забежала ровно на минуту. И все-таки, как ни кратко было это свидание, Сабуров понял, что отныне они

будут видаться столько, сколько можно, и, даже когда они встретятся на мигу, все равно это будет хорошо.

Когда она опять убеждала, он почувствовал тревогу за нее и впервые в Сталинграде испытал ощущение, что все окружающие их опасности совсем разные,—одни из них, сами собой подразумевающиеся—для него, и другие, очень страшные и неожиданные—для нее. И он ощутил с полной ясностью, что теперь, наверно, всегда будет бояться за Аню.

Все дневные и вечерние дела были закончены. Оставалось ожидать одиннадцати часов—того времени, когда Сабуров приказал Васильеву притти, чтобы двинуться на рекогносцировку. Возможность сегодня разведать, а завтра ночью попробовать окружить немецкую роту была заманчивой, и он подумал сейчас о предстоящем с радостью и верой в удачу. Нежелание говорить сейчас с кем бы то ни было, кроме Ани, охватило его. Он прилег опять на койку и долго молчал. Ему хотелось поскорей покончить с последним сегодняшним делом и остаться хотя бы на полчаса одному со своими мыслями. Он крикнул Пете, здесь ли Васильев.

— Нет еще,—ответил Петя.

— Позови его. И главное, чтобы поскорее.

Васильев явился через пять минут. Все у него было уже готово: на шее висел автомат, две гранаты в аккуратном холщевом мешочке были прикреплены к поясу и неизменный лясский штык, снятый с автоматической винтовки, висел на поясе рядом с гранатами. Он был без шинели, налегке, в одном наглухо застегнутом ватнике. Так он всегда ходил в разведку.

— Сейчас пойдем,—сказал Сабуров вставая.—Петя, скажи Петрову, что он со мной пойдет.

Петров был сабуровским автоматчиком, сопровождавшим его в тех случаях, когда Петя оставался в штабе. Сабуров достал со стены свой автомат, надел, так же как и Васильев, ватник, стянул его потуже ремнем и, положив в карманы две гранаты-лимонки, которые он предпочитал остальным за их малый размер и сильное действие, наклонился над койкой, нища завалившуюся за нее фуражку.

Васильев смотрел ему в спину и прикидывал, как именно все это произойдет: как они дойдут до условленного места, как он ударит штыком Петрова и как немцы бросятся на Сабурова. Спина была очень широкая, он никогда раньше не замечал, что у Сабурова такая широкая, сильная спина и длинные руки. Кроме того, Сабуров шел несколько раньше назначенного времени, и это смущало Васильева. Правда, немцы аккуратны: они, наверно, сидят в засаду заранее, хотя бы с десяти. Но вдруг нет? Что тогда? Неужели завтра начинать все снова. Он колебался между желанием задержать Сабурова и боязнию, что тот его заподозрит. Когда Сабуров, наконец, найдя на полу свою фуражку, поднялся, Васильев сказал:

— Разрешите доложить?

— Ну?

— Разрешите доложить,—повторил Васильев.—У них как раз сейчас смена постов, разводящий ходит. Может, повременить малость, товарищ капитан? Как сказали вы, в одиннадцать пойдем.

— Там же у них, вы говорили, не стоит поста?

— Нет.

— Ну, там не стоит, а с других не услышат. Пошли, — сказал Сабуров и так же, как Васильев, повесил автомат на шею.

Они вышли втроем: впереди Васильев, потом Сабуров, последним Петров. Стояла сырая, — хоть глаз выколи, — темная октябрьская ночь. Мягко моросил дождик. В первую секунду показалось, что они вышли не на улицу, а только в тамбур между двумя дверьми, так было темно. Контуры стен сливались с небом, и казалось, что в высь над развалинами поднимаются тоже дома, только выкрашенные в более светлую краску.

Выйдя из блиндажа, Сабуров подумал, что в сущности не было бы большого греха, если бы он отложил эту рекогносцировку до завтра. И так слишком много всего уже было в этот день. Но ночная свежесть, тихий дождик и черное низкое небо, которое сейчас из-за дождя казалось более теплым, чем земля, — все это заставило его встряхнуться.

— Хорошая ночь, — сказал Сабуров. — Верно?

— Так точно, товарищ капитан, — подтвердил Васильев.

Сабуров вспомнил, что та станция под Миллеровым, где жила его мать и сестры, была примерно на этой же параллели, и, должно быть, там сейчас такая же или почти такая же ночь, — длинная, темная и дождливая.

— У нас где семья, Васильев? — спросил он. — Далеко?

— Далеко, — сказал Васильев и, вспомнив лежавшую у него в левом кармане красноармейскую книжку, выписанную на П. Д. Васильева, жителя города Магнитогорска, женатого, 32 лет, добавил: — В Магнитогорске.

— В Магнитогорске? — переспросил Сабуров. — А где живут, на какой улице? Наверное, в Старом поселке?

— Да, в Старом. — поспешно подтвердил Васильев, никогда не бывавший в Магнитогорске. — В Старом, — и, чувствуя, что он должен добавить что-то еще, с той расчетливостью, которая у него появилась за год двойной жизни, добавил: — На улице Ленина, — справедливо подумав, что, наверное, там и на самом деле есть улица Ленина.

А, — сказал Сабуров, не удивившись, и Васильев понял, что такая улица действительно была.

Женаты?

— Женат, — сказал Васильев.

Его сменило то, что его сейчас расспрашивает об обстоятельствах его жизни человек, которому через полчаса точно такие же вопросы будут задавать немцы.

Жена, двое детей.

— Далеко, — задумчиво сказал Сабуров и подумал о Магнитогорске и о том, что там, наверное, нет затемнения, на улицах горят фонари. И тут он на секунду представил себе, что было бы, если бы весь этот свет перенести сюда, в Сталинград. Вот сюда, где они идут. На всех углах стоят фонари и горят полным накалом. И окна освещены.

Он взглянул на светящийся циферблат часов: была половина одиннадцатого. Да, все было бы еще освещено. Он невольно усмехнулся своей дикой мыслью.

Через пять минут они добрались до второй роты, где их встретили у распахнутого дома Потапов и Масленников.

О том, что Сабуров отправляется на рекогносцировку, Масленников знал, но не одобрял этого, считая, что рекогносцировку должен производить не Са-

буров, а именно он, Масленников. Но поскольку Сабуров так решил, и его трудно было отклонить от раз принятого решения, Масленников заранее под каким-то предлогом отправился во вторую роту к Потанову, для того чтобы на всякий случай быть под рукой именно там, откуда Сабуров пойдет. То, что Масленников встретил его, было для Сабурова неожиданным, однако, он не выразил удивления, а только улыбнулся в темноте.

— Ты уже здесь, Миша?

— Да, товарищ капитан, я...

Масленников начал объяснять, почему именно он оказался во второй роте, но Сабуров прервал его движением руки.

— Знаю, — сказал он все с той же невидимой в темноте улыбкой. — Все знаю.

Ему было приятно, что Масленников тревожился за него и вот прибежал сюда, чтобы на всякий случай быть к нему поближе. Это была та теплота, которой ему всегда не хватало в отношениях с Бабченко и которой он радовался в своих отношениях с Масленниковым.

Когда они уже двинулись, в последнюю секунду Масленников еще раз подошел к Сабурову, задержал его руку в своей и сказал тихо:

— Алексей Иванович.

— Ну?

— Алексей Иванович, — повторил Масленников.

— Ну, что?

Но вдруг Сабуров понял. Масленников потянулся к нему, чтобы обнять его. Почувствовав это, Сабуров обнял его сам, первый, потом быстро повернулся и пошел. Масленников смотрел ему вслед.

Не то что предчувствие, и даже, пожалуй, не опасение, а какая-то безотчетная тоска, так часто оправдывающаяся на фронте, немела сегодня сердце Масленникова уже с самого утра, когда он узнал о предстоящей реконструкции.

Сначала шли не прячась — темнота ночи позволяла это. Потом Петров неосторожно брякнул дулом автомата о стену. Все трое замерли и притаились, ожидая посланной паузгад, в направлении шума, пули. Но никто не стрелял. Тогда они пошли дальше.

Дождь все еще накрапывал. Стало холоднее. Ночь уже не казалась такой мягкой и спокойной, как вначале. Далеко за домами, лесом, поблескивали вспышки ночной перестрелки.

Когда прошли шагов полтора-два, пришлось продвигаться вбок между развалин, по переулку, который был весь такой, словно здесь произошло землетрясение. Кроме обрушившихся вкось стен, превративших переулков почти в овраг, на земле среди кирпичей валялись самые разнообразные, иногда странные на ощупь, вещи, — обломки мебели, осколки посуды, разбитая ванна, искореженный самовар, о задравные края которого Сабуров оцарапал руку. Так они пошли еще минут пять, может быть, восемь.

Васильев, двигавшийся впереди, не торопился. Но его расчетам им оставалась примерно сетка шагов до того места, где их ждали немцы.

Хотя расстояние между русской и немецкой линией было очень небольшое, — кое-где раздвигалось до 200 метров, а кое-где сближалось на 50, по лобиться приходилось извилистыми проходами, среди обломков, по существу проползая вдоль между обеими линиями и в каждую отдельную секунду

трудно было точно разобраться, от кого они сейчас ближе находятся,— от своих или от немцев.

Васильев весь подобрался. Ползти оставалось совсем мало, и теперь надо было только дотерпеть всего две или три минуты.

Что до Сабурова, то он шел и полз привычно и, пожалуй, даже немного рассеянно,— с рассеянностью человека, которому все известно заранее и остается почти автоматически сделать то, что нужно, а именно доползти, осмотреться, принять решение на завтра и снова так же спокойно поползти обратно.

Так они шли и ползли до тех пор, пока с ними не произошла одна из тех нелепостей войны, которую не могли предвидеть ни немцы, ни русские, ни Васильев, ни Сабуров — никто, и которая тем не менее все-таки произошла. Когда, по расчетам Васильева, они подползли уже на полсотни шагов к цели, над головами их вдруг раздалось знакомое, похожее на шум мотоцикла стрекотание мотора ивчного «Х-2». Несколько как из горшка высыпанных мелких бомб, со свистом пререзав воздух, разорвались кругом них. В этом не было ничего удивительного: они находились на «ничьей» земле, и летчик недобросил бомбы всего на пустяк.

В тот момент, когда рядом с ними разорвались бомбы, Васильев полз впереди, Петров рядом с ним, а Сабуров, готовясь вслед за ними опуститься на колени, чтобы ползти, стоял у полуобвалившейся стены. Ближайшая бомба упала рядом со стеной, в угол, под корень ее. Обломок стены качнулся и рухнул на землю, покрыв кирпичами Сабурова. Кирпичи упали на Сабурова сбоку, как обвалившиеся детские кубики. Падая, Сабуров закрыл глаза. От этого удара, от силы взрыва и рванувшегося на него воздуха ему показалось, что все кончено, что он убит. Но, когда он упал и сразу же открыл глаза, он почувствовал не смерть и не слабость, а только тяжесть навалившихся на него кирпичей, а в носу и во рту вкус кирпичной пыли.

— Васильев,— шепотом сказал он,— Васильев.

Васильев не откликался.

— Петров,— сказал Сабуров,— Петров!

Никто опять не откликнулся. Ему показалось, что впереди кто-то шелочнулся, но, прижатый кирпичами, он не мог двинуться. В теле было непривычное чувство странной связанности, как будто его всего обкрутили канатом, оставив свободными только левую руку и голову. Кусок кирпича попал ему в лицо и на глаза текла кровь. Он дотянулся рукой и стер кровь с глаз, размазав ее по лицу.

— Васильев,— еще раз прошептал он.

— И здесь,— так же тихо сказал Васильев за его спиной.

— Здесь? — переспросил Сабуров.— Где?

— Здесь,— повторил Васильев, и Сабуров услышал, как тот ползет назад, туда, куда он не мог повернуть голову.

Когда вспышка первой разорвавшейся бомбы на одно мгновение озарила все кругом, Васильев успел заметить, что они находятся совсем близко от того условленного места, где их должны были ждать немцы. В следующую секунду его инвернуло на землю, и он почувствовал ужасную боль в боку и в бедре. Большим осколком ему разворотило все бедро. И хотя он каким-то шестым чувством понимал, что эта рана не смертельная, но в тот миг, когда он

ощутил под рукой рваное мясо, он с нечеловеческим трудом сдержал поднимавшийся в горле дикий, стонущий вопль ужаса.

Он ощущал себя, потом развел руками и всеми пятью пальцами наткнулся на окровавленную мертвую голову Петрова. От ужаса он тихо, сквозь зубы, вскрикнул и невольно поволочился по земле, чтобы хоть на шаг отползти от мертвца.

Услышав голос Сабурова, Васильев понял, что он не один остался жив, и, как он ни ненавидел Сабурова, все-таки чувством ужаса после всего происшедшего было сильнее, и он, не отдавая себе отчета, зачем это делает, чувствуя лишь непреодолимое желание быть ближе к другому человеку, пополз через камни на голос Сабурова.

— Да,— сказал он шепотом,— да, да.

Он подполз к Сабурову вплотную так, что они теперь лежали рядом.

— Ранен? — спросил Сабуров.

— Да,— сказал Васильев.— А вы?

— Не знаю,— тихо сказал Сабуров.

Васильев, пригладевшись в темноте, увидел, что из-под груды кирпичей у капитана высовывалось только одно плечо, голова и рука. Это было так страшно, что он невольно спросил:

— Раздавило?

— Не знаю,— снова тем же голосом повторил Сабуров.— У тебя индивидуальный пакет есть?

— Есть,— сказал Васильев.— А что? Перевязаться?

— Нет, мне не надо. Тебе. У меня есть пакет, но он там.

Сабуров слабо показал рукой, и Васильев понял, что индивидуальный пакет у него там, под жирничками.

— Скорее перевяжись, а то истечешь,— сказал Сабуров.

Васильев вспомнил, что и правда он может истечь кровью и умереть. Вновь появившаяся мысль о смерти на этот раз так испугала его, что он долго не мог расстегнуть трясущимися пальцами карман гимнастерки. Наконец он достал оттуда бинт, положил его рядом с собой, лежа расстегнул пояс на ватнике, задрал гимнастерку и, вытянув штаны, распорол вдоль штанину. Крови было так много, что штанина уже прилипла к телу. Развернув бинт и придерживая его одной рукой, Васильев попытался себя перевязать.

— Подожди,— сказал Сабуров.— Пододвисься.

Васильев пододвинулся. Сабуров левой, свободной, рукой взялся за кончик бинта и прижал его к ране Васильева так, чтобы не соскакивало.

— Теперь бинтуй. Обими бинтуй,— сказал он.

Васильев стал бинтовать. В эту минуту он не думал ни о чем,— ни о Сабурове, ни о немцах, ни о том, что будет. Он думал только о том, как бы скорее забинтовать себя и не истечь кровью. Когда он перебинтовал ногу и прижал бинт сверху мокрым краем ватника, он впервые подумал о том, что теперь делать. Кругом стояла тишина. Было неизвестно, то ли немцы пришли на условленное место, то ли еще придут, то ли их тоже убило бомбами. «Нет, наверное, они не придут»,— подумал Васильев. Конечно, они сочтут эти вдруг упавшие тут бомбы за провокацию и не придут. А вдруг все-таки придут? Ему хотелось встряхнуть Сабурова за плечи и спросить: «Придут или нет?». Хотя была очевидна нелепость этого вопроса. Что было делать, что делать?

Он чувствовал, что с этой раной он не в состоянии ползти ни в ту, ни в другую сторону. Кругом железо, камни, жечь,—ему не доползти. Если бы было поле, тогда другое дело, но здесь ему не переползти: он изорвет бинты и изойдет кровью. Крикнуть? Может быть, в самом деле крикнуть? Но кто первый услышит? Немцы? Он хорошо знал их: они не пойдут на крик. Они решат, что это ловушка, засыпят это место минами, а их убьют наверняка. Наши? (Он все еще по привычке думал: «наши»). Но если они даже и придут, то, значит, снова все сначала,—снова оставаться здесь. И немцы опять-таки могут услышать и начать стрелять. Нет, кричать нельзя было, ни в каком случае нельзя. Что же делать? Ждать? Может быть, немцы все-таки придут на условленное место. Не испугаются. Тогда все будет хорошо. О, как тогда будет хорошо. Он услышит, когда они подойдут совсем близко, услышит и скажет им. Это будет скоро, через каких-нибудь пятнадцать минут, а может быть, даже через десять... А если не будет? Что же, если не будет, он поползет к ним сам. Он будет ползти долго, очень осторожно, так, чтобы не умереть. Только так, чтобы не умереть. Тут он вспомнил про Сабурова. Поползти? Тихо, ничего не сказав ему, поползти и потом сказать немцам, где он лежит. Нет, нельзя. Вдруг Сабуров закричит, когда он будет ползти и по ним обоим начнут стрелять немцы? Или нет... Еще хуже, вдруг он, Васильев, поползет и от потери крови умрет по дороге, а за этим вот, который останется здесь, приползут русские, и спасут его. Он, Васильев, умрет, а этот останется жив. Нет, только не так. Надо ждать, терпеливо ждать, пока это можно. А потом, если он не дождется, он что-нибудь сделает. Он убьет Сабурова, чтобы тот не мог крикнуть, чтобы тот вообще ничего не мог. А потом отдохнет и тихо поползет к немцам. Да, только так.

— Ну как?—спросил Сабуров.—Лучше?

— Немножко лучше,—сказал Васильев.

— Полежи, отдохни.

Васильев увидел, что Сабуров берет свободной рукой маленькие обломки лаваливших его кирпичей и тихо, один за другим, откладывает их в сторону. Раз, два, три. Он сделал так раз пятнадцать, потом рука его бессильно опустилась, и он глубоко вздохнул.

— Устал,—сказал он.—Долго не могу. Ты отдышись, ты мне поможешь, а потом вместе поползем.

Васильев молчал. «Нет,—подумал он,—не закричит. Он тоже знает, что если закричит, то немцы будут стрелять. Он не закричит. Он будет лежать и вот так снимать с себя по одному камешку. Долго, долго... Так долго, что все равно не успеет».

— Лежи, лежи,—тихо сказал Сабуров.—Отдыхай.

Он снял с себя еще несколько обломков кирпича, один из них тихо стукнул.

— Тихе,—сказал Васильев.

— Да, да,—немного подтвердил Сабуров.—Я буду тихие.

Когда он упал, одна нога подвернулась под другую, и он сейчас чувствовал, как прямо на кости наваливалась страшная тяжесть.

— Петров убит?—спросил он Васильева.

— Убит.

Сабуров снял еще несколько кирпичей и опять вздохнул. Грудь славивало

тисками, казалось, что вот сейчас ее сдавит совсем и эти камни будут лежать не на груди, а где-то там внутри, продавив ее.

— Как глупо,— прошептал он,— как глупо!

Потом спросил:

— Как, хватит сил хоть одной рукой помогать?

Васильев молчал. Сабуров подумал, что ему, наверное, тоже очень плохо и придется разгребать камни самому. «Только бы успеть до рассвета,— подумал он,— и только бы потом хватило сил доползти».

— У тебя автомат есть?— спросил он Васильева.

— Да,— сказал Васильев.

Он тихонько подтянул к себе за ремень лежавший неподалеку автомат.

— Если немцы,— сказал Сабуров,— надо будет... надо будет,— он вздохнул.— Сначала застрели меня. Понял?

— Нет,— сказал Васильев.

Сабурову показалось, что он сказал «нет» потому, что не может себе представить, как это будет, и боится смерти, своей и чужой.

— Ничего,— сказал он.— Это на крайний случай. А мы выберемся. Ты мне поможешь разгрести, и я вылезу.

— Нет,— повторил Васильев странным, удивленным Сабурова голосом.

Васильев лежал неподвижно, прижимаясь раненым бедром к земле,— ему казалось, что так меньше вытечет крови. Он старался собраться с силами: если немцы не придут, надо будет ползти. От потери крови сто клонило к спину, трудно было поднять голову. Ему казалось, что если он полежит так десять — пятнадцать минут, то ему станет легче,— головокружение прекратится и руки тоже не будут такими слабыми, как сейчас. И сейчас он ждал и считал, как в детстве считал минуты: раз, два, три — до сотни. раз, два, три — и опять до сотни. У него не было часов, и он пробовал отсчитывать минуты, оставшиеся до одиннадцати, когда или сюда придут немцы, или станет ясно, что они уже не придут, и тогда надо будет ползти. И неизвестно, что его сейчас больше ожесточало против Сабурова: то ли, что этот человек, которого он через десять минут все равно убьет, говорил о том, как он вылезет отсюда, то ли, что Сабуров своими словами сбивал его со счета и ему опять приходилось начинать с пятидесяти: 51, 52, 53...

— Нет,— сказал он,— не вылезешь,— и отодвинулся так, чтобы Сабуров не мог достать до него свободной рукой.— Не вылезешь.

От отчаяния, от злости на то, что все так вышло, от ужасной боли и, главное, от того, что он в глубине души не был уверен, что ему удастся доползти до немцев, он сейчас думал о Сабурове особенно ожесточенно. Ему хотелось скорее, сейчас же, сказать Сабурову, что никуда он не вылезет, что он напрасно надеется и что он вообще дурак, потому что попался в эту ловушку и, главное, что вот сейчас сюда прыгнут немцы и возьмут его в плен, то есть сделают с ним то, чего он больше всего боялся. Васильев не был уверен в том, что немцы придут, но ему хотелось сказать Сабурову, что они придут, непременно придут, чтобы тот боялся и ждал.

— Никуда ты не вылезешь,— повторил Васильев отодвигаясь.— Не вылезешь.

— Почему?

— Потому... потому что убью тебя. Убью.— понижая голос, шепотом спокойно сказал Васильев.— Убью. и все.

После пережитого страха сейчас он почувствовал в себе спокойствие от того, что этот человек рядом был еще беспомощней, чем он, и не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, и он, Васильев, пусть сам раненый, пусть, может быть, умирающий, все же еще мог убить его.

— Потому что ты дурак,—еще тише сказал он.—Я завел тебя к немцам, я. Они придут сюда. Ровно в одиннадцать. Посмотри на часы. Не можешь? Ну, все равно, они сейчас придут, и все кончится, товарищ капитан.

Сабуров молчал.

— Ну, что ты молчишь? Думаешь, они не придут? Придут!

Сабуров молчал. Это начинало раздражать Васильева. Ему хотелось, раньше чем убить, ударить Сабурова, хлестнуть по глазам, по щеке, сжать кулак и сунуть ему в зубы за все, что он, Васильев, пережил в жизни с самого начала и до самого конца, до этой ночи, когда он раненый, с разорванным боком, лежал вот здесь, в грязи, под дождем... за все, что было с ним из-за этого Сабурова, из-за всех таких, как он. Нет, лучше всего было бы наступить каблуком ему на лицо. Он боялся придвинуться к Сабурову, его пугало молчание и то, что одна рука Сабурова была все-таки свободна. Он позвинул к себе автомат и положил его так, что дуло было направлено в лицо Сабурову.

— Вот убью, и все.

Сабуров молчал. Ему не хотелось ничего говорить. После первых же слов Васильева он с полной ясностью представил себе все, что произошло сегодня и что происходило раньше. Он вспомнил свои командные пункты, которые один за другим были разбиты немецкой артиллерией, вспомнил убитого Павленка и жест, с которым Васильев вытаскивал тогда из-за голенища свой пистолет. Он вспомнил все приходы Васильева, всегда с документами, с оружием. Вспомнил все, что делал этот человек, про которого говорили в батальоне, что он ходит к немцам, как к себе домой. Действительно, он ходил к ним, как к себе домой. С особенной ясностью он вдруг вспомнил свой разговор с Авдеевым после того, как тот расспрашивал Васильева о разведке и удивленное, немного безразличное лицо Авдеева, когда тот сказал: «Не знаю. Нет, пожалуй, но буду о нем писать». Он вспоминал, как на последнем командном пункте были убиты снарядом двое связистов, как они лежали на окровавленном полу, когда он вошел туда. Они тоже были убиты Васильевым. И теперь он сам лежал рядом с Васильевым, лежал, чувствуя еще в себе, под наваленными на него камнями, неутоленную силу, и не мог ничего сделать.

Он молчал. Ему не хотелось говорить. И если он часто испытывал ненависть к немцам, то все-таки даже это не могло сравниться по силе с тем, что он чувствовал сейчас. Все, что он ненавидел в течение своей жизни, лежало сейчас на расстоянии протянутой руки от него, и он не мог ничего сделать.

Сабуров легко пошевелил пальцами, сжал руку в кулак и тихо,—так, чтобы движение это было незаметным,—придвинул руку к телу. Он перестал думать о чем бы то ни было,—о своей смерти, о глупости всего происшедшего, о войне, о будущем,—обо всем. Все ушло из его сознания и осталось только одно: Васильев был от него почти на расстоянии протянутой руки, и если бы хоть на секунду исчезло это «почти», то тогда... Он попробовал пошевеливаться под камнями. Нет, так он не выгадает ни одного сантиметра. А ему нужно пять сантиметров, даже десять. Нужно, чтобы Васильев сам подвинулся к нему, хоть немного, хоть чуть-чуть.

— Что молчишь?— говорил Васильев.— Что молчишь? Боишься?

Ему хотелось, чтобы Сабуров боялся, потому что он сам боялся молчания Сабурова.

— Ты svolочь,— вдруг сказал Сабуров.

— Говори, говори,— повторил Васильев.— Говори.

Ему доставляло удовольствие то, что он вызвал Сабурова на ответ.

— Говори. Все равно в последний раз говоришь. Говори, пока не подохнешь. Слышишь? И все-вы подохнете тут. Попаля?

Сабуров попробовал еще раз пошевеливаться под камнями. Он подвинул плечо на один сантиметр, но больше ничего не мог сделать. Нужно, чтобы Васильев сам подвинулся к нему. Подвинулся, подвинулся, подвинулся. Он невольно шептал это слово. Все его желания сосредоточились на этом слове. Он стал длинно и скверно ругаться, так, как никогда не ругался в своей жизни, то повышая, то понижая голос. Он говорил Васильеву всякие оскорбления, какие только мог придумать. Он говорил, захлебываясь и задыхаясь, думал только одно: подвинулся бы, подвинулся бы, хоть немножко подвинулся бы. Его глаза пригляделись к темноте, и в этой темноте он видел искаженное лицо Васильева. Теперь Васильева злило то, что Сабуров не давал ему вставить слова, что он ругался непрерывно и, очевидно, будет так ругаться до самой смерти, не дав ему, Васильеву, сказать ничего из того, что он хотел сказать. Если раньше ему было приятно, что Сабуров заговорил, то сейчас он хотел заставить его замолчать. Наступить каблуком на рот или ударить кулаком по зубам, чтобы он замолчал.

— Говоришь,— шептал он.— Я тебе поговорю.

А Сабуров, продолжая думать: «подвинулся бы», с неестественной, подсознательной хитростью, переходил с почти громких слов на неслышимый шепот, и, когда он начинал шептать, то Васильев немного, на сантиметр, может быть на два, подтягивался к нему ближе. Он не мог привыкнуть к тому, что Сабуров говорит то громче, то тише, и все ближе и ближе придвигался и снова отодвигался, но с каждым разом (Сабуров чувствовал это) расстояние сокращалось на какую-то крошечную долю. Наконец, повернув к Васильеву лицо, набрав полный рот слюны, Сабуров плюнул. И по тому, как Васильев поднял руку и вытер лицо, Сабуров понял, что попал в него. Тогда он еще раз плюнул. Васильев придвинулся, поднял руку и со всего размаха ткнул Сабурова кулаком в зубы. Он мог бы сделать это автоматом, но ему хотелось именно кулаком,— так, чтобы почувствовать, как хрустнут зубы, и это было его ошибкой. Сабуров вдруг вскинул руку, опустил ее Васильеву на грудь, схватил его за гимнастерку, рванул к себе, отпустил, перехватил руку и вцепился ему в горло. Все тело Сабурова, зажатое под камнями, напряглось в этом одном движении, которое все сосредоточилось в левой руке. Он сдвинул горло Васильева так, что тот инстинктивно выпустил автомат и поднял обе руки к горлу, чтобы отцепить эти мертвой хваткой взявшие его пальцы. Но пальцы не разжимались. Рука все крепче и крепче сжимала горло Васильева. Васильев сначала отрывал руку, потом парализовал ее потяжи, Сабуров слышал, как он хрипел и, не чувствуя боли, все крепче и крепче сжимал пальцы.

Когда Васильев перестал хрипеть и по его горлу прошла судорога, Сабуров не сразу разжал пальцы. Он подождал, почти теряя сознание от страшной боли во всем теле, может быть, минуту, а может быть, пять, пока не понял, что эта тишина окончательная и то, что зажато в его пальцах, уже никогда

не дрогнет и не дернется. Тогда он разжал пальцы и открыл глаза, которые от напряжения все время были зажмурены. Небо над его головой было такое черное, словно он ослеп. Дождь (он только сейчас это заметил) все еще шел. Рука онемела, он придвинул ее к телу и пальцами нащупал завалившие его кирпичи. Так он лежал, то теряя сознание, то снова приходя в себя, еще пять, а может быть, десять минут... Потом, стиснув зубы, он подтянул онемевшую руку до верхнего обломка кирпича и тихо оттащил его в сторону. Потом опять зажмурился от боли, опять подтащил руку к телу, взял ею другой обломок и снова оттащил его в сторону.

Капли дождя все падали и падали ему на лицо. Хотелось стереть их, но знобство, охватившее его, не позволило ему поднять для этого руку. Она нужна была для одного: подтаскивать ее к телу, брать пальцами кусок кирпича и тихо отодвигать его в сторону, и снова подтаскивать руку, снова брать, снова отодвигать. И так до конца — до смерти, до потери сознания, — он не знал, до чего, но чувствовал только, что пока в его теле сохраняется хоть проблеск жизни, он будет делать все одно и то же движение — подтаскивать руку к телу, брать кирпич и снова оттаскивать в сторону.

Это была холодная дождливая ночь 12 октября, ровно тридцатая ночь с той первой, когда он со своим батальоном, переправившись через Волгу, вылез на этом берегу.

XIV

Стояла тишина. Это было первое, что он заметил. Ни шепот раненых, лежащих на соседних койках, ни прерывистое дыхание умирающих, ни стук сапог сиделок, ни звон аптечных пузырьков — ничто не могло нарушить ощущения тишины. Может быть, оттого, что это был госпиталь и в нем было много белых простынь и халатов, самая тишина казалась Сабурову белой. Тишина длилась уже восемь дней, казалось, ей не будет конца и ничто не может ее нарушить. За окнами падал мокрый, первый, осенний снег, и он тоже был, как тишина, белый.

Тело продолжало еще болеть. Но оно тоже болело тихо, — не скрежещущей, острой болью, как рваная рана, а тихой, щемящей. В госпитале в сущности было не так уже тихо: приносили и уносили раненых, иногда кто-то кричал, но после Сталинграда все это казалось Сабурову тишиной.

Его лечили, кормили, обмывали, но в сущности он был только один из многих, и никто тут им особенно не интересовался. Он был привезен сюда с того берега, придавленный, весь в синяках и кровоизлияниях. Теперь он постепенно выздоравливал. Это было записано в истории болезни. Но как все произошло, как его спасли, и как он остался жив, как он очнулся на этом берегу, никто не знал. Одни санитары передали его с рук на руки другим, эти другие принесли в госпиталь, и когда он спросил врача, как он тут оказался, тот только развел руками.

— Вернетесь в часть, узнаете. Что же я вам могу сказать?

Напрасно Сабуров силился вспомнить, как все произошло. Он помнил только, как задушил Васильева и как начал разгребать кирпичи, а дальше уже ничего не помнил. Ощущения ужаса, бессилия, физической боли, которые он тогда испытал, сейчас, когда он выздоравливал, уже не волновали его. Но мысль о том, что вся эта история вообще оказалась возможной, неизменно его мучила. Конечно, теоретически он знал, что на войне существуют шиш-

ны. Но до сих пор, веря вообще в возможность этого, он все же бессознательно не верил, что это может случиться рядом с ним, на его глазах. И где? Здесь, в Сталинграде, где, казалось, испытания были отмерены такой равной и тяжелой мерой для всех, что самая мысль о возможности предательства представлялась ему почти невероятной, была для него насильем над собой. И когда он вспоминал весь месяц, который он провоявал со своим батальоном, и всех людей, окружавших его,— иногда менее, иногда более храбрых, иногда ворчавших, иногда боявшихся, по так или иначе где-то в глубине души почти всегда благородных и готовых умереть за этот незнакомый раньше большинству из них город,— когда он вспоминал все, мысль о том, что Васильев был рядом с ними весь этот месяц, омрачала Сабурову его воспоминания. И если он сам, своей вот этой, спокойной лежавшей сейчас на кровати, рукой, убил Васильева и поставил точку на его существовании, то все-таки тяжелое, шепчущее недоумение, как мог дойти до этой жизни такой же в общем с виду, как он сам, тридцатилетний русский человек, не покидала его. Он мог это понять только умом, но не сердцем и продолжал думать о Васильеве даже после того, как, придя в себя, на третий день, написал обо всем, что произошло, письмо в особый отдел и, казалось, с этим было покончено.

Тишина, стоявшая в госпитале, была, пожалуй, единственным и самым лучшим лекарством, которое требовалось сейчас Сабурову; но, хотя он чувствовал себя все лучше и лучше, ему все еще ничем не хотелось нарушать этой тишины, среди которой было так спокойно и хорошо. Последние недели в Сталинграде он столько приказывал, кричал, убеждал, спорил, что сейчас невольно прослыл самым молчаливым больным в палате. Он лежал и молчал. Ему не хотелось говорить.

И даже на восьмой день, утром, когда в их палату своей легкой, веселой походкой вбежала Аня и, пройдя между рядами коек, села у его ног, ему тоже не захотелось говорить. Он смотрел на ее милое, ставшее таким усталым, лицо, на ее руки, тихо лежавшие на коленях, на ее глаза, так глядевшие на него, как будто она все время прямо, прямо шла к нему целую тысячу верст, и ему ничего не хотелось говорить. Она в первую минуту тоже ничего не сказала. Потом заговорила вдруг, сразу и обо всем. Прежде всего она рассказала о том, как, беспокоясь долгим его отсутствием, Масленников пошел вслед за ним и нашел его, лежавшим без сознания на водороге между нашими позициями и тем местом, где остались мертвые Иванов и Васильев.

И все же Сабуров не вспомнил, как он полз, даже сейчас, когда Аня рассказала ему это. Должно быть, он все-таки стащил с себя все эти кирпичи и пополз. Как странно, что он ничего не помнит.

Потом Аня рассказала, как его принесли в батальон и как она увидела его на носилках и подошла к нему.

Сейчас, рассказывая об этом, она посмотрела на него таким прямым взглядом, каким смотрят, когда уже ничего не выбирают и ничего не боятся.

— Я увидела, как вы лежите,— сказала она.— Мне стало страшно, что вы умерли. Я вас стала целовать, не знаю сколько. Потом вы открыли глаза и сразу же закрыли. И я вас еще поцеловала. Но вы уже не открывали больше глаз.

Потом Аня рассказала, как она вместе с санитарями несла его к берегу и как они переплывали на барже и в них стреляли, потому что было уже почти совсем светло.

— Совсем, как тогда стреляли. Помните?— сказала она.

— Помню.

— И я очень боялась,— сказала она.— В первый раз за все последнее время. И потом, когда переправились, я вас оставила на берегу и санитарам сказала, чтобы они вас доставили непременно в этот госпиталь, потому что я здесь потом буду, и чтобы они о вас заботились. Но, это они, наверное, забыли, потому что они должны обо всех заботиться.

— Почему вас так долго не было?— спросил Сабуров.

— Знаете, я не могла,— сказала она виноватым тоном.— Я переправилась обратно и думала, что на следующую ночь буду здесь, но переправу разбили. А потом там набралось столько раненых, что пока их всех не переправили, меня оставили с ними там. Целых шесть дней. А вы лучше себя чувствуете?

— Да,— сказал Сабуров.— Я уже сегодня сидел и даже пробовал ходить, но еще плохо. Мне, наверное, ноги придавило сильнее всего.

— Наверное — согласилась она.

Они помолчали. Потом она сказала:

— Вы знаете, мама тоже здесь.

— Вы мне говорили тогда еще...— сказал Сабуров.— Здесь, в этой деревне?

— Да. И рассказала ей о вас. Она хотела тоже притти сюда, но я пошла одна.

— А что же вы про меня ей рассказали?

— Все.

Она сказала это «все» так, что Сабуров почувствовал, что это и в самом деле очень много.

— А у меня,— сказала Аня,— вышло счастье. Вы знаете, у меня теперь тоже орден.

— Ну? — сказал Сабуров.— Где же он? Уже выдали?

— Да.

— Покажите.

Она приоткрыла халат, и он увидел у нее на гимнастерке орден Красного Знамени, только не запыленный, но с потрескавшейся эмалью, как у него, а совсем новый, блестящий.

Аня, скосив глаз, тоже посмотрела на орден. У нее был очень довольный вид. Сабуров улыбнулся. Она увидела его улыбку и тоже улыбнулась.

Он припнулся на подушке, на локтях.

— Милый,— сказала Аня, ласково дотянувшись до его плеч обеими руками и в то же время отстраняясь.— Милый,— повторила она.

Он снял одну из ее рук со своего плеча и поцеловал долгим поцелуем, от которого она покраснела, но руку не вырвала и даже не потянула к себе, а продолжала смотреть на него внимательным, счастливым взглядом.

— Аня,— сказал он, чувствуя, что в душе его накопилось так много, что если он не скажет ей о своей любви сейчас же, сию минуту, то через пять минут, когда она уйдет, он не вытерпит и расскажет об этом сестре, доктору,— пересому, кто подойдет к нему.— Аня, если бы не война...

Он хотел сказать, что если бы не война, то он сейчас же увез бы ее далеко отсюда и никогда бы больше не отпустил.

— Если бы не война, мы не встретились бы, да? Ведь да?— настойчиво повторила она, словно боясь, что он будет спорить.

— Да,— сказал он.— Я это и хотел сказать, ты угадала мою мысль.

Он первый раз сказал ей «ты».

— Я знаю, что я сделаю,— сказала Аня, непрежнему не отрывая от него взгляда.— Мне сегодня дали отпуск на целые сутки. Я вас...— Она заинулась. Она рассказывала, как он вместе «вы» сказал ей «ты», и поняла значение этой перемены, и ей, в свою очередь, тоже хотелось сказать ему «ты», но его небритое, усталое, похудевшее в дни болезни лицо было такое взрослое, почти старое, что она не решилась сказать ему «ты».

— Я вас отсюда возьму,— сказала она.

— Возьмешь? Куда?

— К маме. Вы будете дальше лечиться у мамы... У нас,— поправились она.— Вам уже, наверное, можно переехать. Мама будет за вами ухаживать. И я, когда буду дома. Я буду уезжать вечером и ночью возить раненых, как всегда, а с утра ухаживать за вами.

— Когда же ты будешь спать?— улыбнулся Сабуров.

— Потом, когда вы выздоровеете.

Ей хотелось сказать ему— неужели он не понимает, что она не может и не сможет спать, когда он будет тут, рядом, и вообще, неужели он не понимает, какое это счастье, что он рядом, и, кажется, тоже ее любит.

Но она ничего этого не сказала, только сорвалась с койки, сделала шаг к двери, потом вернулась, быстро поцеловала его в губы, неумелым, детским крепким поцелуем и выбежала.

Когда она его поцеловала и выбежала, Сабуров, ожидая услышать какое-нибудь замечание или увидеть усмешку на лицах людей, лежавших с ним в одной палате, угрюмо и выжидающе огляделся по сторонам. Но никто не заговорил и не усмехнулся. Только немолодой лейтенант с ампутированной ногой, лежавший рядом с Сабуровым, повернулся к нему и встретил его хмурый взгляд такой доброй, лучезарной улыбкой, что Сабуров невольно улыбнулся ему в ответ. Тогда лейтенант совсем повернулся к Сабурову и сказал:

— Вы знаете, очень тяжело потерять все на свете. Больше всех потерять, столько, сколько никто не потерял. Очень тяжело.

— Да,— сказал Сабуров и подумал, что сейчас, наверное, сосед заговорит о том, что ему ампутировали ногу, и нужно будет ответить что-то хорошее. А что хорошее он мог ему сказать?

— Нет, я не об этом,— сказал лейтенант, дотронувшись рукой до одеяла там, где под складками торчал обрубок ампутированной ноги.— Я переводчик, так что при моей профессии с этим можно жить, и даже, может быть, еще повезет, где-нибудь в штабе. Я о другом... В Минске у меня погибли и жена, и дочь — все. Но это тоже у многих... слишком у многих. Я даже не об этом. У меня немцы отняли еще и то, над чем я возился всю жизнь. Вы знаете, чем я занимался последние пятнадцать лет? Ну, как вы думаете?— сказал он с усмешкой.

Сабуров молча ждал, что он скажет дальше.

— Я всю сознательную жизнь занимался новой и новейшей историей Германии. Нет, я даже не хочу сейчас говорить, что я там писал в своих работах, что там было правильно, что неправильно,— чорт его знает. Я знаю только одно, что я больше этим никогда не буду заниматься, никогда. Я не

могу заниматься их историей. не могу. после всего, что я видел, и всего, что я потерял. Не могу, не хочу. Я скорее поступлю в артель инвалидов, буду после войны продавать пиво в ларьке, чем вспомню о том, что я когда-то занимался их историей. К черту! Может быть, этим будут заниматься другие, даже наверное, а я не буду. Понимаете вы меня?

— Понимаю, — сказал Сабуров.

— А у вас все еще будет очень хорошо. — вздохнув и успокоенно откинувшись на подушку, тихо сказал лейтенант. — Очень хорошо. Она сейчас придет обратно. И не сердитесь на меня за это вмешательство, за то, что я так внимательно смотрел на вас, когда она сидела здесь. Теперь мне это позволено.

Он с раздражением сильно ударил рукой по одеялу, там, где лежала бы его нога, если бы она не была ампутирована, и неожиданно грубо выругался. Потом он закрыл глаза, отвернулся и так и продолжал лежать молча, с плотно стиснутыми веками.

Сабуров тоже закрыл глаза. Ему показалось, что вот так, с закрытыми глазами, ему легче будет дожидаться возвращения Ани. Он лежал и думал об этом настойчиво, упрямо, бесконечно. И одновременно он думал о человеке, лежавшем рядом с ним. Может быть, впервые за всю войну он с такой остротой почувствовал сейчас сострадание счастливого человека к несчастному, и хотя чужое горе в эту минуту было так далеко от него, как еще никогда, но немощная жалость переполнила его душу.

Однако, что он мог сказать? Ничего. Если бы он и сказал сейчас что-нибудь сочувственное, то этот, лежавший рядом с ним человек, все равно не поверил бы ему, такое выражение счастья, он чувствовал это, было написано сейчас на его лице.

В то время как Сабуров лежал с закрытыми глазами и думал об Ане, она стояла в маленькой комнате нижнего этажа, перед главным врачом.

Главный врач принадлежал к распространенной среди хирургов категории пиников. Он был небольшой, плотный, почти толстый с румяным лицом и сильно нарисованными черными усами и бровями. Он был хорошим хирургом и еще на своем веку немало людей, но тем не менее считал своим долгом думать, что относится к медицине скептически, делал операции с подчеркнутым хладнокровием, говорил об ампутированных руках и ногах с усмешкой и любил отпускать двусмысленные шутки, не стесняясь присутствием женщины. На самом же деле это был человек нежной души и очень застенчивый. Но Аня этому не знала, и главный врач, с которым она была знакома по госпиталю уже давно, и не раз так же, как и другие, слышала его шутки, представлялся ей человеком, менее всего способным выслушать и понять то, что она хотела сказать.

Поэтому, войдя к нему решительной походкой, она вся напряглась и сжалась в комок с твердой решимостью все равно сказать то, что она хотела, и не дать ему обидеть ни себя, ни Сабурова, и, больше всего, то новое, что вошло и наполнило ее жизнь радостью.

— Николай Петрович, — сказала она, входя, еще с порога. — У меня к вам просьба.

— Надеюсь, вам ничего не нужно ампутировать, — сказал он с привычной

улыбкой.— К сожалению, этим обычно ограничиваются все обращаемые ко мне просьбы. А?

— Нет,— сказала она.— Здесь лежит... один капитан, капитан Сабуров...

— Сабуров? Ага, помню. С ушибами. Ну?

— Он выздоравливает.

— Возможно. Очень приятно. Так что из этого?

— У меня здесь мама живет в деревне.

— Тоже очень приятно. Но какое это имеет отношение одно к другому?

— Я прошу...— сказала Аня, подняв на него глаза.— Я хочу, пока он выздоравливает, взять его к нам.

У нее были такие ясные, обрекающие на молчание глаза, что главный врач, у которого с языка уже готова была сорваться обычная шутка, промолчал.

— Я его хочу взять к нам. Я вас очень прошу.

— Зачем?— уже серьезно спросил он.

— Ему там будет лучше.

— Почему?

— Ему там будет лучше,— упрямо повторила Аня.— Я знаю, ему там будет лучше. Я вас очень прошу.

— Он что, ваш родственник?

— Нет, но... мне это очень пужно. Я иначе не могу. Я хочу быть с ним вместе,— отчаянно сказала она, решившись с этой минуты на любые слова, к каким бы он ее ни вынудил, и на любые признания, даже ложные.

Главный врач считал в норадке вещей то, что у его сестер и санитаров подчас бывали романы с ранеными и выздоравливающими, и не преследовал этого, присвоив себе лишь право беззлбно, но подчас грубовато шутить над этими маленькими тайнами.

Но с такой прямой, откровенной, бесстрашной просьбой к нему обращались впервые.

Он вспомнил вдруг то, что было так далеко и давно оставлено в Иркутске,— свой дом, детей и со студенческих лет нежно любимую жену, все, с чем, связанный своей маской циника, он предпочитал никогда и ни с кем не говорить.

Он растерялся от тона разговора, от неожиданности и, главное, от глаз Ани, которая глядела на него с такой свирепой надеждой, что он почувствовал себя почти как за операционным столом во время трудной операции.

Он должен был решать судьбу чужой жизни— это было ясно. Здесь нельзя было говорить: «Посмотрим, как он себя чувствует», или: «Это не положено по правилам», или: «Надо подумать», и, к чести его, ему не пришло в голову сказать ни одну из этих фраз. Здесь можно было только сказать «да» или «нет». И он сказал:

— Да, хорошо.

Разговор оказался неожиданным коротким. Ни он, ни Аня в сущности не знали, что дальше говорить, особенно Аня, приготовившаяся к отпору. Она растерянно, в полном молчании, постояла полминуты против него и, даже не поблагодарив, тихо вышла.

Через час Сабурова в маленьком докторском «газике» перевезли на другой конец деревни— на выселки, в один из стоявших у самой воды домиков. Ниже домика протекала вода, спокойная, медленная и зеленая. Это был один

из бесчисленных рукавов волжской Ахтубы. От воды к дому маленькой аллеюшкой поднималось несколько низкорослых ив. И вода, и оголенные деревья, и вросший в землю маленький домик показались Сабурову почти такими же тихими, как госпиталь.

В комнате, разгороженной на две половины — чистую и черную, тоже было тихо. Тихо жужжали последние мухи, тихо посторонился у дверей встретивший их мальчик, тихо сидели за столом две покрытые черными платками немолодые женщины, хозяйка избы и мать Ани. Это начавшееся в госпитале ощущение тишины неизменно оставалось у Сабурова все десять дней, которые он здесь прожил.

Когда он вслед за Аней вошел в избу, хозяйка, степенно поклонившись ему, сказала «милости просим», а мать Ани сначала всплеснула руками, потом сказала «господин», потом сказала: «ой, до чего же вы переменялись» и только после этого сказала «здравствуйте».

Санитары посадили Сабурова на широкую крестьянскую лавку у стола и остановились в сомнении.

— Ничего, — сказал Сабуров, — я до кровати сам дойду. Идите.

Они вышли. За ними на свою половину ушла хозяйка, и тут Сабурову впервые за много лет показалось, что он попал в семью, которую давно знает и в которой ему очень хорошо. Он сидел на лавке у открытого окна, за окном была свежесть воды и запах прелых осенних листьев.

Вы не простудитесь? — спросила Аня. — Может, закрыть?

Нет, не простужусь, что ты! — сказал он, упрямо цепляясь за это ропотное слово «ты».

Аня подошла к большой кровати, стоявшей у огромной русской печи, разделявшей избу на две половины, открыла одеяло и стала взбивать подушки, то есть сделала то, что сестры каждый день делали в госпитале, но Сабурову казалось, что все это у нее выходит как-то особенно хорошо. Он любовался ею, и ему было почти жаль, когда она сказала:

Ну, вот и готово.

— Сейчас я перейду, подожди, — сказал он.

Мать сидела тут же, за столом, наискось, и по тому, как она на него смотрела, он понимал, что у нее с дочерью был уже разговор о нем. Мать Ани выглядела сейчас совсем не так, как тогда в Эльтоне. Она сидела молчаливо, казалось, большое горе гнетет ее, но в то же время в ее глазах была спокойная ясность. Она все видела, все измерила в своей душе и теперь только ждала, когда все это кончится.

— Да, здесь лучше, чем в Эльтоне, — сказал Сабуров после молчания.

— Лучше, — подтвердила она. — Мы тогда без памяти шли и все забыли. И родню и то забыли. Так до самого Эльтона и промахнула. А ведь тут у меня золовка. Конечно, хорошо. Разве сравнишь? Кабы под эту крышу да всю семью.

— Похудели как, — добавила она, поглядев в лицо Сабурову. (Он почувствовал, что она хотела сказать «постарели».) — Похудели, — повторила она. И сразу переменила взгляд на Аню, молча сидевшую против него за столом.

Сабуров понял, что мать этим взглядом прикидывает, как они будут вместе: он такой старый и Аня такая молодая, и ему второй раз за этот день захотелось сказать, что он не такой уж старый, но он промолчал.

— Все ездит она, — сказала мать и кивнула в сторону Ани. — Все ездит, все ездит по пять раз на дню. И когда это только кончится?

При этих словах она встала, завязала концы платка и пошла к дверям.

— Мама, мама, подожди! — кинулась к ней Аня. — Подожди. Помогти мне Алексея Ивановича уложить.

— Да я сам, — попробовал возразить Сабуров храбрясь.

Он хотел встать, но Аня уже подошла к нему с одной стороны, мать с другой, и он, опираясь на их плечи, доковылял до кровати. Ноги еще страшно ныли, на одну он уже мог ступить, но другая подламывалась от боли. Когда он лег и вытянулся на кровати, пришлось несколько раз подряд вытереть со лба испарину.

Мать вышла. Аня пододвинула скамейку и села рядом с ним.

— Ну? — сказал он.

— Хорошо? — ответила Аня вопросом на вопрос.

— Очень.

Они помолчали.

Сабуров протянул Ане руки, она взяла их обеими руками и долго сидела, глядя на него, чуть-чуть раскачиваясь на скамейке, то ближе к нему, то дальше от него. Вдруг она испуганно остановилась.

— А руку совсем не больно?

— Нет, совсем не больно.

И она снова начала раскачиваться, все время мысленно глядя ему в лицо, разглядывая на нем каждую морщинку. Это был ее человек, совсем ее. Вот он лежал здесь, в ее доме, и пусть дом был на самом деле не ее, и завтра опять нужно будет ехать в Сталинград ей, а через несколько дней, наверное, и ему, но сейчас она держала его за руки и смотрела ему в глаза, и это было так неожиданно и в то же время так долгожданно, так нестерпимо радостно, что на глазах ее выступили слезы.

— Что ты? — спросил он.

— Ничего. — Не отпуская его рук, она вытерла глаза о его плечо. — Ничего. Просто я ужасно рада.

Она отодвинула скамейку, пересела к нему на кровать, уткнулась лицом ему в грудь и заплакала. Она плакала долго, поднимала заплаканное лицо, улыбалась и снова утыкалась ему в грудь. Она плакала, вспоминая переправы через Волгу и то, как ее ранили, и как ей было больно, и как он целовал ее тогда, и как она волновалась, и как долго она его не видела, и какой он страшный был, когда его нашли, и как потом восемь дней она снова не могла попасть к нему.

Она плакала. Он смотрел на ее волосы и медленно проводил по ним пальцами.

Потом крепко и безмолвно прижал ее к груди обеими руками. Услышав шаги, он чуть повернул голову и, увидев, что вошла мать, невольно сделал движение, чтобы немного отстраниться, но Аня, наоборот, только крепче прижалась к нему, потом подняла голову, посмотрела на мать, улыбнулась и снова еще крепче прижалась к нему. И тогда его охватило чувство, которое потом уже не исчезало у него, что это навеки.

Весь день прошел, как во сне. Мать Ани входила и выходила, приготовляя все к обеду. Она хлопотала, всем видом своим стараясь показать, что дети могут не стесняться ее присутствия. Сабуров так и видел на ее губах

это слово «дети», и ему было странно, что оно может быть отнесено к нему какой-то другой женщиной, кроме его матери.

Аня, несмотря на то, что он ее всячески удерживал, убежала в госпиталь за пошкой. Она непременно хотела, чтобы он хоть немножко, чуточку выпил за обедом. Ей хотелось, чтобы все было по-настоящему. Она принесла аптечный пузырек со спиртом, и, шурясь, осторожно переливала из него в бутылку и разбавляла водой. Все эти мелочи — как она вбегала и выбегала, как разбавляла спирт, как шурилась — были бесконечно милы Сабурову. Потом, когда к его кровати придвинули стол, Аня побежала за хозяйкой избы и притащила ее. Та, не садись, церемонно чокнулась с Сабуровым, и, стоя, чинно выпила, но поморщившись, так, как обычно пьют все пожилые деревенские женщины. Потом она ушла.

Аня за обедом, сидя рядом с матерью, быстро рассказывала Сабурову разные подробности о том, как они раньше жили, о себе, об отце, о братьях, о детстве, словом все то, что раз в жизни лихорадочно говорится вдруг, разом, и только очень любимому человеку. Он полулежал, опираясь на здоровую руку, и наслаждался ее болтовней.

Он думал о том, что придет время, и она уже не будет ходить в скрипучих сапогах, и не будет таскать посылки и возить через Волгу раненых. И они вместе уедут. Куда? Откуда он мог знать, куда они тогда уедут. Он знал только одно, что, наверное, это будет очень хорошо.

О том же, что будет через несколько дней, когда он вернется в Сталинград, Сабуров думал вскользь, ему казалось, что все это как-то устроится. Может быть, даже удастся сделать так, чтобы Аня была с ним вместе в его батальоне, надо только сказать Проценко.

Он вспомнил хитрое, добродушное лицо Проценко и подумал, что, будь другое время, Проценко, наверно, приехал бы на свадьбу. «Свадьба». Сабуров улыбнулся.

— Что ты улыбаешься? — спросила Аня, чуть запнувшись на слове «свадьба». — Чему?

— Так, одной мысли, — сказал он.

— Какой?

— Потом скажу. Ты не сердись. Хорошо?

— Хорошо.

Он подумал «свадьба» и вспомнил свой блиндаж и на минуту почти ясно увидел, как он, вернувшись, сидит там за столом с Аней и рядом те, кого бы он мог позвать в этот день. Масленников, Ванин, может быть Потапов... Он представил себе их лица и невольно снова подумал: цел ли блиндаж и как они там все без него.

Ты не видела Масленникова? — спросил он у Ани.

— Видела, но только пять дней назад. А что?

— Нет, ничего, так просто подумал о нем.

Когда кончили обедать и мать начала убирать со стола, Аня снова села рядом с Сабуровым на кровать. Хозяйка принесла им большое антоновское яблоко, и они поступили так, как десятки тысяч раз до них поступали другие — стали есть яблоко вдвоем, поочередно откусывая и стараясь откусить меньше, чтобы оставить больше другому.

Потом Аня вдруг вскочила и закричала:

— Мама, погадай.

Мать отнекивалась.

— Нет, все равно, погадай.

Стол, который был уже отодвинут от кровати, опять придвинули, и мать, сказав, как водится в таких случаях, что она уже давно не гадала, да и что же гадать, раз они все равно неверящие, наконец разложила карты.

Сабуров никогда не понимал, почему черная шестерка означает длинную дорогу, а трефовый туз — казенный дом, и почему, если пиковая дама ложится к черной десятке, то это не к добру, а если выходят четыре валета, то это к счастью, но ему всегда правилась уверенность и серьезность, с которыми мама гадальки объясняют значение расклада карт.

Аня тоже внимательно следила за руками матери, раскладывавшей карты. И так как в этот день ей и Сабурову их будущее казалось ясным, то всему, о чем говорила мать, они находили объяснение. Дальнюю дорогу они объясняли, как переправу через Волгу, казенный дом, как сабуровский блиндаж, когда же мать вытащила на видное место крестовую даму, которая в сочетании с бубновым королем обозначала, что у Сабурова есть крестовый интерес, то хотя по всем правилам Аня была по крестовая, а червовая дама, они все равно решили, что крестовая дама это безусловно Аня, потому что она же медичка, следовательно с крестом. Это объяснение показалось им забавным, и они долго смеялись, пока мать не обиделась, а может быть, ей просто надоело гадать, и она стала собирать карты.

За окнами совсем стемнело. Мать, как это уже стало в обычае во время войны в деревнях, завесила окна мешками и выпила.

Сабуров, утомленный и долгим сидением и разговором, откинулся на подушку и лежал неподвижно. Аня вытащила из-под тюфяка полушубок, взяла подушку и стала стелить себе на лавке, у стены. Сабуров молча наблюдал за нею. Мать вошла еще два или три раза по хозяйственным надобностям и потом совсем ушла. Тогда Аня подошла к Сабурову, встала на колени около кровати, припала к нему, послушала сердце и шепотом сказала: «Стучит», как будто в этом было что-то особенное. Но особенное было в тишине, стоявшей вокруг, в том, что мать ушла, и они остались, и главное в том, что им предстояло долго быть вместе, и сегодня, и завтра, — всегда.

Аня стояла на коленях и целовала его. Она совсем его не стыдилась, тянулась к нему, и он чувствовал, что она полюбила в первый раз и вся ее любовь сейчас в нем, и любовь эта такая большая, что в ней тонет все остальное — чувство страха, и чувство стыда, и смутнение. Она подвинулась и села рядом с ним, потом обняла его и прижалась к нему. Он тоже крепко обнял ее и почувствовал, как у него болят руки и грудь оттого, что он крепко обнял ее, но ему было радостно: от этой боли он чувствовал ее еще ближе к себе.

— А знаешь, — сказала Аня, — у меня тоже так сильно стучит сердце. — Вот послушай.

И она потянулась к нему, так чтобы он мог послушать, как стучит ее сердце. Только такая чистая и сильная в своей прямоте и наивности девочка, не думая ни о чем остальном, могла так сказать эти слова: «Послушай, как стучит у меня сердце». Она и правда просто хотела сейчас, чтобы он послушал, как у нее стучит сердце. А когда пришло остальное, она прошептала ему на ухо такие же прямые, единственные слова, и он опять почувствовал, как он ее любит, и что он скорее дал бы отрубить себе руку, чем обидел бы

се. Но сейчас он не обижал ее — он это знал — ни тем, что целовал, ни тем, что обнимал все крепче и крепче.

XV

Он проснулся утром от шума самовара. И было странно, что это та же комната и так же мать суетится у стола, как будто все не должно было перемениться.

Аня вбежала из сеней, откуда до этого слышался плеск воды.

— Ты проснулся? — сказала она. — Я сейчас, — и она выжимала свои длинные мокрые волосы, наматывая на кулаки, совсем как тогда на пароходе, когда он увидел ее в первый раз.

Потом она снова ушла в сени. Сабуров закрыл глаза и отдался воспоминаниям. Он вспомнил все подряд, минута за минутой, со вчерашнего утра — и утро, и день, и ночь — и чувствовал, что кроме слов о любви, которые были сказаны, кроме поступков, которые свидетельствовали об этой любви, было еще что-то, из-за чего он сейчас безгранично верил в ее любовь к нему. Это было то полусознательное чувство, с которым она касалась его избитого, больного тела. Никто не мог ей сказать, ни один врач, но она каким-то чутьем знала, где у него болит и где нет, как его можно обнять и как нельзя, где ему можно прикоснуться и где невозможно. В ее ласковых руках было заключено столько любви и нежности, что он, вспоминая об этом, никак не мог притти в себя.

В четыре часа дня Аня должна была уходить. Она натянула сапоги, надела шинель, аккуратно заштопанную в трех местах, где ее пробило осколками мины, нагнула на голову шилотку и быстрым шагом, подойдя к постели осторожно, сурово поджав губы, крепко поцеловала Сабурова и так же решительно вышла.

Теперь до завтрашнего дня он ничего не будет знать о ней. За войну он привык, казалось бы, к самому страшному, — к тому, что люди здоровые, равноваривавшие, шутявшие с ним только что, через десять минут переставали существовать. Но то, что творилось с ним сейчас, не имело ничего общего с этим привычным. Впервые в жизни он не пытался на себе в этот день и в эту ночь трепет ожидания, тревогу, суеверный страх, что вот именно сейчас, когда кажется все так хорошо, с нею что-нибудь случится. Он вспоминал тысячи опасных вещей, которых он обычно не замечал. Он вспоминал переправу и берег, на котором рвутся мины, и холы сообщения такие мелкие, что если в них не нагибаться, то всегда видна голова, а Аня, поверное, не нагибается. Он рассчитывал по часам, когда примерно она будет на берегу, когда пойдет баржа, сколько она пройдет, сколько времени займет выгрузка, сколько времени понадобится, чтобы добраться до батальона, сколько минут нужно для того, чтобы положить на носилки раненых, сколько займет дорога обратно. Но эти правдивые вычисления (праздные, ибо он лучше, чем кто бы то ни был знал, как нельзя на войне угадать, что и сколько займет времени) не успокаивали его.

До Сталинграда отсюда было километров восемнадцать. Всю ночь он слышал то удалявшуюся, то приближавшуюся канонаду. Она была, как неумолчный стук часов, ею отмеривалось время. И хотя он знал, что канонада то слышнее, то глуше из-за ветра, это не помогало ему освободиться от тревоги.

Когда канонада становилась громче, ему было тревожнее, как будто грохот ее мог быть действительным мерилom опасности для Ани.

Мать Ани вечером долго строчила на швейной машине на другой половине избы. Потом она вошла с огарком, поставила его на стол и взглянула на Сабурова:

— Не спите? — спросила она.

— Нет, не сплю.

— Я тоже первое время, как она уходила, не спала, а теперь сплю. Ведь у меня трое на фронте — и если за всех не спать, то умрешь в первую же ночь. А у вас есть рошны-то?

— Есть. Мать.

— Где?

— Там.

Сабуров сделал тот жест рукой, который делали многие и по которому все сразу понимали, что «там» — значит у немцев.

— А здесь кто?

— Никого. Одна она. Что вы шили?

— Я-то? Да тут золовка ситчику дала, я и шью Аныке. Девчонка ведь все-таки. Платьице хочет одеть хоть раз в месяц, вот и шью. Но босой придется, — у нее ничего нет. Или вот эти ей дать?

Она села на стул, положила ногу на ногу и задумчиво посмотрела на свои старые стоптанные, на низких каблуках туфли. Потом подняла глаза на Сабурова и, должно быть, вспомнив их встречу, сказала:

— Тоже не свои. Добрые люди дали. Раньше у меня нога меньше была, чем у нее, а после, как сожгла, у меня ноги опухшие стали, наверное туфли ей впору будут. Как думаете?

Она спросила это так, как будто Сабуров знает об ее дочери больше, чем она, мать, и в этом маленьком, смешном может быть, вопросе было признание всего, о чем он теперь думал.

Не отвечая прямо, Сабуров сказал:

— Я встану, и мы свадьбу сделаем, — и сам улыбнулся этому слову. — Вы не рассердитесь на то, что мы там сделаем свадьбу?

— На той стороне? — спросила она просто.

— Да.

— Где вам жить, там и делайте, — сказала она примирительно. Слова «на той стороне» не удивляли ее, потому что для нее «та сторона» это был Сталинград, город, в котором она жила, и полной истины о котором, какие бы слухи сейчас ни доходили оттуда, она все-таки, в силу привычки, не могла себе представить.

— Главное, чтобы переправы этой не было, каждый день, по три раза на дню, — сказала она. — Пусть уже лучше там, с вами.

Она долго сидела рядом с Сабуровым и разговаривала о том, о чем любят говорить матери с мужьями своих дочерей, — как Аня росла, как болела скарлатиной и корью, как она отрезала себе косы и потом опять отпустила, как мать за ней ходила всю жизнь, потому что дочь-то ведь одна, и о многих иных мелочах, о которых ей было приятно рассказывать.

Сабуров слушал ее, и ему было и сладостно и грустно, — сладостно оттого, что он узнал эти милые подробности, и грустно потому, что он всего этого не видел сам, а ему, как и всем сильно любящим людям, бесконечно хотелось

быть вечным свидетелем всех ее поступков, всего, что у нее было в жизни до него.

Мать разговаривала с ним, и он чувствовал, что в ожидании он был не сильнее, а слабее этой старой женщины, сидевшей против него. Она умела лучше ждать и быть спокойнее, чем он. И даже, пожалуй, она нарочно утешала его этим разговором.

Наконец она ушла. Сабуров не спал всю ночь, и лишь часов в одиннадцать утра, когда солнце заглянуло в окно и желтой полосой легло на кровать, он неожиданно для себя задремал. Он проснулся так же, как когда-то в близдаже, от пристального взгляда. Аня сидела на кровати у его ног и смотрела на него. Он открыл глаза, увидел ее, сел на кровати и протянул к ней руки. Она обняла его и силой уложила обратно.

— Лежи, милый, лежи. Как ты спал?

Ему было стыдно за эти пятнадцать минут, которые он продремал, не дождавшись ее, но говорить, что он не спал всю ночь, он не хотел, это нарочно, огорчило бы ее больше, чем обрадовало.

— Ничего, спал, — сказал он. — Ну, как там?

— Хорошо, — сказала Аня, — очень хорошо.

Она говорила весело, но на ее оживленном лице он все-таки заметил следы страшной усталости. Веки у нее были чуть опущены, как у человека, который долго не спал и хотя совсем не думает о сне, но может заснуть в любую секунду. Он посмотрел на часы: было около двенадцати, а в четыре ей надо было уходить опять.

— Сейчас же ложись спать, — сказал он. — Сейчас же.

— А поговорить? — улыбнулась она. — Мне так хочется поговорить. Я схала на пароме и все вспоминала, что я тебе еще не сказала. Я столько еще тебе не сказала.

Она поторопилась чашку чая, прилегла рядом с ним, свернувшись калачиком, и через минуту заснула сразу, на середине недосказанного слова. Он лежал на спине, подложив согнутый локоть под ее голову, и думал. Скопие пламя, от времени до времени он поглядывал на нее, и ему казалось, что случилось невозможное — время остановилось.

Это же ощущение остановившегося времени продолжалось у него все десять дней, что он прожил здесь до своего возвращения в Сталинград. Все эти дни он не обмывал себя ни в ту, ни в другую сторону: он не старался казаться себе более больным или слабым, чем был на самом деле, для того чтобы подольше остаться среди этого счастья, и в то же время не пытался раньше времени встать.

Как человек, привыкший смирять природную порывистость, он пытался заставить себя не думать о том, что сейчас происходило там, в его батальоне. Он помнил, но не хотел мучиться этим, — все равно он не мог там быть сейчас и что пользы было ежеминутно думать об этом. Оставалось только то, с чем он ничего не мог поделать, — все возраставшее подсознательное ощущение огромности происходящей там битвы. И чем дольше он отсутствовал, тем больше нарастало и становилось тревожнее это ощущение. Он вдруг понял, какой тревогой в человеческих сердцах звучало издали слово «Сталинград».

Вести невольно доходили до него через Аню, через хозяйку, через захо-

дивших иногда из госпиталя раненых, и вести эти были перадастны. Почти каждый день он узнавал о новых взятых немцами улицах. Каждый день расстояние до Волги измерялось все меньшим количеством сотен метров. Все чаще он удерживал себя от того, чтобы расспросить Аню подробнее. Он не хотел отсюда, издали, узнавать эти подробности, а откладывал все сразу, до того дня, когда он посетит туда сам. Но когда Аня появлялась, по ее глазам, по походке, по усталости он молча делал свои собственные и, как он был уверен, правильные заключения о том, что там происходило в этот день.

Однажды,— это было на шестые или седьмые сутки, часа через три после того, как Аня ушла,— он услышал, как на крыльце кто-то называет его фамилию, потом быстрые шаги, и в комнату вошел Масленников.

— Алексей Иванович, дорогой! — торопливо закричал Масленников с порога и скорее подбегал, чем подошел к нему, остановился на минуту, решительно обнял его, расцеловал, снял шинель, подвинул скамейку и сел против него, волнуясь, вытащил папиросу, предложил ему, чиркнул спичкой, закурил, все это быстро, в полминуты, — и наконец уставился на него своими любящими ласковыми черными глазами.

— Ты что же батальон бросаешь, а? — улыбнулся Сабуров.

— Прощенко приказал, — сказал Масленников. — Пришел в полк, потом в батальон и приказал мне на ночь к вам съездить. Как вы, Алексей Иванович?

— Ничего, — сказал Сабуров и, встретив внимательный взгляд Масленникова, спросил: — Что, я сильно похудел?

— Похудели.

Масленников вскочил, полез в карманы шинели, вытащил лачку печенья, зук с сахаром, три банки американских консервов, быстро положил все это на стол и опять сел на свое место.

— Подкармливаешь начальство?

— У нас много всего сейчас. Снабжают хорошо.

— А по дороге топят?

— Иногда топят. Все, как при вас, Алексей Иванович.

— Ну, какие же ты геройские подвиги там без меня совершил?

— Какие же? Все так же, как при вас, — сказал Масленников. Ему хотелось рассказать, что и он и вообще все, ждут Сабурова, но сейчас, взглядев на похудевшее, усталое лицо капитана, он удержался.

— Как, ждете меня? — спросил сам Сабуров.

— Ждем.

— Аня через три приду.

— А не рано?

— Нет, как раз, — спокойно сказал Сабуров. — Через три дня, может быть через четыре, но думаю, что через три. Где вы сейчас? Все там же?

— Все там же, — сказал Масленников. — Только левее нас они совсем к берегу подошли, так что проход до полка теперь узкий, только ночью ходим, днем редко.

— Ну, что же, придется до вас ночью добираться. Ночью приду с ревизией. Как Ванин воюет?

— Хорошо. Мы с ним Копюкова командиром взвода назначили.

— Справляется?

— Ничего.

— Кто жив, кто нет?

— Почти все живы. Раненых только много. Гордиенко ранили.

— Сюда привезли?

— Нет, остался там. Его легко, но зато в четырех местах сразу ткнули. А меня все не ранят и не ранят,— оживленно закончил Масленников.— И иногда даже думаю, наверное, меня или так никогда и не ранят или уж сразу убьют.

— А ты не думай,— сказал Сабуров.— Ты раз навсегда подумай, что это вполне возможно, и потом уж каждый день не думай.

— И так и стараюсь.

Они целый час проговорили о батальоне, о том, где кто расположен, что переместилось и что осталось попрежнему.

— Как блиндаж?— спросил Сабуров.— Все на том же месте?

— На том же,— сказал Масленников.

Сабурову было приятно, что его блиндаж все там же, на старом месте. В этом была какая-то незыблемость, и, кроме того, он подумал об Ане и о своих словах про свадьбу в блиндаже.

— Слушай, Милан,— неожиданно обратился он к Масленникову.— Ты не утонул, что я не в госпитале, а здесь?..

— Нет. Мне сказали.

— Что тебе сказали?

— Все.

— Да. Я очень счастлив,— помолчав, сказал Сабуров.— Очень, очень.

— А помнишь, как она сидела на барже и волосы выжимала, и я сказал тебе, чтобы ее шинелью накрыли. Помнишь?

— Помню.

— А потом мы пошли, а ее уже не было.

— Нет, этого не помню.

Ну, а я помню. И все помню... Я тут думал просить,— добавил он после паузы.— чтобы ее сестрой в наш батальон взяли, а потом как-то сердце ахнуло.

Почему?

— Не знаю. Боюсь испытывать судьбу. Вот так она ездит каждый день и цела, а там... не знаю. Страшно самому что-то мелять.

Сабурову очень хотелось продолжать до бесконечности говорить об Ане, но, удержавшись, он сразу оборвал разговор и спросил:— А Проценко, как он выглядит?

— Ничего,— сказал Масленников.— Смеется, как всегда, даже чаще.

— Это почему,— сказал Сабуров.— Значит, нервничает.

— Почему нервничает?

— Когда ему тяжело, он смеется чаще, чем обычно. Да, главного-то и не спросил. Кто командир полка?

— Совсем новый, майор Попов.

— Ну, как?

— Ничего, пожалуй, даже хорош. Лучше Бабченко.

— Тоже храбрый?

— Тоже храбрый. Да, к тому же и спокойный. И не угрюмый, веселый, под стать генералу. Кстати, они как-то где-то вместе раньше служили.

— Даже наверное. Генерал никогда не забывает своих старых сослуживцев. Это вообще-то хорошо. Этого у нас иногда нехватает.

— Чего?

— Памяти.

Так они поговорили еще минут десять, после чего Масленников вдруг заторопился, и Сабуров прочел на его лице новое выражение взрослой ответственности. Масленникову было не по себе, что его долго нет в батальоне. Он заторопился и с этой минуты уж отсутствовал: он был уже там, на той стороне...

— К вечеру,— сказал Сабуров,— через три дня. Чаю вскипяти. Я тут самовар сватал,— кивнул он на стоявший в углу самовар.— Хотел вам в блиндаж подарок привезти. Не отдают. Ну, или, или. Передай всем привет! Она сегодня в дивизию поехала. Может, и у вас там будет.

— Ну? Что же передать?

— Что передать? Чаем напои, а то она сама не догадается. Или. Не прощаюсь.

Через день после прихода Масленникова Сабуров в первый раз встал и попробовал ходить. Ноги ныли, подламывались. Чувствуя слабость и головокружение, он вышел на улицу и немного постоял у калитки, прислушиваясь к далекому артиллерийскому гулу.

Аня с каждым днем приезжала все позднее и уезжала все раньше. По ее усталому лицу он видел, как было трудно, но они не говорили об этом. К чему?

Доктор, по просьбе Ани забежавший к Сабурову на минуту из госпиталя, не стал осматривать его, только профессиональным движением пощупал ноги у колен и лодыжек, глядя ему в лицо и спрашивая, больно ли. Хотя на самом деле было больно, но Сабуров к этому приготовился и сказал, что не больно. Потом он спросил, когда завтра уходят грузовики к мостовому. Доктор сказал, что, как обычно, в пять вечера.

— Что уже удирать от нас собирается?

— Да,— сказал Сабуров.

Доктор не удивился, не стал спорить и возражать. Он привык: здесь, под Сталинградом, это было в порядке вещей.

— Советую еще денек переждать, если терпение есть, а там как хотите,— сказал он.— Все равно же уйдете.

— Уйду,— сказал Сабуров.

Доктор пожал плечами.

— Как хотите. Только лучше все-таки день подождать, если нетвердо себя чувствуете на ногах. У меня один третьего дня выписался и вернулся. не рассчитал своих сил. Как бы и с вами не было так.

— Я рассчитал,— сказал Сабуров.

— Грузовики уходят в пять часов. Но вы все-таки помните, что не все-все здоровы.

— Я помню.

— Ну, ладно, пока,— сказал доктор, вставая и пожимая ему руку.

Сабурову вдруг захотелось созерничать: задержав на секунду в своей руку доктора, он пожал ее, не изо всей силы, но все-таки достаточно крепко.

— Ну вас к чорту!— сказал доктор.— Я же говорю, поезжайте. Что вы мне доказываете?— и, потирая пальцы, он повернулся и пошел к двери.

Когда Аня приехала, Сабуров сказал, что завтра он возвращается и

Сталинград. Аня промолчала. Она даже не сказала, не рано ли, и не просила его остаться еще на день. Все эти слова были бы лишними между ними.

— Только вместе, — сказала она. — Хорошо?

— Я так и думал.

Весь день она была тиха и задумчива и хотя очень устала, но на этот раз ее не клонило ко сну. Она молча сидела рядом с ним, гладила его по волосам и внимательно рассматривала его лицо, словно стараясь лучше запомнить.

Она так и не заснула, а он задремал на полчаса, и она его разбудила тогда, когда ей нужно было уходить, еще раз грустно погладила его по волосам и сказала: «Пора мне». Он встал, проводил ее до ворот и долго вслед смотрел, как она торопливо шла по улице.

Утром Сабуров сложил в вещевой мешок свои немногочисленные вещи.

Ани не было особенно долго. Он несколько раз выходил на дорогу, а она все не шла. Было уже два часа, ее не было; потом три, потом четыре.

В половине пятого он уже должен был двигаться, чтобы не опоздать на попутный санитарный грузовик. Он вышел еще раз на дорогу, долго там стоял, потом вернулся в избу и, присев к столу, написал короткую записку о том, что едет не дожидаясь ее.

Сначала он хотел подписаться «Сабуров», но это было как-то официально, потом «Алеша», но это было непривычно, тогда он написал только букву «А» и поставил точку.

Потом он простился с матерью Ани. Она не всплескивала руками, не сетовала, а приняла его отъезд спокойно. Наверно, это спокойствие было их семейным качеством.

— Но дождетесь?

— Нет, уже ехать надо.

— Ну, поезжайте.

Она на секунду к нему прижалась и поцеловала его в щеку. Только в этом и выразилась вся ее тревога и волнение за него и за дочь.

Без десяти пять, взглядываясь в каждого встречного, он пошел по направлению к госпиталю. Накануне мальчишки срезали ему толстую вишневую мякоть, и он шел, прихрамывая и тяжело опираясь на нее.

Грузовики двинулись в начале шестого. Его хотели посадить с шофером в кабину, но он сел в кузов, надеясь, что оттуда скорее увидит Аню, если она выстрелит по дороге. Он ехал, лежа в кузове и выглядывая с левого борта, рассматривая все встречные машины. Но Ани на них не было.

К вечеру стало совсем свежо, он нагнул поглубже фуражку и поднял воротник шинели.

Через три километра они свернули на главную магистраль, ведущую из Рынтона к переправе. Дорога была много раз разбита и столько же раз снова мочинена. Она любиловала ухабами, и грузовик сильно трясло. Ноги сильно ударялись о днище кузова. В воздухе на большой высоте шли последние, вечерние, воздушные бои. Немецких самолетов было много. Наши появлялись только изредка двойками и в одиночку.

В воздухе, видимо, было так же тяжело, как и на земле. Пока Сабуров ехал, немцы два раза бомбили колонну. К переправе шли грузовики, доверху набитые ящиками со снарядами и минами, коровьими тушами, мешками с чем-то белым, очевидно, с сахаром.

По обочинам дороги почти через каждый километр на столбах были вперемежку прибиты фанерные листы то со строгими указаниями о соблюдении правил движения, то с патриотическими четверостишиями.

Войск на дороге почти не было, только два или три раза грузовик обогнал тягачи с дальнобойными пушками.

Сабуров продолжал вглядываться во все встречные машины, но Аня не было.

В прибрежной слободе, у переправы, он увидел прямо на улице еще дымившиеся обломки «Мессершмитта». Обогнув их, грузовик выехал в самой переправе. Пемцы вели по слободе методический, хотя и довольно редкий огонь из тяжелых минометов. Все, пожалуй, внешне было так же, как и раньше, когда Сабуров переправлялся здесь в первый раз, только стало холоднее. Волга так же стремилась свои воды, но они были уже скованные, тяжелые, и чувствовалось, что не сегодня — завтра пойдет сало.

Когда, оставив грузовики, все спустились пешком в самой переправе, к которой в это время подходил маленький пароходик с баржей, Сабурову стало ясно, что на этом берегу встречи с Аней уже не будет. Он сел на песок и, перестав оглядываться по сторонам, с удовольствием закурил. Ему всегда казалось, что делается теплее, когда закуришь.

Пароход привалил к пристани. Метрах в ста, сзади на берегу, разорвалось несколько мин. Несколько мин плюхнулось в воду. С парохода и баржи вереницей тащили носилки с ранеными. Сабуров безучастно сидел и ждал. С разгрузкой и погрузкой торопились, но кругом стояло куда меньше шума, чем тогда, когда он переплывал в первый раз. «Привыкли», — подумал он. Все кругом делалось быстро и привычно. И город на той стороне, когда он посмотрел на него, показался ему тоже привычным, и он удивился, что так долго там не был, — целых восемнадцать дней.

Предъявив документ коменданту по погрузке, он уже двинулся по сходям, ведущим на полуразбитую баржу, служившую пристанью.

В эту минуту его окликнула Аня.

— Я знала, что увижу тебя здесь, — сказала она. — Я знала, что ты не будешь меня ждать, что ты все равно уедешь в ночь. Верно ведь?

— Верно.

— Я приехала еще с той баржей и размещала раненых, а потом стала ждать тебя. Мы вместе сейчас поедем туда.

— Хорошо. Смотри, — сказал Сабуров, взяв ее под локоть и указывая на тот берег, — меньше ведь стало дымиться, верно?

— Верно, меньше.

— А грохот больше.

— Да, больше, — согласилась она. — Ты отвык от него.

— Ничего, привыкну, — и он улыбнулся.

— Пойдем.

Они пошли по шатким сходям, сначала на баржу, а с нее перелезли на пароход. Аня первая перескочила на борт парохода и подала Сабурову руку, чтобы помочь влезть. Он принял ее руку и тоже перескочил, с неожиданной для себя ловкостью. Нет, он был прав, что поехал: он был здоров, почти здоров.

Пароходик отчалил. Они сидели на борту, спустив ноги за борт и при-

держиваясь за поручни. Внизу колыхалась, кое-где поблескивая первыми льдинками, по-осеннему сердитая Волга.

— Холоднее стало,— сказала Аня.

— Да.

Им обоим не хотелось говорить. Они сидели, прижавшись друг к другу, и молчали.

Пароход приближался к берегу. Все внешне было как прежде, и город откуда был почти тот же. Казалось, ничто не переменилось в пейзаже и вообще ничто не переменилось, если не считать, что в их жизнь вошло то, чего не было тогда ни у него, ни у нее: они оба знали это про себя и молчали.

— Хорошо,— вполголоса сказал он.

И она также вполголоса ответила:

— Хорошо.

Берег уже приближался.

— Готовь чашку!— крикнул пропитой, хриплый волжский бас, точно такой же, как и тогда, полтора месяца назад.

Пароход причалил к пристани, еще более разбитой, чем там, на другом берегу. Сабуров и Аня сошли одни из последних, и, хотя им до полка предстояло еще дообраться вместе, но Сабурову показалось, что ему долго не придется теперь сделать того, что ему так хотелось сейчас: он притянул Аню, сначала поглядел ее по волосам, потом поцеловал и отпустил. Они пошли рядом. Пришлось взбираться вверх, по темному, изрытому воронками откосу. Он иногда оступался, но шел быстро, почти не отставая от нее. Под ногами его опять была земля Сталинграда — та же самая холодная, твердая, не изменившаяся за этот месяц, все еще не отданная немцам земля.

(Окончание следует)

65

Законы материнства и борьбы —

священны,
ни смерть, ни горе их не победит.
Все движется рывками, трудно, туго.
Наш путь вперед! Нет счастья без
беды.

Германия, ты кровь пила — ворюга!
дождешься: не допросишься воды.

Зарвалась ты — да отвечать

придется,
Ой, громыхнешь с горы на всех парах.
Все изменяется и лепится и мнется,
как глина мягкая у скульптора в руках.

А скульптор — сам народ, и он стоит,
не гнется.
Он хочет жить. На воле хочет жить.
Все поднимается, встает, растет,
сместся,
И мертвому тебе — живых нас не
убить.

...Оркестр играл. В соседний переулок
Процессия печально повернула.
Сверкнули заводские окна. Высь
приподнялась, стремительные сабли
прожекторов скрестились, обнялись
и в облаках тревожно шарить стали...
Словых веток лапчатых свисали
обрывки снежной пены...

Все обновляется, меняется и
рвется,
исходит кровью в ранах, в грудь,
стенах, бьет,
песком заносится и пылью
обдаётся,
и зелеными из земли опять
встает.

Вот и ров
и кладбище. Копей остановили.
И приподняли гроб. Тогда с дерев
посыпалась вдруг ледяная крупа,
позвывая. И от льдышек хрупких
стонала тишина. И я под гроб
плечо подставил. Медленно, неловко

скользили мы с сугроба на сугроб.
Нас обгоняли люди — кто с веревкой,
кто с заступом (спешила жизнь
сама!), —

их настигала хлопьями зима.
А люди шли, подолгу застревая
в снегу, — точь-в-точь как мы. За
темнотой —
кресты. Мы с вашей ношею святой
пришли на пустошь. Стали мы у края
глубокой ямы. Гроб спустили с плеч
и осторожно на сырую глину
поставили его.

— Возмездья меч, —
так начал речь оратор: — Украину
и всех нас спасе. (И загудела даль.
Упала мать у края темной ямы:
— Откройте гроб. Сыночек, ручку
дай!

Зачем заколотили гроб гвоздями?!
За ней жена не плачем начала,
а хохотом рыдания: — Мой сокол,
Степан, проснись!)

— Врага карать жестоко! —
сказал оратор: — пусть же черо зла
ответит враг. В бой! Нет, никто не
в силе

нас побороть. Непокорим народ!
И нам повстанец руку подает
из Югославии. И громко зазвенели
повстанцы в Польше — острые ножи
уж готовы. Встало Закарпатье.
Кипит и Чехия. Бой не на жизнь, —
на смерть. И многократное проклятье
над головой врага занесено.
Тот будет жить, кто был отважным
своим

страны своей. —

Мгновение одно
молчал оратор. — Он за Украину
Замучен был... И вот лежит — левый
(Жена и мать рыдали. Крики,
стоны —

с്മешалось все. Окутанные тьмой,
стояли мы, как тени. И каленый
сухой иглой мороз нам душу жег.)

— Герой не умирает. Подвиг — дело
все новых дел и подвигов — залог!
И после смерти он зовет нас: смелее!

Раздался залп. Он воздух так качнул,
как будто буря в землю нас вдавила.
Вдруг плач и крик и стон... И тяжелый
гуд

промошый прокатился... Проглотила
земля Степана. Стали засыпать
побитый гроб. И глухо отвечал он.
И стон родных вновь начал повторять
рыдающе оркестра. Лишь сняла
лосада вверху...

А трубы, трубы плакали.
Тарелки звонко звякали.
И барабан бил в грудь свою —
Кто славню пал в бою?

Уж выплакался я!

Но знаю: с кем и как я возвращался.
Фосфоресцировала вся земля...
И рыкнем в душе моей раздался...

*Все обновляется, меняется и
рвется,
исходит кровью в ранах, в грудь,
стенах, бьет,
ветрами заносится, и пылью
облится, и зелеными из земли
опять встанет.*

Лугой пришел я во дворе
и снегу еще торчит мой лопата.
И в странной высоте —
как на горе! —
такая тишина!
зеленоватый
далекий звездный свет
Сияй, свети! Мы горе перебором;
священной мести мы перлы законам
и ластуном в могилу вместе с перем
вратов законам.

*Все поднимается, встает, ра-
стет, смеется.*

Мы живы. День победы недалек!
Слова: «войны окончен срок» —
нет, не произнесут уста,
пока не захрустит последний позвонок
фашистского хребта.

Хотя и тяжело нам!
У каждого — жена или мать.
Но не дадим себя врагам
созрять.

Дома
на жесткую постель я бросился и —
замер.
закрыв глаза. Вокруг — все тихо...
тише...
...И катафалк проплыл перед глазами.
И я услышал —

*Все поднимается, встает, ра-
стет, смеется.*

И я услышал —

*Все в новые на свете формы пе-
реходит,
и мертвому тебе — живых нас
не убить.*

И — будто бы — Степан поднялся,
ходит
бок о бок с Ярославом, Жить нам!
Жить!

И в поле тракторы гудят. И вьется
над полем жаворонок. И летит
на конях молодое поколение —
сюда, сюда... Ведущий говорит:
— В руках у вас великое умение:
бороться побеждая. И не раз
потомки в песнях будут славить нас.
Вы — победители. Страданием, горем
болея народ. Мы горе перебором.
Мать Ярослава и Степана мать
им выпесли воды. И люди пили.
И вдруг ряды сомкнули: побеждать! —
и полетели в бой. Никто не в силе
нас побороть. У неба в глубине
гудели эскадрильи...

В испуге
проснулся я. Темно. И в тишине
по окнам зачастили когти вьюги.
Она скреблась по стеклам. Со всех ног
бежала по сугробам. Стойте! Где я?
И вдруг припомнил все. И я не мог
заснуть: непобедимая идея
свободы, человечности, тепла —
меня, словно дитя, приподняла.
И стало видно все, как на ладони:
Еще мы будем жить — и ты и я!
Взвьемся мы плушем вверх по
колонне!

Мы города отстроим! И сады
посадим! Жизнь и счастье будут вновь.
А Гитлера кровавые следы
бурьаном порастут. И наша совесть
заявит: суд идет! палач — с пути!

Мы живы! Наше бытие — нетленно!
Среди живых ты — мертв! Ты мертв!

И вдруг буря как засвистит,—
буря — неугомонная сирена...

Я вслушивался. Захотелось мне —
на берега Днепра — все дальше, выше...
И снег по стеклам скребся в тишине...
И я услышал —

как трубы где-то плакали,
тарелки тихо звякали
и барабан бил в грудь свою:
— Ты славно

пал —
в бою...

Перевел с украинского
ЛЕВ ОЗЕРОВ

Я. КИСЕЛЕВ

ТРИ РАССКАЗА

РАВНЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ

Рудольф Брунер был несомненно способный историк. Он так хорошо знал людские дела, что ему никогда не бывало скучно заниматься ими. Ценил же их Брунер умел по-своему. Он написал книгу о неудачниках; но будь у Брунера отвращения к крикливости, он назвал бы ее книгой о Великих Неудачниках.

Когда Брунер писал ее, он только восстанавливал справедливость. Разве не нужно было исторгнуть из забвения ученого, который оставил в черновиках своей работы гениальную догадку? Пойди он вслед за догадкой, и самолет родился бы на сто лет раньше. Но ученый, истинный ученый, он больше всего ценил точность и осторожность, и он не позволил догадке сойти с полей черновиков. Пусть дует ветер неоткрытых земель, ученый найдет в себе силы замолнуть перед ним двери.

Ученый не был одинок. Книга Брунера была переклячкой достойнейших, но обойденных славой.

Славу у них отобрали их собственные, действительно великолепные достоинства: сдержанность, точность, нелюбовь к неизведанному. Она были неудачниками, но, поистине, как много нужно иметь достоинств, чтобы стать неудачником!

Пусть чтят Колумба, невзначай открывшего Америку, Брунер вдвое больше чтит бы Колумба, который отказался бы от плавания, где рулевым был только случай.

Есть ли мужество выше этого?

Брунер был, очевидно, отменно вежливый человек, он умел приятнейшим образом объяснять поступки — и чужие и свои.

Книга Брунера вышла в свет. Слава прошла мимо.

Снисходительный Рудольф Брунер без труда простил людям, что их не убедила его книга, но и себя ни в чем не обвинил.

Вскоре от Брунера потребовалась вся его снисходительность.

Когда нацисты пришли к власти, Рудольф Брунер не был в числе обманутых. Брунер стал реже выходить из дому. Когда шел по улице, то замечал, что понольпо жмет к стенам.

Брунер, если встречал нацистские отряды, не заводил ненужных споров и потирал приветственно руку, но в глазах, конечно, только в глазах, таилась усмешка; Брунер ею вознаграждал себя за вынужденный жест.

Иногда Брунер решался и на борьбу. Он на уроках рассказывал ученикам: — У слабого и несчастного короля был министр, Гизо. Министр был всемогущ и все время боялся потерять власть. Гизо был страшен потому, что он боялся.

Когда Брунер говорил о Гизо, он был тайне горд собой, он сводил счеты за то, что улицы ему больше не принадлежали, может быть, Брунер вновь говорил себе: «Я расплатился!»

В июле сорок первого года Брунер был призван в армию и направлен на восточный фронт. В своей части он был одинок, спокойный, замкнутый, и в меру услужливый человек. Брунер был старше многих в полку и, если он не усердствовал в непосильных для человеческой совести делах немецких солдат, то до поры до времени отпускалось ему: годы не те!

К самому захвату села Знаменского Брунер опоздал.

Ранним утром на село, еще с вечера оставленное советскими войсками, первыми налетели немецкие мотоциклисты. Они нарочно не глушили своих машин, строчили из пулеметов и автоматов и, блюди приказ, пугали обезлюдевшее село.

У себя во дворе Наталья Косенко торопливо закладывала лошадь в телегу. Ночью она не смогла уехать из-за болезни дочери. Услышав стрельбу и многоголосый вой, Наталья бросилась в хату. На пороге ее догнала вражеская пуля.

Хата досталась Брунеру и двум младшим офицерам части, Пильграу и Грейштееру. Но их обоих сразу же послали вперед для связи, и Брунер, на деле, оказался здесь единственным жильцом. Он отодвинул тело мертвой женщины, подивился красоте ее лица и вошел в хату. Он прислушался: ни шороха! Не выпуская из рук автомата, Брунер остановился: его встревожила высокая печь. Брунер не мог разглядеть, есть ли кто на ней. А сам он был весь на виду, это было хуже всего! Печь глядела на него своим широким разинутым отверстием, и Брунер понял: нужно решиться! Он рывком достиг печи, вскопчил на лежанку, напряженный, уже наперед злой и увидел: на печи никого не было, хата была пуста.

Вечером Брунеру, одному в тихой хате, казалось, что фронт отодвинулся далеко, что о нем можно забыть, как, впрочем, и о страхе. Мысли Брунера были мирные и приятные. Он вел счет. Брунер бы его никогда и никому не открыл. На бумажке, которую он потом разорвал, Брунер выписывал длинным столбиком буквы. То был счет радостям, которые сами давались Брунеру в руки и от которых он отказался.

Буквы означали: и теоретические находки, и разгаданные вытриги ученых коллег, и встречи с влиятельными людьми. Буквы означали: он мог, теперь он ясно видел, он мог получить место в столичном университете!

В длинном столбике некоторые буквы были пинцалами женщин, которые ему нравились и прошли мимо. Теперь-то до него доходил сокровенный смысл как бы случайно оброненных слов, жестов и совпадений; женщины сами шли ему навстречу, а он-то?

Счет несбывшихся радостей рос и рос и наполнял Брунера гордостью. Рудольф Брунер не испытывал сожаления; возможности, хотя бы и упущенные, — они неопровержимо удостоверяли ценность Брунера. Мысль о том, что могло бы быть, радовала его больше, чем память о том, что было.

Он снова уснадал в себе мыслителя. Брунер рано лег в постель, он ждал на свидание со своими мыслями. Заснул он поздно.

Сквозь сон он услышал, — кто-то в хате стонет. Брунер проснулся. В щели ставень сочился серый осенний рассвет. Стон повторился. Тот, кто стонал, был, очевидно, совсем слаб и не мог быть опасен. Но где же он? Брунер приоткрыл ставни, стал обходить хату, стон вновь послышался, он шел из-под ног Брунера. Пеломекая, он пригнулся к самому полу и взглянул то, чего раньше не заметил: хорошо прилаженную дверцу в подполье. Он дернул дверцу и подполье раскрылось. Оно было широким и неглубоким. Заготовленная на зиму картошка была разбросана по самому дну.

В углу лежала с закрытыми глазами девочка лет шести и стонала. Свет упал на нее. Дрогнули веки. Темные, большие, как с чужого лица, они трепетали на свету. Девочке было худо, она была в забытьи. Застонав, она вздрагивала; она и теперь боялась и боролась за себя. Очевидно, когда выстрелы раздались совсем близко, девочка кинулась в подполье, упала и расшибла в кровь ногу, но все же захлопнула за собою дверцу и забилась в угол.

Девочка слышала, как шумели и кричали и тут, и тут, и тут. Потом все куда-то побежало. А мама не пришла! Потом кто-то разбил стекло. Оно отпало, и девочка в самую хату выстрелили. Потом стало тихо. Нога очень заболела, а догнаться — еще больнее.

Где же мама?.. К ним в хату вошли!.. Над головой ходят! Стоят на самой террасе!.. Сейчас откроют, увидят! Девочка закрыла лицо руками. Все равно, страшно! Она открыла рот: если носом дышать, куда слышнее! Опять заходили по комнате!..

Весь день и ночь так сидела девочка и не заплакала. Она знала: тогда увидят те, кто в хату стрелял; они и маму к ней не пускают. И только, когда впадала в забытьи, застонала. Молчание ребенка было таким удивительным проявлением жизненной силы, что Брунер почувствовал зависть.

Брунер спустился в подполье. Намочив свой платок, он положил повязку на ногу девочки, взял ей в рот глоток вина и оставил возле ребенка кусок вареного мяса.

Девочка не открывала глаз, только прижалась лицом к руке Брунера, не сомневаясь, что это рука друга.

Брунер вылез из подполья и сразу же прикрыл его. Он подошел к окну. Сидела еще спало; в окно никто не мог подсмотреть за ним. Но, все равно, утро было неспокойно.

Брунер оделся и вышел из дому. Но перед уходом переставил скамейку около входа так, чтобы она закрывала щель от дверцы.

Брунер старался не думать о девочке.

Когда после обеда Брунер возвращался домой, он увидел, как толстый, но ловкий и уверенный в движениях человек выходил из его хаты. То был Шогерт. Шогерту нечего было делать с самим собой, прошлое не трогало его, в будущее он не умел заглядывать, и он все время был на людях, — авось удастся позабыться. А эти забавы многое гонимось: и подсмотренная тайна, и слухи бояли, и смех оборванный страхом. Насмешливые и спокойные глаза Шогерта быстро схватывали, но ничего не возвращали: выражение глаз было неизменно приветливое. Шогерт дружески — почему дружески? — помахал Брунеру.

«Увидел, — подумал Брунер, — бесспорно увидел». — Ему стало не по себе. Шогерт разговаривает, да еще как, что я — и тут презрительное слово Шогерта само пришло на память, оно густое и липкое, как плевок верблюда, потом не

смоешь — Шогерт раззвонит, что я размок! «А мне все равно», — попробовал расхрибаться Брунер. И тут же впервые четко подумал то, о чем ему весь день не хотелось думать: «Нечего было сентиментальничать».

Брунер подошел к дому. Шогерт ждал его. Они вместе вошли. скамейка на дверце была сдвинута с места. Зачем Шогерт ее двигал?

Шогерт вел незначительный, явно ему неужный разговор. Иногда, не оканчивая даже фразы, Шогерт умолкал. И так внезапно, что Брунера брало остроту: сейчас, в тишине, они оба услышат! Тогда Брунер начинал что-то говорить, сам удивляясь, что получается не так уж невпопад. Но Шогерт не слушал! Он сидел и чего-то ждал. Весь его вид словно говорил Брунеру: «Напрасно стараешься». Брунер терялся и смикал. Теперь уже оба молчали. В молчании секунды ползли длинными омерзительными гусеницами. Брунер знал: сейчас она застонет! Пусть, пусть! Только бы не это молчание. И тут чаговаривал Шогерт. Но так запросто, по-приятельски, без всякого подвоха. Брунеру становилось легко, он верил, что Шогерт ничего не знает. Брунер чувствовал удовольствие. Да, это было так, он чувствовал удовольствие от того, что Шогерт, повидимому, считает его бравым парнем, таким же ревнителем истинно немецких достоинств, как и себя самого.

Уже уходя, Шогерт неизвестно чему усмехнулся и сказал: «Так вот как», и чуть сощурил глаза. Такая глянула на Брунера веселая и неумолимая жестокость, что он застыл. Что это?.. Намек?.. Угроза?.. Разве у Шогерта узнаешь!

Через час Брунеру стало уже невтерпех оставаться дома, пойти бы туда, в комендатуру, где всегда толпился народ, там он узнает, рассказал ли Шогерт.

Не доходя до комендатуры, Брунер остановился; ему только что открывалась правда. Дело обстояло хуже, чем он думал: Шогерт не станет в части рассказывать. Зачем же? Он сообщит, куда следует, сообщит по форме, — там уже разберутся. Брунер поздно, слишком поздно увидел, куда он сам себя завел! И как глупо. Даже отпереться нельзя. Он все сделал, чтобы уличить себя. Подумать только: собственным платком! Еще с меткой!

Но... но, ведь его платком мог и не он сам перевязать. Платок могла у него и стянуть, он просто не заметил пронажи. Нет, он придает платку преувеличенное значение. Девочка ничего не скажет, она не знает, кто ее перевязал.

Почти успокоившись, Брунер вошел в комендатуру. Народу было много, гул стоял в большой комнате. Брунер прислушивался к разговорам, сам вмешивался в них. Пожалуй, ничего не произошло, приход его был встречен так же безразлично, как и всегда.

Шмуклин, и Крэйз, и Вебер, и многие другие говорили только о том, что их сердило или смешило.

Брунер глядел на них так, как будто видел их впервые. Вот они сидят, спокойные, уверенные, ничего им сейчас не грозит, никто их не может разоблачить, да и не в чем. Они не всматриваются тревожно в лица однополчан, их не мучает неизвестность, они могут, не задумываясь, сказать «до завтра», зная, что завтра будет таким, как и сегодня. Еще вчера он был также спокоен за себя. Опасность нависла над ним, только над ним одним? В этом было что-то пестернико унижительное.

Брунер еще вчера не хотел бы быть на них похожим, а сегодня уже не

мог: возможность, которую давали ему в руки он, по собственной вине, упустил!

Крейз рассказывал о том, как нужно «резать поросят, чтобы не было визгу» и, чорт его знает, каждое слово было похоже на подмигивание, звучало, как грубая двусмысленность. Все отлично понимали Крейза и смеялись. Рассказ о том, как нужно резать поросят, превратился в боевую песню истых солдат, они не размокнули!

И уже ни Шогерт, ни гестапо, ни следствие по делу о нарушении правил обращения с гражданским населением не пугали Брунера: его больше всего страшило, как обойдутся с ним истые солдаты, когда узнают, что он надевал. Сколько презрения, злобы, гадливости обрушится на него! Только бы жить прямо, не выдвигаясь, не страшась, не вздрагивая, не думая, можно ли ему быть вместе с ними через час, через день, только бы быть наравне с ними — ничего больше Брунеру и не нужно.

Брунер вернулся к себе. Все было попрежнему. В подпольи никто не стонал. Там сидела она, обмолвка сухого и точного ума, за которую, это знает, как дорого придется ему заплатить. Злоба душила Брунера, его выжидала из себя эта девочка. Если бы мог он все начать сначала!

Брунер стоял на самой двери. Он не может больше, не может жить в страхе, что он завтра станет посмешищем, что завтра его предадут суду. Не должен он так жить!

Брунер вывернул фитиль в лампе, высунулся язычок, закачался, потянулся вверх. Неровный свет обжег горницу и осветил ее. Брунер проверил: ставни и двери плотно закрыты. Тогда он открыл люк.

Девочка пришла в себя. Она сидела в углу, но большая нога была вытянута, повисла на месте, и Брунер направил парабеллум на девочку. Вот тогда то ему и пришлось увидеть ее глаза.

Глаза глядели на Брунера, не мигая, губы шевельнулись и ничего не издавали, но было голоса, знала девочка, что сейчас будет, и только чуть вытаращила взгляд.

И самое удивительное — эти глаза не остановили Брунера. Он смотрел на девочку и выстрелил. Девочка негромко вскрикнула. Торопясь, Брунер выскочил еще раз и еще, девочка лежала мертвой.

Брунер прикрыл люк.

Во комнате было тихо. Плотные закрытые двери и ставни гасили звук. Никто не услышал.

Брунер вспомнил: он не обедал, и ему сразу же и нестерпимо захотелось есть. Он отыскал кусок сала. Но поесть не довелось. Раздался стук в дверь. То опять был Шогерт.

Шогерт был изволовлен и спросил Брунера еще с порога:

— Ну, что, уже готов?

— Не понимаю тебя, — на всякий случай сказал Брунер, — честное слово, не понимаю.

— Шутини!

— Нет, — оторопело сказал Брунер.

— Через час уходим отсюда, дальше двигаем!

Огорчение Шогерта было так велико, что в его искренности даже Брунер не усомнился.

— Торопись!— Это все, что сказал Шогерт, и ушел.

— Боже, до чего же удрученный вид был у Шогерта,— Брунер рассмеялся и осекся. Шогерт ничего не знал о девочке! А то бы он принял меры, чтобы до ухода из Знаменского изобличить Брунера.

Шогерт ничего не знал о девочке! Значит... Значит, страхи его были напрасны. Можно было не торопиться, девочка осталась бы...

Нет, так нельзя, что сделано, то сделано. Да, он поторопился. Очень поторопился. Но разве у него был выбор? Нет, об этом незачем, незачем думать!

Через час батальон Брунера выступил, и Брунер шел рядом с Крейзом, он вспомнил лекцию о том, как резать поросят, и всех, кто смеялись. Он чувствовал, зависти в нем больше не было! Он шел среди истых солдат, и у них не было никаких преимуществ перед ним.

Ничто, как тайное клеймо, не выделяло его, сейчас они не могли выбросить Брунера из своих рядов, он шел среди них, как равный среди равных.

ЕГО ДОЛГ

Эриха Шлауфельд еще никогда не слушали так внимательно. К нему были обращены глаза и сердца обеих женщин. Старая и молодая, они не торопились его, не перебивали — у них для этого нехватало сил.

Горестные вести всегда слушают куда более жадно, чем радостные. Радость — ей веришь, едва услышишь и уже поймешь: иначе и не могло быть. А узнаешь о горе, — и уже замолчал злой вестник, а ты все еще слушаешь, слушаешь, по вздрагивающему сердцу крадется надежда, все еще тешишь себя: а, вдруг, ошибка!

Старая фрау Мюнг и ее дочь, горбунья, фрейлен Фредерика, с испуганным и ласковым лицом, — такие часто бывают у калеки, — слушали, как Эрих Шлауфельд рассказывал об их Гейнце.

Кто лучше, чем Эрих, знал их Гейнца! Вместе они ушли на фронт. Эрих сейчас в отпуску, он только что прибыл и захватил прямо к фрау Мюнг. Он будет у них жить, большей радости он не мог им доставить. Эрих рассказывал:

— Они с Гейнцем возвращались к себе в часть. В далеком тылу, если ехать днем, быть связным не так уже опасно. Они выехали поздним утром. Вскоре их стало припекать горячее украинское солнце. А дорога, как назло, сама сворачивала к речке, вилась вдоль нее, пот крупными каплями стекал со лба, сл, проклятый, глаза, а тут песчаная небольшая отмель к самой дороге подошла, и они остановили мотоцикл: быть, что будет!

После купанья они лежали на песчаной отмели. Небо было громадным и пустым. Кругом все было неподвижно и безопасно. Хорошо они сделали, что выкупались.

Только что все было хорошо, а сейчас небо стало маленьким и узким, оно стало, как крышка сундука над головой, крышка сейчас над тобой за-

хлопнется: шесть штурмовиков, поблёскивая звёздами, шли над Эрихом и Гейнцем. Оба они вдавились в землю, стараясь не дышать, как будто можно было там, наверху, их услышать, а штурмовики со звёздами висели над ними, висели и всматривались.

Дурацкая это штука лежать голышом и знать, что тебя сейчас начнут поливать свинцом. Не очень сукно спасает, а все же таки, голышом куда страшнее. И заметно!

Эрих рассмеялся.

До чего же это было похоже на смех Гейнца! Да, они смеялись совершенно одинаково, громко и долго. И при этом несколько не добрили.

Это всегда наполняло Фрейлен Фредерику удивлением и уважением. Таких юнца, а как они умеют управлять собой! Никакое чувство исподтишка к ним не подберется.

Горбуны даже завидовала, правда, очень осторожно и беззлобно, но завидовала и брату, и его другу. — Когда же они сталкивались с чем-нибудь, чего не знали или что было им непонятно, — это не тревожило их, Гейнц и Эрих и не стремились понять, они смеялись громко и беззаботно.

Горбуны очень хотела бы отбросить все непонятное, что надвигалось на нее со всех сторон, отбросить и идти дальше своей дорогой.

Как легко было с ними, с братом и его другом! И Гейнц и Эрих учились в одной школе, вместе были в ПИМФе, Фрейлен Фредерика твердо знала: по — их рассмешишь! — это — рассердит! Никакой путаницы. И Гейнц и его друг все, что делали, делали, как следует мужчинам, до конца ясно, от всего сердца.

Горбуны тревожило, когда люди улыбались. Улыбка бывает скользкая и пенная. Кто знает, что она значит. Благодарение богу, Гейнц и его друг, они никогда не улыбались. Они смеялись! Настоящие мужчины! И злились!

Но как? Они не иронизировали, не отворачивались, не довольные, нет, они пускали в ход кулаки и при этом ругались! Гейнц и Эрих, они были начинены действием! Раса неплохо сделала свое дело, она отобрала лучших, препарила их в солдат вселенной.

В солдат и владык!

Эрих смеялся совсем как Гейнц. Они так много были вместе, что стали похожи друг на друга. Для ревливой материнской любви фрау Мюнг не было ничего, равного ее Гейнцу, но даже старая фрау находила, что Гейнц и Эрих похожи.

Сейчас обе женщины смотрели на смеющегося Эриха, нежность лучилась у них из глаз, столько любви было во взгляде матери и сестры, что Эриху стало приятно и приятно, словно кто-то легкими пальцами гладил его за ухом.

Фрау Мюнг и Фрейлен Фредерика не смели торонить Эриха. Фрау Мюнг, по старческой деликатности, даже опустила глаза, чтобы они не выдали ее востерения, пусть дорогой гость во всем подчиняется только своим желаниям. Но Эриху самому хотелось рассказывать.

— Штурмовики со звёздами их не заметили, а, может быть, не захотели охотиться за ними. И ушли на запад. Небо сразу стало большим и веселым. На все время, пока кружились над ними самолеты, да и сейчас Эрих и Гейнц слова не сказали друг другу. Да и зачем же? Они одновременно пригнали

голову, одновременно тихонько ругались, им обоим в одно и то же время чудилось одно и то же: они слышали какие-то шорохи, оба настораживались, и оба тихонько распускали напряженные мышцы: ерунда, показалось.

Фрау Мюнг и ее дочь с умилением смотрели на Эриха. Как велика и не-расторжима дружба его с Гейнцом! И сам Эрих понимал, что ему принадлежит добрая доля той заботы и той любви, что давалась его другу.

— Эрих и Гейнц торопливо одевались. Странно, что они раньше не обнаружили, как неудачно выбрали место для купанья: пегустой лесок подходил почти вплотную к противоположному берегу речки. Эрих был готов раньше Гейнца. Он вывел мотоцикл на дорогу. Гейнц стоя возился с рубашкой, безуспешно вдевая руку в вывернутый рукав.

И тут к ним подкралась опасность. Самая страшная. Их обнаружили партизаны. Из лесу раздался выстрел. Гейнц вскрикнул — бравый парень, он приподнял раненую ногу и поспежал на одной, на здоровой, но споткнулся и упал. Из лесу не стреляли! Партизаны, очевидно, не хотели тратить патронов впустую. Всей синиой Эрих чувствовал: где-то в лесу его нацунезают кресты прицелов... Тут секунды решали дело, и Эрих вскочился на мотоцикл, мотор затарахтел. Гейнц, лежа на земле, застонал, он успел сбросить рубашку, он теперь все видел, и он крикнул:

— Эрих, а я?!

Но мотоцикл шел уже вперед. Эрих перевел скорость.

Он оглянулся и увидел: Гейнц, который уже подполз к автомату, приподнялся и выстрелил в него, в Эриха. Он промахнулся.

Эрих посмотрел на фрау Мюнг и на фрейлен Фредерику. Они были так потрясены рассказом, что, очевидно, не поняли всего того, что сделал Гейнц.

— И как будто выстрел Гейнца был сигналом, из лесу стали стрелять пачками. Эрих мчался вперед, не оглядываясь.

Фрау Мюнг и она, фрейлен Фредерика, могут быть спокойны. Эрих не рассердился, он простил Гейнцу. Он не только не сообщил начальству о выстреле Гейнца, — тогда фрау Мюнг лишили бы пенсии, и это лучшее, что могло бы быть с ней, — но он, Эрих, остался Эрихом, и Гейнц для него оставался Гейнцом! Рапорт он подал совсем о другом, о том, как храбро дрался Гейнц, обеспечивая отступление своего друга. Фрау Мюнг и фрейлена Фредерика могут быть довольны: Гейнца наградили Железным крестом.

Женщины слушали его оцепенелые. Гейнц попал в лапы, к ним, к страшным партизанам. Но Эрих так доволен! Гейнц получил Железный крест. Правда, после смерти. Но такая награда! Робкие женщины, они не знали, но будет ли это непочтительно, если они проявят горе, не оскорбит ли это. Судя по лицу Эриха, нужно было радоваться. Но ни фрау Мюнг, ни ее дочь не могли этого сделать.

Старая фрау Мюнг, которая хуже понимала молодежь, сама испугавшись того, что сделала, спросила: — Как же вы могли его оставить?

Фрейлен Фредерика замерла.

Но все обошлось: Эрих был добродушен. Он посмотрел с искренним удивлением на старушку: разве он не все сказал?

Эрих был в семье друга, он улыбался старой женщине, которая не понимала самых очевидных вещей, и, желая быть понятым, сказал:

— Задержись я — и меня бы убили. Понимаете, и меня бы убили!

Горбуныя примирительно закивала головой.

— Конечно, конечно. Благодарение богу, вы спаслись!

Эрих оставался еще несколько дней в семье своего друга. Обе женщины ухаживали за ним. Иногда он брал какую-либо полюбившуюся ему вещьцу, из тех, что раньше принадлежали Гейнцу, он говорил — «на память», обе женщины поспешно и согласно кивали головой: дружба имеет свои права!

Приятно было Эриху в семье старой фрау Мюнг. Он знал, что он выполнял свой долг, он все сделал, чтобы фрау Мюнг получила пенсию.

Через неделю Эрих Шлауфельд возвращался в часть.

Проводив его, обе женщины вернулись домой и заплакали. Впервые за эту неделю.

Раньше они не смели.

В ГОСПИТАЛЕ НОЧЬЮ

«Только воинам дана дружба»

Вы старая калоша! — крикнул Вюрце.

Было похоже на то, что доктор не слышал.

— Да, да! Вы старая, заплатанная калоша!

Тогда доктор сказал голосом человека, которому очень скучно:

— Лежите спокойно!

Но Вюрце уже дал себе волю.

— Вы трус, баба!

Капитан Крейслер рассмеялся, он напоминал и доктору и Вюрце, что они имеют слушателя; — это подогревает страсти. Но доктор не отвечал, и хотя он стоял, повернувшись к Вюрце, казалось, думал он о чем-то своем.

Вюрце кричал:

Вы что же, думаете, я боюсь? Скрываете от меня правду? Сказать не смел! Да я сам ее знаю. Слушайте, вот она: я умираю. Эй, вы, доктор, скажите хоть сейчас, как мужчина мужчине, сколько мне осталось? Сколько?

— Хорошо, — сказал доктор прежним голосом, — хорошо, я вам верю, вы не боитесь смерти. Лежите спокойно.

Доктор вышел из палаты. Последнее слово и на этот раз осталось за ним.

Вюрце перестал ругаться. Силы его покинули. Он лежал и знал: сейчас услышит он тело свое, мерзкую, настойчивую работу разрушения.

Под капитаном Крейслером скрипела кровать. Он ворочался, его донимала боль. Болели пальцы отрезанной ноги. Отрезали, выбросили, сгноили ногу, — чего еще нужно? — а Крейслеру приходится дорчаться от судорог в пальцах, которых нет. А тут еще этот Вюрце! Хорошо бы он выглядел, скажи ему доктор правду. Ну, что ж, он так хотел ее, пусть получит. Крейслер сказал:

— Нишися! Куражись! На кой чорт? Все равно не поможет.

Крейслер откинул одеяло, он смотрел на разбухшую от повязки культяпку. Она была вся на виду... а пальцы болели.

Ночной обход кончился. Их маленькая, на двоих, палата была крайней.

Из жоридора не доносилось ни звука. Прошло некоторое время. Вюрце равнодушным голосом, не глядя на Крейсера, спросил:

— И ты думаешь, что я умираю?

Крейсер молчал. Тишина густела, она стала такой плотной, что ее хотелось, как паутину с лица, снять. И пельзя было. Наконец Крейсер сказал:

— Зато вечно будет жить великая Германия!

— Что?— даже растерялся в первую минуту Вюрце.

— Германия будет жить, понимаешь, жить!— издевался Крейсер.— Разве тебя это не утешает?

— Перестань!— попросил Вюрце.

— Думай, Вюрце, о великой Германии! Думай! Ты и не заметишь, как с тобой все будет кончено.

— Я не умру! Ты врешь! Врешь!

— Конечно, вру!— торопливо признал Крейсер.

Крейсер не ошибся. Его готовность уступить, именно она-то и убедила Вюрце, что он безнадежен. Попрежнему было тихо. Но Вюрце больше не слышал тишины. У него было много дела с самим собой. В неподвижно лежащем Вюрце все прыгало, вертелось и несло; сумасшедшие колотились сердце, тесня друг друга, выплывали и сейчас же тонули обрубки мыслей, вспыхивали, тут же гасли и вновь возникали и боль, и страх, и ярость,—они неслись в смятии, ни на чем пельзя было задержаться, ни на чем пельзя было остановиться, несудержимый поток стремительно волочил его неизвестно куда,—и Вюрце, всегда медлительного и спокойного, больше всего пугал этот яростный разгул скоростей в нем самом. Но вот в потоке стало обозначаться нечто, за что можно было ухватиться. Ведьмовский пляс скоростей затих, сердце билось ровней, мысли стали ясней. чувства более привычными и более обжитыми. Он думал о Лотте, высокой, светловолосой Лотте. О ней можно было думать без горечи и без тревоги,—пожалуй, только о ней одной и можно было так думать. Лотта была привычной мыслью Вюрце.

Думая сейчас о Лотте, он испытывал тайную и лукавую радость; он и сейчас всех перехитрил. Пусть считают, что ему переносимо странно, а он заслонил себя от мыслей о смерти. Лотта была ему надежным щитом. Он свернул на знакомую дорожку, он стал думать о ней, как делал это и вчера, и третьего дня. Вюрце беспокоился, получала ли Лотта последний перевод. Он попросил сиделку перевести деньги, но та захворала и не передала ему почтовой квитанции. Нет, это не скупость, но ведь обидно в самом конце жизни допустить ошибку.

Вюрце от себя и раньше не скрывал: ему не очень везло. За все, что он получал, его заставляли платить полной ценой. Так платят одни только неудачники. Но одно он может уверенно сказать: если бы ему встретился на дороге случай, он бы его не упустил! Если бы! Вюрце всю жизнь прожил в ожидании, он был пружинкой, которая ни разу не развернулась, совершенным гимнастом, который выпущен сидеть в зрительном зале и отмечать чужие ошибки на перше. И только в мелких и случайных делах проявлял он свое великодушное умение. И каждая марка дохода была не только пищей и теплом, она была великим обещанием.

Голубоглазая, светловолосая Лотта была чудесной девочкой. У Лотты был вкус, она знала толк в делах. она умела разоблачить и опенить и трудности

случая, и блеск их преодоления, и она никогда не уставала удивляться Вюрце. Славная девочка его Лотта! Право, он был не глуп, когда не скупился. Триста марок в месяц были для него не по средствам, но она стоила их!

Обидно, если он так и не узнает, получила ли она последний перевод. Вюрце подивился на себя, — не так уж это важно, чтобы теперь думать о расписке, и тут Крейслер испугал его своей проницательностью: Вюрце показалось, что он, больной Вюрце, уже не в силах даже мысли хранить в себе. Крейслер сказал:

— Поди, всякая дребедень в голову лезет!

— Нет, о жене думаю, — назло ответил Вюрце.

— О жене? — удивился Крейслер: они ведь оба были из Дармштадта.

— Она мне проде жены, девочка что надо!

Крейслер рассмеялся. Но Вюрце в его смехе услышала какую-то ноту огорчения.

«Завидует», — понял Вюрце. Одноногий Крейслер останется в живых, тут уж ничего не поделаешь, останется!

Потка огорчения указывала путь. Он, Вюрце, дождет: небось это он сумеет сделать. Он расскажет однопоному о Лотте так, что тот прокиснет от счастия.

— Эри, — сказал Вюрце, — зря ты не обзавелся своей девочкой. В свое время.

Он приоткрыл это невзначай, даже не кинув взгляда на культянку. Он знал, так какака будет глубже задет.

Крейслер удара не почувствовал. Он спрашивал заинтересованно:

Ты что ж, женатым себя считаешь?

Крейслер, может быть, ее и знает, ее зовут Шарлотта Вегенер.

Что то неопределенное промычал Крейслер.

Но Вюрце его уже не слушал. Он даже не хвастал, в эти минуты жизни он хотел такой, какой хотел видеть. Красивая, с крутыми бедрами, белокурой Шарлотта была вершиной его пути, его единственным, его необманым случаем. Что же тут скрывать!

Сюда нет, вел он себя с ней, как мужчина, он был резок, повелителен, она знала и не забывала своего места, он не позволял себе расписать, по это никому не мешало, Лотта за все платила покорностью и верностью, да, да, такой верностью, что, прикажи ей: «измени!», это единственное, чего она не могла бы даже ради него сделать. А до чего она была умела и ловка во всех этих мелких делах!

— Нет, Крейслер, что ни говори, а жалеть ты можешь, что у тебя нет своей Лотты и не было ее! А будет ли?... — И он впервые показал глазами на культянку.

Крейслер утмолнулся так, точно ему приятно было вспомнить отрезанную ногу.

— Как сказать? Анось и такого...

Вюрце не хотел, чтобы ошибка подстерегала Крейслера, и он сердечно сказал:

— Попытайся, конечно. Но смотри, конфуз выйдет!

Теперь Крейслер решил, что можно слегка приоткрыть карты:

— И бы на твоём месте не за что не назвал ее имени. Ты меня разочужа. И найди Шарлотту Вегенер. — я не ошибся?

— Нет,— храбро ответил Вюрце,— нет, ты не ошибся. Шарлотта Вегенер! Вот именно, так и зовут.

— Она будет чувствовать себя одинокой после твоей смерти?

На это не стоило отвечать, и Вюрце молчал.

Крейслер раскрывал карты.

— Женщины плохо переносят одиночество. Лотте нужен кто-нибудь, кто заменит тебя.

Вюрце пробурчал:

— Не пустит она тебя на порог дома.

— Твое имя откроет мне двери. Я единственный человек, который видел, как ты умирал. Лотте будет приятно, что она достанется твоему другу. Так сказать, по наследству.

Вюрце было не по себе: он, пожалуй, не должен был называть ее имени. С такого подлеса, как Крейслер, станется! Но только сейчас нельзя выказывать тревоги! Никакой тревоги! Вюрце по-мальчишески искал и нашел его, нужный, хороший ход.

— Ты бы, вправду пошел, Крейслер. Она ведь тебя знает.

Крейслер помедлил:

— Ты думаешь?

Вюрце снова уже говорил уверенно:

— Сейчас припоминаю. Случайно зашел как-то раз разговор о тебе, и Лотта сказала: «Я его знаю, это такой вечно потный, должно быть, каждое утро его хозяйке приходится выжимать простыни, брр... противно!»

Крейслер вздрогнул, это было похоже на Лотту, у нее была отвратительная манера постоянно преувеличивать. Так вот как, ей, оказывается, не нравится, что здоровый человек потеет, и Крейслер сказал:

— Свистни я, твоя Лотта бросится ко мне на шею, если...

— Если что?— Вюрце не скрывал удовольствия, удар был нанесен верно.

— Если этого уже не было! Всех ведь не упомянешь.

Вюрце даже отвернулся. Крейслер не был стоящим противником: ясно было, почему он врет. Вюрце лежал и улыбался.

Крейслер силился вспомнить, что говорила Лотта у него на постели, какое-нибудь словечко или жест, которые бы докопали Вюрце. Но ничего у Крейслера не осталось в памяти. Вюрце вновь лег на спину и даже не улыбнулся. Калека Крейслер больше для него ничего не значил. Было от чего прийти Крейслеру в ярость. И вдруг его осенило: вот оно, доказательство, от него закачается Вюрце!

— А ты был щедр!— сказал Крейслер.

Ответа не было.

— Не каждый бы давал Лотте по триста марок в месяц, не правда ли?

Черная беда дохнула прямо на Вюрце, у него остановилось сердце. Крейслер подвернул под себя одеяло, тщательно расправил его вокруг остатка ноги и только затем уже сказал:

— Лотта ни в чем не нуждалась! Несмотря на то, что отдавала мне половину своих денег.

Вюрце повернулся к Крейслеру. Вюрце должен видеть его лицо.

— Кроме тех месяцев, когда ты давал прибавку. Ее я не трогал.

Глаза Вюрце выпытывали правду. Что ж. Вюрце хочет доказательства? Пожалуйста!

— Например, в октябре прошлого года из ста марок прибавки я ничего не взял.

Этому нельзя было не поверить. Крейслер знал, когда и чем ударить, Вюрце задыхался. Вот куда шли его деньги!— Что с ним, с его сердцем? Оно делается все меньше, меньше, оно делается твердым. Совсем, как орех. Стоит в груди, мешает дышать. Лотта, подлая! Только бы выдохнуть из себя! Вытолкнуть! Стоит вот здесь сейчас, он задохнется. Взречься бы! Но Крейслер здесь! Рядом! Спокойно,— заклинал себя Вюрце,— спокойно! Только эту радость Крейслеру не доставить.

И, даже сам не заметив, как он это сделал, Вюрце сел на кровати. Это было так неожиданно, что поднялся и Крейслер и, землисто-серый, отодвинулся в самый угол между стеной и кроватью.

Вюрце чуть нагнувшись вперед, он смотрел, не отрываясь, на Крейслера, хрипы вырывались у него из груди. Крейслер в своем углу ждал его, полный такой же ненависти. Вюрце,— все, что он делал, было удивительно и пусто.— Легко нагнулся на кровати, подался вперед, глухо застонал, протянул к Крейслеру руки и тут же упал, свесившись головой вниз. Голова стукнулась о пол, руки, готовые кромсать, не поддерживали головы, они продолжали тянуться к Крейслеру.

Когда руки перестали шевелиться, Крейслер понял — опасность миновала.

Но то обманывая, не то издеваясь, он сказал:

— Что ты? Ведь я все это сказал, чтобы тебе легче было умирать. Теперь у тебя нет ничего, что было бы жалко оставить на земле.

Вюрце не отвечал. Он не знал, что умеют умирать только те, которым есть ради чего жить. Он был мертв.

АРКАДИЙ КУЛЕШОВ

ПОД ОСЕННИМ НЕБОМ

Заменкались мы,
А уж как их застать мы хотели!
Но птицы на юг от жестокой зимы
Улетели.

Под ними мелькают кусты
И озера,
И ели,
Но им с высоты
Не узнать наших звезд и шинелей.

Когда б увидал наши звезды
Вожак журавлиный,
Их принял бы просто
За ягоды горькой калины.

А гуси?
Летит и гогочет

Их вольная стая,
Шинелей от кочек
Сквозь облако не отличая.

А если бы ниже прошли!
Сквозь туман маскировки
Когда б они видеть могли
Наши звезды, шинели, винтовки —

Отрека б журавль от высот.
И от жаркого края.
На льду могилевских болот
Он остался б, тепла не жалея.

Когда б нас узнали
Высоко летящие гуси.
Они б зимовали
На белых снегах Беларуси.

МОГИЛЕВСКАЯ ТУЧКА

В Орловскую область летела она
Над лесом родным могилевским.
Крылатая тучка вчера дотемна
Была лишь туманом днепровским.

Сбиралась заботливо в первый отлет
И тронулась в путь раным-рано,
Легко унося от озер и болот
Томящиеся туманы.

И люди узнали помощницу в ней —
Пожданной, желанной, крылатой.
Под Кричевом тучка измученных
жней
Укрыла летучей прохладой.

В Орловскую область летела она
И, пробуя первые силы,
Она ветряковые крылья от сна
Дыханием свежим будила.

И только что, только что
Видел я сам
Над крышей вот этой,
Над домом
Промчалась, пророча грозу небесам
Еще неуверенным громом.

Ей вслед улыбаюсь, летучей — литой
Из громов, и молний, и ливней:
Раста, могиловская тучка,
С землей
Сживаясь еще неразрывней!

МОЯ БЕСЕДЬ

Есть в Беларуси предание старинное,
Что птицами вырыты реки ее.
В клювах мешочки с песком и глиною
В лес отнесут и опять за свое.

А чайка глумилась, дивясь их
терпению,
И птицы проклятьем ответили ей.
С тех пор над водой даже в бурю
осеннюю

Пить-пить умоляет
До нынешних дней.

И медленный труд мой окончу, как
начал,

Я камни дроблю, разрываю пески,
Под смех ожидающих легкой удачи,
Бюпаю русло моей реки.

И встретив струю ключевую упрямую,
Хочу, чтоб она запумела волной —
Не Волгой могучей,
Ни даже Камою,
Хоть Бесядью, что в Беларуси родной.

Заветным трудом вдохновляюсь все
чаще я
И жажду мою разжигает строка.
Я жить не могу, как чайка молящая
Малой дождинкой с лесного листка.

*Перевела с белорусского
М. ЦЕГРОВЫХ*

СТЕФАН ГЕЙМ

ЗАЛОЖНИКИ

Роман

Перевод с английского Н. Волжиной и Н. Дарузес

Глава 8¹

БЫЛО около полуночи, когда Милада проснулась после беспокойного, полного тревожных видений сна. Голова у нее болела, все тело ныло, словно избитое бурей.

Она вдруг села на кровати, сообразив, что после ухода Рейнгардта прошло уже несколько часов, а она не сделала самого важного: не сообщила Бреду о посещении рейхскомиссара, о допросе, который он устроил ей, и о том, что гестапо, как видно, известно ее отклонения с Глазенапом.

Она видела запутанный и тяжелый сон, полный страха и тоски. Ей надо было бежать от чего-то ужасного, чему не было имени, или ее ноги вязли в болоте. Потом кошмар принял форму. Фигуры преследователей, иногда с лицом Рейнгардта, иногда совсем безликие, выставили против нее сверкающие штыки, надвигались все ближе и ближе. С бьющимся сердцем она высвобождалась и бросалась бежать только для того, чтобы спать увязнуть в болоте, только для того, чтобы опять услышать за собою потоплю. Снова и снова повторялось это кошмарное бегство.

Она быстро оделась, все еще слыша за собой горячее дыхание потоплю. Она поняла, что не только чувство долга заставит ее идти к Бреду, но и потребность в спокойствии и силе, в защите и доброте этого человека. Одну только минуту она колебалась, но подождать ли до утра, когда она увидит Бреду на заводе, но тут же отбросила эту мысль, зная, что не в состоянии будет выдержать так долго, и убедив себя, что Бреду нужно уведомить немедленно.

Выйдя из дома, она направилась по Малой Стефановской улице. Сначала она не заметила тени, которая вынырнула из-под темной стены против ее дома и бесшумными шагами двинулась за ней. Но в перерыве, где эхо отражало каждый звук, она услышала шорох шагов.

Пан Кратохвил в темноте крался за Миладой. На голове у него была новая с иголочки серая шляпа, которую он приобрел в кладовой штаба гестапо. «Бери,— сказал ему сторож,— хозяин в лагере. Шляпа ему больше не понадобится». Кратохвилу очень нравилась шляпа. Во все время долгого дежурства перед домом Милады он забавлялся этой шляпой, то ухаживая надсвая ее пабекрень, то сдвигая на затылок, то держа ее перед собою в согнутой казачином руке, словно из преувеличенного уважения к даме, за которой его приставили следить.

Кратохвил несколько не тяготился легкой. Ему надо было очень мало времени, для того чтобы выспаться, и он не знал, что такое скука.

¹ Окончание. Начало см. «Знамя», № 9—10 за 1943 г.

Время тянулось для него только тогда, когда некого было выслеживать. Он был таким и в молодости, когда начинал свою карьеру. В те времена он служил контролером трамвайной компании. Его обязанностью было вылавливать безбилетных пассажиров, прятавшихся от кондуктора за развернутой газетой.

После того как он прослужил компании несколько лет верой и правдой, Кратохвилу наскучило получать какие-то жалкие гроши, и он перенес свою деятельность в сферу взаимоотношений капитала и труда. Новое ремесло он изучил основательно, начал с агента-provokatora, а кончил вице-председателем рабочего союза. После того как ему удалось обмануть доверие членов союза и продать интересы рабочих во время долгой и унорной стачки, он больше уже не мог быть полезен на этом поприще, но чешская полиция поспешила заручиться услугами такого солидного человека и приняла его на службу. Когда в Прагу вступили нацисты, пан Кратохвил скоро приспособился к изменившейся обстановке. Теперь люди его склада были нужны больше, чем когда бы то ни было. Платили гораздо лучше, и приятно было видеть, что доставленная им информация не залеживается под сукном. Никакого сравнения с прежними временами, когда полиция, по крайней мере в некоторых случаях, приходилось опасаться запросов парламента или протеста общественных организаций, всюду сующих свой нос.

На Карловой площади Милада остановилась в тусклом свете фонаря, раскрыла сумочку, достала маленькое зеркальце и сделала вид, что вынимает из глаза соринку.

«Стара птука», — подумал Кратохвил, отступая в тень подъезда. Работа, как ему объяснили, имела двойную цель: следить за Миладой, чтобы она не скрылась, и за людьми, с которыми она видится. Если даже она и обнаружит, что за ней следят, то это не так важно. Ему нравилось играть в кошку и мышку, а, кроме того, он думал, что с этой мышкой не очень трудно будет справиться.

Милада никого не увидела в зеркальце. Но она была почти уверена, что за ней установлена слежка — именно так и должен был поступить Рейнхардт.

Но вернуться ли домой? Но она знала, что теперь сыщик будет следить за ней всегда, когда бы она ни вышла из дома. А завтра Бреда сможет пойти к ней во время работы, не зная, что за ней следят. Нет, надо повидать его сейчас, надо отделаться от этой опасной, вазой-ливой тещи.

На Карловой площади был разбит маленький сквер. Милада решила присесть немного на скамье, словно вышла из дома только для того, чтобы подышать свежим воздухом.

Кратохвил, изображая бродягу, плелся по дорожке вперевалку, с газетой подмышкой. Он, казалось, не заметил девушку на скамье. Сняв перчатки, он подложил газету под голову, зевнул и улегся на скамье против Милады, равнодушно повернувшись к ней спиной.

Стыгивавшие башмаки и измятые брюки придавали ему вполне мирный и безвредный вид, и только новая серая шляпа, лежавшая в ногах, как-то не вязалась с его ролью смиренного бродяги.

Некоторое время Милада сидела неподвижно. Если этот отдыхающий бродяга и есть ее тень, то можно попробовать скрыться от него, миновав усыпанную гравием дорожку. По траве шагов не будет слышно, стоит только перебраться через скамейку.

Кратохвил не пошевелился. Безошибочным шестым чувством он считывал, что творится у него за спиной. Надо дать ей фору. Пусть обойдет пятов на четыреста, если уж собралась куда-то идти, пусть думает, что сблизил его со следа.

Но вот, слышно, как она зашевелилась. Ишь, какая хитрая, ступает по траве, обходя дорожку. Но то тут, то там сухой октябрьский лист шуршит под ее ногой.

Милада оглянулась. Бродяга все еще лежал на скамье, он не переменил позы — теперь надо спешить, скорее, чтобы он ее не догнал.

Все обошлось гораздо лучше, чем она ожидала. Улица совершенно пуста. Она прибавила шаг.

Темная ночь Праги обняла ее. Милада всегда любила свой родной город, а теперь эта любовь стала еще сильнее, к ней примешалась горячая жалость, какую испытывают к тяжело больным. Город болен, хотя до сих пор ему удалось избежать ужасов бомбежки, на улицах не зияют воронки, сгоревшие дома не смотрят друг на друга пустыми глазами окон, еще цело все, что придает Праге своеобразный отпечаток — горделивый собор на Градчанах, сады в стиле рококо перед аристократическими особняками, вкопанные арки Карлова моста через серебристую Влтаву, тесно сгрудившиеся узкие фасады средневековых домов.

Город болен, но на мертвенном, изнуренном болезнью лице еще видны следы бывлой красоты, когда-то пленявшей вас. Это покоренный город. Сапоги завоевателей враждебно и глухо стучат по булыжникам старых улиц, эхо издевательски повторяет отрывистые слова команды и окрики. Душа города отдана на поруганье, и народ ищет и находит все новые формы для выражения своей скорби. То памятники народных героев оказываются увенчанными цветами, и утробные полицейские под командой нацистов в черных мундирах, убирают венки и букеты, принесенные ночью. То, неизвестно почему, начинают гудеть заводские гудки, все в одно и то же время, — скорбно и угрожающе. Или на стенах домов и заводов появляются вдруг загадочные надписи со словами призыва и предостережения.

Прежде чем подойти к дому, где жил Бреда, Милада осторожно оглянулась, но не увидела своего преследователя.

Она позвонила. Ей пришлось довольно долго ждать, потом послышались шаги на лестнице и появился свет. Бреда со звоном повернул в замке большой тяжелый ключ.

— Да это Милада! — сказал он. — Не стойте же здесь, как испуганное дитя, входите скорее!

Он был совсем одет. Взяв Миладу за руку, он повел ее, поддерживая шатавшуюся от усталости девушку.

— Я не ждал гостей, — пошутил он. — У меня ничего нет, кроме кусочка хлеба, но можно вскипятить того снадобья, которое теперь называется кофе — все-таки что-то горячее. Вы вся дрожите!

Комната Бреды выходила в длинный, пахнущий затхлым коридор. В одном углу за ширмой стоял умывальник и маленький печка, в другом — стол, над которым висела наскоро сколоченная книжечная полка. Кровать, два стула перед занавешенным окном, афиша, икаф и портрет старика с бородой, как у императора Франца-Иосифа, дополняли обстановку.

Он пригласил Миладу сесть, указав на кровать. — Единственное место, где мягко сидеть, — извинился он. — Раньше я жил лучше.

Милада сидела молча, не зная, с чего начать. Комната была полна им, его привычными движениями, его мерными шагами. Павел был совсем другой, гораздо ближе к ней и по возрасту, и по всему складу. А этот Бреда был такой, каким она хотела бы видеть своего отца, — мудрый, внимательный, и это скрывало. При нем она чувствовала себя такой незначительной, ее заботы и тревоги казались ей мелкими. Но все в ней тянулось к нему, она чувствовала, что сердце ее раскрылось и с каждым биением горячей волной рвется к нему навстречу.

Вода в чайнике начала закипать. Бреда сел на стул против Милады и положив одну руку на колено, другой поглаживал подбородок. Он смотрел на нее, и в его больших зеленовато-серых глазах отражался свет электрической лампочки.

Потом он заговорил: — Я рад, что вы пришли. Я чувствовал себя очень одиноком.

— А я боялась, что вы будете недовольны, — ответила она с облег-

чением.— Вы сказали, что без важных причин мне не следует приходить к вам.

«Если бы ты пришла и без важных причин, я был бы тебе рад»,— подумал он. А вслух сказал:— Вы застали меня одетым, потому что часа через два мне предстоит одно дело. Я тут как раз настраивал себя на это. Приходится, знаете ли. Я часто думаю, что мне не хватает храбрости—нервничая перед делом. И вот я кое-как коротал время, старался овладеть собой, старался читать. Спать я не могу.— Сам того не зная, он помог Миладе подойти к нему. Рассказав ей о своих колебаниях и страхах, он дал ей понять, что они равны, и пробудил в ней горячее желание защитить его и утешить. Она сжала руки: мать, ты посылаешь сына на битву, ты благословляешь его старинным финифтяным образом его святого, и вот он идет, сильный, крепкий, закаленный, навстречу бурям и невзгодам.

Бреда всыпал в кипящую воду тонко размолотый коричневый эрзац-кофе.— Скоро будет готово,—сказал он, доставая две синие чашки с золотыми ободками.— А что случилось с вами? Я вижу, вы совсем измучены.

— Я всю дорогу бежала. За мной слежка. Но я, кажется, отделалась от сыщика.

Бреда погасил свет. Потом подошел к окну и раздвинул шторы, как раз настолько, чтобы видеть улицу, оставаясь незамеченным.

Огонь в печке бросал теплые, живые отблески на пол, на стены, на скудную обстановку. Бреда налил кофе и подал чашку Миладе.— Коротенький человечек в серой шляпе?—спросил он.— Успокойтесь! Держите чашку крепче! Не пролейте кофе, обожжетесь.

Она отпила немного, и дрожь прекратилась.

— Я и вас вткнула,—сказала она.— Как глупо с моей стороны! Надо было догадаться и не ходить к вам после визита Рейнгардта.

— Ого! сам рейхскомиссар?

Он сел рядом с ней на кровать и, взяв ее незанятую руку, поглаживал ее.— Ничего, если мы пока посидим в темноте?—спросил он. В доме в этот час редко где горит свет, а я бы не хотел показывать этому субъекту вниз, где вы находитесь.

— Что теперь будет с вами?

— Ничего, Милада, в этом доме живет человек пятьдесят, у одних окна выходят на улицу, у других на двор. Серая Шляпа не знает, в какую квартиру вы звонили, и был еще далеко, когда я открывал вам дверь, иначе мы бы его увидели. Серая Шляпа, должно быть, проверил, есть ли в доме другого выхода,—а его нет, и теперь он просто ждет на улице, когда вы выйдете. Если б он или его начальство собирались арестовать нас или того, к кому вы пришли, сейчас у дверей уже звонила бы полиция.

— Они будут следить за вами!

— Возможно. Но я умею уходить от шпиков. Прага удивительный город: подумайте, сколько в нем крутых улиц, проходных дворов, темных лестниц и вши в толстых, старых стенах. Я знаю этот город, я в нем вырос.

— А если они станут следить за домом?

— Я и без этого не рассчитывал сюда возвращаться. Вы же оставайтесь в квартире до утра. А когда я буду уходить, часа через два, я как следует рассмотрю Серую Шляпу. Может быть, удастся как-нибудь с ним разделать.

Он отхлебнул кофе.— Какая гадость!—воскликнул он с гримасой.— Жолуди, ячмень и древесный уголь. Всего намешано. А что собственно понадобилось Рейнгардту?

Его манера спрашивать о важном деле так, как будто оно не имеет никакого значения, облегчила Миладе ответ. Ему удалось успокоить ее. Рейнгардт со всеми его угрозами, со всей властью, представителем которой он был, казался теперь не таким страшным.

Она старалась найти причину этого, зная, что будущее готовит ей немало таких испытаний, какие она пережила в этот день. Ей нужна была путеводная звезда, спасительный огонек, который помог бы ей не сбиться с пути при новой встрече с врагом.

Темнота сблизила их. Он, казалось, читал ее мысли.

— Встречая врага лицом к лицу, разумеется, испытываешь страх. Из всех моих товарищей только один не знает страха — его зовут Яношек, и сейчас он в тюрьме — это один из заложников.

— Если придет опять этот Рейнгардт или кто-нибудь из них, помните о тех, кто идет с вами. Вы их не знаете, я тоже их не знаю, я знаю только, что они есть. Меня волнует это чувство, оно захлестывает меня. Однако я что-то разошелся. Впрочем, иногда нужно охватить взглядом всю картину, чтобы не упустить из вида того маленького уголка, где работаете. Так что же понадобилось Рейнгардту?

Теперь она успокоилась. Говорить было легко. Она чувствовала себя под защитой. Дрова потрескивали в печке, время от времени с шумом выпадал уголек.

Бреда внимательно слушал. Во все время рассказа он боролся с желанием обнять Миладу, защитить ее своим сильным телом. Однако ему приходилось заглушать в себе и чувство жалости к Миладе и чувство гордости ею, чтобы вникнуть хорошенько в эту историю и во все последствия, какие могут быть с нею связаны.

— Почему? — спрашивала Милада. — Почему он так пристал ко мне с обвинением в убийстве? Ведь следствие уже закончено, заложники сидят под замком и ждут расстрела...

Бреда поставил чашку на пол. — Рейнгардт не верит, что вы убили Глазенапа или были соучастницей убийцы, — с расстановкой произнес он. — Ему нужно добиться от вас признания, что вы знали о самоубийстве Глазенапа.

Бреда задумался. Он сознавал, что может защитить сидящую рядом с ним девушку, только вооружив ее ум, показав ей всю сложность и глубину задачи, так он ее понимает.

— Видите ли, — объяснил он, — в этом деле все построено — ведь Глазенапа никто не убивал. Поэтому Рейнгардт, построив все дело на обмане, вынужден делать вид, будто верит в убийство. Он должен устроить всех, кому известно о самоубийстве Глазенапа. Он опасается, что вам это известно.

— Понимаю, — кивнула Милада, — но это не объясняет, почему он не арестовал меня.

— Да, не объясняет. Но причины довольно простые. Он пускает вас гулять на веревочке, вместо того чтобы посадить за решетку, так как у него нет уверенности, что вы знаете о самоубийстве Глазенапа. Он только подозревает вас. Оставаясь на свободе, вы быть можете невольно выдадите ему других — например меня. А другая причина... — он запылся в смущении. — Он не прочь сойтись с вами.

Милада была больше не в силах сидеть спокойно. Бреда следил, как она пагает по комнате, как мечется по стенам в тусклом свете горящей печки ее длинная, неровная тень.

— Простите, — поспешил он прибавить, — простите, что я это говорю, Милада. Но иначе трудно объяснить такое явное упущение со стороны Рейнгардта.

— Я сужу о Рейнгардте по вашему рассказу. Вы красивы, Рейнгардт полагает, что вы были возлюбленной Глазенапа. Ему хочется стать заместителем Глазенапа, и потому он предпочитает думать, что вы не опасны для его планов.

— Это западня! Мы в полной их власти и нет надежды на выход, — сказала она в отчаянии.

Бреда закрыл лицо руками.

— Перестаньте, Милада! — возмущился он. — Я попытался помочь вам. Я люблю ее, думал он, и не могу защитить ее. Каждый мужчина хо-

быть защитником своей возлюбленной, окружить ее уютом и теплом, строить дом для нее. А они бомбят наши дома и жгут, они взламывают наши двери прикладами винтовок, насилуют наших женщин.

— Вы много значите для меня, Милада. Вот почему я должен был показаться откровенно.

О, разодрать собственными ногтями горло поработителей, разбить им голову о булыжники наших улиц! Но мы молчим, мы скованы и безоживы, мы только страдаем и ждем.

— Надо рассказать вам о той работе, на которую я иду сегодня, — продолжал Бреда, — потому что она касается вас, подвергает вас большей опасности... Сядьте рядом со мной, прошу вас.

Она послушалась. Голос Бреды притягивал ее.

— Помните тот вечер, когда мы познакомились с вами? — спросил он.

— Помню. Это придало мне силы.

— Когда мы переходили Карлов мост, прожектора прорезали небо, помните?

— Да, в ту минуту вы забыли обо мне, — ответила Милада. — И я почувствовала себя такой одинокой.

— Я думал о Яношеке, пострадавшем за тех, которые уже умерли. За тех, которые умрут, думал, что кому-то надо поднять обвиняющий голос, — не тогда, когда все кончится, но теперь, теперь!

— Вы сказали тогда: если бы можно было написать это на небе!

— Да, — ответил Бреда, — если бы мы могли написать это на небе, они пишут свои кровавые сообщения. Со мной вместе работает мой товарищ Франтишек, монтер пражской радиостанции. С его помощью у нас будет возможность сделать передачу по радио.

— Мы разоблачим гнусную интригу гестапо. Нам не за чем говорить о прооре — всем известно, что такое террор. Но, как только люди узнают, что террор будет разить их без разбора, как бы они себя ни вели, террор потеряет всякое действие, потеряет свое жало. Никто с ним не будет считаться.

— Так мы отомстим за Яношека. И за вас. И за всех остальных.

Его решимость, его замысел увлекали и страшили ее. Он покорила ее своим мужеством.

Но она боялась за него. Она уже потеряла Павла и не хотела потерять и Бреду. — Но что же будет с вами? — спросила она. — Вы не думаете о себе, а я думаю.

Он почувствовал смирение перед ней. Она забывала об опасности, которой подвергалась, и думала о нем! Что он может дать ей? У него ничего нет, даже его жизнь не принадлежит ему. О чем говорить? В будущем, в котором нет ничего верного? О своих чувствах, которые так чему привести не могут?

— Я люблю вас, — сказал он.

Милада молчала. Она ждала и искала этих слов, как плоть ищет дыхания, вокруг которого может обвиться и подняться к солнцу. Она ждала этих слов, чтобы они укрепили ее, помогли ей стать лицом к лицу с этим Рейнгардом, но теперь, когда они были сказаны, она не чувствовала ничего, кроме страха, страха за Бреду, страха перед расставанием с ним.

Ее горячая рука сжала его руку.

Бреда тоже испугался своего признания. — Я люблю вас, — повторил. — Я не должен был этого говорить. Ведь это нам не поможет, правда? — Он встал и подошел к окну. Серая Шляпа все еще стояла на улице.

Он обернулся и почти крикнул на нее:

— Не тревожьтесь обо мне, хорошо? Ведь не сам же я, разумеется, стараюсь говорить по радио!

— Я не боюсь, — прошептала она. — Я верю в вас.

— Сегодня, — продолжал он более спотыкаясь, — мы делаем запись на пленку. А завтра мы задержим одного нацистского диктора, у которого

есть некоторое сходство со мной. Я просто займу его место, войду в студию, поставлю запись, пущу аппарат, и уйду. Вот и все.

Он засмеялся.— Представьте себе их физиономии, когда они обнаружат, что мы их провели!

С чувством облегчения и с детским восторгом она вторила его смеху. Потом тревога вернулась к ней:— А что, если вам не удастся задержать диктора? Или, если охрана, служащие, мало ли кто, обнаружат маскаррад? Ведь студию строго охраняют, я думаю. Боже мой, сколько опасностей! И каждая оплошность может стоить вам жизни.

— Опасность есть всегда,— успокаивал он ее.— Но до сих пор мне везло. Неужели нам бросать работу из-за того, что нас могут убить, из-за того, что возможна неудача? Что мы теряем? Разве это жизнь? Я люблю вас больше, чем можно выразить словами. А я не в силах помочь вам, когда за вами охотится этот Рейнгарт. Разве это жизнь? Нельзя работать, нельзя говорить, нельзя дышать— разве это жизнь?

— Там, на востоке, каждый день на фронте умирают тысячи. В нашей стране люди обречены на медленную смерть в концентрационных лагерях, либо их вешают сотнями. Жизнью больше не стоит дорожить, она потеряла цену.

— Я не герой. Но я дошел до отчаяния и потому должен бороться.

— Простите,— сказала она.— Я женщина. Позвольте же мне тревожиться за вашу жизнь, ведь она у вас одна, и она дорога мне.

— О, черт возьми,— засмеялся он,— еще минута, и вы заставите меня плакать у вас на плече, плакать о себе и о нас, о том, что у нас нет и никогда не будет. Не заставляйте меня размыкнуть, это не годится, в особенности теперь. Подумайте о себе, подумайте, как вы рискуете из-за меня!

— Как только наша запись будет пущена в эфир, опомнитесь тайна, которую так старательно охранял Рейнгарт. Миллионы узнают о самоубийстве Глазенаха.

— Я рискую гораздо меньше вас, моя бедная Милада

— Но я не боюсь,— заметила она с удивлением.— За этот день я прошла все стадии страха, так что больше ничего не боюсь.

— Разве это жизнь?— повторила она, шутя, слова Бреды.— Серая Шляпа стережет меня, рейхскомиссар добивается моих показаний или моего тела,— а я не боюсь.

Она стала серьезной.— В такое время каждый час много значит, Бреда. Поймите, я хочу жить. Я, ничтожная клетка, истекающая кровью, растерзанном, голодном теле человечества, хочу жить. Я вовсе не циник, вы должны это понять, друг мой. Вы знаете эту песню?

Заря поутру, заря поутру.
Ты мне говоришь, что я скоро умру,
А девушки юны, трава зелена,
Я не жил еще, для чего ж умирать?

— Старая песня...— Ее голос прорывался.

Сострадание горячей волной прихлынуло к сердцу Бреды, сметая преграды. Он обнял ее.

Завтра отодвинулось куда-то вдале. В этой комнате они были, словно на острове, пляшущий огонь в печи стал для них солнцем, эти краткие мгновения перед расставанием — целой жизнью. Каждый час приносит свою жатву, спешит собрать ее, прежде чем он канет в вечность.

Трепетное тело Милады прижалось к Бреде, словно кроме него ничего не оставалось на свете. Да, кроме него ничего не оставалось. Вокруг них сплошная тьма, только и света, что в его глазах, только и силы, что в его объятиях, только и нежности, что в его руках, только и утешения, что его губы.

Их союз был естественен, как союз стихий, они соединились, как

соединяются звезды, стремясь друг к другу через беспредельное пространство, чтобы образовать новое солнце, как сталкиваются молекулы, чтобы вспыхнуть пламенем

О, боже мой, думала она. вот чего я жажду. Обвитья вокруг него, вокруг его силы, вокруг его теплоты и так остаться, остаться навсегда. Она ласкала его плечи, его волосы. Как весенние ручейки, вся кровь ее сердца заливала его, он был в ее сердце. Отдать всю себя, забыть о себе, слиться с ним неразрывно, навеки.— этого она достигла, этого никто не может отнять, ее любви, ее торжества над смертью и страхом!

Я вся горю, охваченная ласкающим огнем. Тысячи тончайших волокон связывают меня с ним, и они тянутся к нему, впиваются в себя. Пусть ни один нерв не останется обожженным, пусть воспримет его чудесную, сияющую жизнь, пусть каждый получит свою долю блаженства.

Я огненный шар, я легка, о, так легка. Во мне этот человек, это возлюбленный дитя. Я возношу его на головокружительную высоту, в беспредельную лазурь. Я госпожа, я мать, бессмертная подательница жизни. Я достигла предельной высоты. Никто никогда не поднимался на такую высоту. Какая пустота, какое безграничное пространство!

Какая радость раскрыться, слиться со всей вселенной, отдать всю себя!

Она откинулась на подушки. Этот человек в ее объятиях, как он беспомощен. Он улыбнулся и поцеловал ее, с робостью, как целуют край голубой мантии богородицы.

Она нежно коснулась губами его щеки, его глаз, его лба, шепча слова утешения и любви, и ее любовь, как колыбельная песня, убаюкала его.

Потом наступило молчание. Огонь в печи погас. Бреда встал и взял одеяло, чтобы укрыть себя и Миладу.

Они тесно прижались друг к другу, ровно дыша, и ее голова лежала на плече Бреды.

— Милый,— прошептала она,— когда ты уйдешь, жизнь остановится.

Он ваял ее локоть в свою большую руку и крепко сжал.— Ты мне близка, как никто никогда не был. Но это невозможно, мы не можем себе этого позволить. Наше время — время одиночества. Пожелай удачи нам обоим.

Она подумала, что женская любовь, верно, сильнее мужской. Неужели он ни на минуту не мог забыть о действительности, даже в ее объятиях. Потом она поняла, что ему пора уходить; так надо.

— Я люблю тебя,— сказала она.

— Ты смелая, прямая.

— Что же тут удивительного? Я знаю только одно: я не могу потерять тебя.

Он вздохнул.— Я не мог бы любить тебя так сильно, если бы это не было концом.

— Тебе пора идти?

— Я хочу, чтобы ты знала: мы неразлучны. Как день с солнцем, ночь с луной, как зари с ее красками.

— Да.

— Это я унесу с собой.

— Я тоже.

Он поцеловал ее. Потом встал. Заботливо укрыл Миладу. Сонными глазами смотрела она, как он одевается. Все, что она пережила за этот день, до дна исчерпало ее силы. Она была так утомлена, что только краем сознания воспринимала действительность. Это было хорошо, ей еще так мучительно было расставанье.

Бреда понял это чутьем, рожденным любовью, и опустился рядом с ней на колени.— Спи крепко,— сказал он,— и не забывай, что на заводе мы с тобой незнакомы.

— Не оставляй меня, милый!— она обняла его теплыми руками.

— Мы еще увидимся,— утешал он.— Береги себя. Как ты красива,

Милада, у тебя волосы похожи на черные вьющиеся ручейки. Дай мне наглядеться на тебя, запечатлеть тебя в памяти такой, какая ты сейчас.

Потом, решительно высвободившись из ее рук, он встал и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.

Милада не сразу поняла, что осталась одна. Звуки его шагов давно затихли.— Милый!— позвала она.— О, мой милый!— В первый раз за весь этот потрясающий день она заплакала и, плача, уснула.

Пан Кратохвил ждал перед домом с терпением охотника, который знает, что рано или поздно олень должен выйти из чащи и направиться к водопою. Он держал порох сухим, предаваясь приятным размышлениям на тему о том, куда он истратит деньги, которые получит за сверхурочную работу. Надо отдать справедливость этому Рейнгардту, на деньги он не купится. Хотя, с грустью размышлял Кратохвил, не так-то много на них купишь— во-первых, товаров нет и, во-вторых, деньги ни черта не стоят. В своей сфере Кратохвил тоже столкнулся с железным законом экономии. Сколько он ни бился, он не мог разрешить противоречия между фактом отсутствия товаров, изъятых нацистами, и изобилием хрустких блестящих банкнот, еще пахнувших типографской краской. Поэтому, как ни жаль ему расставаться с деньгами, он решил истратить их на угощение сторожам кладовой при штабе гестапо. А они за это дадут ему выбрать любую вещь из пожитков, отобранных у арестованных.

Подбирать крохи со стола новых приятелей, рассуждал Кратохвил, все же лучше, чем оставаться совсем без крох.

Неизвестно, как далеко завели бы Кратохвила эти рассуждения, если бы его не прервал человек, вежливо, но настойчиво попросивший у него спичку. Этот человек, сейчас же отметил Кратохвил, вышел из дома, в котором скрылась его добыча.

Кратохвил чиркнул спичкой, и секунду-другую оба они смотрели друг на друга испытующими глазами. Потом спичка погасла.

— Благодарю,— сказал Бреда.

— Мое почтение!— ответил Кратохвил, приподнимая серую шляпу.

— Очень рад вас встретить,— сказал Бреда.

— Вы кажется спешите?— продолжал Кратохвил.

— Да, я занят.

— Отлично! Отлично!— сияя улыбкой, зашел Кратохвил.— Куда же вы идете так поздно ночью? Чем вы занимаетесь?

— Такой приятный человек,— сказал Бреда,— а задает столько вопросов постороннему! Можно подумать, что вы служите в полиции. Да нет, конечно, иначе вы бы не вышли один на улицу в такой поздний час!

— Почему же не вышел бы?

— Потому что это опасно.

— Вот как?

— Видите ли, если бы вы служили в полиции, а я бы этого скажем, не одобрял, и встретил бы вас один на один.— Все это, мой друг, только предположения,— я бы взял вас— вот так, за горло и сказал бы— вот так!

— Пустите! Мне больно!— Кратохвил задыхался.

— Прошу прощения.

— Не беспокойтесь!— пробурчал Кратохвил.

— Ну, спасибо за спичку.— И не успел еще Кратохвил прийти в себя от испуга, как Бреда уже скрылся во тьме. Теперь до конца вахты Серая Шляпа будет чувствовать себя не особенно приятно, посямаясь, думал он. Как легко было бы убавить его. Чуть сильнее сжать пальцами горло,—но в расчеты Бреды вовсе не входило убивать шпиона сейчас; полиция была тревога, полиция стала бы обыскивать весь район и, возможно, арестовала бы Миладу. Подойдя к Серой Шляпе и напугав его, Бреда уверился, что тот дежурит один и не может отрядить кого-нибудь из своей братии для слежки за Бредой.

Теперь он знал хорьковую мордочку шпиона и обещал себе, что расправится с ним в самом скором времени.

Как я изменился! думал Бреда. Я хладнокровно и даже с удовольствием помышляю об убийстве человека, которого никогда до сих пор не видел. Ведь прежде я был мирным обывателем, послушным закону. А теперь я и обвинитель, и судья, и присяжный, и исполнитель приговора — по собственной воле.

Они отняли у нас не только нашу землю, наши книги, наши машины, — они отняли у нас надежду, достоинство, человечность. Но они рубят сук, на котором сидят, их погубит собственная жестокость. Законы истории против них. И я, Бреда, любитель вечерних зорь, тихих речных заводей и мирных размышлений, готов стать убийцей этих палачей, и потом сложить голову на плахе. Я не теряю из виду великих перспектив этой драмы, а иначе мне казалось бы, что я в западне. Но я вижу результаты, вижу будущее, я вижу как мои усилия, в соединении с усилиями многих, образуют мощный поток, который раздвинет все преграды.

Он постукался условленным стуком, и его выпустили. Радиомонтер, Франтишек, коренастый, крепкого сложения человек с маленькими, живыми глазами и обветренным лицом карпатского крестьянина, был один из членов ячейки, которой руководил Бреда. Второй был провизор Подебрадский. Втроем они могли выполнить любое задание, для которого требовались знания по химии или механике — это была крепко спаянная группа людей, абсолютно доверявших друг другу.

Они поздоровались. Бреда осмотрел стоявший на столе прибор для звукозаписи, соединенный с микрофоном. Рядом с микрофоном добросовестный Франтишек поставил стакан воды: — Как в настоящей студии, — пояснил он. — У дикторов всегда пересыхает в горле.

Подебрадский, который принес диск для записи, рассмеялся. — Ты у нас за примадонну, старик. Ну что ж, прополощи горло мятой и пробуй голос: ми-ми-ми!

— Пробуй сам! — добродушно отпарировал Бреда. Обратившись к Франтишке, он похвалил механика. — Сколько же у тебя месяцев ушло на то, чтобы украть все нужные части. Жаль, что мы так редко можем пользоваться этим аппаратом.

— А стоило бы, — сказал Франтишек.

— Ну как? Ты готсв?

— Одну минуту. Дай только еще раз посмотрю свою рукопись.

Бреда, усевшись перед микрофоном, перечитывал листки, написанные его аккуратным почерком. На бумаге слова казались такими холодными и мертвыми. Надо снова зажечься тем пламенем ненависти и борьбы, каким он горел, когда писал эти строки. Он думал о Яношке, о Миладе, думал о мертвых, лежащих в безыменных могилах. В этом подвале, вместе с двумя людьми, как и он безгранично преданными делу борьбы, он должен был подать призывной клич, который проникнет за эти стены, за все стены.

— Готов, Бреда?

— Готов, Франтишек.

Диск начал вращаться.

— Граждане Праги! Завтра будут расстреляны двадцать заложников за убийство одного нациста, некоего Глазенапа. Этого человека никто не убивал. Он сам покончил с собой.

У гестапо нет даже мотива мести за убитого: ваши сопращдане модло обмануты, они жертвы чудовищного произвола завоевателей.

Нет больше плюзии закона, хотя бы даже нацистского закона... Нет больше безопасности, как бы вы ни гнули головы. Ваша жизнь и жизнь ваших близких находится во власти беспринципных, озверевших убийц. Они убивают ради того, чтобы убивать, мучают, чтобы мучить, их злоба топчет вас, без разбора, как град колосья.

Мы должны восстать против них. Мы должны портить работу, которой от нас требуют, пускать под откос поезда, поджигать и взрывать

их склады, их транспортные средства, их жилища. Давите их, как они давят нас! Уничтожайте их, как они уничтожают нас! Душите их, как они душат нас! Убивайте их, как они убивают нас!

Они или мы! Граждане! У каждого из нас бывает свой шанс, у каждого из нас бывает свой день! Пользуйтесь им и вступайте в борьбу! По одиночке или группами, вступайте в борьбу! Боритесь до тех пор, пока последний из убийц не будет изгнан за пределы нашей земли навсегда!

Глава 9

Драматическое показание Прокоша своей неожиданностью поразило Рейнгардта.

— Так это вы убили Глазонапа? — недовольно откликнулся он. В его голосе не было сомнения — где же слыхано, чтобы человек добровольно направивался на ту меру наказания, какая будет назначена за убийство немецкого офицера.

— Да! — ответил Прокош твердо, почти с гордостью.

— Что же заставило вас сознаться? — спросил Рейнгардт.

Да — что заставило Прокоша сознаться?

Он не отличался храбростью и всегда избегал столкновений, в которых надо было проявить силу характера.

В центре вселенной стоял актер Прокош, жизнь была для него сней, а зрителями — весь мир. Едва ли существовала в действительности отдельная личность, носившая имя Карела Прокоша; вчера он был героем, сегодня грешником, завтра будет святым. Он перетивался всеми цветами радуги, и выражение его лица, характер, ум менялись с каждым днем, с каждым часом.

Человек, возвеличивший себя до небывалых размеров, умер и под вале гестапо. Его убила правда.

Действительность, к которой он питал презрение, отомстила ему. Его жена, его возлюбленная изменила ему, соединив свою жизнь с каким-то ничтожным писакон: ребенок, рожденный ею, был не от него.

Ему не удалась самая важная из ролей — его жизнь. Он просто шут: изыденный молью костюм, гримировка, набор заученных фраз — и личного больше.

Других приводит в отчаяние близкая смерть, а ему не все ли равно? Он умер, он мертвее мертвых, потому что никогда не жил.

Посреди этих размышлений Прокоша пришел надзиратель и вызвал Яношека на допрос к Рейнгардту.

Прокош не присоединился к добрым пожеланиям, напутствовавшим Яношека, не простился с ним, как дружно. До сознания Прокоша не сразу дошло, что дверь камеры давно уже захлопнулась за Яношкой.

Так, значит, Яношека вызвали на допрос к шефу гестапо, думал Прокош. Да и пора уже. Скоро придет и моя очередь. Что ж, пускай. Мне все равно. Пусть допрашивают, пусть убивают — я даже рад этому. Все лучше, чем умереть живому, умереть живому. Убейте меня, потребую я от них, убейте меня! Положите этому конец!

Он представлял себе место действия — у холодной серой стены. Красноватые лучи восходящего солнца. Все остальные, маленькие актеры на выходные роли, стоят в немом отчаянии. А он, артист Прокош, поднимает руки кверху, повергая зрителей в трепет: — Убейте меня! Положите этому конец!

Или еще лучше — он сыграет эту сцену один. Он избавится от статистов. Зачем им умирать? Они только испортили ему роль! В чем бы ни была их роль, он, герой, возьмет ее на себя, пожертвует собой ради малых сих. Какая сцена под занавес!

Он, Карел Прокош, принесет себя в жертву, освободит человека, который украл у него жену и был отцом ее ребенка. Какая развязка!

До конца своих дней этот негодяй не посмеет поднять голову... Какая мсты!

И когда раздастся залп, когда опустится занавес, никто не выйдет на авансцену навстречу аплодисментам. Карел Прокош будет лежать в крови, с мудрой улыбкой на устах, оправданный перед потомством.

Застыгнутый врасплох, Рейнгардт не усумнился в искренности признания Прокоша, хотя оно и нарушало его планы. Но если Прокош убил Глазенапа, какие у него были на то причины и как он это сделал? Далее, он мог бы остаться неизвестным, не выделиться из среды других заложников. Быть может, он считал, что его признание освободит других? Рейнгардту за долгие годы практики приходилось встречаться с героизмом такого рода. Он считал его смешным, давно отжившим. Но, рассуждая о такой возможности, рейхскомиссар сделал еще один шаг по пути логики: и что, если вся исповедь была выдумана? Выдумана Прокошем, чтобы освободить заложников, пожертвовав собой.

— Подойдите ближе! — скомандовал он Прокошу.

Теперь яркий свет лампы сосредоточился на лице актера, но тот не смигнул: он привык к блеску огней рамп.

Рейнгардт разглядывал Прокоша. В ярком свете он выглядел бледным и истощенным, щеки обвисли мешками, глаза покраснели, лоб казался воспаленным. Губы актера побелели, отросшая щетина бороды углубляла тени на его лице. Он болен, подумал Рейнгардт. Может быть, просто от духоты в камере, а может быть, и в самом деле болен. Кроме того, он неуравновешен, это неустойчивый интеллигент, легко уступающий давлению. Нетрудно будет добиться от него фактов.

Ну, дорогой мой Прокош, — вернулся Рейнгардт к допросу, — не расскажете ли вы нам несколько подробнее о том, как и почему вы убили лейтенанта Глазенапа? Не можете же вы просто сказать нам: я его убил! — и думать, что этим все исчерпано. Наша задача установить правду, всю правду. Если вы расскажете нам правду, то вам ничего не грозит.

Прокош, который лежал на койке, имел достаточно времени для того, чтобы придумать подробности, начал свой рассказ.

— Я ненавидел его. Это была такая скотина. Безобразный, хвастливый, отвратительный, пьяный. Я тонко чувствую. И потому я убил его.

— Это у вас что же, привычка? Я хочу сказать — убивать людей, которые пришили вам не по вкусу?

— Нет, — сказал Прокош, — но он был нацист, и, следовательно, с ним ничего было считаться, как считаются даже с самыми ненавистными людьми.

— Однако вы не стесняетесь в выражениях!

— А чего ради я стану стесняться? Я знаю, меня ждет смерть, что бы я ни говорил. В сущности, я даже рад, что вы услышите от меня правду.

Рейнгардт кивнул. — Правду! Продолжайте!

Прокош задекларировал: — Вы принадлежите к правящим. Вы не знаете, что значит находиться под вашей властью.

— Можете быть уверены, что знаю, — улыбнулся Рейнгардт. — Я не лишен воображения.

— Доходишь до того, что начинаешь думать: следующего, с кем я повстречаюсь из этой банды, я убью. Это такое изумительное облегчение убить, чувствовать, как жизнь покидает тело негодяя, которое вы держите в руках...

И вдруг, сделав шаг к Рейнгардту: — Ужасно, не правда ли?

Рейнгардта несколько не увлекло выступление актера. — Звучит очень убедительно, — сказал он. — Жаль, что мне не пришлось видеть вас на сцене. А ваше признание просто бесподобно. В моей работе мне

часто доводится слышать, как признаются люди, но вы первый признаетесь с таким увлечением. Не правда ли, Менкеберг?

Менкеберг проворчал: — Не можете ли вы заставить его говорить медленнее? Дьявольски трудно записывать все это.

— Вы слышали, чего хочет Менкеберг? — спросил Рейнгардт. — Обычно его работа гораздо легче — я задаю вопросы и с трудом добиваюсь ответа от заключенных, так что Менкеберг успевает записывать. Но вы говорите с таким воодушевлением, а потому не взыщите, если мы в чем-нибудь ошибемся.

Прокош был несколько задет ответом рейхскомиссара. Он чувствовал двусмысленность вежливых похвал Рейнгардта, но не мог решить, верить ему рейхскомиссар или нет.

А Рейнгардт, слушая Прокоша, все меньше и меньше был склонен ему верить. Рейхскомиссар, которому мало приходилось иметь дело с актерами, думал, что, может быть, они действительно таковы. Но не исключена возможность, что Прокош врет, торжественно и с великолепным апломбом, но все-таки врет.

Однако Рейнгардт был не такой человек, чтобы вскочить с места и крикнуть: «Лжешь, негодяй!» О нет, он сидел спокойно и наслаждался спектаклем, дожидаясь, пока лжец не запутается в собственной выдумке, слегка направляемый к финалу рукой Рейнгардта Мудрого.

— И других мотивов у вас не было? — спросил он. — Не Глазенап, так другой немец, вам было бы все равно?

— Да, — сказал Прокош, — ненависть не разбирается

— Я вижу, вы опасный человек!

— Да, меня можно считать опасным.

— Я уже спрашивал, что заставило вас сознаться — вы не ответили мне. Может быть, ответите сейчас?

Прокош подготовился к этому вопросу. Красноречивым жестом он поднял правую руку. — Ваши подвалы, господин рейхскомиссар, не вызывают особенного желания жить. Скорее наоборот. И когда я узнал от доктора Валлерштейна, что всех нас расстреляют как заложников, если не будет найден убийца лейтенанта Глазенапа, то мне пришла в голову простая мысль: так как я убийца и так как я во всяком случае должен поплатиться жизнью, то не сознаться ли мне? Пусть и умру более мучительной смертью, все равно умереть можно только один раз. И я получу моральное удовлетворение — я буду знать, что остальным, ни в чем неповинным, возвратят свободу.

Рейнгардт улыбнулся. Он посмотрел на свои ноги и слегка провел ими по черному отвороту мундира. — Так вы надаетесь на нашу порядочность? — спросил он. — На порядочность и справедливость тех самых людей, которых вы так ненавидите, которых, по вашим словам, готовы убить при первой возможности. Почему же мы должны действовать так, как вам хочется? Почему нам не стать на вашу же точку зрения, то есть убить вас, если есть возможность? Вас — и заложников.

Полузакрыв глаза, он следил за Прокошем. Он был доволен — актер растерялся, и не было суфлера, который подсказал бы ему следующую строчку.

— Этого вы не можете сделать! — заикаясь, произнес Прокош. — Я сознаюсь! Покарайте меня! Прикажите меня расстрелять!

— Расстреляем, расстреляем! А сначала расскажите нам, как вы убили Глазенапа. И я бы желал слышать правду без театральных прикрас — Менкебергу, знаете ли, придется все это записывать.

Прокошу стало до ужаса ясно, что не он играет Рейнгардтом, а тот ведет с ним дьявольскую игру. Прокошу трудно было состязаться с ним в области логики и криминологии. И как бы он мог, лежа на неудобной койке и сокрушаясь о своей бесплодно потраченной жизни, соткать паутину фактов настолько прочную, чтобы она устояла перед критическим взглядом Рейнгардта? Как мог он знать, что было известно Рейнгардту? Как мог он заранее придумать ответы на вопросы, которых не ждал?

Он надеялся, что будет довольно одного признания, быть может объяснения мотивов убийства. А от него требовали деталей, обстоятельств, фактов, от него, который никогда не обращал внимания на мелочи.

— Как я его убил!—возмутился он.—Я убил его—неужели этого мало? Неужели вам нужны отвратительные подробности?

— Вы удивляете меня, Прокош! Вы становитесь мягкосердечны, а? Да,—любезным тоном настаивал Рейнгардт,—мне нужны отвратительные подробности.

— Не помню. Все это произошло словно в каком-то вихре.—Он пытался убедить непреклонного человека, сидевшего перед ним.—Неужели вы не понимаете—кровь бросается в голову, все представляется вам в искаженном виде, звуки обостряются...

— Поверьте мне,—сказал Рейнгардт,—я смыслю в убийстве гораздо больше вашего. Это происходит совсем не так, как вы описываете. Чаще всего убивают очень хладнокровно, очень обдуманно. Вы хотите, чтобы я принял ваше признание на веру, не правда ли? Так вот, как человек, которому вверена охрана жизни и собственности в этом городе, я должен знать точно, что именно произошло. Если вы не можете рассказать мне, значит, вы говорили неправду.

Прокош был пойман. Он знал это. Какую бы историю он ни придумал, только по счастливой случайности она могла сойти ему с рук.

— Глазенап спустился вниз в уборную. Его стошнило на пол бара, и он ослабел. Это было видно. Вот почему я пошел за ним.—Прокош говорил с заискивающей, останавливаясь после каждой фразы.

— Когда?

— Когда? Через некоторое время после того, как пришел сторож вычищать пол. Я сообразил, что, кроме Глазенапа, в уборной сейчас никого нет.

Видите, насколько я прав?—замечил Рейнгардт.—Убивают хладнокровно. Вы совершенно резонно приняли в соображение почти все обстоятельства. Продолжайте!

— Я сошел вниз по лестнице.

Никто этого не видел?

Насколько мне известно, никто.

Вы пришли в кафе один?

Нет, со мной был Лобкович.

Понимаю,—сказал Рейнгардт.—Продолжайте!

Внизу, в уборной, я увидел Глазенапа, наклонившегося над раковиной. Мне стало противно, и моя решимость покончить с ним только усилилась. Не думаю, чтобы он слышал, как я подошел к нему сзади, ему было из-за того.

— Я обхватил руками его шею, крепко сжал ее пальцами.—Воображению Прокоша завладело им. Он думал уже не о Глазенапе, которого он замечал в кафе «Манес», а о Лобковиче, о шефе Лобковича...—Сжимая и сжимал ее изо всех сил. И вдруг он весь обмяк. Умер.

— Без борьбы?

— Он был пьян, и я застал его врасплох, он не боролся.

— Вы душили его вот так?—Рейнгардт обхватил руками толстую шею Менкеберга, иллюстрируя рассказ.

— Да, так,—подтвердил Прокош.

— А куда вы девали труп?

— Бросил в реку.

— То есть вы донесли мертвого лейтенанта до набережной и столкнули его в Влтаву?

— Да.

— Вы не боялись, что вас кто-нибудь увидит?

— Было темно. Не думаю, чтобы меня видели.

— Так, значит, свидетелей нет...—Рейнгардт откинулся на спинку стула. Потом начал перелистывать бумаги в папке с надписью: «Лей-

тенант Эрих Глазенапа». Он посмотрел рапорт полицейского врача — на теле не было никаких следов. Пальцы оставили бы отпечаток на шее.

Рейнгардт улыбнулся коварной улыбкой. Довушка захлопнулась.

— Возможно, придется отдать приказ, дорогой Прокош, — невозмутимо объяснил Рейнгардт, — который мне очень не хочется отдавать. Но поймите меня! Надо нас изолировать от ваших товарищей по камере, чтобы вы не могли рассказать им о нашей весьма поучительной и интересной беседе. А, к сожалению, условия одиночного заключения у нас оставляют желать лучшего — помещение будет довольно тесное, вы лежать, вы даже сидеть вы не сможете. Там темно, и вентиляция далеко не образцовая. Как я уже сказал, мне очень не хочется поступать с вами так, я отдаю этот приказ единственно в интересах правды. На тот случай, если вы пожелаете добавить какие-нибудь подробности или изменить ваше показание, я прикажу одному из надзирателей справиться о вашем самочувствии через каждые три часа. Согласны вы на это?

Колени Прокоша подогнулись. Он закрыл глаза — в первый раз в жизни актера ему было больно от яркого света. Он вспомнил рассказы Яношека о стоячих пробах. Вот на что он теперь осужден. Его последнюю сцену — монолог под занавес — не так-то легко закончить.

— Не приходите в отчаяние, — утешил его Рейнгардт, — я знаю многих, которые прошли через это без всякого вреда для себя. — Он позволил, и Прокоша увели.

Актер услышал еще смех Рейнгардта: — Менкеберг, это дело Глазенапа с каждым часом становится все увлекательнее. Как вам кажется?

Потом дверь затворилась, и Прокоша охватила полутьма коридора.

В камере оставалось только трое заложников: Пребенитер, Лобковиц и доктор Валлерштейн. И никто из них не мог уснуть, хотя камера теперь казалась более просторной и у каждого была отдельная койка.

Тьма была непроглядная, что действовало удручающе на Валлерштейна. Он не мог писать, не мог уйти в свои драгоценные заметки.

Лобковиц был мысленно с теми двумя, которые были вызваны на допрос и до сих пор не вернулись. Все, что он слышал о жестоких пытках и бесконечных допросах, оживало перед его глазами. Он уже не чувствовал печальности к Прокошу, он жалел его. Как выдержал актер пытки нацистов, пережив такое потрясение? Счастье еще, что у Прокоша нет никакой тайны, которую надо было бы хранить.

Другое дело Яношек. Они никогда не говорили на эту тему, но у Лобковица было чувство, что Яношек знает больше, чем говорит. Лобковиц молился о даровании силы ему и Яношке, молился богу, в которого до сих пор не верил и которого не могло быть, как подсказывал ему разум. И все же он молился в безумной надежде, что бог, суровый, но милосердный, восседает где-то на недостижимой высоте и что мольба отчаявшегося человека должна дойти до его слуха.

И другая безумная надежда вторглась в душу Лобковича. А, может быть, допрос означает, что еще не все для них кончено. Что, если исход дела не предпретшен заранее? Что, если гестапо напало на след убийцы, что, если убийца найден?

— Как вы думаете, выпустят они нас, если убийца Глазенапа арестован?

Ответа не было.

— Вы слышите меня, доктор Валлерштейн?

— Да, я слышу вас, Лобковиц.

— Так почему же вы не отвечаете?

— Потому что надежды очень мало. Нацисты так или иначе расстреляют нас для поддержания своей системы террора. Это круг, и нам из него не выйти.

— Предположим, — не сдавался упрямый Лобковиц, — что убийца —

один из заложников! В сущности, этот вывод напрашивается сам собой. Ведь мы все были в кафе, когда Глазенапа убили.

— Может быть, вы и ожидали бы такого величия души, но люди, к сожалению, не всегда оправдывают наши ожидания, мой юный друг. Такой человек как Прейсингер, например, вряд ли он сознается. Он грус в душе. А скажите, вы бы его выдали?

— Мне не нравятся ваши вопросы, доктор Валлерштейн. Он в одном положении с нами..

— В одном положении могут быть очень разные люди,— мягко возразил Валлерштейн.— Прейсингер, уверяю вас, выдаст кого угодно, лишь бы спасти свою драгоценную жизнь.

Прейсингер, чувствовавший себя очень угнетенным и раздраженным — все сильнее в течение этого разговора, закричал:

— Вы садист! Я знаю, что вы меня ненавидите! Вы заставляете Лобковица предать меня, чтобы спасти вашу собственную шкуру! Так позволяете сказать вам, что я еще выплыву. Меня освободят, я знаю! Я знаю! У меня есть влияние, у меня есть связи. Это вам, может быть, придется умереть, и уже поверьте, я плакать о вас не стану.

— Если вы так влиятельны,— сказал Валлерштейн,— почему же вы здесь сидите?

Прейсингер засмеялся безумным смехом.— Я здесь именно потому, что имею влияние. Вы оба этого не понимаете, вы думаете, что я рехнулся. Нет, я не рехнулся — я знаю, что говорю. Вы оба — ничтожные пешки, вы существуете только для того, чтобы вас передвигали с места на место. А я не просто человек, за мной горы и рудники. Я — уголь, я, значит, я — железные дороги, электричество, пар, я — колеса, которые движут, станки, которые штампуют, поршни, которые толкают.

— Очень убедительно, но посмотрите на себя теперь.

— Это пустяки! — торжествовал Прейсингер. — Я сам попал сюда, сам и выберусь отсюда!.. Им пришлось сделать меня министром — помните?

— Да, помню,— согласился Лобковиц, работавший в газетах. — Вот был скандал!

— Скандал — это пустяки! Вы не можете себе представить, как неприятно, когда эти политики тормозят хорошо обдуманные ваши мероприятия. Я решил сам этим заняться. Я присутствовал на том заседании кабинета в Мюнхене, когда нам приказали передать Гитлеру Судеты. Я знал, и все мы знали, что это значило отдать Чехословакию. Но дело шло не только о нашей маленькой стране.

— Вы не привыкли мыслить политически. Я должен вам объяснить: Советы предлагали нам помощь, если мы будем сопротивляться. Таким образом, у нас в руках была судьба всей Европы.

— Я встал и сказал: «Господа, кого вы предпочитаете видеть в нашей стране — нацистов или Красную Армию? В обоих случаях мы проигрываем. С приходом нацистов мы потеряем невесомые блага: демократию, национальную независимость, свободу печати, свободу слова и так далее. А помощь Советов значит, что весь этот мелкий народ, которым мы здесь правим, поднимет голову и ладить с ним будет очень трудно. А с нацистами мы столкнемся. Из двух зол надо выбрать меньшее. Что касается меня, я предпочитаю нацистов и подам голос за них».

Лобковиц был в бешенстве, голос его прозвучал хрипло: — Вы заслуживаете того, чтобы вас расстреляли — и расстреляли ваши приятели нацисты.

— Не говорите глупостей! — засмеялся Прейсингер.

— Они меня помнят. У меня с ними были самые лучшие отношения. До их прихода угольный синдикат был в руках евреев Петчеков. После прихода нацистов их вышвырнули вон. Во главе синдиката стал я. Так что, вы понимаете, на этом заседании кабинета решались гораздо более важные вопросы, чем судьба нашей маленькой страны.

— Понимаю, — согласился Валлериштейн. — Вы меня интересуете как феномен, Прейсингер. Акции, угольный синдикат, — этого не едят и в постель с этим не ложатся. Вы продали свой народ — что же вы из этого извлекли? Какое удовольствие?

— Сознание могущества, — ответил Прейсингер. — Сознание, что ты двигаешь, а не тебя двигают, что ты толкаешь, а не тебя толкают.

— Вы сумасшедший! — крикнул Лобкович.

Яношек сидел на заднем сиденье открытой штабной машины между двумя дюжанами эсесовцами в стальных шлемах, очень мало заботившихся о том, чтобы Яношке было удобно, и толкавших его с двух сторон. Вместе с шофером сидел «Младенец» Грубер, глава экспедиции в кафе «Манес». Эсесовцы были не слишком довольны поездкой: их оторвали от игры в скат, вытащили из уютной, прокуренной караулки для сопровождения этой косоглавой чешской обезьяны в какой-то бар неизвестно зачем. А всего обиднее, что бар уже закрыт и пить во время дежурства ни в коем случае не разрешается.

Машина мчалась по затемненным улицам, оглашая их воем sireны. Попадавшие навстречу прохожие жались к стенам, думая: «Несчастный, бог его знает, что он сделал, бог знает, что сделают с ним».

Но Яношек чувствовал себя счастливым. Зимний ночной воздух бил ему в лицо, забирался под куртку, и дышать им было отменно. После затхлой атмосферы в камере он освежал голову и укрепил нервы. Вырвавшись хоть на минуту из тюрьмы, уже чувствуешь себя свободным!

Он напевал песенку, которую слышал когда-то во время жатвы, ее пели молодые голоса полногрудых моравских девушек. Яношек не отличался музыкальностью, он пел фальшиво, но с большим чувством. Мысленно он подбирал новые слова к старому мотиву:

Да, негодяи, сегодня, сегодня, над вами одержим победу!

Да, негодяи, я долг свою исполню и адрес друзьям передам!

Да, негодяи, вы сильны, но мы хитры и упорны!

Да, негодяи, — мы скоро взорвем вас, подложив динамит вам под зад!

Это были плохие стихи, но как боевой клич Яношека они звучали торжествующе.

— Перестань петь! — приказал Энцингер, сидящий справа от Яношека. — И какого чорта ты радуешься?

— А город-то, наша Прага? — объяснил Яношек. — Я, видите ли, пристраюсь с ней, потому что завтра меня расстреляют. Если бы вы родились тут, неужели бы вы были не рады перед смертью еще раз повидать родной город?

Энцингер повернулся к Вальтеру, сидящему по другую сторону Яношека. — Ну вот и пойми этот народ! Мы их расстреливаем, а он поют.

Вальтере проворчал: — Они и сами ничего не понимают. Сказано нищая раса. Ни культуры, ничего. А мы развози их по улицам сред ночи.

Машина срезала угол. Они доехали до реки и мчались по набережной Влтавы. Позади них луна освещала холодным светом Градчанский холм на противоположном берегу; редкие облака с серебряными краями неподвижно застыли в беззвездном небе.

Яношек увидел реку, спокойную и широкую реку, дробившую лунный свет на мириады огней, и у него захватило дыхание. Исчезла вся злоба, вся ironия, вся суровость, приобретенная за долгие годы борьбы

Осталась только великая умиротворенность и мысль: как я недопловечен, как мало значу! Город и река будут существовать попрежнему, величественные, не дряхлеющие. А я сольюсь с ними, как устои Карлова моста, как статуи на кровле собора.

Три длинные, тяжелые баржи с грузом показались на реке, беззвучно скользя, и вернули Яношека к действительности. А вдруг это те самые баржи, которые он поможет взорвать. Он перестал тревожиться. Он так силен, так уверен в себе и в своем жизненном назначении, что ни сомнениям, ни страху нет больше места в его сердце.

Они подъехали к кафе «Манес» и остановились. Там было темно и пусто: на веранде опрокинутые стулья громоздились на столах.

Поставив ногу на подножку машины и опершись локтем на колено, а подбородком на ладонь, Грубер казался себе по меньшей мере фельдмаршалом, погруженным в раздумье. Это раздумье ни к чему не привело. Он повернулся к Яношке и спросил:

— У кого ключи?

— У хозяина.

— А где хозяин?

Яношек, все еще зажатый между двумя эсэсовцами, отвратился пожать плечами: — Думаю, что дома, в кровати со своей хозяйшкой.

— Разве нет сторожа или кого-нибудь вроде?

— Как же. А я то?

— Чего же вы с самого начала так не сказали? Где ваш ключ?

— Он у нас, сударь.

Но Груберу и в голову не пришло взять с собой ключ, отобранный у Яношека при аресте. И он не имел ни малейшего желания ехать обратно в штаб, искать по всей кладовой и, найдя этот несчастный ключ, опять возвращаться.

— Придется взломать дверь, — объявил он, принимая новую позу командующего на поле битвы. — Вперед!

— Вот и отлично, — заметил Яношек, ковыляя за Энцингером и Вальтерсом. — Пускай все видят, что у нас важное дело. Неприятно устранять обыск, если потом никто даже не заметит, что мы тут были, правда нет?

Энцингер и Вальтерс начали действовать прикладами винтовок, и так как Яношек был к ним прикован, его руки в кандалах невольно повторяли те же движения — беспомощная марионетка, челевая карикатура. Дверь затрещала и поддалась. Яношек, следуя за Грубером и своими двумя конвоирами, вошел в темное, мрачное помещение, где он работал в такой скромной и незаметной роли. Была какая-то высшая справедливость в том, что он, стоявший ниже всех, теперь будет распоряжаться в этом доме.

— Свет! Где свет? — кричал Грубер.

Яношек не видел причины торопиться; чем больше времени он проведет в кафе, тем меньше ему придется мучиться в застенке у Рейнгардта. Пускай Грубер обдирает себе бока, если ему так к спеху!

Главный выключатель в подвале, — услужливо сообщил он. Они осторожно поднялись вперед по темным коридорам, следуя за узким световым снопом от фонаря Грубера. Яношек, знавший наизусть каждый изгиб коридора, двинулся ослепло и так же неловко, как и другие.

И вдруг свет ослепил их, резкий свет незатененных абажурами лампочек в пыльных патронах. Перед ними была подвальная кладовая, которую по влечению Яношека. Здесь были старые ящики и коробки, которые по мере выбрасывать хозяин, поломанная мебель, пустые бутылки, груды старых мехов, тряпки, ведра, щетки — нестроя коллекция ретроградных отбросов. Искать что-нибудь в этом хаосе, а особенно письменно, можно пригласить полицейскому развед в копмаре.

Но Грубер не так давно стал полицейским и потому не терпел надежды. — Что ж, ладно! — сказал он, взглянув на свои часы.

Яношек, попрежнему прикованный к Энцингеру и Вальтерсу, мед-

ленно принялся за работу. Ведя своих стражей на буксире, он начал рыться в ящиках. Густая пыль поднялась столбом. Он передвигал ящики, спотыкался о бутылки, отталкивал в сторону ветхую мебель с небрежностью человека, не питающего уважения к хозяйской собственности.

Груббер отбежал к двери и высунул нос наружу. Но Энцингеру и Вальтерсу не было и такого облегчения. Легкие у них переполнились пылью, глаза слезились, лица были покрыты грязью. Яношек свирепствовал, делая вид, что энергично ищет.

— Надо найти,— бормотал он,— надо найти. Что скажет бедный рейхскомиссар, если мы вернемся без такого важного документа? А ну-ка, в этом углу, может, оно здесь.— И груды старых меню полетели в стороны, так что ноги тонули в бумажном море. Яношек стал на колени.— Надо же найти.— И раскидывая листки направо и налево, он рылся все глубже и глубже.

Наконец Энцингер заметил: — Нет смысла так искать:— А Вальтерс простонал:— Чорт бы побрал этого полоумного, мало ли что ему в голову изобредет!— не объясняя, кого собственно он имеет в виду: Яношка, Грубера или самого Рейнгардта.

Груббер не только прохлаждался, он думал. Теперь он поторопился сделать вывод из своих размышлений.

— Пойдите!— сказал он.— Так мы отсюда не уйдем до завтрашнего вечера. Нам нужна система. Система!— повторил он, припоминая крохи премудрости, оставшиеся у него в памяти от разговоров Рейнгардта.

Все четверо подошли к дверям, где пыль была не так густа. Грубер открыл вешенный совет, еще раз попробовав вставить в дело «систему». Но Яношек прервал его, скромно заявил, что самая лучшая система та, где работают все. И Грубер, которому как главе экспедиции приходилось только наблюдать, не возражал против этого.— Мы разделим помещение на три части,— сказал он.— Энцингер будет искать с правой стороны, заключенный посередине, а Вальтерс слева. Так мы пройдем по всей длине комнаты и обйдем ее шаг за шагом.

И, вынув револьвер из кобуры, он продолжал:— Можете отпустить заключенного, я буду его держать под прицелом.

Энцингер и Вальтерс были в совершенном отчаянии и просто оттого, что им предстояло помогать Яношке копаться в этой грязи и она давала ему это почувствовать, злобно срывая с него наручники.

Но Яношек оставался невозмутимым: он улыбался им самой располагающей, дружеской улыбкой, скрывая под ней свою метательное торжество. Как-никак он заставил работать двух представителей «высшей расы»!

После долгих и энергичных поисков им сильно захотелось пить. Яношке все чаще доставалось от его стражей, особенно после того, как они заметили, что он отстает в работе. Они толкали его и давали ему ватрещины, когда он подвертывался под руку, а Грубер смотрел на них, зажав папиросу во рту.

В конце концов Яношек, которому очень не нравилась такая усиленная деятельность с их стороны, заявил, что без стакана пива он больше двигаться не в состоянии, при всем своем усердии. Вар наверху не заперт, и ему, Яношке, так часто приходилось видеть, как действует кельнер, что он сумеет нацедить им пива. Энцингер и Вальтерс поддержали его.

Грубберу это показалось подозрительным:— Хотите напоить нас, а?— насмешливо заметил он.

Яношек ничуть не смутился.

— Ну, что вы,— сказал он Груберу,— у меня и в мыслях этого не было. Разрешите мне, я знаю, что служащие гестапо — закаленные бойцы, и стакан другой пива им в голову не ударит?

Не столько доводы Яношка, сколько недовольные взгляды Энцингера и Вальтерса убедили Грубера.

— Хорошо,— сказал он,— пива так пива.

В баре Яношек занял место за стойкой и начал подавать пиво — сначала Груберу, потом Энцингеру, потом Вальтерсу. Он делал это не без грации, предвкушая ту минуту, когда и ему можно будет промочить горло стаканом холодного пива. Грубер дал ему налить стакан, и как только Яношек поднес его к губам, ударил его хлыстом по руке, так что Яношек выронил стакан, и пиво разлилось по отполированной стойке.

Энцингер и Вальтерс захохотали. Яношек закусил губу. Он встретился взглядом с Грубером, и тот заметил выражение ненависти в его глазах.

— Не знаю, для чего рейхскомиссар приказал везти вас в эту сумасшедшую экспедицию, — сказал Грубер, — но постараюсь, чтобы вам это не доставило удовольствия. Еще по стакану, живее!

— Еще по стакану, — эхом отозвались Энцингер и Вальтерс.

Яношек повиновался. Этому мальчишке, раздумывая, он, немногим больше двенадцати. Посмотрите только на его детское лицо, розовые щеки, круглые глаза. И как только они ухитряются растить их такими поддлинными? Хитрал, должно быть, наука вложить столько жестокости в мальчишку за такой короткий срок. Стараясь забыть о собственной жажде, он поставил полные стаканы перед своими мучителями. Перевоспитать их едва ли возможно, думал он; таких, которые развращены вконец, как этот, надо перебить без остатка. Он вытер со стойки лужу пива. Сколько еще прольется крови, прежде чем в этом мире можно будет жить? — спрашивал он себя.

— Не хотите ли выпить? — осведомился Грубер. — Пиво хорошее.

— Да, не хотите ли? — издевался Энцингер и Вальтерс. Яношек наморщил лоб. — Мне не до пива. Я думаю.

— Думаете?! — передразнил Грубер. — Вот как?

— Очень вам благодарен за то, что вы удержали меня от злоупотреблением алкоголем. Я чуть не забыл, что я здесь для того, чтобы найти письмо лейтенанта Глазенапа.

— Еще пива! — потребовал Грубер.

— Я теперь знаю, что оно не в кладовой.

— Как! — воскликнули в один голос все три написта.

— Один из моих друзей, некий Владислав Петерка, тоже отличался бесчувственностью. Как-то жена велела ему купить элексир для зубов — у него, видите ли, была целая искусственная челюсть прекрасных зубов.

— Так что же, — прервал его Вальтерс, — вы хотите сказать, что мы им раскапывали всю эту грязь?

— И вот Владислав Петерка пошел по своим делам, а, возвращаясь домой, вспомнил, что надо было что-то такое купить для жены, а что именно он забыл.

— Так вы полагаете, что провели нас? — закричал Энцингер.

— Он думал и думал, что бы это могло быть? Шпильки? Картофельная мука? Порошок от клопов? Просто в отчаяние пришел.

— Отвечайте, чорт бы вас побрал!

— И вот он вернулся домой с пустыми руками. Но как только жена открыла свой большой рот и он увидел фальшивые зубы, он мигом вспомнил, что ему надо было купить элексир для зубов! — И Яношек захохотался.

— Не волнуйтесь, — злое ще сказал Грубер своим подчиненным, — он от нас не уйдет. Какая же, собственно, связь между фальшивыми зубами и письмом Глазенапа? — обратился он к Яношеку.

— Да самая простая, — объяснил Яношек. — Когда вы не позволили мне выпить пива и ударили меня по руке, я был точь-в-точь Петерка. Убравший фальшивые зубы своей жены. Я сейчас же вспомнил тот вечер, когда вы меня арестовали. У вас было то же самое выражение лица. И я вспомнил, что не входил в кладовую, после того как лейтенант дал мне письмо, и значит письмо должно быть в уборной.

Груберу и его двум подручным хотелось только одного — избить до

потери сознания этого чеха, который лишил их ночного сна, да еще заставил работать, и работать усиленно. Особенно был взбешен Грубер, который ровно ничего не делал. Кроме того, он усматривал скрытый сарказм в истории Петерки — хотя не мог бы сказать, в чем, он заключался.

Но он сдержался сам и остановил своих подчиненных. Он получил от Рейнгардта определенный приказ: позаботиться, чтобы Яношек написал письмо Глазмана. — У нас еще будет возможность расквитаться с вами! — намекнул он злое. И, закатывая перерыв, приказал:

— Вперед! Сейчас мы обобщем уборную.

Они опять сошли вниз. Яношек, шагал в кармане ключок бумаги, шелестевший тихо и успокоительно. Наступила критическая минута.

Острый запах уборной ударил им в нос.

Яношек входил по очереди в каждую из четырех кабинок и проделывал все, что полагается сделать во время обыска; заглядывал на верх водяного бака, за деревянные ящики с бумагой, за сиденья. Видно было, что он честно прилагает все усилия.

В последней кабинке он засунул руку в карман и схватил адрес Вацлика, зажав его в полураскрытой ладони.

Потом он подошел к шкафчику с лекарствами и обыскал его сверху донизу и в уголок на самой нижней полке он сбросил адрес, который должен был теперь найти лысый грузин. Он так возмущался, что сам слышал, как сильно бьется его сердце о грудную клетку. Трое нацистов следили за ним; он чувствовал их взгляды на своей спине и спрашивал себя снова и снова: заметят они или нет? Они не шевелились, за спиной была пугающая тишина. Он даже хотел, чтобы что-нибудь случилось, лишь бы положить конец нервному напряжению.

Он знал, что погубит себя, если хоть чем-нибудь покажет, что в нем бушует буря: человеческим усилием воли он подавил дрожь, в руках и закрыл шкафчик так спокойно, как будто передача подпольного адреса на глазах у гестаповцев была самым обыкновенным делом.

Обернувшись, он понял, что ни один из троих стражей не заметил, как он прячет адрес: их лица выражали пренебрежение и злобу, но не подозрение. С облегчением вздохнув, он начал обыскивать ящик для чистки обуви, потом чулан, где он держал мыло, полотенца и щетки — больше обыскивать было нечего. Теперь его ждали расплата. Дело было сделано.

Остановившись перед презрительно смотревшими на него черными мундирами, он беспомощно и растерянно толкал плечами.

Грубер, не говоря ни слова, толкнул его и обьявил Энцингера и Вальтерса, которые схватили его. Честолюбивый Младенец, в котором пробудились инстинкты сыщика-любителя, не поверил стараниям Яношека и пожелал лично проверить его.

Ни в чулане, ни в ящике для чистки обуви, который он яростно тупил ногой так, что содержимое рассыпалось по полу, не оказалось ничего интересного.

Яношек готов был лишиться сознания. Его ум ожесточенно работал. Судьба тысяч людей зависела от того, насколько зорки глаза Грубера. Младенец подошел к шкафчику с лекарствами.

Если бы он взглянул побольше! Яношек ухватился за Энцингера, чтобы не упасть.

Хоть бы мне на этот раз повезло.

Тут Грубер, оглядывая складки и свертки марли и ваты, заметил маленький ключок бумаги.

Он взял его, бесконечно долго, как показалось Яношеку, держал двумя пальцами, потом прочел: Вацлик. Смиховская, 64.

Грубер поморщил лоб. — Это еще что за дьявольщина? — сказал он, я в голосе его слышалось скорее любопытство, чем подозрительность. Его слова поразили Яношека, как гром.

— Вы! — окликнул Грубер Яношека. — Подойдите поближе.

Яношек не чувствовал под собой ног. Потом, под пыткой, он удивлялся, как он все-таки нашел в себе силы подойти к Груберу, но он подошел.

Грубер и не подозревал, какое значение имел этот клочок бумаги, который он вертел в руках. Но ему нравилось разыгрывать инквизитора.

— Что это значит, скажите пожалуйста? — спросил он торжественно.

— Это? — хрипло переспросил Яношек — Ах, это! Ничего, то есть, ничего важного.

Грубер ударил Яношека по щеке. В ушах у Яношека зазвенело. — Если я спрашиваю, значит, это важно, — объявил Младенец, — поняли?

— Да, сударь.

— Ну?

— Это адрес.

— Я и сам знаю, что адрес. Чей?

Яношек колебался. — Адрес врача, врача по венерическим болезням. Мы держим его в шкафу, на всякий случай. Вам он нужен?

Кулак Грубера опять опустился. Удар пришелся в то же ухо, bells звон в ушах усилились.

— Чешская синица! — крикнул Грубер и, скомкав адрес, бросил его на пол.

— Прекратить эту комедию, — бесновался Грубер. — Отвезите его обратно в штаб! Мы ему покажем, как шутить с нами!

Яношек закрыл глаза и глубоко вздохнул.

Скомканный клочок бумаги был забыт. Он остался лежать на полу в уборной кафе «Манес», такой невинный с вида, и никто не знал, сколько боли и страданий, сколько надежд и замыслов, сколько человеческих судеб таилось в нем.

Энциггер и Вальтерс поволокли Яношека к машине.

На одно короткое мгновение Яношек успел заметить тень, отделившуюся от стены дома на противоположной стороне улицы. Тень показалась ему знакомой. Она была высокая и неуклюжая, и напоминала лысого грузчика.

Глава 10

Уход Яношека из камеры заставил доктора Валлерштейна усиленно думать о нем.

Валлерштейн всегда подходил к людям как к пациентам, возможным или действительным. Но в лице Яношека он встретил человека, не подходившего ни под одну из установленных психиатрией категорий. Он не мог обнаружить в Яношке ни малейших следов страха.

С таким явлением он столкнулся впервые и объяснить его было невозможно. Сначала в результате поверхностных наблюдений, он отнес Яношека к разряду социально недоразвитых, примитивных натур. Либо дураком, либо человеком невосприимчивым, либо же не коснулось безумие двадцатого века в такой степени, как у других заложников, не исключая и самого Валлерштейна.

Исследуя глубже, Валлерштейн отверг эту теорию. Зная, что чем примитивнее человек, тем сильнее и разнообразнее страхи, которым он подвержен, Валлерштейн мог прийти только к одному выводу: Яношек не только не примитивнее остальных заложников, но стоит на более высокой ступени культуры, ибо он не знает внутреннего разлада и не имеет душевного равновесия, которое совершенно недоступно Валлерштейну.

Доктора несколько не радовало такое открытие. Оно спрокидывало все его представления. Страх, страх смерти, барьеры, воздвигаемые пред страхом, бегство от страха, — все это давало ему ключ к его анализам и диагнозам. Все было основано на страхе.

Общество создает свои законы из страха, из страха лишиться собственности, денег, власти. Нацисты убивают из страха быть убитыми.

Самая жестокость политического террора, жертвами которого стали он сам и его товарищи по камере, объяснялась тем, что страх у нацистов переходил границы нормального.

Валлерштейну было известно, что война началась из-за того, что некоторые влиятельные группы были заинтересованы в усилении своего могущества. Но для чего им это могущество? Неужели им мало тех огромных владений, которые у них уже есть? Всею виной страх, мучительный страх, что народ восстанет и отнимет у них это могущество. И вот власть имущие нашли себе опекунów в лице худших элементов страны и, потребовав от них только одного обещания: не отнимать ничего у власти имущих и готовиться к войне, чтобы захватить больше земель, больше фабрик, больше людей в рабство. Все это называется фашизмом и отнодио не ограиичивается пределами Германии. Наглядный пример тому — Прейсшгер. Он, чех, страха ради призвал немецкие шодоны, чтобы они охраняли его; он ошибся в расчетах, но это несколько не меняет смысла его побуждений.

Этот мир, в котором сейчас люди истребляют друг друга миллионами, выжидает на страхе. Маленький человек боится потерять свою работу, свои сбережения, свой хлеб; и в борьбе за все это познает еще больший страх. Живя лишь для того, чтобы поддержать себя и свою семью, он попадает в порочный круг и никогда не живет по-настоящему. Это терзает его и приводит к истерии. Мужчины и женщины боятся уйти из жизни, не оставив потомства. Живя под страхом смерти, они торопятся любить и любят без разбора. И вот они бросаются в объятия друг друга, сеют гнилое семя в гнилую почву, сходятся с кем попало, кутят, пьют и развратничают. Люди уравновешенные теряют равновесие, но больше-шавству даже и терять нечего. В итоге — та же истерия.

Многие ищут прибежища в религии. Если жизнь такова, то остается только утешаться мыслью, что другой, лучший мир, лежит за пределами этой юдоли скорби. Бог и небо — это только средства уйти от демонов страха. Но богу неумодно вмешиваться в мелкие дразги людей, в критические минуты им остается надеяться только на себя, и в конце концов они все же достаются дьяволу. Опять истерия.

И люди придумывают новые панацеи. Одни верят в астрологию, другие в то, что они избранный народ, избранный для того, чтобы мучить других или самим подвергаться мучениям — две стороны одной медали. Одни верят в своих фюреров, другие не верят ни во что. Концов — безумие, бряцание дешевыми эмблемами, убийство и самоубийство.

Когда эра динозавров близилась к концу, когда ненасытный зной и песчаные вихри иссушили сочные луга и болота, где кормились эти гиганты, они тоже начали слепо искать выхода. Бессмысленно блуждали они по выхошим материкам, устилая снежми костями дорогу, на диво и страх грядущим поколениям.

Неужели подобная пора пришла и для человечества и появилось что-то сродни той катастрофе? Неужели возник массовый психоз и охватил все человечество? Неужели мы мечем целую, тратя все наши силы, весь ум, всю технику, самолеты, радио, машины только для взаимного истребления? Как далеко ушли мы по этому пути, устилая его своими костями? Все мы жалуемся на Гитлера, а ведь он — это только самое страшное из того, что породило наше паническое безумие?

Я сам достоин только смеха. Я вижу будущее и не знаю, как ее вылечить. Меня самого одолевает страх. Это страх смерти. Я записываю мои наблюдения в надежде, что кто-нибудь когда-нибудь их прочтет и передаст потомству, и я хоть частично обрету бессмертие. Как скромны мои желания, однако и эта скромная слава, это миниатюрное бессмертие, вероятно, только иллюзия, порожденная страхом смерти, небытия.

Вот почему мне непонятен такой человек, как Яношек. Я знаю, во что он верит: в себя. Он верит в самого себя, как в частицу того мира, в существовании которого, даже в будущем, я не могу не сомневаться. Мой опыт научил меня не доверять людям, а следовательно и их способности создать что-нибудь новое и лучшее на развалинах мира, который они разрушают теперь так сумасбродно.

Но Яношек все же существует, как существовало первое млекопитающее среди вымирающих динозавров. Запекшемуся от зноя микроскопическому мозгу, полуослепшим от песчаных выхрей глазам этих гигантов живое, здоровое существо, процветающее там, где они гибли, казалось, вероятно, нереальным. Они его не понимали, как я не понимаю Яношека. Я могу только смиренно склонить голову перед авангардом нового мира, не знающего страха.

Его существованием зачеркивается мое; мы взаимно исключаем друг друга. Я умру вместе с моими палачами, он, быть может, переживет нас и обретет бессмертие.

Додумавшись до этого, доктор Валтерштейн сделал сердитое движение рукой, словно отгоняя от себя все эти мысли. Начать с обвинительного приговора всему миру и кончить приговором самому себе — страшный ход мыслей!

Он почти обрадовался, когда его размышления были прерваны шумом открывающейся двери. Бернулись опять те же громастые, грубые эсэсовцы, которые приходили уже за Яношкой и Прокошем.

Трое заложников стали навязывать. На лицах Прейсингера и Лобковича отражалось волнение: кто из них первым ступит на тот путь, конец которого трудно предсказать?

— Кто из нас Лев Прейсингер? — отрывисто пролаял эсэсовец, с серебряными звездами на воротнике.

Теперь, когда пришла минута, которой давно ждал Прейсингер, минута, когда он должен был очутиться лицом к лицу с ответственным чиновником гестапо, его заносчивость и самоуверенность сразу исчезли. Он побледнел, и глаза у него беспокойно забегали, словно ища поддержки.

Но эсэсовец не был расположен мешкать. — Прейсингер! — крикнул он. И генеральному директору Чешско-моравского угольного синдиката не оставалось ничего другого, как шагнуть вперед, заранее примирившись со своей судьбой.

Прием, оказанный Рейнгардтом Прейсингеру, сразу рассеял его уныние и страх. Обнаружив, что признание Прокоша не что иное, как самая безразличная, ребяческая ложь, рейхскомиссар принял в отличное расположение духа. Прейсингер попал к нему в удачную минуту. Увидев, что рейхскомиссар поднимается ему навстречу с любезными словами: — Как живете, герр Прейсингер? — он тут же репид, что дни его страданий кончались и что этот приветливый чиновник, вероятно, будет сначала медленно извиняться перед ним от имени немецкого правительства, а потом освободит его.

Рейнгардт сделал Менкебергу знак, чтоб он подал Прейсингеру стул. Прейсингер олимпийское достоинство, уселся, широко расставив ноги, со свисающим на колени животом.

Неожиданно Рейнгардт направил резкий свет лампы на генерального директора. Этот ослепительный свет заставил Прейсингера почувствовать себя арестантом, которого вызвали на переключку, но он постарался отбросить от этого впечатление. Он несколько не обиделся на рейхскомиссара. В полиции у них всегда так, уверял он себя, жмурия воспаленные глаза.

— Моя фамилия Рейнгардт, — начал рейхскомиссар, наклонясь над Яношкой, чтобы лучше разглядеть Прейсингера. Он впервые видел этого человека, который был стержнем всей его интриги, осью, вокруг которой вращались все. Это ради его богатств Рейнгардту приходилось фабриковать убийство Глазенапа, хватать и расстреливать заложников, представлять очаровательных студентов, проводить бессонные ночи на утомительных допросах...

Глядя на аполлексическое лицо Прейсингера с сетью мелких склеротических сосудов, на его седые шестинистые волосы, на мясистые уши и лишний подбородок, рейхскомиссар выглядел перед собой пахматную пошту, на которой он разыгрывал и должен был выиграть очень сложную партию, и это доставляло ему наслаждение; так увлекательно было наблюдать человеческие пенки и самому придумывать правила игры.

Прейсингер осторожно кашлянул: — Арест, грубое обращение ваших

людей и невольное пребывание в подвале вашего штаба были не особенно приятны, герр Рейнгардт. Надеюсь...

— Знаю, — прервал его Рейнгардт, — мы еще очень далеки от совершенства. Вы должны понять, у гестапо слишком много дела, особенно потому, что ваши соотечественники серьезно мешают нам, так что трудно оказывать каждому то внимание, которого он заслуживает.

— Я понимаю, — любезно улыбаясь, уверил его Прейсингер. — Прекрасно понимаю. — Потом он замолчал выжидавая. Но рейхскомиссар не начинал разговора, и Прейсингер продолжал: — Тем не менее, для человека моего круга, моего влияния и положения в обществе все это было очень унижительно.

— Без сомнения, — улыбнулся Рейнгардт. — Я надеюсь, что вы не без пользы провели время. Даже фюрер, как вы знаете, сидел однажды в тюрьме. Там он написал свою книгу, которую вы, конечно, читали.

Прейсингер ее не читал. Но он казался более дипломатическим ответить, что она не раз побуждала его на серьезные размышления и возмущала его душу.

К сожалению, рейхскомиссар не обратил никакого внимания на комментарии, адресованные литературным трудом фюрера. Он разглядывал книжаль с буквами «СС» на стальном листе и, казалось, был всецело поглощен этим. Он держал лезвие так, что свет отражался от книжкина. Вдруг он задал Прейсингеру самый insignificant вопрос: — Когда вы в последний раз видели лейтенанта Глазенапа?

Удивленный Прейсингер ответил заикаясь: — То есть... как в последний раз?

— Будьте любезны ответить покороче и коротенько, пожалуйста.

— Не думаете же вы, что я причастен к этому преступлению, — возразил Прейсингер.

— Когда вы его видели в последний раз?

— Я его совсем не видел — то есть, может быть, и видел, но как я могу это знать? Я даже в лицо его не знаю; в баре только слышал разговор офицеров, — сколько именно, не помню, — я не смотрел на них. Я не видел, что они делали и куда уходили. У меня и своих людей держу под рукой, уверяю вас. Меня очень удивило и раздосадовало, когда впервые этим вздумало арестовать меня в связи с этим делом. И я должен изобрести вас...

— Уважасмый герр Прейсингер! — Рейнгардт остановил его, ловя за руку. — Вы, мне кажется, находитесь в заблуждении; право. В этом убеждает, в этом убеждает и, этого сказать, в этой ситуации и такая простота, а, не вы!

Взбешенный Прейсингер вскочил с места. Но когда-то он ударил свои локотки, грязные брюки, потертые манжеты когда-то безукоризненно «фюкей» рубашки, забрызганные грязью башмаки, почувствовал, что сам он давно лезет и небрит. — О, боже мой! — простонал он вслух, а про себя подумал: что я делаю? Я не вижу этого человека, я такой же заключенный; как все остальные. Пока я здесь, надо держать себя в руках.

Он снова сел, чувствуя благодарность, уже за то, что ему позволили сидеть.

— Простите, — смиренно извинился он. — Я не привык к такому... к такому...

— Обращение? — докопался за него Рейнгардт.

— Нет, нет! Это пустяки. — Он замечательно улыбнулся, как могла бы улыбнуться собака, получив сердитый тоник от своего хозяина.

— Позвольте мне все же спросить. — не справляясь ли обо мне мой коллега из Черного-моравского уголовного синдиката? Я генеральный директор синдиката и в конце концов не мог же я пропасть без всякого следа так, чтобы меня не разыскивали!

Рейнгардт опять взялся за книжаль. — В этом отношении вы можете быть спокойны: ваш коллега и ваши личностные приложения трогательно лояльны. Мы получили массу запросов, и личных, и в письменной форме. Даже сам президент, ваш близкий друг, как я слышал

спросил аудиенцию у протектора Гейдриха и хлопотал о вашем освобождении.

— Ах, я очень рад! — вздохнул Прейсингер. Так значит его не забыли! Механизм пущен в ход, и этот незначительный чиновник гестапо просто один из тех скучных людей, которые тратят попусту много драгоценного времени, прежде чем доберутся до сути. — Разумеется, — продолжил уверить Прейсингер, — я буду только рад помочь вам в разглашении этого ужасного преступления, убийства лейтенанта Глазенана.

— Ничего другого я от вас и не ожидал, — ответил Рейнгардт, легкая кланаясь.

— А теперь... вы, быть может, дадите мне нужные бумаги?

Рейнгардт бросил мышкал на стол. В пошлой тишине этот легкий шаг показался особенно злобещим. Он в явном изумлении поднял брови: — Какие бумаги?

— Для выхода на свободу!

Рейхскомиссар наморщил лоб, словно не понимая.

— Разве не вы должны дать мне пропуск, чтобы часовые меня пропустили? — голос Прейсингера упал до шепота; под конец ему совсем захватило полосу.

Рейнгардт рассмеялся долгим, протяжным смехом. Он наслаждался ситуацией. Хлопнув себя по ляжке, он хлопнул затем и Менксберга. Тот, получив толчок, тоже захохотал.

Рейнгардт редко смеялся так, он вообще не умел смеяться. Но он рассчитывал добыть этим смехом Прейсингера. Он с самого начала считал, что Прейсингер надеется на освобождение. Уверившись, что его скоро же неизвестно ровно ничего о смерти Глазенана, Рейнгардт просто играл с ней. Ему забавно было видеть, как корчится этот человек, как его туловище опускается его бычья голова, как судорожно дергаются узловатые пальцы.

Наконец Рейнгардт решил, что смеется достаточно. Тонким платком, извлеченным из внутреннего кармана, он вытер вспотевший лоб.

— Вы в самом деле думаете, — начал он, представляясь удивленным, — что мы вас выпустим? Только потому, что вы Лев Прейсингер, генеральный директор Чешско-моравского угольного синдиката?

— Уважаемый, плохо же вы понимаете нас, национал-социалистов! Ведь мы утверждаем, что мы народное движение и называем себя социалистами. Какой же это социализм, если мы будем расстреливать одних только бедняков? Какое же это правосудие, если человек ускользает от кары только потому, что он миллионер? Что скажут ваши соотечественники, которых мы стараемся воспитывать для сотрудничества с нами, если мы будем брать заложниками Карлсв, Иоганов и Петеров, делая исключение для Льва Прейсингера?

Прейсингер дал этой буре упреков пронестись над своей головой. Он сидел на стуле, словно пораженный промом, чувствуя себя опустошенным, опустошенным до дна. До сих пор он то воспарял высоким, открытым надеждой, то погружался в отчаяние, переходя от одной крайности к другой. Теперь он сорвался и упал все ниже и тяжелее.

— Если мы выпустим вас, — продолжал Рейнгардт, — рухнет вся наша система. Мы берем заложников, так как это является репрессивной мерой в отношении тех ваших соотечественников, которые отказываются признать протекторат.

— Но я же сотрудничал с вами! — оправдывался Прейсингер. — Я выполнял добычу угля для того, чтобы выполнялись военные заказы нашего правительства. Я делал все, что было в моих силах, чтобы помочь вам!

— Знаю, знаю! — в улыбку Рейнгардта сквозило сожаление. — Вы недооцениваете то затрутенное положение, в котором мы находимся. Если мы вас выпустим, эта низшая раса будет говорить: заложники, ха-ха! Налеты только пугают нас. Посмотрите на Прейсингера — они выпустили его живым и невредимым! Это дело принципа, и в этом отношении мы так же лишены свободы, как и вы, уважаемый герр Прейсингер.

Слова Рейнгардта о принципах возвратили Прейсингера из глубин отчаяния в мир действительности и трезвого рассудка. Эти «принципы» были ему хорошо известны. Всякий, кто хотел сорвать с него подороже, первым делом заговаривал о принципах. Так, патристические принципы требовали десятипроцентной прибавки. На деловую принципиальность приходилось набавлять процентов пятнадцать-двадцать, а моральная принципиальность обходилась процентов в двадцать пять. Но что ценит рейхскомиссар свои принципы, ему было известно, но он узнал руку, протянутую ладонью вверх в ожидании взятки.

— Мы рабы своих принципов,— начал он.— Как это верно, как верно! Но я бы чувствовал себя гораздо свободнее, если бы вы на время отпустили нашего секретаря, герр Рейнгардт.

— Менкеберга? Менкеберг — надежный человек, это могила.

Прейсингер поморщился. Рейнгардт может обидеться, если ему предложить взятку при подчинении. Или Рейнгардт так наивен, что дает этому Менкебергу возможность интимицировать его впоследствии?

— Это личный вопрос, он касается только вас и меня — вы понимаете?

— Да,— улыбнулся Рейнгардт,— я вас понимаю. Менкеберг, можете идти. Я позову вас, когда понадобится.— Менкеберг вышел, и Прейсингер, убедившись, что дверь плотно закрыта, придвинулся ближе к облокотился на стол рейхскомиссара.

— Вы сразу меня поняли, герр рейхскомиссар,— начал он, понизив голос.— Я это очень ценю. Конечно, это хорошая для вас реклама, если вы меня выпустите. Ваша карьера, ваши принципы значат для вас очень много, я понимаю. Думаю, однако, что это можно устроить. Я человек деловой, занимаюсь и политической, так что меня учить не надо. Если вы меня выпустите, я скроюсь на некоторое время — мне ничего легче. Я много работал, и последние дни отнюдь не укрепили моего здоровья. Мне нужен отдых. Я мог бы поехать в Ваден-Ваден или в Швейцарию, куда хотите, и под другим именем, чтобы выждать время. Что вы на это скажете, герр рейхскомиссар, и что я могу для вас сделать в оплату за эту маленькую любезность?

Рейнгардт не ответил. Ему интересно было узнать, во что Прейсингер ценит свою жизнь. Он знал, что взятки стали обычным явлением и в Германии, и в оккупированных областях. Он знал, что существуют списки, в которых против фамилий гаулейтеров, губернаторов выехавших военных чинов проставлены соответствующие цифры. Книжки таких списков хранились и у него в канцелярии. Это был очень удобный способ держать взяточников в руках, а некоторый процент с их доходов, разумеется, поступал на текущие счета гестапо-меченых главварей в банках Швеции и Швейцарии в виде твердых ценностей... Валюта, драгоценные камни, коллекция марок...

Прейсингера ободрило выразительное молчание Рейнгардта.— Один миллион крон? — предложил он на пробу.

Рейнгардт только улыбнулся.

— Пять миллионов? Десять?

— У меня не найдется столько наличных, придется продать некоторые бумаги, если вы хотите больше, но на это потребуется время...

Рейнгардт опять взял книжку и начал задумчиво играть им.

— Вижу,— нащупывал почву Прейсингер,— что при неустойчивости денежного рынка наличные мало интересуют вас. Вы умный человек, герр рейхскомиссар. Но не ждите слишком многого. Мое состояние не так велико, как можно было бы думать. Я контролирую угольный синдикат, потому что мне принадлежат основные акции в руководящих предприятиях. Но все же есть одна угольная копь, надо сказать, жемчужина, близ Монакской Остравы.— я мог бы передать ее вам.

Прейсингер помолчал.

— Почему же вы не отвечаете, герр рейхскомиссар? — спросил он тихо.

Тот перестал играть кинжалом. — Как же я буду управлять угольной копыю, сидя в штабе гестапо?

— Совершенно верно, — согласился Прейсингер. — Я об этом не подумал. Хотя со временем, после войны, вы, может быть, захотите заняться этим делом... Что ж, хорошо, пускай это будут акции. Простые акции дадут вам больше дохода, зато с привилегированными удобнее оперировать и больше возможностей нажать капитал. Я с удовольствием буду вам советовать...

Тут Рейнгардт вышел из себя. — Вы, как видно, мало цените вашу жизнь! Из ваших слов я заключаю, что вы рассчитываете освободиться, пожертвовав только частью своего состояния. Это просто смешно! После смерти вы уже ничем владеть не будете!

— Вы хотите меня ограбить! — крикнул Прейсингер. — Меня, который помог вам без труда завоевать эту страну, который сделал для вашего нового порядка больше, чем сотня господ из гестапо взятых вместе. Неужели на свете нет больше благодарности? Или признания заслуг?

— Нет. И я попросил бы вас говорить потише. Это незаконно — подкупать немецкого офицера.

— Сколько же вам нужно? — простонал генеральный директор, потрясенный таким бесстыдством.

— Все.

— Все?... Прейсингер тихо ахнул. Вены на его щеке надулись от волнения. Он с усилием поднялся на ноги и остановился перед Рейнгардтом, сутулясь больше чем всегда. Страх бедности уже теперь делал его похожим на нищего и говорил он плачущим, разбитым голосом, точно слепец на углу Вацлавской площади. — Как? А на какие средства я буду жить? Неужели у вас нет жалости, нет сердца? Человек вы или камень? У меня столько расходов, жена, дети, хозяйство...

Рейнгардт тоже поднялся с места. Он чувствовал свою значительность и величие, он воплощал Правосудие и Рок. В данную минуту, готовясь раздавить эту вошь, Прейсингера, он верил в величие идеи, в национал-социализм!

— А ваша жизнь? — спросил он сухо.

Прейсингер попытался и закрыл глаза. — Берите все, — прохрипел он. — Берите! Берите! Я хочу жить!

— Так! — сказал Рейнгардт. — Наконец-то вы опомнились и говорите дело. Я очень рад, что вы к этому пришли. Подумайте, сколько мы могли бы сэкономить времени. Но неужели вы не в состоянии подумать до конца, сделать логический вывод из вашего положения? Я большой поклонник логики. Потому я и работаю в полиции.

— Неужели этого мало? — Прейсингер начал смеяться безумным смехом. — Вы хотите получить золотые зубы, фунт моего мяса?

— Я хочу, чтобы вы думали, уважаемый терр Прейсингер. Подумайте. Вы предложите нам все ваше состояние в обмен на вашу жизнь. Чего стоит это предложение? Разве в вашем положении можно предлагать что-нибудь? Неужели вы не понимаете, что мы получим все, как только вы умрете?

Леву Прейсингера казалось, что холодная рука сжала его мозг. Он ощущал, что мучительная, пульсирующая боль убьет его тут же на месте. Но нет, он жил напряженнее, видел зорче, слышал малейший звук, и особенно отчетливо выступило перед ним это дьявольское лицо на фоне темной стены, серебряные пуговицы на черном мундире, металлическая пряжка пояса с неприятно блестящей резьбой.

Жить! Только бы жить! думал он. Рейнгардт — это смерть, черная смерть с серебряными пуговицами. Лев Прейсингер мучительно цеплялся за жизнь.

И с той ясностью, которая приходит только перед смертью, Лев Прейсингер увидел путь к спасению. Он вспомнил Вагтерштейна и его насмешливые слова: Прейсингер, уверяю вас, выдаст кого угодно, лишь бы спасти свою драгоценную жизнь.

...Да, выдам! Клянусь богом! Если я не буду заложником, они меня не расстреляют.

Ему стало легче. Он даже посмеялся над собой. Как глупо приходиться в отчаянии! Он, Лес Прейсингер, у которого тысячи идей, тысячи планов, который создал царство угля, мощную питадель, приходит в отчаяние, терпясь перед ничтожным полицейским! Если он чему-нибудь научился за те годы, когда шарочал делами, — а дела были его страстью, — то именно этому: всегда есть выход, всегда есть последнее средство, козырь, который держишь про запас. Пойди с него в решительную минуту — и выигрыш за тобой.

Рейнгардт с удивлением заметил, что Прейсингер воспрянул духом. Он опять расселся, положив ногу на ногу, в позе человека, довольного собой и всем светом. Рейхскомиссар положительно почувствовал уважение к Прейсингеру и понял, почему финансист сумел нажить такое богатство и занять такое влиятельное положение.

Прейсингер быстро перебрал в уме возможных кандидатов. Надо было учесть и репутацию человека и ряд других обстоятельств. Только один из заложников отвечал всем условиям и, кроме того, Прейсингер его недолюбливал.

— Яношек! — сказал Прейсингер. — Яношек убил лейтенанта Глазенака. Он сознался нам в камере. Откровенно говоря, я бы предпочел выйти на свободу, не доводя это до вашего сведения, герр Рейнгардт. Но так как другого пути нет, приходится сказать вам правду. Вот убийца. С этой минуты я перестаю быть заложником, и, надеюсь, вы выполните ваш долг.

Уважение, которое питал Рейнгардт к Прейсингеру, теперь дошло почти до восхищения. Сам незаурядный мерзавец, Рейнгардт любовался законченным негодяем, который оставался верен себе до конца.

— Не падаете духом, а, герр Прейсингер?

Рейнгардт не поверил доносу Прейсингера, но он начал его на размышления. Почему Прейсингер выбрал именно Яношка? Рейхскомиссару Яношек показался слабоумным простаком, не похожим на убийцу. Однако Прейсингер, в течение нескольких дней наблюдавший Яношка и, вероятно, позаботившийся о правдоподобии своего доноса, остановился на безобидном стороже при уборной. Рейнгардт начал беспокоиться о Яношке, который все еще не вернулся из кафе «Милес».

Сняв телефонную трубку, он отдал несколько коротких распоряжений, непонятных Прейсингеру. Потом повернулся к генеральному директору. — Чем вы это докажете? Если я начну допрашивать Яношка, он, вероятно, откажется.

— Конечно! — согласился Прейсингер. — И заключенные из моей камеры, вероятно, поддержат его. Но позвольте мне предостеречь вас. Этот Яношек вовсе не так глуп, как кажется. Он очень хитер. Он трижды выжидает минуту, чтобы замаскировать свои настоящие мысли и действия. Среди чехов этот тип встречается довольно часто. Не попадитесь на удочку.

— Не попадусь, — твердо ответил рейхскомиссар, хотя был вовсе не уверен в этом. Возможно ли, что Рейнгардт с его опытом и умом одурачил какой-то Яношек? И с какой целью?

Нет, решил он. Прейсингер все это выдумал. Он старается представить Яношка опасной фигурой только для того, чтобы оправдать свой донос.

— Точно, как Яношек, — продолжал Прейсингер, — ненавидят власть, вашу и мою. Они против установленного порядка и стремятся низвергнуть его. Если память моя не изменяет, Яношек пришел в бар выигрывать пол уже после того, как Глазенак спускался в уборную. У него было достаточно времени, чтобы убить лейтенанта, как вы думаете? — Прейсингер чувствовал, что ему удалось по крайней мере задержать сомнение в дуплу рейхскомиссара. — А кроме того...

Прейсингер остановился, услышав за своей спиной волочащиеся ша-

и. Увлечшись своей речью, он не заметил, как открылась дверь. Он обернулся.

Менкеберг ввел человека, каждый шаг которого, повидимому, причинял тому нестерпимую боль. Что-то в нем показалось знакомым Прейсингеру. И вдруг он с ужасом узнал в незнакомце Прокоша.

Но на него смотрела тень Прокоша, а не живой актер.

— Что с вами случилось? — не сразу выговорил Прейсингер.

Прокош едва мог стоять: Менкеберг поддерживал его. Прейсингер хотел встать и предложить актеру стул, но не в состоянии был пошевеливаться.

Рейнгардт совершенно спокойно смотрел на эти остатки человека. Он дал двум заложникам время насмотреться друг на друга. Потом спросил Прокоша: — Вы изменили ваше показание?

Прокош едва мог говорить. Сначала беззвучно зашевелились его губы. И только сделав несколько попыток, он, наконец, заговорил совершенно неузнаваемым, разбитым голосом: — Я убил Глазенапа.

Вырвавшись из рук Менкеберга, он неверными шагами подошел к столу и повторил: — Я убил Глазенапа.

— Хорошо, хорошо! — отозвался Рейнгардт. — Я слышал. — Он обернулся к Прейсингеру с совершенно безразличным выражением лица. — А теперь вы, быть может, повторите ваше заявление?

— Что же, герр рейхскомиссар, — натянуто улыбнулся тот, — теперь вы видите — я невинен.

— Ничего подобного я не вижу, — презрительно ответил Рейнгардт. — Извольте повторить ваше заявление.

— Но вы же не хотите, чтобы я...

— Лучше повторите добровольно, — предостерег его Рейнгардт.

Прейсингер, не смея взглянуть на Прокоша, пробормотал что-то.

— Промче! — потребовал Рейнгардт.

— Яношек убил Глазенапа! — Прейсингер наклонился вперед, сидя за стулом. Он смотрел на свои забрызганные грязью башмаки и чувствовал себя несчастной, беспомощной жертвой жестокой игры гестапо.

— Лжете! — безжизненным голосом произнес Прокош. — Лжете!

Жалость к себе перешла у Прейсингера в холодную злобу. Он был не столько на Рейнгардта, который устроил им очную ставку, сколько на Прокоша, который все испортил.

— Сами лжете! — крикнул он. — Убийца этот мерзкий Яношек, и вы это знаете! Вы сговорились с ним. По злобе на меня сговорились лгать! Поверьте, герр рейхскомиссар, этот Яношек...

Рейнгардт встал. Торжествующе выпрямившись, он казался выше своего роста. Он улыбнулся.

— Тише, господа, тише. По-моему, вы оба лжете. У вас на это имеются, несомненно, свои причины. Они меня мало интересуют. С меня довольно фактов. Да будет вам известно, что мы, работники государственной тайной полиции, не терпим такого неуважения к правде. Я должен буду строго наказать вас обоих, надеюсь, вы это понимаете?

Дверь распахнулась настежь. Рейнгардт замолчал. Энцингер и Вальтере втолкнули в комнату всклобоченного Яношека.

Грубер подошел к столу, вытянулся и отрапортовал:

— Имею честь доложить, герр рейхскомиссар, вернулись с обыска.

— Лайте мне письмо.

— Имею честь доложить, герр рейхскомиссар, письма не обнаружено. Вашего позволения, мне кажется, все это выдумка. Никакого письма и не было.

— Так! — сухо сказал Рейнгардт. Он подбоченился, и сукно мундира что-то натянулось на его груди. Покачиваясь на ножках то вверх, то вниз, он заревел: — Еще один лжец! Что, вы думаете, здесь такое? Детский ли? Вы еще ничего роляю не видели! Менкеберг! Грубер! Взять их в карцер. И не переминайтесь с ними! Я сказал — не переминайтесь!

Он смотрел, как повели всех троих — Прокоша, повисшего на руке Менкеберга, Яношека, которого подталкивали Энцингер и Вальтере, и

Прейсингера, которого подгонял Грубер краткой, но выразительной немеллой бранью.

Потом рейхскомиссар сел. Он вдруг почувствовал, что очень устал. Почти двадцать четыре часа он работал без передышки.

Он взглянул в окно. Серый, мягкий свет крался по улице. Настало утро, пасмурное и тихое.

Заключенникам оставалось жить только один день. Рейнгардт был этому рад.

Глава 11

Милада вышла из дома Бреды с новыми, свежими силами, подкрепленная сном. Она утосилась с собой тайну сердца, воспоминание о том трепетном волнении, которое заставил ее пережить он, ее возлюбленный. Горячая волна прошла по ее телу, и закрыв глаза, Милада вздрогнула от радости. Любовь Бреды, подобная освещающей буре, согнала с ее горизонта темные, угрожающие тоны; на всем лежал блеск, все было светло и ясно. Что бы ее ни ждало, она не утратит равновесия — теперь она не одна.

Пан Кратохвил, видя, что она вышла из дома и идет к остановке трамвая легкой, молодой походкой, тоже был очень доволен. Истинный охотник — а таков и был пан Кратохвил — но чувствует ненависти к своей добыче. Скорее он любит ее, привязан к ней, словно сам создал быстrego тварь, которую собирается убить. Убивать не так интересно. Увлечательна самая охота — подстеречь, обойти добычу, заманить ее.

По улицам спешил народ. Но шаги звучали тяжело. Люди шли на работу, которую ненавидели, потому что работать надо было на утомителей, изнуряя себя долгие часы без отдыха. Они шли в банки стоять в очереди за фальсифицированными продуктами, которые выдавались в ничтожном количестве. Они шли в учреждения, чтобы сидеть без конца в приемных, надеясь, что их допустят к начальному чиновнику, одва выслушивающему их просьбы — просьбы за ютцов и братьев. Одни увязли в рабство на немецкие фабрики, другие арестованы и брошены в концентрационные лагеря и тюрьмы, третьи силой заставили рыть окопы для немецкой армии и возводить укрепления на восточном фронте и на Балканах. «Новый порядок» разрывал связи между людьми, перебрасывал их по всем направлениям, на восток и на запад, на юг и на север.

Кратохвил без труда спрятался в толпе. Он включил на щитке того вагона, в который села Милада.

Так он доехал до завода. В воротах, куда он собирался пройти за Миладой, его остановил часовой.

— Ваш пропуск?

Кратохвил, порывшись в карманах, извлек документ в целофановой обложке, со множеством печатей, и сунул его часовому.

— Приведите меня к вашему начальнику! — потребовал Кратохвил.

Часовой, увидев печать тесла, проявил услужливость и любопытство. — Сию минуту, сударь! Извините, сударь! — Он провел Кратохвила в маленький одноэтажный домик, перед которым расхаживал взад и вперед скукающий солдат с прижатым к винтовке пистолетом.

Кратохвила принял молодой лейтенант, который валялся на койке, разрав на подушку ноги в носках. Лейтенант Шинклейн читал «Прагер Цейтунг». Он взглянул на Кратохвила и, увидев, что его посетитель простой пратский, продолжал читать газету.

— С добрым утром, — сказал Кратохвил. — Это вы начальник охраны?

Шинклейн пошевелил пальцами ног, но потом запустил руку за воротник и с видимым удовольствием начал чесывать шило.

— Что вам нужно? — проворчал он.

— Здесь работает некая Милада Маркова? — осторожно начал Кратохвил.

— А вам какое до этого дело? — сказал лейтенант, снова берясь за газету. Он перевернул страницу. — Здесь работают тысячи людей, и все с

такими фамилиями, что не выговоришь. Одно беспокойство с ними. Кто нас ко мне пропустил?

— Мне не нравится ваш тон, — заметил Кратохвил.

Лейтенант подскочил. — Что такое? — спросил он садясь. — Вам не нравится — это замечательно! Вот еще новости! — Он подошел к Кратохвилу неловкой походкой человека в ясках. Он был похож на торговца в маскарадном костюме. — Я тебе покажу, чешская вошь, что такое немский офицер!

Кратохвил мпнновенно предъявил ему свой документ.

Лейтенант Шинклейн, взглянув на бумажку, ахнул от удивления. Выронив газету, он поспешно застегнул мундир на все пуговицы и стал искать багмаки, но не нашел их. Он полез за лямой под койку, сконфузившись бормоча что-то.

Наконец он привел себя в порядок и мог оказать агенту достойный прием.

Они приступили к деловой беседе. Кратохвил, благодаря своей работе считавший себя во всех отношениях равным представителю господствующей расы, объяснил ему, что послан рейхскомтсесаром для слежки за девушкой, о которой он уже говорил — Миладой Мареквой. Не пожелал ли лейтенант своими соображениями, как это всего удобнее выразить?

Польщенный таким доверием, лейтенант долго соображал и, наконец, придумал план. Комбинезон и отвертка превратят Кратохвила в рабочего, но к комбинезону будет приколот значок надзирателя. С этим значком он может проходить, куда сочтет нужным, наблюдать за Миладой издали или вблизи, как ему удобнее, и брать на заметку людей, с которыми она разговаривает. Устраивает его это?

Вполне. Крепкое рукопожатие подтвердило взаимное удовольствие, доставленное знакомством. По наведенным справкам оказалось, что Милада работает в капсюльном цехе. Кратохвил узнал, как туда ближе пройти, и отправился облачаться в костюм пролетария. Вскливно приподняв серую шляпу, он распрощался с лейтенантом, который рассылался в поклонах и улыбках, очень довольный результатами утренней работы.

Для Кратохвила завод был новым и удивительным миром. Ведя чисто паразитическое существование, он привык видеть людей вне их общественной среды. Здесь он встретил их за работой: одни торопливо бежали куда-то, другие, словно прикованные к станкам, без конца повторяли одни и те же движения. Он почувствовал одновременно и гордость и смирение. Гигантская организация и ее мощь, подчинявшая себе всех этих маленьких людей, трудолюбивых, как бобры, внушали ему уважение: с другой стороны, он гордился тем, что он, Кратохвил, неотъемлемая часть этой организации, необходимая для того, чтобы держать бобров в подчинении.

Он разгуливал по просторным цехам завода, и серая шляпа, с которой он не пожелал расстаться, являла разительный контраст с заплятанным комбинезоном, прикрывавшим тщедушное тело.

В капсюльном цехе он увидел бесконечную ленту конвейера, несущую во всей длине цеха ряды за рядами неготовых еще снарядов. Чтобы не прекращать работы во время воздушных налетов, стеклянная крыша была окрашена в черный цвет, и тусклое искусственное освещение бросало на бледные лица работников резкие тени, еще более подчеркивавшие их бедность. За конвейером, довольно близко одна от другой, стояли женщины молодые, пожилые и старухи, но все с одним и тем же выражением сосредоточенной усталости. Около женщин суетились надзиратели, иногда осматривая тот или другой снаряд, а чаще подгоняя женщин короткими и резкими оприками.

Здесь была и Милада, повязанная голубой косынкой, совершенно закрывавшей волосы. Кратохвил прислонился к столбу, сдвинул шляпу на затылок и уставился на девушку. Она сразу узнала вчерашнего бродягу и выронила капсюль, который был у нее в руках. Конвейер нзмумимо двигался дальше, пока она стояла растерянная.

— Эй, вы! — крикнул один из надзирателей. — О чем это вы думаете? Брак! Опять брак! Проклятые бабы — всю ночь распутывают, а днем спят.

Милада машинально взялась за работу. Ее руки так и летали, стараясь наверстать упущенное время. Но ее снаряды ушли слишком далеко. Попытки других работниц помочь ей еще больше запутали дело. Пришлось остановить конвейер.

— Саботаж! — крикнул один из надзирателей. — Каждый час приходится останавливать конвейер.

Какая-то женщина пробормотала мрачно: — Почему же вы не пустите его медленнее? Никто не успевает.

— Это кто сказал?

Ответа не было.

— Я позову охрану и всех вас арестую!

— Вот как? Что ж, позовите! — отозвался тот же мрачный голос. — Может, сами к станкам станете?

Но в эту минуту конвейер тронулся, в порядок восстановился: слышалось только звонящее металлическое гудение и скрип конвейера.

Через цех прошел инструментальщик Бреда. Поровнявшись с Миладой, он остановился, нагнулся и подвинул гайку; выпрямившись, он взглянул на нее и легким кивком поздоровался с ней.

Он заметил, что она расстроена, и вопросительно поднял брови. Она незаметно кивнула в сторону Кратохвила. Бреда ничем не показал, что видит этот кивок. Он прошел дальше, заговорил с одним из надзирателей, и только после этого, как бы случайно, взглянул на тот столб, к которому прислонился Кратохвил, наблюдая за всем, что происходит в цеху.

Бреда поднял руку, что-то приветливо приветствуя его. Кратохвил удивленно дотронулся до пояса шляпы. — Я не знал, что вы здесь работаете! — крикнул Бреда, заглушая грохот в цеху.

Кратохвил указал на свой значок. — Надзирателем! — крикнул он в ответ.

— Желаю удачи! — отозвался Бреда.

— Что?

— Желаю удачи!

Бреда ушел. Кратохвил упал духом: обмен приветствиями испортил ему настроение. Он встревожился и, чувствуя себя не совсем приятно, решил, что лучше переменить обстановку. Милада по мигу отошла от конвейера до обещанного перерыва. Можно было по торопливо позвонить в штаб гестапо.

Но он запутался в запутанном лабиринте. Отчасти это была его ошибка: встреча с человеком, который чуть не задушил его ночью, так поразила его, что он вышел в ближайшую дыру, вместо той, через которую вошел в цех; он шагнул, не думая о том, куда идет. И вдруг, очнувшись, понял, что сбился с дороги.

Он спросил у одного из рабочих, как пройти в помещение охраны. Тот ему ответил вежливо, но довольно непонятно. Кратохвил пошел по указанному пути, пересек двор и опять заблудился. Человека которого он спросил теперь, показал ему другую дорогу: прямо налево обогнуть здание и опять прямо. Кратохвил даже вспотел.

Стены цехов смотрели холодно и враждебно, их запыленные окна казалось, говорили: мы тебя не видим, ты нам не нужен, ты не над. Он затормозил. Переходя полотно узкоколейки, он испуганно шаркнул ся в сторону от паровика, с невероятной быстротой промчавшего мимо. Потом другой паровик — а, может быть, тот же самый, — сердит свистя, нагнулся на Кратохвила уже по другим рельсам и опять ему пришлось отскочить.

Он побежал, спотыкаясь, словно за ним гнались. Ему казалось, что он слышит за собой что-то шалит, но, обернувшись, никого не увидел. Тревожный, глухой гул работающих станков — штамповальных, прокатных

ных, точильных — захлестнул его. — Попаля! — простонал он. — Попаля! Попаля!

Вот открытая дверь! Он бросился к ней и очутился в литейной. Это было огромное помещение со стальным креплением стен и перекрытий. Над крышей скользили краны, беззвучно, как призраки, перенося стальные полосу, колеса, стволы тяжелых орудий.

Рабочих здесь было немного. Они были похожи на карликов в стране великанов и казались беспомощными и ненужными в этом царстве гигантских железных рук, с крюками вместо пальцев, подпирившими вместо суставов и стальными тросами вместо мускулов.

Кратохвил чувствовал себя совсем маленьким. Он нерешительно шагнул к другому концу литейной, где больше пневматические молоты, опускаясь и поднимаясь, расплющивали то, что находилось под ними.

Опять ему показалось, что кто-то его преследует. Опять он обернулся, но никого не было. Вдруг что-то заставило его поднять голову, и он увидел прямо над собою скользящий кран. В этом не было ничего особенного, но он остановился. Остановился и кран. Он двинулся дальше, и кран двинулся за ним. Он пошел направо, где видел был просвет между машинными — кран тоже повернулся направо. Что это, игра? Кто управляет краном? Никого не было видно — машины, казалось, действовали сами собой, холодные, неповоротливые и жестокие. Кратохвил пошевелился. Кран двинулся быстрее — все быстрее и быстрее. Если он догонит Кратохвила. — Конечно, он это знал. Его преследуют машины! Он спотыкался, колени под ним подгибались, на губах выступила пена, глаза горели — он в смертельном страхе напрягал все силы.

Вдруг он услышал чей-то крик: — Эй, берегись!

Он взглянул вверх...

Странный крик, который он готов был испустить, так и не успел сорваться с его губ. Его раздавила грудой стальных полозьев. Над ним лежало кран, разжав свои челюсти, спокойный и безобидный.

Серая фетровая шляпа, гордость Кратохвила, лежала рядом с его гальвовой гробницей, как плем надгробия лежит на его могиле.

Работа в литейной остановилась. К месту происшествия бежали рабочие, санитары с носилками, заводский врач, мастер.

Один из рабочих осмотрел шляпу. — Кто же это такой? — спросил. — У нас никто не ходит в такой шляпе на работу!

— Чтобы установить кто это, надо сначала поднять стальные полозья, — сказал один из санитаров. — Думаю, что от него немного осталось.

— Как это случится? — спросил врач.

— Не знаю. Может быть, короткое замыкание.

— Но свет горит! — заметил врач.

— Оно может быть и местным. Нехватает людей для такого ремонта. Еще чудо, что это не каждый день случается.

— Хорошо, хорошо! Расходитесь по местам.

Все вернулись к работе, снова двинулись краны, заработали молоты. И снова по всей литейной пошел гул и прохот. Сверху спустились железные крюки крана и подхватили стальные полосы так легко, как будто это были спички.

Врач, следивший за подъемом, заметил, что кран был в полном порядке. Его это удивило, но он решил молчать. Лучше не вмешиваться в эти дела, время сейчас опасное. Да это его и не касается. Что он смыслит в электричестве?

Отведя глаза в сторону, он распорядился, чтобы санитары убрали расплющенные остатки шляпы Кратохвила. Потом он активизировал опорожненную сирую шляпу, немом свидетелем трагедии.

Эта шляпа помогла лейтенанту Шинклейну установить личность погибшего. Как только шляпу положили перед ним на стол, он сейчас же вспомнил Кратохвила и немедленно организовал облик. Результаты облика не оставляли никаких сомнений в том, что тут действуют какие-то таинственные силы, нарушающие порядок во властных Шинклейна.

Лейтенант был больше всего озабочен тем, чтобы свалить ответствен-

ность на кого-нибудь другого и потому позвонил в гестапо. Ему пришлось ждать, пока его соединяли то с одним, то с другим отделом; он три раза докладывал одно и то же, пока ему не ответили, что это дело касается самого рейхкомиссара. Рейнгардта и попросили его не отходить от телефона, может быть, удастся сейчас же соединить его с рейхскомиссаром.

Рейнгардт проспал несколько часов, но сон не освежил его. Заложники и во сне его преследовали. Он проснулся, почувствовав, что Грубер трясет его за плечо. Рейнгардт лежал на диване в той комнате рядом с кабинетом, где он отдыхал, когда время не позволяло уехать домой.

— Вас просят к телефону, герр рейхкомиссар, — сказал Грубер. — По очень важному делу.

Рубашка Рейнгардта измялась во сне, он выглядел утомленным, дыхание было несвежее. Набросив на плечи мундир, он, пошатываясь, подошел к телефону.

— Да? — сказал он хриплым со сна голосом.

— Говорит лейтенант Шинклейн с Колбонского завода. Я начальник охраны.

— Да, да — раздражению прервал его рейхкомиссар. — Ближе к делу, пожалуйста!

Лейтенант, которому надоело повторить одно и то же, обиделся и сказал недовольным тоном:

— Ну, если вам все равно, что вашего пиника убийца, то мне и по-прежнему наплевать. Но только куда прикажете донести тело?

— Лейтенант, с вами говорит рейхкомиссар Рейнгардт. Я в чине полковника, если вам это неизвестно. Извольте рапортовать по форме, с должным уважением, понимаете?

— Слушаю, герр рейхкомиссар! Прошу прощения, герр рейхкомиссар! — Шинклейн мысленно щелкнул каблучками и подумал: так я и знал, что с этим проклятым делом будут одни неприятности. — Сегодня утром, — доложил он, — на завод явился чех и назвал себя агентом гестапо. Его зовут Кратохвил.

— Кратохвил? — переспросил пораженный Рейнгардт. — Что же с ним?

— Убит. Несчастный случай.

— Не верю! — сказал Рейнгардт.

— Уверяю вас, герр рейхкомиссар, что это не в шутку. Неуродовали до неузнаваемости. Раздавили в лепешку. Поверьте мне, герр рейхкомиссар, — убеждал его лейтенант.

— Не верю в то, что это несчастный случай, вот что я хотел сказать, — сердито объяснил Рейнгардт. — А что делал Кратохвил на заводе? И почему вы оставили его без охраны?

Шинклейн оправдывался: — Мне показалось, что он и сам за себя постоят. А кроме того, я не уполномочен вмешиваться в дела государственной тайной полиции.

— Хорошо, хорошо! Что же он делал на заводе?

— Он был слежку за Милодой Марковой, которая работает на стальном цехе.

Рейхкомиссар тихо, но выразительно свистнул. Потом продолжал: — Какие меры вы приняли?

— Опознали труп. Установили причины несчастного случая. По влному, короткое замыкание. Кратохвил был раздавлен стальными поросами.

— Кратохвил меня больше не интересует, — оборвал его Рейнгардт. — Что за болванки эти армейские офицеры! — Даже вы, Шинклейн, могли бы догадаться, что мертвый пиник мало чем может быть полезен. А что вы сделали с этой Марковой?

— Ничего!

— Я так и думал. Будьте любезны немедленно арестовать ее и, на править в штаб. Можно на вас положиться или я должен послать специальную команду?

— Да, герр рейхскомиссар! То есть нет, мы сами ее арестуем, можете на нас положиться! — Шинклейн собирался было рассыпаться в извинениях, но услышал, что трубку положили на рычаг. Шинклейн был очень доволен сам собой, заводом, Кратохвилем и судьбой, которая обрекла его, бывшего кассира «Торгового кредита» в Оснабрюке, отвечать за события, к которым он не имеет отношения. Он был бы доволен и Рейнгардтом, но на это никак не мог отважиться.

Рейнгардт в своем кабинете одевался с помощью Грубера, который протиснул ему мундир и ботинок. Бреясь, комиссар довольно хмурился. Смерть Кратохвила нельзя было рассматривать обособленно, это ясно. Она была частью целого, частью заговора, в котором он пока еще не мог разобраться, но мог найти ни конца, ни начала. Распутать дело Глазенапа было все равно, что расстрелять ослиное гнездо, и если теперь детали проясни и явятся.

Надо будет проверить, нет ли связи между всеми событиями. Самопожертвование Проконна, бессельное с первого взгляда путешествие Яношека в кафе «Мане», упорное молчание Миллады, донос Прейсингера на Яношека, а теперь смерть человека, погнавшегося за осли. Но к чему все это сводится? Кто и что скрывает? В чем состоит их заговор, что они затевают? Кто еще участвует в нем?

Перестроить их всех. Но это не решит задачи — может быть, части из них еще удастся и ткнуть новые нити, словом, положение останется без перемен. Надо докопаться до дна, найти корни, найти людей, которые стоят во главе заговора. Но они ускользают.

Это все равно, что бороться с туманом. Можно войти в него, разогнать его то здесь, то там, но он смыкается снова, окружает вас, душит вас, сжигает, угрожает вам.

Туман, думал он. Но ведь туман это стихия. Может быть, тут не до того докапываться, нет никаких корней и никто не стоит во главе? Может быть, это народ?

Но тогда с этим невозможно бороться. Тогда это перестает быть делом полиции, с этим не справятся все Рейнгардты на земле, вальты вместе.

В нем проснулся страх. Страх, что он столкнется с чем-то, чего не силах одолеть. А ему нельзя бояться. Нельзя терять голову. Надо вернуться к действительности, к старым испытанным методам полицейской работы — к допросам, обыскам, арестам, пыткам. Надо добиться определенных результатов!

Он сегодня же как следует допросит Милладу и на этот раз, обещав ей себе, сломит ее сопротивление. А Яношека он просто разнесет в клочья. И если нужно будет вырвать у этого человека сердце, чтобы добраться до его тайны, он вырвет! Его замысел остается без изменения. Глазенап убит неизвестными лицами. И Прейсингер должен быть расстрелян вместе с другими заложниками!

Все приготовления к допросу Яношека были закончены, прежде чем Рейнгардт спустился в котельную в подвале гестапо, чтобы добавить последние прихоти.

Яношека вытащили из стоячего гроба. Младенец отбил ему все почки, и он еле добрался до котельной. Там его встретил Менкеберг. Завязав рукава, он приказал Яношеку раздеться и осмотрел его. Эсэсовцы, среди которых он узнал Эппингера и Вальтера, ухмылялись и отпугивали остроты насчет его волосатости, насчет его половых органов.

Менкеберг ощупал его, исследовал мускулы спины, упругость кожи, крепость плеч. У Менкеберга были опытные руки, и они говорили ему, что здоровяк. Он уже не молод, но у него крепкое тело, он выдержит очень многое. Он оценивал Яношека, словно скотопромышленник, покушавший быка на убой.

Исследовав Яношека, Менкеберг выбрал хлыст, который нашел наиболее для него пригодным — гибкий и длинный стальной прут, который

при умелом употреблении глубоко врезался в тело. Он почти ласкающим жестом пропустил этот хлыст сквозь кулак. Потом закурил папиросу и стал ждать. Длинный столбик дыма он осторожно стряхнул на хлыст.

Яношек наблюдал все это словно со стороны. Ему это казалось немыслимым, нереальным. Он должен был напомнить себе, что это именно он, Яношек, стоит голый перед этими людьми, у которых такой деловой вид и которые смотрят на него так же равнодушно, как рабочий в трамвайной смотрит на простыню, прежде чем пропустить ее через карток. Янее всего он ощущал шершавость цементного пола под ногами, он шевелтал ему подмышками, когда он переступал с ноги на ногу, чтобы немного размяться.

— Какого чорта мы ждем? — спросил Грубер, которому не терпелось начать. В Яношке он видел личного врага, ибо этот чех не выказывал к нему уважения.

Менкеберг рассеянно обернулся к Младенцу, — Рейнгардта, — ответил он: — Рейхскомиссар будет сам присутствовать при допросе.

— Не приготовить ли заключенного? — предложил Грубер.

Менкеберг не возражал. — Ну что ж. Связать его позаранее. Не люблю, когда они шевелятся.

Это он обо мне, сообразил Яношек. Чтобы меня приготовили. Чтобы меня связали покрепче. Не хотел, чтобы я пошевелился. А зачем мне шевелиться? Я буду лежать спокойно, не напрякаясь. Чем меньше я буду напрягаться, тем меньше почувствую.

Энциггер и Вальтере подошли к нему:

— Идем-ка, — сказал Энциггер далеко не враждебным тоном. Для них все это было не ново. Для них Яношек перестал быть человеком с умом и сердцем, душою и нервами. Для этих мастеров заключенного дела он стал объектом работы. Если б Яношек сопротивлялся, они бы живо с ним расправились. Но он казался подавленным.

Они повели Яношека к столу. Не успел он опомниться, как его уже подхватили и растянули на столе, животом вниз. Его тело напряглось. Мускулы напряжались, сопротивляясь вываливающимся в него ремням, но грубая сила надзирателей, одолевая непокорную плоть: удар по затылку расслабил мускулы, и ремни сошлись, притянув Яношека к продолговатому столу, отполированному его бесчисленными предшественниками.

Его голова была прижата боком к столу. Он ясно видел полоску дерева, а за нею кусок пола, угол одного из котлов и часть серой стены, во всем этом не было ничего утешительного, но оно неизгладимо врезалось в память Яношека.

Он услышал торопливый шепот, слова примирения, и догадался, что вошел Рейнгардт.

Скоро застучала машинка, и сухой голос рейхскомиссара начал диктовать. — Дело Глазенапа, допрос Яношека, пол — мужской, национальность — чех, продолжение. — Голос умолк, потом спросил: — Который час, точно? — Кто-то ответил: — Десять минут двенадцатого, герр рейхскомиссар. — Голос продолжал. — Одиннадцать, десять, вторник, 14 октября 1941 года.

Машинка перестала стучать. Наступило молчание, которое показало Яношке вечностью. По легкому скрипу башмаков он догадался, что к нему кто-то подходит. Потом в поле зрения появились брюки и сапоги. За ними кто-то поставил стул. Человек сел. Перед Яношкой было бледное лицо Рейнгардта.

— Я пришел, чтобы сдержать свое слово, — сказал Рейнгардт. — Помните?

Яношек понял, что отвечать не надо.

— Мы отошлись к вам слишком либерально, Яношек. Это была ошибка. Мы всегда готовы сознаться, совершив ошибку. Вы злоупотребили нашей гуманностью, нашим великодушием, и не сказали нам эти слова правды о смерти лейтенанта Глазенапа.

Машинка в углу громко стучала. Резкое дребезжание каретки при

внимом переходе на новую строку аккомпанировало проповедь Рейнгардта:

— Не думайте, что это пройдет для вас безнаказанно: Я известен каждому человеку своего слова: Но вы можете избавить себя от лишних мучений, сказав мне, что заставило вас предпринять этот, повидимому, нужный обычай кафе «Манес».

Оба упорно смотрели друг на друга, не спуская глаз, но видели друг друга под углом в девяносто градусов. Яношеку тонкий нос Рейхскомиссара казался горизонтальным, а бескровные губы непристойным обрамлением черной вертикальной щели его рта.

Рейхскомиссар, у которого поле зрения было шире, видел два глаза Яношека: один над другим, но в обоих была одна и та же печальность, и то и то же презрение: Прежде эти глаза были полускрыты тяжельми веками, они глядели на мир сонно и лениво: Рейнгардту казалось, что впервые раз в жизни видит Яношека без маски.

И опять он ощутил то же замирание под ложечкой, то же недоброе предчувствие, какое у него было, когда он слышал о несчастном случае Фратохвилем.

Губы Яношека зашевелились: Рейнгардт не мог понять, что он говорит. Он наклонился ниже, к самому его лицу.

Яношек прошептал: — Что же вы не начинаете, Рейнгардт?

Рейхскомиссар несколько отшатнулся. Человек был крепко привязан к столу, в этом не могло быть сомнения. И все же Рейнгардту на миг показалось, будто на него нападают. Потом он взял себя в руки.

Яношек увидел, что губы Рейнгардта сомкнулись еще плотнее.

Это было его последнее впечатление от Рейнгардта: губы, сжатые точно, точно створки раковины.

Рейнгардт пересел подальше от Яношека на другой, более удобный столик рядом с машинкой. Сухой голос проползая:

— Так как заключенный отказался отвечать, вопрос передан секретарю Менкебергу.

Верный Менкеберг, который до сих пор не двигался с места и курил свой папиросу за другой, снял галетку и растерпел воротник рубашки. Он взглянул на своего начальника:

— Начинайте, — сказал Рейнгардт.

Грубый облизал губы. Его потерпевшие мальчишеские глаза следили за тем, как Менкеберг по-кошачьи осторожно подходит к своему делу. Он видел живое тело Яношека, перетянутое в нескольких местах ремнями. Он видел, как Менкеберг пожимает руку и быстро отшатнулся.

Хлыст засвистал и хлестнул по телу Эвессовцы, казалось, вздохнули с облегчением. Рейнгардт вытянул поудобнее ноги и стал смотреть на свои начищенные носки ботинок. Рука Менкеберга поднялась для второго удара.

Яношек тоже почувствовал облегчение: К его удивлению, эта боль началась на несколько ощущений, и все они уложились в какую-то одну секунду. Тут было и дрожание кожи, и чувство внезапного ослепления удара. Тут была и боль, расходившаяся волной от того места, на котором ударил хлыст, и хлынувшая к затылку. Тут была непосредственная реакция мускулов, они сокращались, стремясь подбросить тело вверх, но ремни удерживали его на месте. Тут было и желание двигаться: Откуда-то из глубины что-то подкатывало к горлу и рвалось наружу. Потом начал работать разум, началась борьба между его раздумьями и первами. Ему нужно было на чем-нибудь сосредоточиться: И вот вокруг чего он собрал все оставшиеся силы: я не закричу!

Он чувствовал, что кожа лопнула там, где хлыст оставил вспухший рубец. Кровь просочилась из ошпаренной потекла по коже, теплая и липкая. Яношек покрылся холодным потом и, обливав губы, почувствовал его солоноватый вкус.

Яношека удивило, что его мозг способен работать даже под напль-

вом боли. Он работал, как сейсмограф, отмечая сотрясение нервов. Может быть, я это и вынесу, подумал Яношек:

Второй удар хлыста. Опять лавина боли, опять шок и потрясение всей нервной системы. Третий удар. И четвертый, пятый, шестой.

Менкеберг избивал его методично, неторопливо и репидельно. Вот почему Рейнгардт не боялся доверять ему эту ответственную работу. И опыт у Менкеберга был колоссальный. Прежде всего точность прицела: удары ложились параллельно, на ладони один от другого. Он не ударял по открытым ранам, чтобы заключенный не потерял сознания раньше времени. Он знал, что потерявший сознание человек уже не в его власти.

Нет, Яношек не потерял сознания. Он не кричал, но не мог удерживать глухих стонов, рвавшихся сквозь крепко стиснутые зубы. Услышав их, Энциггер заметил: — Силен, как бык, черт его дер!

Вальтере ответил: — Некультурный, в этом все дело. Эти низшие расы знать не знают, что такое нервы.

Грубей поблелел. Его руки тряслись, когда он закуривал папиросу. Он вынул папиросу изо рта и должен был поджечь ее: Она запачкалась, а, выругавшись, Грубер придавил ее ногой.

Седьмой удар. Восьмой.

И все же разум Яношека боролся с нервами. Боль теперь бушевала в нем. Где-то в глубине начинали глухо дрожать струны, звук усиливался, достигал яростного напряжения и утихал.

Яношек услышал сухой голос Рейнгардта:

— Ну, как он, в порядке?

И Менкеберг проворчал в ответ: — Да, герр рейхскомиссар, да!

Все это слышалось точно издали. Они были в этом мире, а он ушел в иное измерение, куда они не могли следовать за ним.

Девятый удар. Десятый.

Он ощущал боль, но это уже не имело значения. Глаза его были полны слез, он ничего не видел, сколько ни старался дергать их открытыми. Но его разум все еще боролся:

Все его мысли были теперь сосредоточены на комочке бумаги, валявшемся на полу уборной в кафе «Манез». На адресе Визинки. Он думал о тени лысого грузчика, и эта тень принимала гигантские размеры, заставляя собой клочок белой бумаги. Потом появились руки Греды, сильные, надежные руки. Потом руки исчезли, и он увидел асфальт желтого, красного и белого света, поднимавшиеся до ледяной высоты.

Одиннадцатый удар.

Он засмеялся. Он в самом деле засмеялся. Это был слабый, мучительный смех. Он прозвучал так странно, что Грубер вопросительно взглянул — кто здесь может смеяться? Младенец не сразу понял, что смеется Яношек.

В эту минуту открылась дверь. На возвышенном поверх черного мундира был белый халат. Голова у него была något выбрита и один, стеклянный, глаз оставался неподвижным, а то время как другой, живой, глядел на Рейнгардта.

— Здравствуйте, доктор! — приветствовал его рейхскомиссар — Пришли взглянуть?

Доктор кивнул. Он подошел к столу, на котором лежал окровавленный Яношек с судорожно подергивающимися ногами.

Здоровый глаз доктора сосчитал рубцы. Он стал следить за хлыстом Менкеберга, поднятым для двенадцатого удара. Он видел, как тело Яношека извивается под ударами и отечески позурил Менкеберга:

— Остановитесь, дорогой Менкеберг. Вы его убьете.

— Он еще в сознании, — ответил Менкеберг, отирая тряпкой хлыст.

Доктор обернулся к Рейнгардту: — Что вы намерены с ним делать?

— Он заложник. Завтра мы его расстреляем.

Глаз доктора был устремлен на тонкие губы Рейнгардта. — Если вы будете продолжать в этом духе, то пули вам не понадобятся.

— Сейчас я не собиралось его убивать. — Рейхскомиссар, казалось, оправдывался. — Мне нужно добиться от него некоторых сведений.

— Облейте водой. Отпустите ремни. Пусть отдохнет полчаса, — посоветовал доктор. Потом нагнувшись к рейхскомиссару и шепнул: — Ваши мотивы, конечно, очень важны, но есть известный предел физической выносливости. — А вслух прибавил: — Интересная! медицинская проблема, очень интересная...

Секретаря отправили за водкой. Доктор уселся в кресло рядом с Рейнгардом и продолжал, залпнув ногу на ногу: — Упорный народ, и физически и во всех других отношениях. У вас что-то не ладится?

— Нет, все в порядке.

Доктор опустил живой глаз, в то время как стеклянный взирал на рейхскомиссара. — У вас усталый вид. Может быть, хотите в отпуск? Я с удовольствием вас осматриваю в любое время.

Рейнгардт не вырвал, чтобы заботливость доктора коренилась в альтруизме. — Будет уж! — сказал он. — Что вам нужно?

— Приноси водку, и разговор превратится. Рейнгардт налил ее в рюмку. — Ну, за фиорину! — Пожелалось выпить рюмку одним глотком.

Вторую рюмку собеседники осушили за здоровье друг друга.

— Упорный народ, — философически повторил доктор. — Я занимаюсь исследованием в этой области. Мною составлены сравнительные диаграммы выносливости, но, представьте, как мне не везет, не могу подвести итога. Все время приходится исправлять диаграммы, замечьте, все время сторону повышения. Чем шире мы применяем наши методы, тем больше закалиются пациенты. Очень непонятно, очень!

— Prost! — Третья рюмка. Глоток.

— Ну, так что вам от меня нужно?

— Дело касается одного моего коллеги, который находится у вас, уважаемый герр рейхскомиссар.

— Валлерштейн?

Доктор кивнул.

— Боюсь, что ничего не могу для вас сделать. Он будет расстрелян завтра вместе с другими заключенными. — Голос Рейнгардта звучал очень неприятно.

Доктор придал своему здоровому глазу изумленное выражение — Да что? За кого вы меня принимаете? Я не собираюсь его спасать. Я хотел спросить вас — он вел очень интересную работу. Где его бумаги? Мне хотелось бы взглянуть на них.

— Да, еще бы! — Рейнгардт улыбнулся. — Он даже сделал мне удивительное предложение, на которое я согласился. Он записывает свои наблюдения над заключенными и над самим собой в камере смертников — представляет? — Рейнгардт с гордостью смотрел на доктора. Он был только не чужд научным интересам, но и некоторым образом мещан.

Глаз доктора завистливо блеснул. — А что вы будете делать с записками Валлерштейна?

Рейнгардт стал нужным уклониться от ответа. — Не знаю. Прочту и сгнибнут.

— Послушайте, рейхскомиссар, мы с вами всегда были в хороших отношениях, не правда ли?

— У меня нет врагов, — улыбнулся Рейнгардт.

— Отдайте мне эти бумаги, — кланялся доктор.

— Для напечатания? Под вашей фамилией?

Скисанный глаз смотрел на Рейнгардта без стыда, а в здоровом появилось что-то вроде смущения.

— Что ж, я не прочь. Я бы написал вступительную статью. Это будет сплошь и рядом.

— Отпуск мне едва ли нужен, — сказал Рейнгардт.

Доктор ухмыльнулся. — Вот как? — Потом наклонился к нему: — Вы мне сделаете это одолжение?

— Если я одобряю содержание записок, то почему бы и нет. — Рейнгардт опять наполнил рюмки.

— Что касается вот этого, — доктор показал большим пальцем на Яношека, — то не спешите. Перемените лекарство и дозы закатывайте поменьше. Советую как ученый ученому!

И закрыв оба глаза, живой и стеклянный, доктор расхохотался и смеясь вышел из комнаты.

Этот смех привел Яношека в сознание. Теперь его не били и в нем осталась только боль. Эта боль, казалось, жила своей отдельной жизнью. Она стояла над ним, как жестокий хозяин, подгоняя каждое биение его сердца; она обволакивала его тяжким жаром, от которого не было спасения.

Он лежал в чем-то мохром и липком. Он не сразу понял, что это его собственная кровь.

Ремни были опущены, и он попробовал пошевелиться. Но боль была так остра, что он бросил всякие попытки и лежал неподвижно. Он чувствовал себя очень слабым и измученным и спрашивал себя: неужели это конец? Тогда прекратится боль, против которой он безоружен. Прекратится все.

Но он знал, что ему не отделаться так легко. Рейнгардт ясно дал понять, что ему нужно. То, что испытал сейчас Яношек, было только началом, в этом он не сомневался.

Его удивляло, что он может думать о себе так разумно. Какая-то часть его мозга остается до сих пор работоспособной, а другая только воспринимает боль. Надо думать, заглушить эти боли, попробовал он от себя. Надо думать о таких важных делах, о таких значительных, чтобы мысли о них перешили боль.

Важно, найдет ли грузчик адрес Вацлика.

Он слышал голоса своих мучителей. Они приближались к нему.

Важно, успеют ли во-время взорвать баржи со снарядами.

Сухой голос Рейнгардта сказал что-то насчет того, чтобы ремни опять стянули.

Важно храпнуть упорное молчание, от этого зависит жизни тысяч русских солдат на восточном фронте, против которых посланы баржи со снарядами.

Он услышал голос Рейнгардта. — Ну, как вы себя чувствуете? — Он догадался, что вопрос задан ему.

Важно, чтобы русские продолжали драться и помогли освободить его маленькую страну, его родную Прагу, шахтеров Кандно, батраков Моравии.

— Вы молчите, значит, чувствуете себя не совсем хорошо. Не так ли? Скажите мне — давал вам Глазенап письма? Да или нет?

Важно, чтобы он вынес пытку. Другим это удавалось, удастся и ему. Да, он выдержит.

— О чем вы говорились с Проконцем?

Важно... Но при чем тут Проконц? Почему он о нем спрашивает?

— Что вам известно о смерти Глазенапа?

Важно... Какие глупости спрашивает этот человек? Я давно митовал, это, все это где-то далеко, близко, вокруг меня стена боли, непроницаемая, несокрушимая.

— Менкеберг! — позвал Рейнгардт, пожимая плечами и отходя от Яношека. — Менкеберг, передаю его вам.

Отдохнувший Менкеберг критическим взглядом окинул распростертое тело. — На нем живого места нет, — пробурчал он.

Он начал хлестать Яношека по плечкам и постепенно дошел до колен и шир.

Он добрался до нежной впадины под коленом, когда явился вестовой и доложил, что привезли Миладу Мареккову.

Комиссар поспешно встал. — Грубер! — крикнул он, заглушая стоны Яношека. — Вот список вопросов. Допрашивайте его, и дайте мне знать, когда он спадает.

— Менкеберг!

Менкеберг без рубашки, с грудью, блестящей от пота, вытянул руки по швам.

— Слушаю, гeрр рейхскомиссар!

— Когда он потеряет сознание, оставьте его в сознание, чтобы он дожид до завтра!

— Слушаю.

Рейхскомиссар удалился, уверенный, что оставляет Яношета в надежных руках.

Глава 12

— Милада! — мечтательно сказал Рейнгардт и провел языком по губам.

Он сидел в кабинете один; сидел уже минут десять молча, не двигаясь, и думал. После допроса конвойные повели ее в одиночку. — У вас будет время обдумать наш разговор. Может быть, вы сами вызоветесь ответить на мои вопросы, — сказал Рейнгардт. Он был так терпелив, так легок к ней, что возмущался сам собой. Он только что присутствовал при избиении Яношета, а сейчас вдруг такая перемена, такая джентльменская выдержка!

Теперь, вспоминая свою беседу с Миладой, Рейнгардт чувствовал, что может быть доволен собой. Вечером он вызовет ее снова, и на сей раз пожмет плоды своих трудов. Как приятно будет вырвать признание у этой девушки!

А пока что надо допросить Лобковица и остальных пятнадцать человек. Тогда можно быть спокойным: все будет сделано тихо-крыто. И правда о Глазенапе не просочится наружу. А потом еще Валлерштейн — Валлерштейн и его записи.

Рейнгардт придавал большое значение этим записям. Рейхскомиссар считал себя знатоком человеческой души. Правда, его методы и цели несколько отличались от методов и целей профессиональных эскулапов, но все же некоторая связь между тем и другим была. И чем больше усложнялось дело Глазенапа, тем больше надеялся Рейнгардт отыскать хоть какую-нибудь путеводную нить в наблюдениях психиатра. Его надежды особенно окрепли, когда к этим записям протянул свою лапу одноглазый врач. Одноглазый был не дурак и знал цену работе Валлерштейна.

Вот почему, несмотря на целый ряд неблагоприятных обстоятельств, Рейнгардт был так хорошо настроен, когда к нему ввели Валлерштейна. Уверенный, что все обернется как нельзя лучше, он встретил свою жертву с сияющей улыбкой. — Ну-с, доктор, давайте, вы находите время для научных занятий в гестаповском застенке?

Рейнгардт не мог не заметить, что со времени их первой встречи Валлерштейн сильно изменился. Блуждающий взгляд, покрасневшие щеки, щеки запали, губы дергаются. Он даже постарел.

— Благодарю вас, — сказал Валлерштейн. — Я старался как мог. — Он удорожно глотнул. — Когда... когда это кончится?

— Завтра на рассвете, — сказал Рейнгардт. — Около шести часов.

— Убийца Глазенапа не найден?

Рейнгардт улыбнулся. — Как это ни странно, но у нас есть уже несколько кандидатов на такую роль. К счастью, нам удалось разоблачить этих мистификаторов.

— К счастью? — взгляд Валлерштейна остановился на рейхскомиссаре. Рейнгардт отвел глаза в сторону. Он побаивался прощупательности этого человека.

— Да, к счастью! — грубо повторил Рейнгардт. — Мы вовсе не хотим приносить кровь. Нам нужен настоящий убийца.

— Такие соображения делают вам честь, — сказал Валлерштейн.

Рейнгардт почувствовал прочно в этих словах. — Еще не поздно. —

отпарировал он удар Валлерштейна. — Вы были в кафе «Манес» в тот вечер, когда произошло убийство. Если вам есть что сообщить, почему вы молчали все это время? Почему молчите сейчас? Что вам известно по делу Глазенапа? Вапа жизнь все еще в ваших руках.

Валлерштейн чувствовал страшное утомление и слабость. Стоять перед Рейнгардтом было трудно — болели ноги. Ему хотелось только одного: поскорее отделаться от этой нелепой процедуры.

— Что вы от меня хотите? — через силу спросил он. — Чтобы я признался в убийстве Глазенапа? Или донос на кого-нибудь? Или сказать, что Глазенап не был убит, а покончил с собой?

— Что? — выкрикнул Рейнгардт.

Но Валлерштейн не заметил того впечатления, какое произвели на рейхскомиссара его слова, не понял, насколько они были близки к истине. Он продолжал: — Плести вам всякие небывлицы только для того, чтобы вы уличили меня во лжи? Чем мне это поможет?

Рейнгардт быстро овладел собой, но не удержался и спросил: — Почему вы заговорили о самоубийстве? Вы допускаете такую возможность? Что вам об этом известно?

— Кое-что известно, — сказал Валлерштейн. — Самоубийство есть одна из фаз психического заболевания, точнее конечная фаза.

— То есть, рассуждая теоретически?

— Разумеется. Как же я могу еще рассуждать? Что я знаю о Глазенапе? Личная жизнь немецких офицеров никогда меня не интересовала и вряд ли будет интересовать. — Он замолчал. Потом вдруг спросил с удивлением: — Почему вы вдруг заговорили о самоубийстве, в частности о самоубийстве Глазенапа? Вы подозреваете? Валлерштейн побледнел, и в глазах у него загорелся луч надежды. Вы не уверены, что...

Рейхскомиссар встал. Теперь ему было ясно, что Валлерштейн ничего не знает. Мне жаль вас разочаровывать, — сказал он, — но Глазенап был убит, это вне всякого сомнения. Самоубийство, почтеннейший доктор Валлерштейн, типично для вырождающихся рас. Нам, нынешним, будущим властителям мира, нет нужды кончать жизнь самоубийством. А теперь разрешите мне взглянуть на ваши записи.

Валлерштейн нерешительно протянул ему свою рукопись.

— Пожалуйста, сохраните ее, — умоляюще сказал он. — Это единственный экземпляр. Единственное, что после меня останется. И напишите письмо редактору «Ежемесячника по Вопросам Психологии», оно тут же, вместе с рукописью.

Он не скоро прекратил бы свои мольбы, но Рейнгардт быстро просмотрел первую страницу, написанную четким, ровным почерком, и сказал: — Садитесь. И не мешайте мне читать.

Валлерштейн настороженно следил за глазами рейхскомиссара, бегавшими по строчкам, سپس за его рукой, поставшей страницю за страницей.

Вальтер Валлерштейн, доктор медицинских наук.

Заметки о смерти и распаде психических норм.

Самым грандиозным и самым значимым событием человеческой жизни является то, что подводит ее к концу: смерть.

Со смертью прекращает свою деятельность не только организм человека, но и его психика. Медицинские, научные и общественные институты установили для процесса, известного как смерть, точный символ. Мы рассуждаем о факте смерти с того момента, как сердечная мышца перестает действовать. Однако всем нам известно, что процессы жизни и умирая продолжают действовать, что некоторые части нашей живой ткани остаются жизнеспособными.

Наблюдая за самим собой и за другими, каждый индивидуум приходит к выводу, что он должен умереть. Этот факт воспринимается как от нас

него сознания, так и от сферы подсознательного. Светофоры на перекрестках обращаются к сознанию человека, предостерегая его от опасности; свист снаряда над головой заставляет солдата припасть к земле, то есть вызывает у него реакцию подсознательную.

В данном случае нас больше всего интересует действие, которое страх смерти оказывает на человеческую психику, и та борьба между сознательным и подсознательным, которая разгорается в ней перед лицом смерти, предпрешенной с точностью до часов и минут.

В обычной обстановке врач никогда не бывает настолько жесток, чтобы сказать своему пациенту, что смерть его наступит, предположим, в полночь. Наоборот, мы всячески стараемся до последней минуты поддерживать в нем надежду. Мы хотим уберечь своего пациента от психической пытки, которая неминуема при осуждении к смерти.

В некоторых случаях, как например перед казнью, «пациент» проводит свои последние часы в камере смертников и знает, когда наступит его конец. Как известно, многие преступники пытаются приступить к работе или же полной депрессии; другие апатитом съедают свой последний обед, другие вытаскивают тарелку в лицо надзирателю; иногда смертник ищет утешения у священника, иногда проклинает его. Та или иная реакция обусловлена всей прежней жизнью «пациента», его развитием и многими другими обстоятельствами.

К сожалению, нам неизвестны случаи, когда такой «пациент» провел на свои последние дни и часы под наблюдением опытного психоаналитика. Следовательно, мы почти ничего не знаем об изменениях, которые имеют место в психике индивидуума, заранее знающего время своей смерти.

Благодаря благосклонному содействию пражского отделения полиции, а также высокопоставленного рейхскомиссара Гельмута Рейнгардта мне удалось вести наблюдение над группой людей, оказавшихся именно в таком положении. В эту группу входит сам автор, который заранее просит у властей извинить его, если ему не удастся убрать из своей работы материал.

Факты вкратце таковы. Нас арестовали в четверг 9 октября 1941 года. Следующий день мы узнали, что через пять дней нас расстреляют, в застенках. В моей камере и под моим наблюдением находились четверо молодых журналист Л., актер П., крупный промышленник И. и Я.-к, не имеющий определенной профессии. Все они узнали о предстоящей нам казни от меня. Я имел полную возможность беседовать с ними, задавать им интересующие меня вопросы и наблюдать за их реакциями.

Смерть является самым грозным табу, установленным человечеством. Если бы это было не так, общество, его законы, его этические нормы подверглись бы коренным изменениям. Человек, ожидающий смерти, не знает никаких запретов, ибо его уже ничто не властно покарать — ни общество, ни собственная совесть. Он недостижим для возмездия.

Весь конгломерат внешних воспитанных запретов и самоограничений, принятыми словами совесть, перестает функционировать. Перед лицом неминуемой смерти человек абсолютно одинок, и это делает его сверхчеловеком.

Такое превращение с наибольшей ясностью можно было наблюдать в П. и Л. Оба они любили одну женщину. Муж П., не зная об отношениях, существовавших между его женой и Л., но, возможно, подозревал их. При обычных обстоятельствах Л., несомненно, не выдал бы своей тайны. Но, зная, что ему грозит смерть, и, не стесняясь простасных разговоров, Л. о жене, он заявил, что был любовником госпожи П. и назвал себя отцом ее ребенка. Это привело к бурной вспышке со стороны П., прекратив которую было весьма нелегко.

Но почему же П. сдерживался Л. на таком призыве и тем самым не основывал полностью свое освобождение полностью от запретов, и без того освобожденных мыслями о неминуемой смерти?

П. старался найти оправдание для своей жизни, важнейшим факто-

дом которой были его отношения с женой, отношения не совсем удовлетворительные. Он старался приукрасить их и перед самим собой перед нами.

Читатель, не знающий, что такое близость смерти, спросит: почему же пятеро вполне нормальных мужчин так быстро перестали бороться за жизнь? На этот вопрос можно дать два ответа.

Первый будет чрезвычайно лестен для гестапо. Мы знали, что организация умеет держать свое слово, но в каждом случае тогда, когда речь идет о смертном приговоре.

Второй ответ несколько сложнее. Борьба за жизнь продолжалась ведь стараясь представить себе неизбежность конца, преступая грани запретного, человек испытывает такой ужас, что не может примириться с мыслью о полном исчезновении из жизни.

Этим объясняется частая смена настроений у всех заложников, исключением одного. Я займусь этим человеком позднее. Мы метали молду полной депрессией и лихорадочной активностью. Читатель может предположить, что у нескольких человек, брошенных в тесную камеру ожидающих одинакового рокового конца, должно появиться чувство солидарности и товарищеской близости. Однако в действительности имеем место явления обратного порядка. Среди нас царил враждебность, враждебность и неприязнь друг к другу.

Наиболее черствый и самоуверенный из нас, крупный промышленник Пр., оказался в этой обстановке и наиболее мало уязвимым. Положение, которое всегда занимал Пр., выработало в нем уверенность, труд, страдания и смерти есть удел всех людей, кроме него. Поэтому он до последней минуты не сможет примириться с мыслью о неизбежности собственных страданий и собственной смерти.

Пр. явил собой наиболее яркий пример полного маризма и отхода от моральных, психических и общечеловеческих норм, вызванного близостью конца. Вывод отсюда напрашивается сам собой: такая реакция характерна не только для Пр., но и для всех тех, кто, пользуясь привилегиями власти, привык отстаивать только свои личные интересы.

Остальные тоже продолжали бороться за жизнь, но в ином плане. Мы знали, что здесь, в этой камере, нет свидетелей, которые сказали бы будущему поколению: они умерли как герои. И все же мы делали все попытки утвердить свое бессмертие.

Пр., будучи субъектом крайне элементарным и личным всякого воображения, думал только о том, как бы продлить свое физическое существование.

Л., верный инстинктивной тяге каждого человека продлить свое жизнь в потомстве, заботился о своих правах на ребенка, отцом которого он по сей пор считался П.

Актер П., пользующийся известностью в театральном мире и рассчитывающий, что его смерть вызовет сожаление у публики, всячески увеличивал перед товарищами по камере свои успехи как в жизни, и на сцене.

И мне, в свою очередь, не следует тайнить, что я вел эти записки, желая примириться с мыслью о смерти и полном исчезновении. Я хотел оставить после себя нечто, имеющее непреходящую ценность. Разве у нас, не такой же человек, как и все? Единственное, что у меня теперь есть, — это мои записки, хотя записки в них нет и следа. Это вопль. Я пишу и пишу только о том, что чувствую.

И еще ничего не сказал о Я-ке.

Немного предположить, что все наши страхи явление патологическое, Я-к прошел сквозь них целым и невредимым. Он отнюдь не крет, которому недоступны человеческие чувства. Я обнаружил в нем ум, тщательность и доброту. Он способен и ненавидеть и презирать. Единственным из этого служит его отношение к Пр. Но он точно так же относился бы к Пр., если бы они встретились не в тюремной камере, а уличной или в любой обстановке.

На мой взгляд, Я-ку паведом страх смерти. Он не подчинился правилу, затеянному мною душой.

Но временам мне стоило большого труда подавить в себе чувство зависти к этому человеку, вызванное лишь тем, что он оказался сильнее болезни, которой поддался я — врач. С другой стороны, работая «власти» такой молодой науки, как психиатрия, я не могу стать на чисто академическую точку зрения и заметить: то, что не в книгах, нет и в жизни.

В жизни это есть!

Чем же объяснить поведение Я-ка? Может быть, ему так часто пришлось сталкиваться со смертью, что он уже не боится ее?

Может быть, он проникает взором в будущее, паведомое нам?

Может быть, он принадлежит к той редкой породе людей, которых зывают героями, и я должен благодарить судьбу, поставшую мне последок встречу с ним?

Или тут действуют все эти три причины разом?

Я стараюсь быть объективным. Может статься, что этот человек оказывает мне хоть немного своей силы — той силы, отсутствия которой тогда сказывалось в моей жизни и продолжает сказываться и сейчас. Но огромный Я-к смеется не только над смертью, что не введет меня, что не введет ее нам...

Дальше рейхскомиссар читать не стал. Этого не может быть, думал. Вздор! Ведь Валтерштейн сам признается, что его мозг поражен бредом. Эти записки — бред перепуганного интеллигентника, и больше ничего!

Но характеристика Прокопа дала рейхскомиссару ключ к загадочному поведению актера. Теперь ему стало ясно, почему тот признался в мифе Глазенапа. Прокопи захотел овеять славою свою смерть! Но эта догадка Валтерштейна правильна, значит, в его наблюдениях над Яношкой тоже есть доля истины. А тогда становится понятным, почему инженер оклеветал Яношку.

Все они видят этого мужлана насквозь, только он, Рейнгардт, ничего не понял и остался в дураках.

Как ему ни хотелось отмахнуться от этих записей, в глубине души он знал им цену. Он знал, что корень всех его неудач Яношек, этот безудный идол, который несет бог весть какую чепуху и смотрит на нас такими невинными бессмысленными глазами.

Теперь Рейнгардт был уверен, что какие-то силы действуют против него и что в центре этого заговора стоит Яношек. Но кто они, эти силы? Какие остальные соучастники? Ответы на такой вопрос не было. Его снова охватил туман. Перед ним мелькают какие-то смутные очертания, но оттого они зыбки, неуловимы, как схватить их, как задержать?

И он решил сорвать всю злобу на недочитанной рукописи, которая говорила о постигнутой его неудаче.

— Вы, вероятно, гордитесь своей работой? — спросил Рейнгардт. — Нет, разрешите вам сказать: это чистейший вздор, и мне некогда думать на него время. Я знал с самого начала, что шел за вами, братия, и не помнит от страха. Жалкие трусы!

— Когда человеку вскрывают броню, это зрелище тоже не из приятных, — ответил Валтерштейн, ставясь на защиту своего труда. — Яношек — герой! Смехотворно!

Валтерштейн встал. — Мы с вами не понимаем друг друга.

— Нет, я вас прекрасно понимаю! — крикнул Рейнгардт, тоже встал. — Вы не дурак, доктор Валтерштейн! — Он обоим встал, подошел к Валтерштейну вплотную и с неистовством записки ему прямо в лицо: — Хотите стомерить мне? Хитро придумали! Напели тут какого ученого, чтобы и воображаете, что я в нем не разберусь, не пойму, что вы меня обманывали дураком?

— Нет, нет! — в отчаянии запротестовал Валлерштейн, трепеща за свою рукопись. — Вы меня не так поняли...

— Яношек герой! Хотите полюбоваться на своего героя? Может быть, я доставлю вам это удовольствие сегодня вечером. Из вашего героя получился хороший биштекс. И мне очень хочется вкатить вам дозу такого же лекарства за всю ту наглую ложь, которой вы меня угостили!

— Подумать только! — продолжает Рейнгардт. — Чтобы я, серьезный человек, работник гестапо, способствовал опубликованию этой дребедени! Нет, доктор, на сей раз вы просчитались!

Рейнгардт разорвал рукопись на клочки и, швырнув их на пол, стал топтать ногами. — Вот, что я с ней сделаю! Видите? Вот!

Валлерштейн не сразу осознал, что это последнее goodbye навсегда.

— Ваше поведение мне совершенно неизвестно, — сказал он, как профессор, заинтересовавшись этим зрелищем: — Надает, уничтожающая мысль и слово. Вы стараетесь растоптать то, что вас страшит, господин рейхскомиссар. Растоптать истину.

У Рейнгардта потемнело в глазах от беспочвенства. Валлерштейн рухнул на пол, и рейхскомиссар только тогда понял, насколько силен был его удар.

Он вызвал звонком конвоира. — Отнести его в камеру! — и вышел из кабинета с твердым намерением вырвать у Яношка его тайну.

Глава 13

Вечер в гестаповском подземелье наступает скорее, чем за его стенами. Сумерки прежде всего приходят сюда, словно изловив заключенных.

Валлерштейн и Лобковиц сидели в камере одни. Валлерштейн осторожно растирал левую щеку и висок, все еще нынющие после удара Рейнгардта. Стараясь не думать о завтрашнем дне, он цеплялся за каждую мимолетную мысль, искал в ней забвения.

Мое тело, говорил он себе, которое продолжает функционировать все с тем же беззаботным упрямством, выказывает больше разума, чем весь этот сложный механизм сознательного и подсознательного, доставляющий мне столько страданий. Если бы я мог увидеть себя в перспективе истории нечтожной пылинкой, лишенной веса и значения! Но сфера подсознательного отказывается выслушать урок, преподносимый ей разумом. В результате компромисс — хитрая вылазка в расчете на крохи бессмертия. Но эта обезьяна, этот Рейнгардт, помешал и тут.

И теперь мы стоим такие же голые, какими пришли в мир. Нас лишили средств самозащиты. Наша философия, наши знания — разве они помогут в последний час? Чем я отличался от такого субъекта, как Прейсингер, который не в состоянии понять, что он тоже стоит голый перед лицом судьбы, голый — без богатств, без власти? Смерть, господин Прейсингер, институт демократический. Это чуток даже надисты, торгующие смертью оптом и в розницу. Вот почему они стараются подкупить ее пакетами трупов и воздвигнуть себе памятники из костей и пепла. Тщетно, все тщетно — ничего не поможет!

Вот Лобковиц, — думал Валлерштейн. Бодяга силит на койке, не поднимает головы. — Что вы грустите? Ведь когда-нибудь все равно придется умирать.

— Мне бы хотелось быть таким же пиявком, как вы, доктор. Но я, вероятно, недостаточно полюбил на свете, чтобы отказаться от последней надежды. Мне бы да ваши голы! Чего бы я только не успел сделать!

— Ошибаетесь, друг мой. Человек всегда ждет от завтрашнего дня чего-то особенного, нового. Пете лгал. Миг полного удовлетворения жизнью, к которому приходит его Фауст, никогда не наступает. Хотите верить, хотите нет, но я, Вальтер Валлерштейн, тоже не могу примириться со смертью. Поэтому если вы вдруг услышите ночью, что я плачу, царапаю ногтями стены или рву на себе одежду, знайте: меня сводят с ума те же мысли, что и вас.

— Ну, вот,— сказал Лобкович,— я не доставлю нацистам такого удовольствия. Правда, мне повезло, Рейнгардт потратил на меня всего пять минут. Но я не дал бы этому ничтожеству восторжествовать надо мной ни за что!

— Вот видите насколько вы сильнее меня,— сказал Валлерштейн.— Вы счастливый человек, Лобкович, у вас есть ребенок. Может быть, вашему ребенку когда-нибудь скажут: твой отец не опустил головы перед лицом впитовки. А какой смысл цепляться за устаревшие нормы поведения мне? Кому это нужно?

— Я оставлю письмо своему ребенку! — Лобкович вдруг оживился и вскочил с нар.— Дайте мне бумаги и ваше вечное перо.

— Можете не утруждать себя! Я хотел написать письмо всему миру, но его разрывали лад-ключки. Меня только пощекотали соломинкой, за которую хватается утопающий.

— Он уничтожил вашу рукопись?

Валлерштейн кивнул.

— И подделом. Ведь мы были для вас подопытными кроликами, вы подстрекали нас, наусыживали друг на друга, и ради чего? — ради вашего драгоценного письма к миру. Вы хотели продать нацистам наши души, наши страдания за четвертичную похлебку славы. Вам, очевидно, не пришло в голову, что нацисты интересуются только своей собственной славой. Несчастный Прокош! Несчастливая Мара!

— Стоит ли их жалеть? Завтра все мы будем по ту сторону добра и зла — это единственное благо, которое несет нам предстоящая казнь.

— Болтовня! Болтовня!

— Совершенно верно. Что ж, презирайте меня!

Валлерштейн потер болевшую щеку и вдруг замер. Звон ключей за дверью предвещал какие-то события. Они вскочили с мест, подчиняясь чуждой тюремной привычке.

В камеру вошли Прейсингер и Прокош. Прейсингер чуть не падал от слабости после бесконечного стояния в карцере, он еле добрал до нар и ювелился на них шпичком.

Но в лучшем состоянии был и Прокош. Он уцепился за металлическую раму верхних нар и пробормотал: — Где Яношек?

Догадываясь, какие муки пришлось перенести этим людям, Валлерштейн и Лобкович кинулись к ним, чтобы хоть чем-нибудь облегчить их страдания. Но Прокош продолжал твердить свое: — Где Яношек?

— Мы не знаем... — нерешительно проговорил Валлерштейн. — Когда нас увели вчера вечером, его сейчас же вызвали к Рейнгардту. С тех пор он не возвращался.

— Да, его нет,— подтвердил Лобкович и что-то, словно спохватившись: — А вы знаете, что с ним?

— Я жду самого худшего,— пробормотал Прокош,— самого худшего. — Его руки разжались, он повалился на нижние нары и крикнул, обращаясь к Прейсингеру, который лежал напротив: — Эх!... Такой скотине и названия не подберешь! Я стоял в темном карцере, обливался потом, задыхаясь, себя не помнил от боли и усталости, а мозг все время повторял одна мысль: как его назвать, какое ему имя придумать!

— Что случилось? — спросил Лобкович. — Что он сделал?

— Так ничего и не придумал! Нет такого слова в нашем языке! — продолжал актер, поворачиваясь к Лобковичу. — Вы отняли у меня жену, вы родила от вас ребенка, вы погубили меня — значит, вам известны мои зла. Так вот скажите, как назвать человека, который идет к намому мучительно с допросом на такого же несчастного, как все мы?

— Иуда! — сказал Лобкович.

Прейсингер простонал, не обращая на них внимания: — Воды... воды! — Воды! — передразнил его Прокош. — А вы думали о воде, когда торговались с Рейнгардтом? Да, он торговался, он хотел продать Яношечку по дешевке — за свою собственную шкуру. Заявил, что Глазенапа убил Яношек...

— Это явное безумие, — сказал Вальерштейн, — Рейнгардт, конечно, не поверил?

— Конечно, нет! — задыхаясь от кашля, ответил Прокон. — Он устроил нам очную ставку, и мы изобличали друг друга во вранье.

— Ничего не понимаю! Какое вранье? — спросил Лобковец, волнуясь за Яношека и с трудом сдерживая свое возмущение.

Силы исмелили Прокону, но он все же поднялся и стал рассказывать, упираясь предательством Льва Прейсингера и своим собственным бескорыстием. Прокон рассказал, как он принял на себя вину за убийство Гладеншана, потому что жизнь поперизла для него всякую цену. Как он хотел, чтобы их освободили всех, в том числе и Лобковца, отца ребенка Мары. Как он старался победить сомнения Рейнгардта и твердо стоял на своем. — В конце концов Рейнгардт поверил бы мне! — Как Прейсингер повел их своей чуждой ложью и тем самым дал рейхскомиссару возможность опровергнуть предыдущее показание и обречь на гибель всех заключенных.

Кончив, Прокон бессильно повалился на бок. — Теперь нас ждет смерть, бессмысленная, глупая смерть, — сказал он и заплакал от жалости к самому себе, от злобы и слабости.

Лобковец понимал, что с точки зрения восточного преступника Прейсингера неизмеримо страннее, чем донос на Яношека. Но это последнее его деяние закроет собой все остальное.

Завтра они умрут. Преступлению Прейсингера нельзя оккупить никакими адскими муками. Для расчета с ним осталась одна эта ночь. Может быть легче, если я хоть как-нибудь накажу его, думал Лобковец. Пусть ответит за Яношека, за наше отступление от линии обороны. За все. Сама судьба посылает мне этого человека, который изуродовал и искалечил мою жизнь.

Прейсингер даже сквозь полужабытье чувствовал влечение своих соседей по камере. Когда Лобковец подошел к нему, он ошарашен, как разъяренный пес: — Оставьте меня в покое!

— Я не намерен марать о вас руки. Но бог или кто другой, кому принадлежит этим ведать, поручил мне произвести с вами какие-то расчеты. Вы человек деловой, вам должно быть известно, что старье должно быть платить.

Прейсингер почти ничего не понял из слов Лобковца, приняв его шуткою за шутку.

— Какие расчеты? — с трудом пробормотал он. — У меня ничего не осталось. Все отняли. Я нищий.

Лобковец был не такой человек, чтобы выпалить и через минуту успокоиться. Его ярость разгоралась медленно, но верно.

— Итак, вы оклеветали несчастного, безжалостного Яношека только потому, что ваша собственная жизнь кажется вам гораздо значительнее и полноценнее?

— Я расклинаюсь в этом, — промямлил Прейсингер.

— Выгодная сделка — бросить Яношека на съедение волкам и спасти свою шкуру.

— Я хотел подкупить его.

— Кого?

— Рейнгардта.

— Что за слепота! — воскликнул Лобковец. — Вы потеряли все, а суетесь с подкупом! — Он махнул рукой. — Ничего придумано. Более веских доводов у вас нет?

Прейсингер вдруг понял, что его сулит, и возмутился. — Кто вам дал право...

— Никто — сам взял. Меня тоже завтра расстреляют. Я тоже ничего не боюсь... Ну?

Прейсингер молчал, чувствуя, что в этом мире все перевернулось вверх дном. Надежды, которые до сих пор покровительствовали ему, оказались предателями. Люди, которыми он привык повелевать, вдруг стали его судьями. Это хаос, но он, Прейсингер, к нему непримирим. Ему хотелось закрыть глаза, отдохнуть от всех мук и пусть кто-нибудь ска-

ет ему — пусть это будет его мать: — Не бойся, Лэв, никакой тюрьмы, ни расстрела не будет, выпей чайку, тебе приснился страшный сон. Иди спать.

Неумолимый Лобкович продолжал допрашивать. — Что вы можете выставить в свою защиту?

— Я не хочу умирать! — простонал Префессингер.

Этот короткий подействовал на Лобковича, как красная тряпка на быка. Он готов был ринуться на Префессингера и дать волю своей ярости. Но его остановил звон алочей в коридоре. Заложники застыли на месте. Только марионетки, брошенные кукловодом.

Яношка швырнула в камеру, как груды старого тряпья.

Все забыли о Префессингере, глядя на эту бесформенную окровавленную массу. Префессингер в ужасе поднялся с нар. Он понял, что ответственность за состояние Яношка в какой-то степени должна быть взята на себя он, Префессингер, и взвыл, как старая баба, захлебываясь истерическими слезами.

— Вот она — нечистая совесть! — сказал Валлерштейн и со всего размаха ударил Префессингера по физиономии. Выпал так же внезапно и бесшумно.

Под потолком впахнула лампочка, зажженная из коридора. Яркий свет падал на бледные лица, на изуродованное тело Яношка. В камере стояла мертвая тишина.

Казалось, четверо заложников чего-то ждут.

Сколько измученной жестикуляции в этом Рейнгарде, думал Прокош. Хочет, чтобы мы прогнали за ночь последнего человека с этим существом, которое когда-то было человеком, а теперь потеряло человеческий облик.

Доктор Валлерштейн первый услышал слабое бормотанье. Он опустился на колени и приложил ухо к тому, что было когда-то ртом Яношка. Потом с лихорадочной быстротой сорвал с себя рубашку и стал смывать кровь, залепшуюся у него на лице. — Воды! — крикнул он. — Воды!

Лобкович с отчаянием застучал кулаками в дверь. Через несколько минут в камеру вошел чех с ведром воды. — Перестань позригать! Я приведу воду, хоть это и не получается, — сказал он и вышел, так и не взглянув на Яношка.

— Дайте кто-нибудь рубашку! — скомандовал Валлерштейн, швырнув его в угол.

Прокош опередил остальных. — Только очень грязная, — извиняясь, — тем тоном пробормотал он.

Ловкие руки Валлерштейна быстро делали свое дело.

— Теперь давайте положим его, — сказал он. Взяли они осторожно Яношка с пола и опустили его на нар. Вместо подушки под голову ему подложили два свернутых пиджака. — Осторожнее! Осторожнее! — говорит Валлерштейн. — Сильная сыпучая рана. Нужно бы резиновый матрас в воду...

— Резиновый матрас! — иронически скривив губы, сказал Лобкович. — Вы так говорите, только у нас нет времени искать его.

Валлерштейн вытер ладони о брюки. — Он еще противит немцам? — спросил Лобкович. — Сильнейший, сильный, сильнее палача. Жестоко и по-прежнему сопротивляется. Неистово сопротивляется ему жизнь, даже в последние моменты. Будет жить! и умрет вместе с вами.

А он отвечает? — спросил Прокош.

Валлерштейн покачал головой. — Хорошо, если бы он отвечал. Будь он из мифов, я бы перекачал его в забытые боги.

Он сид рядом с Яношкой, переминал его плечи. Тихо и грустно говорил. Слышным продолжал бороться. — И вдруг вдруг он вскрикнул: — Валлерштейн, возьми у него с рукой! Все пальцы сжались!

Лобкович Яношка перевернул набок. Он с изумлением и страхом приоткрыл глаза. Валлерштейн несомненно и снова зажмурился.

Они ушли, — сказал Лобкович.

Валлерштейн кивнул: — Ничего, Яношек, — сказал он. — Споро вам будет лучше.

Подняв здоровую руку, Яношек поманил Валлерштейна к себе. Тот нагнулся над ним. Яношек силился сказать что-то.

— Что? — спросил врач. Он не верил собственным ушам. Яношек повторил, с трудом выговаривая каждое слово. — В жизни... лучше... себя не чувствовал...

Лобкович захохотал, трясясь всем телом, на глазах у него выступили слезы. — Мерзавцы! Сукины дети! — проговорил он сквозь взрывы истерического смеха и, повернувшись к Прейсштергу, схватил его за плечо и с яростью оттолкнул от себя. Прейсштерг даже не пыкнул. Он встал с места и, дрожа от страха, забился в угол.

— Лобкович! — шепнул Яношек.

Тот в два шага очутился рядом с ним.

— Я молчал, — прохрипел Яношек. — Ни слова... от меня... не добились... — Он перевел дух. — Стены... падают... Вот увидите!..

Что это было — бред? Может быть, он начинал заговаривать себя? — Да, — сказал Лобкович. — Конечно. Так оно и будет.

На самом же деле мозг Яношека работал с обостренной точностью. В часы пыток в нем жили две мысли: «Молчи!» и «Баржи сплотиением должны взлететь на воздух!» Он цеплялся за них, как цепляются за единственную точку опоры, и ему казалось, что успех дела зависит только от него, от его мужества и стойкости.

Для Лобковича и остальных слова Яношека прозвучали пророчески. Боль и страдание вызывают к себе благоговейное чувство. Ты пострадал за свое дело, значит, оно стоит того. В противном случае разве ты поднимал бы такую тяжкую ношу?

И вот на ослабевшие от пыток плечи Яношека легли мантия председателя. Боль, обжигающая все его тело, и мысль о наряде барж не позволили ему заметить это сразу. Но вскоре он почувствовал в них взгляд не только сострадание и понял, как нужно сказать этим людям что-то важное, значительное.

Медленно собравшись с мыслями, Яношек пожалел, что ему нельзя открыть своей тайны. Какой жестокой должна казаться смерть Лобковичу, Прокошу и Валлерштейну — людям, которым, несмотря на свое внешнее превосходство, не могут увидеть будущее таким, каким видит его он, Яношек, — светлым, стоящим того, чтобы за него умереть; людям, которые не могут даже расквитаться с нацистами.

Надо передать им свои силы, приобщить их к своей надежде. Разве он не обязан приподнять уголок завесы, скрывающей от этих людей тысячи и тысячи их близких, которые, несмотря ни на что, все же одолеют мрак и смерть?

Бунтарь Лобкович, честолюбивый Прокош, не видящий ничего, кроме своей науки Валлерштейн тоже за что-то борются. Почему же они должны умереть одиночными?

Бедра моя в том, думал Яношек, что мысли у меня неплохие, а выразить их словами я не могу.

— Слыхали когда-нибудь про Владислава Ванчуру? — спросил он, с трудом шевеля распухшими губами.

— Нет, — ответил Лобкович.

— Вам нельзя говорить, — Валлерштейн положил ему на лоб компресс, сделанный из рукава рубашки Прокоша. — Нельзя напрягаться.

— Ванчурку с Вышеградской улицы, — настойчиво продолжал Яношек. — сапожника?

— Пусть говорит, — сказал Прокош, — он любит рассказывать.

— Этот Ванчурка возглавлял общество хорошего пения, был знаменцем местной сокольской организации, барабанщиком добровольческой пожарской дружины — словом, без него нигде не обходилось. А жене это было не по вутру...

Яношек передохнул. Лобкович, Прокош и Валлерштейн с болью смотрели на него, зная, что недолго ему осталось рассказывать свои басни.

— Дома он почти никогда не бывал...

— Да,— сказал Лобкович,— женщины этого не любят.

— Где форма и оркестр, там и Ванчур...— Яношека одолевала сонливость. Но он заставлял себя продолжать. Владислав Ванчур, о котором Яношек ни разу не вспоминал за эти годы. Ванчур, который, вероятно, давно умер, снова должен был выполнить свой долг.

— В тысячу девятьсот восемнадцатом году отправится он как-то в заказчику. Идет по улице медленно, потягивает по сторонам, раскланивается со знакомыми: здравствуйте, да как поживаете, да, какая сегодня хорошая погода...

— Замечательный был человек этот ваш Ванчур,— сказал Прокоп.

Яношек замолчал. Он заметно слабел и с трудом боролся с болью.— Замечательный? И да и нет. Самый обыкновенный, вроде меня. Простой сапожник.

Снова наступило молчание. Проппингер вылез из своего угла и пошел к ним.— Убирайтесь отсюда!— сказал Лобкович. Тот съехался и покорно отступил.

Яношек замолчал. Он заметно слабел и с трудом боролся с болью.— Тут впереди знамя и стараются шагать в ногу. И личного у них не выходит.

Он перешел на шепот: — Ванчур увидит это и закричит: «Эй, вы, увальни! Разве так маршируют?» А из рядов ему отвечают — кто-то из знакомых попался: «Ванчур, пойдем с нами! Пощипать нас маршировать и флаг понесешь».

Яношек перебил свой рассказ коротким смешком, но смеяться ему было больно. Он видел, как стирек Ванчур, высокий, поджарый, примывает к рядам, берет в руки древко флага, выпячивает грудь...

— Отправился, конечно, с ними. Показал только, что сокольской формы не надел или хотя бы пожарной каски...

Валлерштейн смочил ему губы водой.

— И затянул песню. Сначала «Родину», потом «Рождество бывает раз в году», «Блондинки и брюнетки» — одну за другой, все, какие знал. И скоро наладил дело. Демонстрация растет с минуты на минуту. Он оглянулся назад, видит, ей конца краю нет.

Яношек открыл один глаз и посмотрел на Лобковица.— Шагает гордый, а куда столько народу идет, это ему ведомо, и спрашивать уже поздно. Ведь он вел их за собой.

Лобкович кивнул: — И флаг нес.

— Пришли в центр Праги, а там полно жандармов и солдат с пулеметами. Ванчур удивился: что им тут надо? Только мешают маршировать его колонне. Жандармы и солдаты думали, что он увидит пулеметы и остановится. Да не тут-то было!

Яношек замолчал, пытаясь одолеть барьер боли. И ему удалось это не хуже, чем Ванчуре.

— Он знал только одно: за ним идут люди, и если сейчас остановиться, все ряды смываются и получится затор — ни назад, ни вперед не двинешься... Тогда он взял и крикнул: «Прочь с дороги! Вы разве не видите, что народ идет? Я сапожник Ванчур. И залет «Татры», поднее ноги сами идут.

Валлерштейн дотронулся до виска Яношека. Пульс был учащенный.

— Потом доскажете,— попробовал он остановить его.

— Офицеры начали стрелять, а солдаты поняли, что раз Ванчур несет флаг и ведет за собой столько народу, значит, останавливаться ему нельзя. Поэтому стрелять они не стали, кое-кто из них даже примкнул к демонстрации... В тот день правительство пало.

— А что случилось с Ванчурой? — спросил Валлерштейн.

Яношек ответил не сразу. Ох уж этот доктор Валлерштейн! Ему все тяжело!

— Что случилось с Ванчурой? Он увидел, что люди маршировать устали и передали флаг другому. Встретил своего приятеля, у которого сапожные гвозди покупал, и пошел с ним в кабачок выпить пива.

съесть пяток сосисок... Ведь от маршировки аппетит здорово разгryвается.

Лампочка под потолком потухла.

Лобковниц спросил в темноте: — А какой смысл этой историй?

Яношек не ответил.

Лобковниц продолжал: — Вы хотите сказать, что кто бы мы ни были — сапожники, врачи, актеры, уборщики — и что бы мы ни делали, никто из нас не может предвидеть, какие огромные последствия будут иметь наши поступки. Значит, важно только одно: идти вперед, не останавливаясь? Правильно ли вас понял?

Прокот ворчливо сказал: — Каждый волен толковать по-своему.

Но через минуту Яношек снова зашептал: — Завтра, когда нас расстреляют, может быть, какой-нибудь Вальчур услышит звуки выстрелов. Такие выстрелы рождают громкое эхо.

Первое напряжение рейхскомиссара Рейнгардта достигло такой силы, что опасность и трудности чудились ему даже там, где их не было. Он не мог дождаться той минуты, когда взвонный крикнет: «Огонь!», и пули прекратят дело Глазенанна. Это муками дурные предчувствия.

Подводя итоги следствию, Рейнгардт должен был признать, что и сейчас, накануне казни, он знает столько же, сколько в самом начале, когда было решено выдать Глазенанна по его самоубийству, а за жертву гнусного преступления. Из Милады и Яношки ничего не удалось выжать. Куда ни повернешься, всюду глухая стена, за которой, словно на вальсарском пиру, горят слова: «Mene tekel».

Теперь он начинал понимать жалобы своих коллег на чудное стечение, ярость, которые навалились на них в этой борьбе с темным. Да, раньше он смеялся над ними, уверял, что все это вздор, что ему, Рейнгардту, ничего не стоило бы разобраться в любом личном деле и развести врагов в пух и прах.

А что получилось теперь?

Он вызвал Миладу не потому, что собирался снова заточить ее. Материала для дальнейшего допроса у него не было. Ни расквитавшийся Вальтерштейн, ни разговор с Лобковником и с другими пятнадцатью заочниками, ни показания, которым подвергли Яношку, не дали ничего нового. Но Рейнгардт чувствовал потребность продемонстрировать на ком-нибудь свою силу и власть. Поэтому, когда Милада вошла к нему в кабинет, он встретил ее надменно, почти грубо. Он установил за дверку, словно желая уничтожить ее холодным, безжалостным взглядом.

— Вот посмотрите, — начал Рейнгардт, бросив на стол какую-то фотографию. Милада с недоумением взяла ее в руки. — Это все, что осталось от Кратохвила! — прочувствованным голосом сказал рейхскомиссар.

Теперь Милада разглядела фотографию. Какая мерзость! Она положила ее обратно на стол, как можно дальше от себя.

— Вы вздрогнули! — сказал Рейнгардт. Его расклонило грудой металла. И вы ответите за это. Вы и те, остальные, которых я еще наведу на свет божий.

— Вы считаете нас жестокими. Это неверно. Жестока и бессмысленна война. Но почему она ведется? Немцы единственный народ, обладающий широкой компетенцией переустройства мира. Его экономическое, политическое и духовное единство будет осуществлено поколениями физически и психически совершенных германских воинов, которых мирянин ведет за собой гонимый жалкого фюрера.

— Эта война началась только потому, что и вы и ям подобные отказались признать разумные основы старого порядка, который мы хотим установить.

— Ваше дело проиграно, поэтому вы с таким отчаянием сопротивляетесь нам. Ваше оружие сломлено, методы, которыми вы пользуетесь,

вероятно недопустимы. Мы принимаем брошенный нам вызов. Не бегите!

Рейнгардт замолчал, мучимый собственным красноречием. Миладда слушала его с совершенно безучастным видом. Подыскивая, чем бы укрепить свои доводы, он начал: — Превосходство юридической власти.

Миладда перебила его: — Вы ошибаетесь. Я вовсе не издроннула. Меня уже ничем не удивили. С той самой минутой, как вы вошли в мой дом, я поняла, что это конец. Вам ничего не спонт заставить меня замолчать, ведь револьвер при вас.

— Продолжайте, продолжайте, — сказал он, криво усмехнувшись. — Поскольку вы отдаете себе отчет в вашем положении, я с удовольствием слушаю этот мыслительный шквал.

— На вашей стороне оружие и такие сторожа, как Кратохвил. Да вы сами такой же Кратохвил, только большего масштаба.

— Но вам не следует забывать, кому вы противопоставите свой войско. Люди. Мы люди! Правда, сил у нас мало, и вам не трудно было справиться с нами, ведь мы предпочитали жить мирно, любить, пить, работать и не замыслили войны. Но вот эту мирную жизнь наш народ не будет защищать.

— Чем? — спросил он.

— Ваши замыслы настолько фантастичны, что они по сразу входят в сознание людей. Нам они тоже показались сначала невероятными. А теперь мы раскусили их, теперь борьба против вас разгорается во всем мире. Скоро вы сами в этом убедитесь. Вы говорите, что являю лавину, вы, — отчасти это верно. Когда крестьянин, проснувшись среди ночи, видит, что воры уводят его скот и поджигают амбар, он спешит к ним. Вы сулите нам мир, такой мир, при котором этого крестьянина на следующее же утро заставит отдать ворами землю да и самому пойти к ним в кабалу среди голодных ребят. Такой мир для нас не приемлем.

Миладда смутилась и замолчала. Откуда такая сметность? Почему она вдруг разговорилась перед этим созданием? Что увлекало ее? Откуда взялось все эти слова?

Такие мысли рождались у нее в голове и раньше. Но она никогда не приводила их в систему, никогда не пыталась придать им форму, чтобы противопоставить силе и лозунгам захватчиков.

Теперь слова вылились сами собой, потому что она была обречена на гибель, потому что каждая ее фраза могла быть последней. И в то же время Миладда чувствовала, как нелепо изливать свою душу перед этим человеком, неспособным понять ее. Рейнгардт вынесет из всего этого только одно: она признала себя его врагом, и поступит с ней соответственно.

Изложив Миладде план будущего мира, управляемого из имперской канцелярии на Вильгельмштрассе, рейхскомиссар несколько устал.

Ему не удалось поразить эту девушку, зато она произвела на него сильное впечатление. Ему хотелось иметь дело с бессловесными жертвами и примешить к ним обычные меры воздействия.

Рейнгардт остался и направился к Миладде. Она невольно подавилась назад, испугавшись его взгляда.

— Хорошо, что мы понимаем друг друга, — сказал Рейнгардт. — Я конечно, обязан по долгу службы расправиться с вами, потому что вы принадлежите к самому опасному сорту людей — к индустристам. Но так как когда-то я это сделаю, выйдете окончательно от меня. И здесь слово за вами, Миладда. Мы могли бы заработать нечто вроде прекарианта, причем я готов начать с малого: скажем, ценой привлекательной улыбки вы можете купить себе час жизни. Всякая искренняя попытка одарить нас благосклонностью зачтется вам за день, а полное удовлетворение двух желаний за три дня.

Он достал из кармана блокнот и карандаш, и протянул ей: — Вы сами будете вести расчеты. Я доверю вам.

Она мотнула головой.

— Не хотите? А, понимаю, такие мелочи не достойны вашего внимания?

Милада отступала все дальше и дальше, но это не смущало его. Он старался сохранить прежнее расстояние между ними и собой.

— Я распоряжусь, чтобы вас хорошо кормили. Велю поставить вам удобную кровать. — мне не хочется, чтобы ваше прекрасное тело покрывалось синяками, ведь тюремные койки жестки. Надеюсь, вы оцените мою заботливость.

Глаза Милады расширились от ужаса.

— Стойте на месте! — вдруг крикнул Рейнгардт.

Этот крик помог Миладе освободиться от почти гипнотического оцепенения.

Она видела его со страшной ясностью, как видит наука муху, запутавшуюся в паутине.

Дальше была стена — отступить ей куда. Милада толкнула его, но он не сдвинулся с места. А потом длинные руки Рейнгардта протянулись к ней и стиснули ее словно железным кольцом. Она пыталась вырваться из этих объятий и ничего не могла сделать.

У нее закружилась голова, колени подогнулись. Если б Рейнгардт не подхватил ее, она рухнула бы на пол.

Она потеряла сознание.

Рейхскомиссар поднялся с дивана, взял паширосу и, закутив, сделал глубокую затяжку.

Милада медленно приходила в себя. Рейнгардт пошел в кабинет за бутылкой и стаканами, стоявшими на письменном столе. Когда он вернулся, Милада лежала, открыв глаза, ее обнаженное тело было прикрыто рубашкой.

Он вынул оба стакана и протянул один ей.

Она покачала головой.

— Пейте.

Тогда Милада взяла стакан и с жадностью осушила его. Вскрикнуло ее, придало ей сил. — Я хочу одеться, — сказала она. — Пожалуйста, уйдите отсюда.

Рейнгардт засмеялся, покачал плечами, и, отнеся ей поклон, ушел в кабинет. Милада улынулась, как он включил радио. Через несколько минут раздались звуки торжественного военного вальса. Рейнгардт громко подпевал мелодию.

Милада ни о чем не думала и не хотела думать. Что ей осталось в жизни, кроме чувства гадливости и унижения? Навес, Бреда, свет презренных детей, прежние надежды — все это ушло куда-то далеко, далеко.

Она осталась одна — одна, как перст. Помогать с собой... пронеслось у нее в мозгу.

— Скоро? — спросил Рейнгардт из кабинета. Она молчала.

— Хотите паширосу? — он остановился в дверях и сморил ее взглядом с головы до ног. — Надо достать вам новое платье. Какой цвет вы предпочитаете?

Резкий рывок кончился. Заговорил доктор. Потом послышался звук Гогенфридбергского марша. За ним должна была последовать перемарше известный.

— Хотите послушать? — галантно спросился Рейнгардт.

— Чем спрашивать? — с горечью сказала Милада. — Ведь все равно вы делаете так, как вам хочется.

— Правильно! — захохотал Рейнгардт. — Но почему не быть любезным. Мне не трудно...

И тут произошло чудо. Всею комнату заполнил голос Бреды — он словно сам был здесь. Сильный, теплый, полный страсти голос. Он говорил четко, ясно:

«Граждане Праги! Завтра будут расстреляны двадцать заложников за убийство одного нациста, некого Глазенапа. Этого человека никто не убивал. Он покончил с собой».

Рейнгардт побелел, сразу потеряв самообладание. Он кинулся к столу, схватил телефонную трубку, назвал не тот номер, закричал, изругался.

«У гестапо нет даже мотива мести за убитого. Вапша сограждане жертвы подлого обмана и чудовищного произвола завоевателей».

Милада пошла за ним. Она остановилась в дверях кабинета и торжествующе засмеялась. Рейхскомиссар продолжал яростно кричать в трубку.

«Нет больше иллюзии закона, хотя бы даже нацистского. Нет больше безопасности, как бы вы ни рвали головы. Вапша жизнь и жизнь ваших близких находится во власти беспринципных, озверевших убийц».

Милада ликовала. Пусть ее тело поругано, сердце ее поет, смеется над растерянностью Рейнгардта, который волей-неволей слушал, не зная, как заглушить этот голос.

«Они убивают ради того, чтобы убивать, мучают, чтобы мучить. Их злоба топчет вас, без разбора, как град колосья».

Эти слова были обращены ко всем, но голос Бреды звучал только для нее. В час горчайшего унижения она была отомщена. — Любимый! — шепло ее сердце, — я здесь. Я с тобой!

«Мы должны восстать против них. Мы должны портить работу, которой от нас требуют, пускать под откос поезды, поджигать и взрывать их склады, их транспортные средства, их жилища».

— Прекратить это! — рычал Рейнгардт в телефон. — Немедленно прекратить!

— Не удастся! — крикнула Милада. — Нас много. Мы здесь, и там, мы повсюду!

«Давите их, как они давят нас! Уничтожайте их, как они уничтожают нас! Душите их, как они душат нас! Убивайте их, как они убивают нас!»

Рейнгардт стучал кулаком по столу. Глаза лезли у него на лоб, он заикался, путался в словах.

Потом в репродукторе что-то щелкнуло. Чей-то прерывистый, дрожащий голос приносил извинения. Досадный случай. Русские... Не та женщина...

Рейнгардт с яростью выключил радио.

Он отдавал себе отчет в том, что произошло. Протавник нанес удар. Его тайна, так тщательно охраняемая, обнародована. Теперь ее знают шпионы. Знают все.

Его хитрые планы, его работа — все пошло прахом! Он станет помехой всей Праге, всей Европе.

Рейхскомиссар положил руки на стол и уткнулся в них лицом. Гейдрих — пронеслось у него в голове, и он похолодел от страха. Ему много рассказывали о протекторе. Этот человек не знает жалости.

Он услышал чей-то смех.

Смейтесь! Теперь все будут смеяться!

Он поднял голову и увидел Миладу.

— Это вы? — Рейнгардт забыл, что, кроме него, в кабинете кто-то есть.

Он сразу выпрямился и, растянув губы в привычной улыбке, сказал:

— Да, досадный случай. Не хотел бы я сейчас быть на месте этих остов на радио.

— Теперь, если вы не забыли о своем любезном предложении, — сказала Милада, — угостите меня папиросой.

Он открыл портсигар и потянулся к ней. — Сигарку?

— Благодарю вас.

Она закурила. Рейнгардт следил за потечками папиросного дыма. Ему хотелось сейчас одного: добить эту женщину, доказать ей, что она все еще прежний веселый Гельмут Рейнгардт.

— Мир кажется, вы обольщаете себя какими-то ложными надеждами, — начал он. — Этот радиосортель ничего не меняет. Заложники будут расстреляны. Важны не слова, а действия. Если я приглашу вас полюбоваться казнью, надеюсь, это не испортит вам настроения?

Папироса вышла у нее из рук.

Рейнгардт нагнулся и поднял ее. — Жалко портить такие прекрасные кофры. Их прежние хозяева были, видимо, люди со вкусом... Итак, а настаиваю на своем приглашении.

Она опустила голову. Он снова взял ее за шею.

Парк при дворце Петушков, где помещалось государство, не был приспособлен для государственных дел. Прежние его обитатели устраивали здесь летом роскошные приемы, а в другие времена этот парк служил местом прогулки для собак и стоянкой для автомобилей и карет. При советском режиме деревья в парке были вырублены, и на образовавшемся широком плацу эсэсовские и венские части проходили строевые тренировки.

Из основного корпуса дворца вела на плац массивная дверь. Одна нижнего этажа противотанковой двери были пасторы заложены кирпичом, красневшим на серой облицовке фасада, словно кровь.

Сейчас эта дверь открылась. Первыми на плац вышли два эсэсовца в черных мундирах, за ними по отдельке появились венгеро-застенщиков — каждый под конвоем.

Впереди, втянув голову в плечи, шел доктор Валтерштейн. Он волочил ноги, отвыкнув ходить после долгого сиденья в кресле, где через каждые два-три шага человек пытается на ступицу.

Валтерштейн посмотрел на ярко-синий безоблачный квадрат неба над плацем и пошел плечами, сжимая от упрямства холода.

За ним величественно выступал Прокопи. Актер вспоминал свои выходы в роли Отелло победителя, сильного своей красивой человека, не ведающего о коварстве замысле, жертвой которого ему было сказано Конвойные казались маленькими по сравнению с Прокопием. Величественностью осанки он старался побороть страх, холодной рукой сжимавший ему сердце. Прокопи думал о Маре — о той Маре, которая подошла к царственному Эдишу и бросила свою жизнь к его ногам, словно плащ. Он поднял руку, благословляя небо, землю и жизнь, и испуганно вздрогнул, когда конвойный зарычал на него: — Это еще что такое!

Лобковин, который шел за Прокопием, тоже думал о Маре. Он видел ее такой, какой она была на вокзале перед его отъездом на фронт. Эта Мара — смысл всей его жизни — приваливала ему голову. Черные шини конвойных говорили о том, что этой жизни причастен конец. И, как это ни странно, Лобковин был доволен ею. Он забывал чувства отрешенности и, словно тень после бурного шара, готов был сказать: — Благодарю вас. Больше мне ничего не надо.

Японск с трудом переносила шаг, стараясь подвинуть невольные стопы. Он то сердился на свою судьбу, то умолял ее исполнить последнее его желание, ради которого ему пришлось вытерпеть такие муки... Пусть это случится до того, как пуля прервет его скроменную жизнь. Ведь

никогда ничего не просил, не требовал никаких наград, никаких возмездий.

Яношек держал здоровой рукой искалеченную правую, его растухшие губы шевелились, словно безмолвно умоляли о чем-то. Он наклонил голову набок, стараясь не пропустить ни единого звука, который мог бы прийти из внешнего мира. Осталось так мало времени. Грохот взрыва может не достичь его слуха.

Заложники почти порывались к застывшей линии взвода.

И вдруг Яношек чуть не рассмеялся. Он вспомнил одного пахтера из Кладно, Франту Хорака, который как-то жаловался ему на свою горькую судьбину. Обидно, что сейчас уже никому не расскажешь, как Франта Хорак свалился пьяный в канаву и проспал в ней двое суток подряд. Как за это время на его пахте произошел обвал. Как Хорак пролежал, побрел домой, а дома пусто, на столе лежит записка: все ушло в церковь на заупокойную службу по нему, по Франту Хораку. Он бегал в церковь — послушать, что пастор будет о нем говорить, посмотреть, много ли свечей поставлено за упокой его души. Прибежал, а служба уже кончилась, все выходит на улицу. Вот где повезло человеку! На собственные похороны и то опоздал!

Яношек улыбнулся, забыв на секунду о лысом прузике — раздобыл он адрес Вацлика, успела ли их группа передать динамит на баржи?

Застывшая линия взвода размянулась, пропуская заложников и конвойных.

Вальтерштейн первый увидел кирпичную кладку, испаряющую парами. У стены стояла лужа свежей крови. Он остановился и закрыл глаза, пытаясь вычеркнуть из сознания это зрелище. Но оно не уходило. Вытравить его можно было только одним способом — убить мозг, в котором оно запечатлелось.

Прейсингеру, идущему последним, потребовалось несколько секунд, чтобы понять значение этой стены и крови у ее подножия. Коленки у него подогнулись... И вдруг он с силой оттолкнул конвойных и понесся во двор, крича страшным нечеловеческим голосом: — Нет, нет! Это ошибка! Я Лев Прейсингер!

В последовавшей за этим суматохе полную неподвижность сохранили только четверо заложников и стоявший навтыжку взвод. Они образовали букву Т — солдаты ее горизонтальную линию, заложники — вертикальную.

Эсэсовцы кинулись за Прейсингером, стараясь скорее перехватить его. Прейсингер метался из стороны в сторону, пробиваясь сквозь смыкающийся круг преследователей. Лицо у него было багровое, волосы стояли дыбом, он кричал так, что было слышно по всему двору.

Это было и смешное и трагическое зрелище. Солдаты с горящими от возбуждения глазами охотились на огромного лучного зверя. Наконец, один из конвойных поднял револьвер, прицелился и выстрелил Прейсингеру в колено. Тот упал ничком и отчаянно забил руками и здоровой ногой, кусая и царапая землю. Чтобы поднять и удержать его, понадобилось четверо конвойных. Они отнесли его на место и поставили на колени лицом к стене, так как стоять он не мог.

Потом туда же потащили и остальных заложников. Яношек, наклонив голову, все еще прислушивался. Он видел перед собой только мощный взадат жука... В щелях между плитами набивалась пыль. Крошечный блестящий жучок торопился куда-то, а потом раступил крылышки и летел.

Рейнгардт ввел Милану в скупо обставленную комнату, из окон которой открывался хороший вид на пляж и серую стену с кирпичной кладкой. Единственным украшением этой комнаты, где, вероятно, работали младшие чины гестапо, служила аляповатая репродукция с портрета Гитлера в образе средневекового странствующего рыцаря в блистающих латах. В одной руке сей рыпаль держал сверкающий меч:

ядовито-желтое солнце вставало у него за спиной, бросая отблески на его напояженную голову.

Рейнгардт со своей пленницей были здесь одни — рабочий день гестаповцев еще не начинался.

Как истый лакомка, который приберегает самую вкусную конфету к концу, Рейнгардт распорядился, чтобы группа Яношека была расстреляна последней.

Взвод делал свое дело с точностью механизма. Капитан Паттер трижды поднимал саблю и четким, хорошо поставленным голосом командовал: «Смирно!» — Солдаты вытягивались. — «Цель!» — Солдаты поднимали винтовки. — «Огонь!»

Звук выстрелов трижды оглашал двор, отдаваясь эхом от стен дворца.

Заложники — партиями по пять человек — трижды падали наземь, и их тела отскакивали от стены, волоча по пыли и грязи лицом вниз.

Наблюдая за всем этим, Рейнгардт молчал, как камешный. С плапы, торчащей у него в углу рта, парочка спидея испел, и только это говорило о том, что он живой человек, а не статуя.

Милада, стоявшая рядом с ним, не могла отвести глаз от того, что происходило во дворе. Залпы, словно сотрясали все ее тело; побелевшие губы казались мертвенными на бескровном лице; она впибалась ногтями в ладони.

Когда последняя группа заложников во главе с Валлерштейном вышла на плац, Милада повернулась к рейхскомиссару и сказала беззвучным голосом: — Я больше не могу.

Рейнгардт продолжал молчать.

Она отошла от него и села на стул, стараясь остановить взгляд на чем-нибудь... на чем-нибудь другом, лишь бы не видеть этой страшной стены, похожей на тир с падающими фигурками мишеней.

— Идите сюда! — скомандовал Рейнгардт, не повышая голоса.

Она покачала головой.

— Я хочу показать вам Яношека, — сказал он. — Нередкость упорный старик. Попрошу вас полюбоваться, как его упорство будет сломлено раз и навсегда.

Милада не могла оставить без внимания это имя. Она услышала слова Бреды: «Из всех, кого я знаю, самый бесстрашный человек — Яношек...»

Чувство огромной усталости и грусти схватило Миладу. Она встала, покрывая выдвинутой на ее долю миссии. — Быть свидетельницей последних минут жизни и смерти бесстрашного Яношека.

— Иду, — сказала она и, с трудом передвигая, словно налитые свинцом, ноги, подошла к окну.

И как раз в эту минуту Прейсшгер вырвался из рук конвоиров. Сверху, из окна, его отчаянная попытка спастись казалась особенно трагической и бессмысленной.

Рейнгардт пришел в восторг, глядя на прыжки и метания Прейсшгера.

— Посмотрите! Нет, вы только посмотрите! — кричал он, воля пальцем за кидющейся из стороны в сторону жертвой. — Этот Прейсшгер, милочка, один из самых могущественных людей в Чехии. Смотрите, как мы весело охотимся на них, ловим их и уничтожаем. Сегодня в Европе нет никого сильнее нас; завтра...

— Который Яношек? — перебила его Милада.

— Вон тот, — сказал он, — слегка изукрашенный.

Яношек следил за погоней. Милада могла разглядеть лишь общие контуры его обезображенного побоями лица. Она видела, как Яношек поддерживал левой рукой изуродованную правую, видела, что куртка у него вся в кровавых пятнах, что на месте глаза и рта у него черные вмятины.

Потом Прейсшгера схватили и понесли. Яношек повернулся и

припада на одну ногу, занял свое место у стены, где ему было суждено встретить смерть.

Нельзя плакать, уговаривала себя Милада, я не буду плакать. Надо видеть все до конца. Так мне велено судьбой. Это мой долг, в нем смысл моей жизни.

Рейнгардт бросил на пол папиросу и застегнулся на все пуговицы. Его лоб и нос покрылись капельками пота.

Капитан Патцер, весь красный от сознания важности возложенной на него миссии, встал на левом фланге взвода и отставил ногу, чтобы сохранить равновесие при взмахе саблей.

Клинок блеснул на солнце. — Смирно! Целься! — Двенадцать солдат, как один, сделали шаг вперед.

И вдруг чей-то хриплый голос крикнул:

— Правда победит!

С такими словами несколько веков назад умер борец за свободу Вихи Ян Гус.

— Огонь! — отстрелил на них Патцер.

Залп.

С такими словами в октябре 1941 года умер Яношек, скромный сын своего народа.

Треск выстрелов пробудил могучее эхо. Где-то у реки раздавался глушительный грохот. Квадрат синего неба над плащом поросекли пышки желтого пламени. Потом все затихло дымом. Врыв следовал за взрывом, потрясая дворец до самого основания.

Среди офицеров, солдат и конвойных началась паника. Спотыкаясь, толкая друг друга, крича, они бросались ко дворцу, ища в чем защиты от разбушевавшихся стихий. Где-то ядали зенитки открыли огонь по недвижному врагу. Завыли сирены. Пожарные машины с грохотом покатились по улицам.

Лишь одни заложники остались недвижимы. Они лежали в разных позах. Лобковиц сжимал в руке комочек земли. Валлерштейн покоеся на боку, чуть растянув губы в улыбке. Руки Прокоша были сплетены отнюдь неэффектно. Прейснгер вытянулся на спине и лица его не было видно из-за опромного живота.

Яношек лежал, наклонив голову набок, словно он и мертвый прислушивался к тому грохоту с реки, который для него пришел слишком поздно.

Рейнгардт валялся в пустой комнате на полу. Он обхватил руками голову, пытаясь защитить самую драгоценную часть своего тела от бомб, града камней, словом от всего того, что небеса низвергали на землю с единственной целью — погубить рейхскомиссара.

Милада стояла замороженная злобещей красотой этой катастрофы. Она распахнула окно настежь и всей грудью вдыхала терпкий воздух. Она плакала и смеялась, смеялась и плакала. Ее губы бормотали неясные слова. Кто-то сильный, более сильный, чем этот человек в черном мундире, валившийся на полу, более сильный, чем все те, кого этот черный мундир протесняла, сказал свое воле слово. И на ее долю выпало счастье услышать переключку между дробным звуком выстрелов и громовым раскатом, раздавшимся у реки.

— Слушайте, вы! Рейхскомиссар! — Она старалась перекрыть ведущие один за другим взрывы. — Где же ваша сила? Где ваше величие? Заложники расстреляны. Но люди, которые убили их, спрятались в углах. Они боятся встречи с миллионами Яношек, несомнящихся в них. А ведь это только первый легкий толчок. Настанет время, когда земля разверзнется у нас под ногами и вы исчезнете без следа.

Рейхскомиссар был слишком занят собой, чтобы прислушиваться в ее слова.

Наконец, взрывы прекратились, по коридорам забегали люди, затрещали телефоны, послышались громкие голоса. Рейхскомиссар неуклюже

встал с пола и улынулся глупой, виноватой улыбкой. Он страшно улыб с брюк, поднял фуражку и спросил:

— Что вы сказали, милочка?

Ответа не последовало. Он ошалело поемотрел по сторонам. Милада охриплась.

Рейнгардта пришлось окликнуть несколько раз, прежде чем он рас-
спинал свое имя. Навстречу ему по лестнице бежал адъютант.

— Рейхскомиссар Рейнгардт! — шагнув к нему, — Сколько при-
кажете вас ждать?

— Простите, — сказал Рейнгардт. — Этот взрыв... — Ему пришлось чуть
не бежать за адъютантом. Потом дверь кабинета Гейдриха распахнулась,
и рейхскомиссара пропустили к протектору.

Как и в тот раз Гейдрих стоял у окна, но сегодня он сразу повер-
нулся к Рейнгардту и сказал:

— У меня здесь лежат два документа. На одном из них требуется
ваша подпись — это рапорт об отставке. Другой документ — приказ о
направлении в дивизию СС «Германия», находящуюся сейчас на вос-
точном фронте.

— Подпишитесь вот здесь.

Гейдрих вынул листок из стола. Рейнгардт боковым взглядом взял его и
прочел следующее:

«Не справившись с порученной мне задачей по охране интересов
Германии и фюрера в Праге...»

Руки Рейнгардта похолодели. Листок выскользнул у него из паль-
цев и, порхая, опустился на пол.

Гейдрих снова подошел к окну. Он думал о Гиммлере в Берлине и
о самом фюрере, который в принципе бешенства может сделать с чело-
веком все, что угодно. Надо найти козла отпущения. И протектор решил,
что лучшим кандидатом на эту роль будет самолюбивый карьерист
Рейнгардт.

Переброска на фронт. Эта мысль сверлила рейхскомиссару мозг, он
ни мог думать ни о чем другом. Все остальное — задолбали. Глазенап,
Милада, диверсия на радио, взрыв — вылетело у него из головы. Сейчас
важно было только одно: ему, Рейнгардту, человеку не первой молодости
и не такому уже храброму воюке, придется оставить свой кабинет, при-
дется выйти навстречу этим мудовицам — танкам. Танки страшны. Они
безошибочно выбирают цель и лезут на тебя своей смертельной тяжестью, вы-
ставив вперед дула пулеметов, жерла пушек. Танки всюду, куда ни
повернешься...

— За что? — в отчаянии крикнул Рейнгардт. — Я служил верой и
правдой. Я делал все, что мог. Эти несчастные обвинения не по моей вине.
Ведь те, другие, тоже сильные... Вы прекрасно это знаете, ваше пре-
восходительство!

Гейдрих сказал, глядя в окно, — стоит ли поворачиваться лицом к
любимому рейхскомиссару: — Как? Вы сомневаетесь в правильности
принятого мною решения?

— Нет, нет! — спохватился Рейнгардт. — Что вы! Но почему на фронт?
Я не заслужил такого наказания.

Протектор вернулся к столу. — Придется разъяснить вам всю серьез-
ность вашего провала, — сказал он, садясь в кресло. — Нам было важно,
как можно деликатнее раздалась с Прейсинггером — ведь правда? Вы
ухитрились сделать так, что некоторые элементы, воспользовавшись ва-
шим попустительством, провозгласили по радио с правительственной
станции, что дело Глазенапа, в котором был замешан Прейсинггер, грубая
фальшивка. Согласитесь сами: доказательное лицо, виновное во всем
этом, должно понести суровое наказание.

Рейнгардт молчал.

— Значит, вы согласны со мной? — продолжал Гейдрих. — Если я не покажу вас, то берлинские друзья господина Прейсингера вавалют всю ответственность на меня. Неужели же я стану рисковать своим положением, для того чтобы выгородить такого идиота, как вы?

На это Рейнгардт ничего не мог ответить.

— В довершение всего, — снова заговорил Гейдрих, — сегодня утром произошел взрыв, в результате которого погибло ценное государственное имущество. На мой взгляд, между этой диверсией и делом Глазенапа существует какая-то связь. Но даже, если я ошибаюсь, все равно, — за сохрану барж отвечали вы. И вы не оправдали нашего доверия... Как видите, рейхскомиссар, выбора у меня нет.

— Но почему же на фронт? — отбивался Рейнгардт.

— Вы трус, — сказал Гейдрих, — но другого я от вас и не ждал. У меня есть все основания для такого перевода. Я не желаю иметь живых врагов. А в том, что отныне вы будете принадлежать к их числу, сомневаться не приходится.

Рейнгардт встал. При последних словах Гейдриха голова у Рейнгардта заработала с прежней четкостью. Этот длинноносый человек и ни — враги.

— Слушаю, ваше превосходительство! — Рейнгардт отвесил протектору поклон и поднял листок с пола. Потом взял ручку и прятными крупными буквами расписался внизу страницы. — Разрешите сказать вам на прощание несколько слов?

— Я вас слушаю, — ответил Гейдрих, принимая от него бумагу.

— К моему несчастью, мне пришлось столкнуться с некоторыми людьми, не страдающими трусостью. У меня было все — огромный полицейский аппарат, средства связи, вооружение, солдаты. У тех не было ничего, кроме упорства, готовности пожертвовать собой — пойти даже на смерть — и хитрости. Я имел возможность убедиться, что таких людей много, гораздо больше, чем мы предполагаем. Нам с ними не справиться. — Я потерпел неудачу и не отрицаю этого. Меня ждет страшная смерть. Но, поверьте мне, ваше превосходительство, что такую же неудачу потерпит и мой преемник, и вы сами, а конец ваш будет еще страшнее.

— Довольно! — Гейдрих указал ему на дверь.

Рейхскомиссар вытянулся во фронт. Серебряные пуговицы и нашивки у него на мундире казались потускневшими. Он поднял руку, но протектор рывком, не дав ему сказать даже «Хайль Гитлер».

— Вон отсюда!

Рейнгардт повернулся и бросился наутек, обливаясь холодным потом.

С. МАРШАК

ИЗ АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Из Шелли

ЗИМА

Тоскует птица о любви своей
Одна в лесу седом.
Шурша, крадется ветер меж ветвей,
Ручей затаил слезы.

В полях живой травинки не найдешь.
Обнажены леса.
И тишину колеблет только дрожь
От молышного колеса.

Из Блейка

В одном мгновеньи видеть вечность,
Огромный мир — в зерне песка,

В единой горсти — бесконечность
И небо — в чашечке цветка.

Из Киплинга

НАДПИСЬ НА МОГИЛЕ СОЛДАТА — БЫВШЕГО КЛЕРКА

Не плачьте, — сделала борьба
Свободным робкого раба.

И силы отдал он свои
Товариществу и любви.

И, став свободным, он открыл
В себе источник новых сил.

И жизнь за дружбу положив,
Он пал, но вечно будет жив.

Н. КРАНДИЕВСКАЯ-ТОЛСТАЯ

ГРОЗА НАД ЛЕНИНГРАДОМ

Гром, старый гром обыкновенный
Над городом загрохотал.
— Кустарщина!— сказал восшний,
Махнул рукой и зашагал.

И даже дети не смутились
Блеснувших молний бирюзой.
Они под дождиком развились,
Забыв, что некогда крестились
Их деды под такой грозой.

И празднично деревья мекли
В купели древнего Ильи.
Но вдруг завыл истощным воплем
Сигнал тревоги, и вдали

Зенитка рывкнула овчаркой,
Снаряд по тучам полыхнул,
Так неожиданно, так жарко
Обрушив треск, огонь и гул.

— Вот это посерьезней дело!—
Сказал прохожий на ходу,
И все вокруг оцепенело,
Почуя в воздухе беду.

В подвалах схоронились дети,
Подетский ужас затая.
На молнии глядела я...
Кого грозой на этом свете
Пугаешь ты, пророк Ильи?

ЗА ВОДОЙ

Привяжи к салям ведерко
И поедем за водой.
За мостом крутая горка,—
Осторожней с горки той!

Эту прорубь каждый знает
На канале крепостном.
Впереди народ шагает,
Позади звенит ведром.

Опустить на дно веревку,
Лечь ничком на голый лед,—
Видно, дедаву споровку
Не забыл еще народ!

Как ледышки, рукавички.
Не согнуть их нипочем.
Коромысло, с непривычки,
Плещет воду за плечом.

Кружит вьюга над Невойю,
В белых перьях, в серебре...
Двести лет назад с водою
Было так же при Петре.

Но в пути многовековом
Снова жизнь меняет шаг,
И над крепостью Петровой
Плещет в небеса новый флаг.

Не фрегаты, а литые
Вмерзали в берег крейсера.
И не спилились такие
В мореходных снах Петра.

И не снилось, чтобы в тучах
Шмель над городом кружил,
И с гудением могучим
Невский берег сторожил.

Да! Петру была б загадка:
Лязг и грохот, танка ход.
И за талком ленинградка.
Что с виштовкою идет.

Ну, а мы с тобой ведерко
По-петровски долезем.
Осторожней! Видишь, горка.
Мы и горку обогнем.

Генерал-лейтенант А. А. ИГНАТЬЕВ

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ В СТРОЮ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава восьмая¹

ТОРМОЗА

Париж показался после Лондона большой, красивой, но все же деревней. В Шантилья и Жоффе, и Пелле крепко жали мою руку, узнав об увеличении ежемесячных английских поставок тонула на три тысячи тонн. Таковы были масштабы первой мировой войны!

При содействии Жоффе я получил в свое распоряжение лучшие пороховые заводы в Севре и не без гордости сообщил о своем успехе Главному артиллерийскому управлению. Но оно-то как раз раньше других открыло по мне огонь с дальней дистанции. Оно не могло допустить, что какой-то генштабист, да к тому же не природный артиллерист, мог своей работой за границей восполнять недостаток в боевых припасах на русском фронте, косвенно подчеркивая этим неудовлетворительную подготовку к войне русского артиллерийского ведомства. Дела у этого генштабиста идут не плохо, дешежек, да еще к тому же французских, в его распоряжении сколько угодно, — как же не отведать такого вкусного казенного пирога! Сделать это, однако, надо тонко: пусть он продолжает добывать деньги, а мы уж сами сумеем их тратить.

Для осуществления подобных хитроумных замыслов во всех странах существуют канцелярские писаки, ум которых, за отсутствием творческих мыслей, целиком направлен на составление или казенных отписок, или бумаг, слагающих с их начальства возможно большую долю ответственности. Впрочем, отношение ко мне всех наших главных управлений отражало характерные черты царского режима. Каждый министр считал себя ответственным только перед царем. Однако ни слабый Николай II, ни такие диктаторы, как Витте и Столыпин, оказывались не в силах подчинить своему авторитету собственных министров, подобно тому как это делал во всякой другой стране любой, даже посредственный, премьер. В результате один министр вел полчок под другого, одно управление военного министерства изыскивало способы свалить с себя ответственность на другое. Каждое российское ведомство, каждая

¹ Окончание. См. «Знамя» № 7—8 и № 9—10 за 1943 г.

комиссия мечтала завоевать для себя побольше прав и нести вместе с тем поменьше ответственности.

Подобные порядки плохо согласовались с той установкой в проведении заказов, на которой была основана моя конвенция с Альбером Тома. Это, конечно, хорошо понимали в Петрограде, и потому присылка в Париж весной 1915 года особой артиллерийской комиссии была обставлена так, как будто она не нарушала установленного в Париже порядка.

«Окажите содействие прибывающей во Францию особой артиллерийской комиссии полковника Свицерского», — гласила полученная мною краткая служебная телеграмма.

А я-то, глупец, взваливал на плечи французов всю техническую работу, стремясь сохранить для России не только специалистов-инженеров, но и офицеров, глубоко сознавая недостаток как в тех, так и в других.

Через несколько дней в мой кабинет вошел благообразный, еще не-старый, но уже лысеющий артиллерийский полковник. Он познакомился со мной, как равный с равным, и так неясно произнес свою фамилию, что я скорее догадался, чем расслышал, что это и был Свицерский.

Ни из напечатанного на прекрасной бумаге «Положения об особой артиллерийской комиссии», ни из объяснения Свицерского, всячески избегавшего смотреть мне в глаза, мне не удалось установить наших с ним служебных взаимоотношений. Я только чувствовал, что сидевший против меня тихоня получил в Петрограде какие-то негласные инструкции, позволявшие ему претендовать на полную независимость от меня. Решившись поговорить с ним по душам, я пригласил его в тот же день отобедать. Ласково припугнув меня своими связями с Сергеем Михайловичем, а следовательно, и с Кипесинской, в салоне которой брат Свицерского завоевал себе прекрасное положение как хороший винтер, — мой собеседник стал в конце обеда открывать передо мной и собственные карты. В Петрограде, по его словам, очень недовольны тем влиянием, которое якобы оказал на меня Костевич (в этой форме Свицерскому было приказано объяснить недовольство моей деятельностью представителя Шнейдера в Петрограде).

— В России дела идут совсем не так-то плохо, как это вам здесь кажется Свицерскому, представителю тыла, не было дела до тяжелого положения на русском фронте), и потому лихорадочная поспешность, которая проявляется в Париже по отношению к вопросам снабжения, производит швыгодное впечатление.

— Чего же ваше начальство хочет от меня? — уже с раздражением спросил я.

Но Свицерский принадлежал к тому типу «молчаливых», которых никакое раздражение не только равного с ним в чине офицера, но даже и начальства не могло пропять, и он совершенно спокойно ответил:

— Мне просто приказано «наложить на вас тормоза».

Все стало ясно. И мне оставалось охранять русские дела против подрывной работы «свицерских», используя лишь те преимущества, которые представлялись мне французским правительством. А именно: отправка шифрованных телеграмм исключительно за моей подписью и письменное сношение с французским правительством только на моих бланках.

Благодаря этому «тормоза» выражались в том бездельи, которому предавались многочисленные члены артиллерийской комиссии, тем более что приему нашего вооружения продолжали производить французские офицеры. Подобную ответственность наехавшие гости принимать на себя побоялись, а на ту работу, которую выполнял при мне один майор Шевалье, потребовался целый десяток офицеров, роскошное, отдельное от моей канцелярии, помещение, французские военные машины и такие оклады, о которых моя миссия и мечтать не смела: юнец-прапорщик получал большее жалованье, чем сам военный агент. Это было началом той деморализации русского офицерства в Париже, бороться с которой представило для меня новую и почти непосильную задачу.

— Какой ужас!— рассказывала, например, супруга Свидерского нашим общим знакомым.— Я вынуждена защищать в своем салоне репутацию нашего прелестного военного агента, про которого все говорят, что он взяточник.

Так родилась та знаменитая легенда, согласно которой, я после революции успел отложить в Швейцарии, как нейтральной стране, восемьдесят,— именно восемьдесят, а не сто миллионов франков!

— Подождите, мы с ним расправимся! Он не имеет права наводить в Париже свои порядки!— хвасталась пьяная компания в баре шикарной гостиницы «Крильон». Там сын богатейшего купца Елисеева, пожалованного Николаем II дворянским званием, угощал ежедневно на свой счет русских офицеров. Елисеев был зачислен рядовым во французскую армию и, как отъявленный пьяница, спасался в баре «Крильон» от посылки на фронт, находясь под высочайшей протекцией представителя высшего русского командования.

— Да, все это недопустимо,— сказал мне со вздохом, наместивший Париж новый начальник генерального штаба, генерал Беляев.— Вам должны быть предоставлены права по крайней мере командира корпуса, если не командующего армией.

Но никаких прав я не получал и боролся с офицерскими безобразиями больше показом, чем приказом.

Между тем число командированных в Париж офицеров, якобы специалистов, множилось с каждым месяцем. Не успел я привести в какой-то порядок свои отношения с артиллерийской комиссией, как прибыла заграничная авиационная комиссия полковника Ульянина. Она тоже захотела быть «самостоятельной», используя с этой целью название «заграничной», как будто в России не было известно, что все авиационное имущество можно было получать только из Франции. Тяжело было приказать исполнительному полковнику Антонову, ведавшему приемкой самолетов и моторов, сдать дела новой комиссии. И ему и мне они уже стали очень дороги.

Сергей Алексеевич Ульянов, один из пионеров русской авиации, был, как и Антонов, чистой души человеком, но увлеченным исключительно техникой, и, в частности, моторами. В противоположность Свидерскому, он был далек от всяких интриг и, почуввав ненормальность положения в отношении ко мне своей комиссии, сочувственно пожал мне руку, передав бразды правления своему помощнику, капитану Быстрицкому. Летчиком Быстрицкий не был, но в делах снабжения оказался большим ловкачом. Внешне дисциплинированный, а по существу натура анархическая, Быстрицкий, как человек прониравший,

нашли новые средства для получения разрешения на заказы от французского правительства, до которых мы с Антоновым, признаться, не додумались.

— Господин полковник, для нашей успешной работы нам необходимо включить в состав комиссии французского летчика, капитана Фландена. Вам ничего не стоит попросить французов командировать этого офицера в ваше распоряжение, — настойчиво и упорно твердил мне Быстрицкий.

В главной квартире действительно никаких препятствий против прикомандирования Фландена не встретилось. И через несколько дней передо мной предстал вытянутый, как спаржа, белокурый капитан в светлоглубом гусарском ментике, плохо скрывавшем его полуштатскую военную выправку. Это был тот самый Фланден, эта «макарона-Фланден» (*Cette nouille de Flan-din*), как его дразнил Шевалье, который и по сей день, при скандальной репутации крупнейшего взяточника, продолжает играть политическую роль соглашателя с гитлеровской Германией. Только теперь для меня открылся секрет Быстрицкого: как депутат и богатейший человек, связанный со всей авиационной промышленностью, Фланден имел возможность «выхлопывать» для нас то, чего нельзя было получить от французского правительства законными путями. К чему мы с Антоновым тратили столько времени для доказательств непригодности пятидесятисильных моторов «Клерже», на хлопоты о получении восьмидесятисильных моторов «Гном и Рон», на замену полагавшихся нам устарелых «Морис Фарманов» современными «Вуазенами»! С приходом к нашей комиссии Фландена многие вопросы стали разрешаться сами собой.

Фландены — вот в чьи руки переходило управление военной промышленностью. Они парализовали действия самых энергичных министров, развращая их технические аппараты, и довели Францию до полной военной беспомощности.

Обе эти комиссии, конечно, не оправдывали тех средств, которые требовались на их содержание; впрочем, новая комиссия, прибывшая в Париж для приемки дирижабля фирмы «Клеман Баяр», в этом отношении далеко их превзошла.

Тщетно и Антонов, и я в ряде телеграмм убеждали Главное техническое управление в беспечности присылки подобной комиссии по той простой причине, что к постройке заказанного нами еще до войны дирижабля фирма не приступала, будучи вынужденной выполнять подобный же заказ французского правительства. Представитель «Клеман Баюра» в Петрограде убеждал нас обратном и сумел, очевидно, «заинтересовать» в своем деле нужных людей. Он оказался сильнее нас. Комиссия прибыла, заняла тоже «приличную» квартиру, развесила на стенах громадный флаг, предназначавшийся для несуществовавшего еще воздушного великана, и, справив повеселось с молебном и соответствующей вышивкой, явилась ко мне за содействием.

— Наш дирижабль действительно не совсем еще готов, — вынужден был признаться прапорщик Дорошевский, в мирное время русский пограничник старого, уже отжившего типа. Он с первого дня забрал в свои руки скромного и безгласного председателя, капитана Тихонравова. — Французский дирижабль, однако, уже готов, и нам бы хотелось получить его от союзников взамен нашего собственного, — заявил он.

Каково же было мое удивление, когда Гран Кю Жэ, обычно столь ревниво оберегавший интересы собственной авиации, согласился на мою просьбу почти без колебаний. Это мне показалось подозрительным, и из перекрестных рас-

спросов удалось узнать, что грузоподъемность дирижабля якобы не удовлетворяет техническим требованиям. Впрочем, сама идея дирижабля при быстром росте авиационной техники казалась мне чистой утопией.

Французы ничего не понимают, — заявлял мне сиявший от достигнутого успеха Дорошевский. — С понедельника начнем испытания и надеемся, в конце концов, вас прокатить.

— Благодарю, — ответил я. — Обещаю принять участие только в последнем испытательном полете на скорость.

Храбрость Дорошевского на том и кончилась, и в воскресенье он уже пришел меня просить поручить испытательные полеты французскому военному экипажу, так как комиссия с вождением дирижабля должна еще ознакомиться. Недель через пять звонок по телефону известил меня о печальном конце всей этой антрепризы: на предпоследнем испытании дирижабль при вынужденном спуске беспомощно повис на дереве, — по счастью, вблизи парижского аэродрома. Пришлось вызвать пожарную команду и спастись с дерева среди других пассажиров и Дорошевского, нимало, впрочем, не сконфуженного, а мне с Антоновым расхлебывать отношения с фирмой, потребовавшей уплаты многих тысяч франков за газ, потраченный на заполнение злосчастного аппарата.

* * *

Совершенно неразработанным в мирное время явился вопрос о доставке морским путем военных материалов.

Гораздо более предусмотрительным, чем союзное правительство, оказался, как это ни обидно, владелец небольшой парижской транспортной конторы, некий Шретер. Номинально он торговал русскими газетами, главным образом «Новым временем», а в действительности представлял мелкого комиссионера, эксплуатировавшего наезжавших в Париж русских бар, столь падких на чужие услуги и готовых нести любые накладные расходы, лишь бы освободиться от излишних хлопот.

О существовании столь удобного человека, как Шретер, мне сообщил в первый же день моего приезда в Париж мой предшественник, все тот же недооцененный Гришок Ностиц.

— Ты знаешь, — объяснил он мне, — обстановка квартиры тебе обойдется совсем недорого. Если, входя в любой хороший магазин, ты упомянешь, что она тебе рекомендован Шретером, то немедленно получишь хорошую скидку в цене.

Я, конечно, не стал доказывать Гришку, насколько более ценными для самого Шретера могут оказаться в известном случае рекомендации военного агента, и, само собой, не использовал «мудрого» совета моего предшественника.

В первые же дни войны, когда еще не возникал вопрос о каких-либо перевозках, Шретер пришел ко мне в канцелярию со следующим предложением:

— Господин полковник, вам должно быть известно, что я являюсь монополистом по доставке в Россию и багажа, и товаров. Ни один великий князь не обходится без моих услуг, и вам тоже нельзя мною пренебрегать, так как я

военное время вам, несомненно, придется отправлять в Россию различные грузы, заказанные, как мне уже известно, русским военным ведомством. Поэтому я вам предлагаю теперь же подписать со мной договор на зафрахтование для вас пароходов по твердой цене за тонну.

И он назвал мне такую баснословную цифру, которая, как я впоследствии узнал, не была достигнута за все время мировой войны. Как принципиальный враг предоставления монополий, я больше всего возмущился апломбом этого типа, претендовавшего поразить меня своими связями с романовской семьей. Внешний вид его тоже раздражал своей претензией на французского джентльмена — в клетчатых штанах и белых гетрах. Чести было много ссылаться перед Шретером на неполучение мною должных полномочий, что представляло стереотипный ответ всех дипломатов, и поэтому я ограничился простым, но твердым отказом на его предложение.

Но Шретер не унимался. Он стал грозить:

— Подумайте, полковник, о печальных для вас последствиях от подобного невнимания к моим словам. Ваши предшественники оказывали мне всегда особое доверие. Впрочем, вы получите соответственную бумагу от самого военного министра генерала Сухомлинова и тогда увидите, чем грозит вам подобное ко мне отношение.

Но помню, какая муха меня тогда укусила, но через минуту я уже оказался на площадке лестницы моей канцелярии, а Шретер внизу оправлялся от печального падения. Казалось бы, что после столь любезного приема я был гарантирован от встреч с этим господином. Но мне потребовалось получить много уроков, чтобы убедиться в живучести подобных слизняков: их недостаточно побить, их надо убивать.

В самый разгар войны Свицерский стал настаивать на заказе какого-то нового типа пулеметов, доказывая, подобно прапорщику Дорошевскому, что французское правительство показывает себя в этом вопросе невеждой, что пулемет представляет верх совершенства. Это вынудило меня в конце концов самому отправиться на казенный полигон, чтобы ознакомиться с этой новинкой, которая, как оказалось, представляла усовершенствованную копию прародительницы современного пулемета — французской митральезы: сноп пули достигался тем, что один затвор соединял несколько ружейных стволов. Видно, Свицерский продолжал считать меня за круглого невежду в стрелковом деле, чтобы осмелиться согласиться даже на опыт стрельбы из подобного оружия. Но тайна разрешалась сама собой: в почтительном отдалении я увидел шагающего по полигону Шретера в своих неизменных клетчатых штанах.

Когда с начала моей работы по оказанию материальной помощи русской армии я занялся вопросом о перевозках, то с великим изумлением узнал, что первый пароход с автомобилями и самолетами был направлен, по распоряжению из Петрограда, круглым путем — вокруг Африки, на Владивосток! Неостатные ящики, погруженные на палубу, сперва рассыпались под тропиками, а в конце плавания покрылись толстой ледяной корой. Надо было изыскать другой кратчайший путь.

Используя в первые месяцы войны нейтралитет Греции, Болгарии и Румынии, французы помогли мне организовать провоз наших военных материалов через Салоники. Для этого я зафрахтовал сперва один пароходик в три тысячи тонн — «Сен Пьер» («Святой Петр»), а затем и всю серию одно-

тильных «святых», что крайне упрощало составление планов погрузок. Для обеспечения провоза по железной дороге через нейтральные страны орудия грузились под видом фортепиано, самолеты — под видом молотилки; ящики со снарядами, — по мнению моего начальника транспортного отдела, де Лявиш, — были очень схожи с ящиками шампанского. Кое-кто на подобных сложных комбинациях «подрабатывал», но в конце концов мои ящики прибывали на пограничную русско-румынскую станцию Рени через две-три недели после отплытия из Марселя. Обидно было узнать, что после первой же отправки две одиннадцатидюймовых полевых мортиры, на изготовление, отправку и погрузку которых было затрачено столько усилий, «затерялись» в самой России: запломбированные вагоны с этим ценным грузом, после долгих и тщетных розысков по всем нашим железным дорогам, оказались загнанными на запасные пути в Ростове-на-Дону. А их так ждали на нашем фронте в Восточной Пруссии!

Вовлечение в войну всех стран Балканского полуострова потребовало новой организации морских перевозок, сперва на Архангельск, а впоследствии на Мурманск, что было большим достижением, так как сообщение через Архангельск, за недостатком ледоколов, прерывалось на добрую половину года. Кроме того, перевозка по железным дорогам из Архангельска на Петроград и Москву была так плохо налажена, что, по свидетельству французов, побывавших в этом порту, они в 1916 году проезжали на санях по крышам ящиков с французскими самолетами, запесенных снегом и высланных мною еще летом 1915 года!

Между тем авиационные грузы как раз и требовали скорейшей доставки. Авиационная техника развивалась такими быстрыми темпами, что самолеты за время пути от Парижа до русского фронта уже оказывались устаревшими, и германские аппараты неизменно превосходили их в скорости. Когда же после долгих усилий удавалось получить от французов новейшие модели и быстро доставить их в Россию, то и это не гарантировало возможности использовать самолеты на нашем фронте.

«Все прибывающие от вас самолеты и автомобили оказались без магнето», — гласила лаконическая телеграмма начальника технического управления, генерала Миллеанта.

Магнето! Магнето «Бох»! Да ведь из-за этой небольшой, но жизненной части мотора в мировую войну приносились жертвы, совершались преступления. Когда еще в первые дни Жоффр вышел навстречу отступающим войскам 5-й армии, его машина дважды остановилась из-за порчи мотора.

— Если бы господин генерал приказал выдать мне магнето «Бох», — заявил Маршалу шофер, — то такая задержка не происходила бы.

Но главнокомандующий ответил:

— Нет, оттого, что я опоздаю на несколько минут, большой беды не будет, а рисковать из-за отсутствия хорошего магнето жизнью хотя бы одного нашего летчика я не вправе.

После всех затруднений, связанных с доставкой самолетов, отсутствие магнето на выславшихся из Франции моторах сводило к нулю всю нашу работу в Париже.

Минутами казалось, что еще вчера, приезжая в Петербург из Стокгольма, я присутствовал на первом авиационном празднике, где-то невдалеке от Коло-

милейшего ипподрома! Я видел полет поручика Нестерова, будущего героя; при мне скатился с открытого сиденья Морис Фармана и разбился насмерть капитан Руднев. Самые смелые наши офицеры шли в авиацию. И теперь эти герои будут в праве проклинать нас за те устаревшие типы машин, эти «гро-ны», на которых им придется летать.

Получив телеграмму, я набросился на бедного Антонова, который недо-умевал:

— Я собственноручно запечатываю каждый ящик казенной печатью,— докладывал он мне,— проверяя предварительно все его содержание.

— Но, видимо, ваша печать с орлом оказывается не очень прочной,— смягчился я.— Возьмите же, дорогой Константин Александрович, мою соб-ственную, с семейным девизом, ее подменить не смогут; а внутри большого ящика прикрепите специальный небольшой ящичек для магнето и запеча-тайте его.

Когда и эта мера не возымела действия, я распорядился принести и раз-ложить на моем письменном столе всю партию магнето с аппаратов, отпра-вившихся на очередном пароходе. Их упаковали в особый ящик, поставили номер по морскому коносаменту, и мне казалось, что уж на этот раз мы мог-ли быть спокойны за доставку этого драгоценного груза по назначению. Но ответ главного технического управления на телеграмму об отправке был еще более лаконичен: «Ящика за номером таким-то не оказалось».

Из тысяч ящиков, отправленных на ста двадцати пароходах из Франции в Россию во время войны, это был первый, и единственный, пропавший в пути ящик.

— В Петрограде царит ужасающая спекуляция,— вздыхали прибывавшие из России французские офицеры связи.— За деньги там можно все получить, и даже наши магнето «Бош» продаются — правда, по баснословной цене — через «Северный банк» на Невском проспекте!

Вмешательство русских частных банков в вопросе заграничного снабжения составляло все больше приглядываться к деятельности наезжавших в Париж представителей».

Так однажды среди обычных посетителей записался ко мне на прием какой-то соотечественник, инженер Клягин, о командировании которого я не был извещен. Я насторожился, когда в мой кабинет вошел молодой, стройный, гигантский блондин, не без апломба отрекомендовавший себя представителем Мурманской железной дороги. Это еще более меня заинтриговало, так как постройка этой магистрали разрешала основную задачу доставки из-за грани-цы военных материалов.

Оказалось, что Клягин уже некоторое время действовал в Париже совер-шенно самостоятельно, закупая самые разнообразные товары — от боти-ков для рядовых до черпослива включительно, располагая какими-то крупными суммами в иностранной валюте. Затруднения Клягин встретил в разрешении самого «пустяшного», как казалось ему, вопроса: получения лицензии на вывоз. Соотечественники в этом отношении оставались несправлимыми, не желая под-чиняться установленному в союзных странах порядку.

Вопрос этот я, конечно, немедленно разрешил, предложив молодому инже-неру, вместо работы с частными фирмами, занять столик в моем управлении и получить товары через французское правительство. Александр Павлович

Клягин стал моим сотрудником, а впоследствии и представителем при мне нашего министерства путей сообщения.

Среди командированных из России благодушных, самодовольных и безразличных к делу, но кичившихся своими чинами и положением офицерами-чиновниками. Клягин выделялся своей деловитостью и самостоятельностью суждений. Хотя мундира и фуражки с голубыми кантами и золотыми контрпонтончиками, присвоенными инженерам путей сообщения, он из России и не захватил, но в обхождении со мной сохранял следы той военной выправки, которой по традиции отличались инженеры путей сообщения. Их институт, как известно, при Николае I входил в систему военно-учебных заведений.

В русской армии придавали большое значение правильному титулованию старших начальников младшими. И ко мне, как к полковнику, офицеры обращались, приставляя к моему чину слово «господин», штатские величали по имени и отчеству, а писаря и солдаты, из-за моего графского титула, заменяли титулование «ваше благородие» — «вашим сиятельством». Также обращался ко мне и Клягин. Первое время я объяснял себе такое чиновничье хитростью: для того чтобы проводить дела за спиной начальника, его надо ослеплять внешней почтительностью.

Вскоре, однако, я узнал, что эта форма обращения объяснялась теми привычками, в которых воспитывались некоторые из людей подчиненного общественного положения.

— Не забывайте, ваше сиятельство, — соткровенничал со мною как-то Клягин, — что дедушка мой был простым лесником, хорошо знал свое дело, а потому и нажился на лесных заготовках. Отец уже был лесничим у богатых помещиков, которые, как вы знаете, в делах понимают мало. А я уже, как видите, пробился в настоящие инженеры. Одет по последней парижской моде (тут он привстал и хитро улыбнулся), женат на настоящей столбовой дворянке. Да-а. Разорительна, правда, Мария Николаевна, ну что ж поделаешь, барские ее капризы переполну. А все ж таки умру русским мужичком. Не взыщите.

★ ★ ★

Разрасталось мое дело, множились охотники до французского кредита, до обеспеченного морского тоннажа. Все были только пеньюль избавитесь от спешки военного агента над их делами. Пример французских сенаторов и дельцов оказывался заразительным. И каждый хотел проявить «личную инициативу», прикрываясь возвышенным идеалом спасения России.

К весне 1916 года дела на родине действительно шли из рук вон плохо. Сотни телеграмм с требованием доставки самых разнообразных товаров указывали на беспомощность военного министерства удовлетворить насущные потребности фронта. Так, Свидерский настаивал на заказе какой-то весьма подозрительной фирме в Бордо — городе, не имевшем ничего общего с военной промышленностью, — траншейных минометов и бомб к ним, как назывались в ту пору мины.

— Помпуйте, — пробовал я возражать против предложенной нам баснословной цены, — ведь такие с позволения сказать орудия может склепать наш кузнец Ванька в Чертомино. Зачем обременять тоннаж на перевозку такого барахла.

Переспорить представителя ведомства бывало трудно: каждый заручился надежной поддержкой из Петрограда, а этого-то как раз мне не доставало.

Долго хотелось верить, что в конце концов вся моя работа во время войны и на фронте и в тылу, несмотря на полемику с правящими кругами, все же заслужит должную оценку, хотя некоторые мелкие факты должны были убедить меня в противном. Получение очередных орденов давно, правда, потеряло в России свое значение. Помнится, что когда я прочитал в «Русском инвалиде» о награждении меня орденом Анны второй степени, мне не захотелось заменять этим мирным орденом полученный за сражение под Сандеу шейный орден Станислава второй степени с мечами. Однако, когда с очередным дипломатическим курьером я получил, в разгар мировой войны, за выслугу лет, снова очередной орден Владимира третьей степени, лишенный мечей, то принял это не как награду, а как оскорбление.

Французы прекрасно знали, что орден с мечами жаловался не только строевым, но и штабным офицерам на театре военных действий, и приравнение меня к военным агентам в нейтральных странах представляло в их глазах политическую бестактность.

Реагировали они на это совершенно для меня неожиданно. Среди утренней почты в Гран Кю Жэ мне принесли, против обыкновения, очередной номер «Journal officiel» («Французский правительственный вестник») с абзацем, подчеркнутым кем-то красным карандашом: «Согласно приказу главнокомандующего, с объявлением по всем французским армиям, за выдающиеся заслуги русский военный агент полковник Игнатьев награждается командорским орденом Почетного легиона».

Мне показалось особенно дорогим, что эту награду я получал не как дипломат, а в виде особого исключения, как офицер на фронте. Тот же чисто военный характер Жоффе придал и самому порядку награждения — по форме, установленной для офицеров французской армии.

Под звуки рожков на скаковое поле в Шантильи вышел батальон стрелков с лихо сдвинутыми набок темносиними беретами и построился неподалеку от места, где проживал Жоффе. Мне было указано прибыть к тому же месту четверть часа спустя — время, предусмотренное для сбора всех чинов главной квартиры.

Это уже меня глубоко растрогало. И Пелле и Дюпон уже наперед жали мне особенно дружески руку.

Как обычно, скривясь слегка на левый бок и поддерживая генеральский палаш, приближался Жоффе. Раздалась команда:

«Garde à Vous. Présentez armes!» («Смирно! Слушай на караул!»)

Войска берут на караул.

Я уже стою перед фронтом впереди трехцветного знамени, вытянувшись, как старый гвардеец, держа руку под козырек.

Главнокомандующий обнимает палаш и, подходя ко мне, по традиции посвящения в рыцари, прикладывает его сперва к правому, потом к левому моему плечу, после чего при помощи адъютанта привязывает на мою шею и поверх походного кителя большой белый крест с зелеными веночками на широкой красной ленте. Пожав мне руку, он дважды меня обнимает, в то

время как по команде «Ouvrez le ban!» («Играйте туш!») оркестр играет сигнал военного салюта.

Церемония, однако, на этом не кончается. Жоффр приглашает меня стать рядом с ним на один шаг впереди, а войска перестраиваются для прохождения церемониальным маршем перед новым командором Почетного легиона.

Всякому взрослому доводится переживать незабываемую минуту...

После обычного завтрака в нашей «Попот» второго бюро, который был отмечен дружеским бокалом шампанского, я, согласно установленному в русской армии порядку, послал следующую телеграмму своему прямому начальнику, генералу-квартирмейстеру:

«Испрашиваю высочайшего разрешения государя императора принять и носить пожалованный мне сегодня орденом командорского креста Почетного легиона».

Впоследствии мне рассказывали, что в ставку это известие произвело должное впечатление, но отношения моя с Петроградом не изменило.

Даже в письмах родной матери проскальзывала критика моего «песчитания» с русскими правящими кругами. Один только Ильямов, мой бывший профессор по Нахескому корпусу, сменивший Сухомлинова на посту военного министра, успокоил мою мать, сообщая, что «Игнатъев нам необходим в Париже».

Некоторую — правда, только чисто нравственную — поддержку получил я в те дни от прибывшей в Париж депутации Государственной думы и Государственного совета. Эта заграничная педка русских политических деятелей имела целью доказать общественному мнению союзных стран, что германофильские течения, связанные с распутинскими группировками, еще не так сильны в России и что представители самых разнообразных политических партий полны готовности продолжать войну до победного конца, демонстрируя солидарность с западноевропейскими демократиями, борющимися против Германии.

Конунто представители военной комиссии Государственного совета и думы должны были ознакомиться с деятельностью русских заготовительных органов за границей.

Естественно, что при моем отчуждении от русской действительности, при моем служебном одиночестве, вызванном разницей во взглядах с командированными из России моими сотрудниками, я увлекся за новых знакомых, как за соломинку, — Франция уже приучила меня проводить возникшие вопросы не через военных, а через штатских людей. Однако действительный интерес к своему делу я встретил только у носивших мою скромную канцелярию или, точнее, личную квартиру, заставленную канцелярскими столами, членов Государственной думы Милокова и Шингарева. Их сопровождал, скорее для протормы, какой-то член Государственного совета из крайних правых, который своим величественным молчанием старался, повинуясь, поддержать достоинство этого высшего учреждения Российской империи.

После пространного доклада, сделанного мною в присутствии всех старших моих сотрудников, я сказал:

— Вы видите, как растет с каждым днем номенклатура товаров, закупаемых через нас на французский кредит. Не говоря уже о перце, которого может хватить на многие годы, о тиглях, количество которых превосходит потребность чуть ли не всего земного шара,— многие товары,— как, например, медикаменты для гражданского населения, сера для виноградарей,— вызывают подозрение: не служат ли они, подобно магнету, предметом грязной спекуляции? Скажите, что еще можно найти в России? В чем я имею право отказать, не рискуя нанести ущерб фронту? Кого на законном основании могу послать к черту?

Шингарев потер лоб и без большой уверенности в голосе вымолвил:

— Есть еще конопля, так что пакли у вас запрашивать не имеют права.

— И на том спасибо,— пришлось с глубокой горечью закончить беседу.

Больше всего поразила моих гостей малочисленность моего центрального аппарата и связанная с этим образцовая экономия.

— Это уж французская школа,— объяснял я Милокову, с трудом примирявшемуся с пресловутыми российскими штатами, раздутыми по случаю войны выше предела.

— Как же это вы можете работать, не имея штата?— удивлялись соотечественники.

Шингарев, как я впоследствии узнал, представил даже по этому поводу специальный и крайне для меня лестный доклад в Государственную думу.

Итак, в силу обстоятельств я очутился в оппозиции к правящим кругам, в противоположность моим коллегам в посольстве, стал получать приглашение на все приемы, устраиваемые русским гостям французскими парламентскими и политическими организациями. Выступать с речами, хвалить нашу, не пришлось, но скрыть краску стыда за речи других удавалось с трудом.

Особенно торжественным, а потому и тигостным был громадный банкет, устроенный «Лигой прав человека» под председательством самого Анатоля Франса. Маститый писатель, старик, высокого роста, особого впечатления на меня не произвел: он уже был очень стар и служил только символом республиканской Франции с ее лозунгами «Свобода, равенство и братство».

Речи лились рекой, благо ни характер тем, ни время не были ограничены. Можно было вволю поболтать. Этим особенно злоупотребил член Государственного совета Гурко, уцелевший деятель мошеннической аферы на поставках хлеба голодающим.

Уже одна его внешность — обросшее седою щетиной уродливое лицо со злобным взглядом нелюдима — указывала на мало удачный выбор представителя крайних правых.

— Господа,— начал свою речь Гурко,— приехал в Париж, как-то еще перед войной, владетельный царек одного из африканских племен. Его особенно очаровали прелестные ножки париканок, и, уезжая, он возымел мысль поить своих соотечественниц в такие же очаровательные туфельки, какими он любовался на парижских бульварах.

Присутствовавшие, приготовившись слушать либеральные, умные речи, и первые минуты были заинтригованы подобным оригинальным началом, и Анатоль Франс даже повернулся в сторону занятого оратора. Скоро, однако,

пришлось разочароваться. Прошло еще добрых полчаса, и бывший царский министр продолжал скучно объяснять, как туфли, заказанные негром в Париже, оказались слишком тесны, как в Африку поехал немецкий сапожник, снял там мерки с ног негрятенок и сколь выгодную аферу он сумел на этом сделать. Никто ничего не понял. Сидевший направо от председателя Милюков побагровел от негодования, а я, уставившись в тарелку, старательно очищал одну грушу за другой.

Напрасно, впрочем, так негодовал Милюков: в уме ему, конечно, никто не мог отказать, но по бестактности он на следующий день даже превзошел Гурко.

На этот раз обед был интимный, собрались только французские и русские члены «Международного парламентского союза». Все правые отсутствовали и председательство было предоставлено самому Милюкову. У каждого прибора было положено меню, украшенное пучком разноцветных флагов всех союзных государств. Русские гости только что вернулись с организованной мною для них поездки на фронт и, делясь свежими впечатлениями о французской армии, гадали о сроке неминуемой победы над врагом. В открытые настежь окна гостиницы «Крильон», расположенной в одном из двух дворцов, украшающих площадь Согласия, вливался ласкающий весенний воздух. И только несвойственная Парижу уличная тишина напоминала, что враг еще совсем близко, в каких-нибудь шестидесяти километрах от городских ворот. Но во Милюков встает, берет в руки меню и, рассматривая его, произносит следующий короткий тост:

— Я пью, — сказал наш будущий министр иностранных дел, — за то чтобы в следующую нашу встречу среди этих флагов красовались и отсутствующие ныне флаги!..

Мне, как единственному военному среди штатских, как русскому представителю при союзной армии, хотелось провалиться сквозь землю. Хотя немец, сделанный Милюковым на германский и австрийский флаги, был достаточно прозрачен, однако, все присутствующие постарались или не понять его или приписать за веселую шутку.

— Неужели у нас помышляют о мире с немцами? — спросил я Энгельгардта, выходя с обеда и прогуливаясь по Елисейским полям. Энгельгардт мой бывший товарищ по Пажескому корпусу, вернулся из запаса и в форме полковника генерального штаба состоял членом военной комиссии Государственной думы.

— Нет, — ответил он. — Это Павел Николаевич Милюков хотел только состричь. Но отрицать гермапофильство в окружении царя, конечно, нельзя. Сам он, как ты знаешь, человек безвольный, но в вопросах войны тверд стоит за верность союзническим обязательствам. Поверь, что, как и говорил Шингарев, все чинимые тебе неприятности исходят от распутинской и тесно связанной с нею сухомлиновской клики. Она бесспорно сильна, но мы с нею справимся.

— Но каким способом? — спросил я Энгельгардта.

— Да, пожалуй, придется революционным, — не особенно решительно ответил мой старый коллега. — Опасаемся только, как бы слева нас не захлестнуло.

Глава девятая

НАЧАЛО КОНЦА

Все темные предчувствия первых дней войны, вся тревога за родную армию в течение долгих зимних месяцев 1915 года — все нашло себе горькое подтверждение с наступлением первой военной весны.

В это время как раз вернулся из первой поездки в Россию майор Ланглюа, назначенный Жоффром для непосредственной связи с русской ставкой. Никакое письмо не может заменить, в особенности на войне, живого слова, и французы благодаря Ланглюа знали о России гораздо больше, чем русские знали о Франции. Нани, впрочем, как мне писал «черный» Данилов, этим «нисколько не тяготились». Только последним соображением мог я объяснить упорное нежелание и ставки, и генерального штаба назначить с нашей стороны офицера связи, и притом постоянного, как Ланглюа, не открывающего в каждый свой приезд Америки.

Жоффр и на этот раз в выборе исполнителя не ошибся: крепныш, весельчак Ланглюа старался придать себе вид рубахи-парня, чему немало помогало его отличное знание русского языка. Но под этой беззаботной внешностью скрывался тонкий наблюдатель и вдумчивый аналитик. По образованию — политехник, по роду службы — артиллерист, Ланглюа был достойным сыном своего отца, одного из создателей тогдашней тактики артиллерийской стрельбы.

Нашими дружескими отношениями мы с Ланглюа были обязаны в большей мере моей нормандской кобыле масти обэр (чалай, без черных волос), в которую влюбился Ланглюа при наших довоенных прогулках в Булонском лесу, а я после настоятельных его просьб уступил ему эту легкую кровную птичку. Любители лошадей никогда не забывают подобных услуг, и Ланглюа после каждого приезда из России подолгу засиживался в моем рабочем кабинете в Шантильи. Привезенные им сведения об окопной жизни русской армии воссоздавали в памяти маньчжурское зимнее сиденье. Та же растянутость фронта в одну сплошную линию, то же отсутствие стратегических резервов, та же беготня от безделья в штабах, удаленных от фронта на десятки и сотни километров.

На французском фронте каждый генерал, даже командующий армией, считал своей обязанностью побывать ежедневно хоть на каком-нибудь из участков, а потому меня особенно поражало, что русские солдаты видят высшее начальство только на смотрах да на парадах. Кормят солдат хорошо, но зиму они пережидают в серых холодных шинелишках и дырявых сапогах.

В больших штабах царит благодушное самодовольство, а ставка тщится примирять между собою командующих фронтами; подобно Куропаткину, там приняты обстоятельные мотивированные доклады и бесчисленные проекты. Mobilizовано свыше двенадцати миллионов, а солдат в ротах некомплект из-за недостатка в руках. Батареям разрешено выпускать не больше пяти выстрелов в сутки.

Рассказы Ланглюа о немецких зверствах казались чудовищными: в последних зимних боях в Августовских лесах немецкое командование, в отместку за понесенные неудачи, гнало русских пленных разутыми по тридцатиградусному морозу. Перед подобными фактами бледнел и нашумевший рас-

стрел немцами бельгийской патриотки, сестры милосердия мисс Кавель, и все те расправы, которые они чинили в оккупированных французских городах.

На русском фронте после зимних кровопролитных сражений под Лодзью и Варшавой, по своему героизму воскресавших «Илиаду» Гомера, появились уже грозные признаки разложения тыла, заполненного укрывшимися от фронта офицерами, непригодными генералами и присоединившимся к армии дельцами самых разнообразных профессий. Как ни сдержан бывал Ланглуа в выборе выражений и характеристиках «высоких особ», но все же у него изредка срывалось слово *criminel* (преступно), когда он касался работы тыла по снабжению. Мне всегда казалось, что, несмотря на внешнюю откровенность, Ланглуа рассказывает своему собственному начальству гораздо больше, в чем и пришлось убедиться спустя несколько дней.

Совершенно неожиданно меня пригласили отобедать в столовую оперативного бюро, куда никто, кроме «своих», доступа не имел. Я принял было это только за знак дружеского доверия, но, выйдя из-за стола, Гамелен предложил пройтись пешком и незаметно удалиться со мной в глубь темного леса.

— Здесь по крайней мере нас никто не слышит, — начал он. — Скажите, неужели в России настолько сильны гермаофильские течения? Что, по-вашему, представляет собой Сухомлинов, Распутин, какой-то Андронников и, наконец, сама императрица?

Что мог я ответить Гамелену? В ту пору я не имел еще доказательств близости Сухомлинова с германскими шпионами, сомневался даже в справедливости приговора над Мясоедовым, будучи весьма невысокого мнения о работе нашей контрразведки. Про Распутина я слышал перед войной только от Влади Орлова, ближайшего в то время царского наперенника. Он удалился навсегда от двора, после того как высказал лично Николаю II все, что думал про распутного мужика.

Рассказывать обо всех этих подробностях иностранцам я, конечно, не стал и выразил Гамелену лишь уверенность, что в России найдутся люди, которые сумеют вынести немецкую печаль «из собственной избы». Но Гамелен был, видимо, глубоко встревожен рассказами Ланглуа.

— Не забывайте, милый полковник, — продолжал он, — что и мы имели когда-то короля, заплатившего своей головой за то, что жена его была немка.

Меня передернуло, я замолчал, а тонкий Гамелен, почуввав неловкость, перевел разговор на переброску германских дивизий с Западного на Восточный фронт. Этот вопрос к весне 1915 года стал не только серьезным, но и решающим для исхода войны в России.

К счастью, разведывательная служба в ставку к этому времени паладилась, и мы, наконец, договорились о перебросенных за зиму из Франции германских силах.

В начале войны на русском фронте находилось три активных корпуса (I, XVII и XX) и два с половиной резервных (I, гвардейский резервный и 5-я дивизия II корпуса).

До 1-го марта с Западного на Восточный фронт было перебросено:

4 активных корпуса (II, XI, XIII и XXI) — 8 дивизий и 3 резервных корпуса (III, XXIV и XXV) — 6 дивизий, всего 7 корпусов — 14 дивизий, и направлено из Германии три вновь сформированных корпуса (XXXVIII,

XXXIX и XL), то есть еще шесть дивизий. Всего на русском фронте должно было находиться двадцать пять активных и резервных германских дивизий, не считая ландверных и ландштурмных бригад, и тридцать пять — сорок австро-венгерских дивизий.

Кроме того, конец марта характеризовался появлением целой серии новых германских дивизий, формировавшихся за счет полков, отведенных с фронта; из-за недостатка людских запасов, немцы уже начали перетрачивать свои наличные силы. Положение на обоих фронтах становилось все более напряженным, а работа и моя, и второго бюро все более ответственной.

Наконец в эти же первые весенние дни произошло, как нам казалось, исключительное по важности событие: в первый раз с самого начала войны с французского фронта исчез германский гвардейский корпус!

Дюпон стал мрачен, Нелле — озабочен. По вечерам офицеры связи от армии и фронтов звонили и настойчиво требовали от войск срочной проверки сведений о находившихся против них неприятельских дивизиях.

Начальник секретной агентурной разведки, молчаливый до комизма майор Цопф, и вот заговорил, докладывая мне о принятых им срочных мерах по розыскам этой элитарной гвардии.

Моя комната в доме госпожи Буланже превратилась в настоящий шебеш-ный штаб: после шести месяцев войны и долгих настоятельных просьб я получила, наконец, в свое распоряжение настоящего помощника — капитана Пац-Помарнацкого. Шесть месяцев потребовалось для утверждения подобной «штатной единицы», но не даром же один мудрый старец говорил, что «в Российской империи всякая бумага свое течение имеет». Течет она, голубушка, быстро по самой середине реки, а глянц, и застоит в какой-нибудь тихой заводь.

Александр Фаддеевич был исправный, дисциплинированный генштабист, на которого можно было положиться, и казись бы, что, окончив, хотя и одновременно, первыми учениками и Киевский кадетский корпус, и академию, мы могли смотреть на свет одними и теми же глазами. На деле же, сколько мы вместе ни проработали, не понять друг друга до конца не смогли. Едем мы как-то, например, в открытой машине на удаленный от Парижа французский Восточный фронт. Чудная лунная ночь, живописная дорога вьется среди Вогезов, мысли отдыхают от повседневных забот и казенных бумаг. Душа переносится куда-то далеко, далеко, на родину...

— Какая ночь! — нарушаю я невольно молчание.

— Так точно, господин полковник! Погода благоприятствует! — отвечает меня к жизни Александр Фаддеевич.

— Эх, барыня! — сказал как-то всерьез подвыпивший чертолинский конюх Федька чепорной старой леве Ерешкиной, корившей его за полушляпную физию на козлах. — Не душа в тебе, а один пар!

Без душевной глубины понять такую революцию, как наша Октябрьская, было нелегко, и Пац, расставшись со мной, предпочел остаться за границей.

И, впрочем, сохранил навсегда благодарную память о часах, проведенных с ним над составлением телеграфных сводок в тяжелые дни первой военной зимы.

Усилия по розыскам германской гвардии увенчались успехом почти за месяц до появления ее на русском фронте.

Уже 6 апреля я доносил:

«В Эльзас переброшен, повидимому, весь гвардейский корпус, обе дивизии которого высаживались в ночь с 30 на 31 марта на линии Шлейнштадт — Кольмар».

А через две недели уточнял сведения так:

«Получено достоверное сведение, что гвардейский корпус после полного отдыха в течение трех недель в Эльзасе, во вторник 20 апреля погружен на железную дорогу. Здесь, конечно, не знают, куда он направлен, но склонны думать, что он предназначен или в Трентин или в Карпаты, во всяком случае на поддержку Австрии».

Да, мы не знали, мы гадали, но мне хотелось перелететь в русскую ставку (к сожалению, самолеты в ту пору через Германию еще перелетать не могли) и сказать только одно слово: «Готовьтесь!» Мне представлялось, что решительный удар немцев на русском фронте неминуем. Но на каком участке?

Разрешить эту загадку мне помог, как ни странно, вновь назначенный помощник начальника штаба генерал Нюдан. Появление его в Гран Кю Жэ было особенно для меня приятно, напоминая о беспечной молодости, когда я, в чине капитана, гадошировал на маневрах 4-й кавалерийской дивизии в Аргоннах, а Нюдан, сухой артиллерийский майер, с запущенными книзу усами, хрипловатым баском, как после хорошей пьянки, лихо, на полном карьере, командовал конным артиллерийским дивизионом.

Теперь я заходил к нему обычно по окончании рабочего дня, когда огни в коридорах гостиницы Гранд Кондэ уже тушили, а в штабных бюро оставались только ночные смены дежурных офицеров. Нюдан сидел за письменным столом спиной к стене, на которой была развешена громадная карта русского фронта.

О, эта карта! Никогда мне ее не забыть. Смотри!—как будто говорила она мне,—сколько ты плохо работаешь: за восемь месяцев войны не удалось добиться от своего генерального штаба присылки хотя бы десятиверстной карты России. Вместо карты австро-германского фронта, тебе прислали карту Турецкого фронта, и французам пришлось в конце концов сфабриковать своими средствами какую-то импровизированную простыню. Безобразные зеленые пятна изображали на ней непроходимые, по мнению французов, леса, редкие черные линии подчеркивали лишней раз бедность железнодорожной сети, а перевранные названия городов доказывали смутное о них представление наших союзников.

В тот вечер на карте жирной угольной чертой была отмечена линия застывшего русского фронта от Балтийского моря до румынской границы, с выступом в сторону противника у северного края Карпатского хребта. Никаких пометок о расположении русской армии на карте не было.

Разговор с Нюданом завязался само собой вокруг вопроса о гвардейском корпусе.

— Ну и побезобразничали же эти господа в Страсбурге! — рассказывал мне Нюдап. — Без пьянства и разврата немцы не могут воевать. Мы ведь помним их еще по 1870 году, ну а теперь, нагулявшись вельась, они, очевидно, готовят какой-нибудь серьезный удар на нашем фронте.

Тщетно разглядывал я черную линию на карте, не желая дать Нюдану необоснованный отвод и вместе с тем не показать ему лишний раз свою полную неосведомленность о том, что творится в России.

Испытующе посмотрев на меня, он повернулся к карте и, ткнув пальцем в исходящий угол нашего фронта, который тянулся в этом месте вдоль какой-то небольшой голубенькой речушки, авторитетно заявил:

— Вот тут, вероятно, стык ваших фронтов — Западного и Юго-Западного. По-моему, тут и надо ожидать удара.

Я встал, чтобы поближе рассмотреть этот участок, и прочел название речки: Дунаец. Проряд у Герлицы обозначен на карте не был.

— Дунаец! Дунаец! — повторял я себе, пробираясь в темноте через скаковое поле в свое логовище. Сообщать или промолчать о беседе с Нюданом, — вот о чем долго совещались мы с Палем, составляя в эту ночь очередную телеграмму в ставку. Соображения помощника начальника штаба не носили официального характера, не были подкреплены документами, а упоминание о них в служебном донесении могло ввести в заблуждение наше военное руководство. Кроме моих телеграмм, ставка должна была уже располагать более точными указаниями о подвозе германских резервов.

Лишь бы она не увлеклась лишний раз сведениями от нашего центра агентурной разведки, созданного военным агентом в Голландии, полковником Мейером. Германский генеральный штаб давно его перехитрил, засылая в Гаагу собственных «надежных осведомителей», создавая через них ложную стратегическую обстановку. Многовещательные доклады Мейера занимали почетное место в сводках нашего генерального штаба, и перед ними, конечно, бледнели мои сухие телеграммы, кратко извещавшие об обнаруженных на фронте корнусах.

— Нет! — решили мы, наконец, — как сотрудники Гран Кю Жэ мы не имеем права передавать непроверенных сведений.

Они, впрочем, не помогли бы делу: 2 мая, то есть через три дня после беседы с Нюданом, немцы уже прорвали наш фронт как раз в том месте, где мы и предполагали, сидя в далеком Шантильи. На ураганный огонь германской артиллерии нам нечем было отвечать. Началось длительное и тяжелое отступление всего русского фронта.

Первым и трагическим последствием этого события явилось устранение Николая Николаевича и принятие на себя самим парем верховного командования.

Каким бы самодуром или был Николай Николаевич, какими бы ничтожествами, после потери им своего бесценного сотрудника Палицына, он себя ни окружал, все же этот породистый великан был истинно военным человеком, имевшим большой авторитет в глазах офицерства, imponировавшим войскам уже одной своей выправкой и гордой осанкой.

До какого же безумия мог дойти царь, этот полковник с кругозором командира батальона, не способный навести порядок даже в собственной

семье, чтобы возмалить себя полководцем, принять ответственность за ведение военных операций миллионных армий, внести в работу ставки зловредную атмосферу придворных интриг!

Для меня это являлось началом конца.

Если в мирное время военный союз без взаимного доверия представлялся мне только излишним бременем, то во время войны личные отношения между союзными главнокомандующими являлись важным залогом успеха. Жоффр и его окружение с полным основанием считали Николая Николаевича другом Франции и французской армии, но царский двор оставался для них загадочным. Они, конечно, понимали, что вершителем всех вопросов явится не царь, а его начальник штаба, генерал Алексеев, но с ним они не были знакомы и могли судить о нем только по донесениям своих представителей в России. Перезговорчивый, не владеющий иностранными языками, мой бывший академический профессор, скромный, трудолюбивый, не был, конечно, создан для укрепления отношений с союзниками в тех масштабах, которых требовала мировая война.



В тот трагический для России день 2 мая, по странной случайности, мне пришлось поставить от лица родины свою подпись на военной конвенции между союзниками и вступающей в войну на нашей стороне Италией.

Не только мне, но и всему французскому военному миру долго не удавалось усвоить ту простую истину, что за надежным прикрытием миллионов вооруженных людей в грязных серых шинелях сидят люди в смокингах и фраках, плотущие политические интриги и тоже «занимающиеся войной», имея, правда, о ней весьма смутное представление.

Французы долго не без основания считали свой собственный фронт решающим. Но в действительности, после стабилизации его в 1914 году, война приняла характер мировой и важную роль в ней играла Англия.

— Это ведь не наш проект, а желание англичан! — оправдывался передо мной сам Мильеран, когда еще в начале 1915 года я раскритиковал дарланельскую авантюру. Овладение проливами без обеспечения десантной операцией хотя бы одного из берегов я считал попыткой с негодными средствами. Предпринимая эту операцию, англичане не посоветовались даже с Жоффром, а Извольский лишний раз кинулся, погодя, что я, сидя в Шантильи, не был в курсе этого злосчастного проекта.

Та же картина получилась и со вступлением в войну Италии. Вовлечение все новых и новых стран в войну объяснялось тем равновесием сил обеих сторон, выразителем которого явилась окопная война 1915 года.

«По мнению Делькассе (этого типичного воинствующего французско-политикана, получившего портфель министра иностранных дел), выступление Италии явится поворотным пунктом всего хода событий, — доносил Извольский 19 апреля, — тогда как вы (то есть Сазонов и Николай Николаевич) не возлагаете больших надежд на военную помощь итальянских войск».

Об организации итальянской армии мы, русские военные агенты, были осведомлены по секретным сборникам об иностранных армиях, но у меня в голове крепко засел, кроме того, французский анекдот, характеризовавший итальянские войска.

Позадолго до мировой войны Италия решила не отставать от Франции в покорении Северного африканского побережья и, с разрешения держав, предприняла поход в Триполитанию. Победа казалась ей легкой, но когда туземцы не пожелали покориться и стали стрелять, то итальянцы засели в окопы, отказываясь из них вылезать. Наконец нашелся среди них один храбрый капитан. Он выскочил из окопа с саблей в руке и, подавая пример, воскликнул: «Аванти! Аванти!» В ответ на этот призыв к атаке солдаты только маневрировали: «Браво, браво, капитано!» — выражали они восторг своему начальнику, продолжая сидеть в окопах.

Бывают государства, которые выгодно не иметь союзниками, и использовать их нейтралитет для получения от них сырья и промышленной продукции. Италия представлялась мне как раз такой страной: на химических заводах Милана мне удалось разместить крупный заказ на порох, а заводы Фиат могли оказать нам впоследствии крупную поддержку в автомобилях и самолетах.

Решающим, однако, явилось слово Лондона: участие Италии в войне облегчало Англии контроль над бассейном Средиземного моря, и не позже как через неделю после донесения Извольского Россия, Франция и Великобритания одобрили в Лондоне итальянский меморандум о присоединении этой страны к союзникам.

Главным положением этого документа являлось немедленное заключение с Италией военной и морской конвенции, причем Делькассе, стремясь ускорить решение, неоднократно высказывал пожелание подписать эти конвенции в Париже, снабдив для этого соответствующими полномочиями с русской стороны военного и морского агентов.

«На совещаниях в Париже присутствовать нашим агентам разрешается, но без права голоса, — отвечал Сазонов Извольскому, — так как переговоры о совместных действиях итальянской и русской армий верховный главнокомандующий желает вести в ставке с итальянским военным атташе в России».

— Лишь бы поскорее втянуть их в войну, а о военных операциях поговорить еще успеем, — заявил со своей стороны Жоффр, отсутствуя меня с собой на совещание в Париж.

Когда мы вошли в один из кабинетов генерального штаба на бульваре Ми-Жермен, мы встретили обычную картину союзных конференций мировой войны: добрые две трети стола были заняты англичанами, рассеянными в принужденных позах, усердных и всегда довольных людей. Против них, по другую сторону председателя Мильерана, сели несколько скромных французов с деловым видом и большими листами бумаги, на которых они то и дело что-то записывали. Целле присел бочком около Мильерана, а мы с моим морским коллегой, капитаном 1-го ранга Дмитриевым, расположились на почетных местах, подле наших новых союзников — итальянцев.

Редко пришлось мне слышать более красивый и убедительный военный

доклад, чем та речь, которую в течение двух часов произносил стройный красавец, полковник генерального штаба, делегат итальянской армии. Сама его фамилия — Монтанари — звучала так же музыкально, как его родной итальянский язык, созданный, подобно русскому, как будто нарочито для певцов. Не засекречивая никаких данных о своей армии, он на безупречном французском языке объяснял нам и план мобилизации, и порядок развертывания, и даже предстоящие военные операции в Тирольских Альпах. Столица Австрии Вена, казалось, была уже у наших ног!

«Что же это происходит? — шевельно задавал себе вопрос каждый из присутствующих. — Ведь еще вчера этот самый генштабист сидел, быть может, со своими бывшими союзниками в той же Вене или Берлине».

— Я чувствую, что схожу с ума, — потирая себе лоб, говорил Пелле, прогуливаясь со мной под руку в перерыве заседаний по длинному балкону второго этажа, выходившего на бульвар. — Чем вы все это объясняете, чего они могут ждать от нас? Неужели им неизвестно наше с вами невеселое положение?

За парадным завтраком Мильеран, произнес тост, предложил итальянскому делегату, сидевшему направо от него, и мне, сидевшему налево, выпить бокал вина за дружбу наших армий как братьев по оружию...

Чем более парадно празднуется начало, тем горше оказывается конец предприятия, и союз с Италией, вместо радости, подлил немало яду в мою жизнь. Я избегал встречи с моим очень любезным итальянским коллегой. Он всегда находил предлог поплакаться на переброску с нашего фронта какой-нибудь дивизии или бригады.

— Не обращайтесь на это внимания, — утешал меня, бывало, мой приятель Белль, — у них такое превосходство сил, что никакие переброски с нашего фронта не должны их смущать.

Бедный Белль! Он не мог предвидеть, что ему-то и придется драться и умереть во главе бригады, экстренно отправленной в Италию не столько для боевых операций против австрийцев, сколько для преграждения пути бежавшим в панике союзникам после поражения их под Канфретто!

Неумолимо вращается колесо фортуны, и мне, лишенному в 1919 году уже всех прерогатив, пришлось после разгрома немцев встретить в последний раз своего итальянского коллегу в воротах того же здания французского генерального штаба в Париже. Он выходил на бульвар во главе целой военной миссии, разодетой в парадные мундиры с шелковыми шарфами и разноцветными плюмажами. Все итальянцы, узнав меня, почтительно раскланились.

— Ну, поздравляю, — сказал я, приветливо пожимая руки бывшим союзникам. — Наконец-то удалось разбить австрийцев!

Сопровождавшие меня французские генштабисты не могли удержаться от смеха.

★ ★ ★

Вступление Италии в войну вызвало необходимость для союзников сесть за один стол, о чем-то заранее договорившись. Однако только тяжелое положение на обоих фронтах, создавшееся к лету 1915 года, заставило их серьезно призадуматься над вопросом о согласовании действий союзных армий.

Немецкое командование продолжало использовать отсутствие общего руководства у своего врага для сохранения инициативы ведения операций на Восточном и Западном фронтах.

Так, предпринятое Жоффром через неделю после прорыва на Дунае наступление в Артуа явилось запоздалым и не облегчило положения на нашем фронте. Французская операция приняла, кроме того, такой затяжной характер, что телеграммы, составлявшиеся нами на основании данных Гран Кю Жэ, казались нам самым невразумительными: при подвижности русского фронта ничтожное продвижение французских войск трудно было объяснить.

«К концу мая,— доносили мы,— французы ввели в дело около 10 корпусов, но, несмотря на артиллерийский огонь, достигавший небывалого напряжения, им не удалось сломить упорства германской обороны».

Поедем-ка сами на фронт, решили мы с Пацем, и обойдем постепенно весь участок, тянувшийся на сорок с лишним километров, от Ланса до Арраса.

Это направление имело, кроме тактического, и важное стратегическое значение: союзников оно выводило на коммуникации всего неприятельского фронта, а немцам открывало путь к северным французским портам, через которые подвозились английские подкрепления.

Французы показали, что при систематической артиллерийской подготовке и при том одушевлении, с которым они вели пехотные атаки, они способны овладеть сильно укрепленными селениями и взломать германскую оборону, несмотря на подавляющее число пулеметов у немцев и применение ими бетонированных укреплений.

«Однако развитие успеха задерживается тяжелой германской артиллерией,— доносили мы,— она не прекращает своего действия и по настоящий день, развивая сильнейший огонь против завоеванных французами участков. Именно в этот последующий период боя французы и несут наибольшие потери, достигшие у Арраса ста тысяч человек».

«Долгое стояние на месте дало обоим противникам возможность пристреляться с поразительной точностью, чему в значительной степени содействует авиация. Калибр новых 105-мм орудий признается недостаточно мощным, и французы энергично работают над созданием артиллерии более крупных калибров».

«Французская пехота,— заканчивал я одну из телеграмм после осмотра фронта,— никогда не была в таком блестящем положении: люди кормлены лучше, чем в мирное время, дух превосходный, даже в частях, понесших тяжелые потери, санитарная служба, наконец, налажена, одежда и снаряжение — все построено заново».

Подобные донесения доказывали, сколь большую работу провела французская армия за первый год войны и диктовались искренним желанием, чтобы русская армия возможно шире использовала опыт войны на Западном фронте, несмотря на ее казавшуюся беспросветность.

Характерно, что для передачи в Россию более подробных соображений с положением на Западном фронте, мне приходилось прибегать к форме личных

писем новому генерал-квартирмейстеру, Леонтьеву, и пользоваться для этого не дипломатическими курьерами, а случайными надежными случаями.

«Насколько французы откровенны и правдивы со мной в отношении сведений о неприятеле, настолько они продолжают быть сдержанными во всем, что касается собственной их армии, из опасения огласки не через меня, конечно, а через инстанции, через которые эти сведения могут пройти», — заканчивал я одно из писем, намекая на признаки недоверия союзников к некоторым русским военным и дипломатическим кругам.

Вот как, между прочим, представлялось мне тогда общее положение:

«Напряжения сил и средств Германии и Франции почти одинаковы: при 70-миллионном населении немцы выставили от 75 до 90 корпусов, считая в том числе и ландверные войска, а французы при 39-миллионном населении — от 45 до 50 корпусов. Потери немцев, считая оба фронта, более значительны, чем французские, а потому истощение в людском запасе должно наступить для них скорее, чем для французов.

При том числе потерь, которые французы несут в операциях за последние месяцы, они рассчитывают быть в состоянии поддерживать численный состав выставленных ими в настоящее время войсковых единиц примерно до марта будущего 1916 года, после чего им придется или расформировывать части, или поощрять их численный состав — словом, идти на убыль. Они надеются, однако, сохранить при этом призывной класс 1917 года, как последний резерв до весны 1916 года.

Французская главная квартира не может опасаться прорыва фронта. Опыт наступления в Шампани и Артуа показал, что тактический фронт благодаря артиллерии может быть прорван, но стратегический успех будет без труда парализован тем из противников, который будет иметь в распоряжении сильные резервы.

Те двадцать дивизий, что французам удастся сохранить в распоряжении главнокомандующего, способны парировать удары, но их недостаточно для развития первого успеха. По той же причине и контратаки немцев на участках, не имеющих даже стратегического значения, вызывают у французов удивление. «Зачем, спрашивают они себя, немцы, не располагая сами резервами, несут бесплодные потери?..»

Беспроблемной представлялась, таким образом, обстановка после безрезультатного весеннего перехода французов в наступление в Артуа. Англичане все еще медлили, и Западный фронт оказывался неспособным поддержать русские армии, терявшие с каждым днем результаты своих победоносных наступлений первых месяцев войны.

В военные вопросы вмешались дипломаты и после долгих переговоров, по инициативе Делькасса, было решено собрать в июле 1915 года в Шантильи первый военный совет главнокомандующих Франции, Англии, России, Италии, Бельгии и Сербии. В случае невозможности лично присутствовать, главнокомандующим предлагалось прислать своих представителей.

Ставка, повидимому, не придавала значения этому союзническому началу, так как лишь только после повторных телеграмм, и моих, и посла,

я получил за два часа до открытия первого заседания разрешение участвовать в совете, «без права принимать какие-либо обязательства в отношении действий русской армии».

Никаких других директив я, разумеется, не получил и вошел в кабинет Жоффра, где происходило совещание, с пустыми руками. Председательствовал Мильеран, предоставивший первое слово французскому главнокомандующему.

— Необходимо установить принцип, — начал Жоффр, — что та из союзных армий, которая в данную минуту выдерживает главный натиск неприятельских сил, имеет право рассчитывать, что остальные союзные армии придут ей на помощь переходом в энергичное наступление на своих театрах войны. Подобно тому, как в августе и сентябре 1914 года русская армия перешла в наступление в Восточной Пруссии и Галиции, чтобы облегчить положение французской и английской армий, отступавших под напором почти всей германской армии, нынешняя обстановка требует таких же действий со стороны союзников, так как русская армия выдерживает за последние два месяца главный натиск германцев и австрийцев и принуждена временно отступать.

Генерал Жоффр был поддержан фельдмаршалом Френчем в необходимости перехода в наступление в ближайшем времени французских и английских сил.

От имени верховного главнокомандующего я выразил благодарность за высказанные главкомандующими возвышенные чувства и за намерение предпринять наступление, дабы облегчить положение на русском фронте. Я надеялся было этими красивыми фразами отделаться от каких бы то ни было расспросов, но Мильеран со свойственной ему настойчивостью предложил мне высказаться хотя бы в общих чертах о положении русской армии. При полной своей неосведомленности, пришлось вспомнить уроки академического профессора генерала Золотарева, используя все ту же злополучную карту Юдана. Она выглядела зловеще: отмечавшиеся на ней ежедневной линией русского фронта образовали громадную черную лавину, неудержимодвигающуюся в восточном направлении. Где она могла задержаться? Да конечно только на тех бесчисленных «лесисто-болотистых» и «речных» преградах, с которыми мы были так хорошо ознакомлены когда-то в академии. У меня выходило так, что чем дальше углубляются немцы в нашу страну, тем опаснее становится их положение. Я имел вид ученика, державшего трудный экзамен перед ареопагом строгих профессоров. Только добродушный толстяк Жоффр улыбкой и утвердительными кивками головы выражал как бы свое сочувствие. Не обнадеживая союзников возможностью скорой остановки наших отступавших армий, я указал, что развитие операций на Восточном фронте потребует значительного времени, которое союзники должны использовать для нанесения решительного удара на Западном фронте еще до наступления зимы.

Жоффр при этом нахмурился и счел нужным оттенить, что лучше было бы не употреблять слово «решительный», так как настоящая война приняла такие размеры, при которых самые блестящие успехи не всегда приводят к решительным результатам, и что усилие, которое предстоит сделать союзникам, будет зависеть от средств, предоставленных промышленностью в их распоряжение.

На вопрос Жоффра, будет ли русская армия в состоянии перейти в наступление в том случае, если немцы ослабят свои силы на Восточном фронте, я ответил, что не в праве дать определенных уверений по этому поводу и не знаю планов верховного главнокомандующего.

— А будет ли русская армия достаточно обеспечена материальной частью, чтобы быть в состоянии изменить настоящий ход военных событий? — спросил Мильеран.

Тут уж лекции Золотарева спасти меня не могли, и пришлось ограничиться красноречивыми, но туманными фразами о предпринятой в России мобилизации частной промышленности и о надеждах, которые мы возлагаем на материальную помощь союзников.

В результате было постановлено, что французские армии будут продолжать ряд «локализованных действий» и предпримут общую наступательную операцию после пополнения запасов орудий и снарядов и поддержки английской армии, ожидавшей подкрепления в размере шести дивизий. Итальянская же армия будет развивать начатое ею наступление, с которым должны согласоваться действия сербской армии.

Подчеркивание совещанием значения операций этих наиболее слабых союзных армий указывало, что на них-то до поры до времени и возлагаются задачи по сказанию поддержки русскому фронту.

С тяжелым чувством докладывал я о результатах конференции Извольскому. Русской пехоте придется героическими штыковыми контратаками, не поддерживаемыми артиллерией, прикрывать отступление армий.

Минул июль, прошел август, бесконечно тянулись сентябрьские дни, а обещанное наступление союзных армий все откладывалось. Это было новым испытанием нашего терпения — этого важнейшего качества для всякого военного дипломата.

Раздражать французов бесполезными запросами, как того требовало начальство, было, конечно, напрасно. Хотелось лишь верить, что серьезная подготовка наступления позволит на этот раз если не разгромить, то хотя бы серьезно расшатать казавшуюся неодолимой стену немецкой обороны.

★ ★ ★

Наконец желанный день настал:

«Сегодня, 25 сентября, — телеграфировал я, — французская и английская армии перешли в общее наступление, подготовленное усиленным артиллерийским огнем в течение последних четырех дней. Огонь велся крайне систематично: полевые орудия произвели широкие проходы в проволочных заграждениях первой и второй линий противника. Борьба орудия в 120 и 155 мм разрушили укрепленные опорные пункты. Длинноствольные, тех же калибров, боролись с открытыми авиацией неприятельскими батареями. Мортиры 270, 280 и 370-мм действовали против особенно важных опорных пунктов и, наконец, длинные 14, 16-сантиметровые и 274 и 305-мм произвели разрушение железнодорожных линий в тылу противника, прекратив сообщение вдоль фронта в районе Шампани. На

конец сегодня с рассветом артиллерийская подготовка к атаке была закончена огнем траншейных 58 и 240-мм мортир. Почти одновременно, около девяти часов утра, пехота союзных армий атаковала:

Первое — англичане в районе между Ла Бассе и Лансом, на фронте в 25 км, силами в 13 дивизий и 900 орудий, из коих 300 крупных калибров.

Второе — французы в районе Арраса, на фронте в 20 км, под начальством генерала Фош, силами в 17 пехотных дивизий, 700 полевых орудий, 380 тяжелых орудий и 7 кавалерийских дивизий, из коих 4 английских.

Третье — французы в районе Шампани, на фронте в 30 км, под начальством генерала Кастельно, силами в 34 пехотных дивизий, 1400 полевых орудий, 1100 тяжелых орудий и 7 кавалерийских дивизий.

По последним полученным сведениям (21 час) союзные войска овладели первыми германскими линиями на многих пунктах и продвигаются вперед. Прекрасная до сих пор погода, способствовавшая артиллерийской подготовке, со вчерашнего дня, к сожалению, испортилась. Дождь идет на всем фронте».

Дождь. Неужели это такое необычайное явление природы, что о нем стоило упоминать в докладе, да к тому же телеграфом, о важной военной операции!

Неужели французы также неженки, что не могут воевать под дождем?

Так, вероятно, рассуждали те мои начальники, от которых за всю войну не удалось добиться получения через башню Эйфеля хотя бы самых кратких, но регулярных метеорологических сводок. Зачем французам требуется для перехода в наступление в Шампани иметь сведения о погоде в Москве или Якутске? Какой изощренный этот Игнатьев, не дающий покоя своими телеграфными запросами!

Если десять лет назад в Манчжурии сражение на Шахе было приостановлено непроходимой грязью, стеснявшей передвижение артиллерийских батарей и переброску пехотных частей, — то теперь, во Франции, непогода оказывала еще большее влияние на подготовку атаки, лишая возможности использовать для корректирования артиллерийской подготовки новый могущественный фактор — авиацию.

Первые и даже вторые линии германской обороны были прорваны на всех фронтах, но глубина ее потребовала перемены позиций для коротких орудий. Некоторые атаки на отдельных участках еще продолжались, но через десять дней наступление окончательно приостановилось. Цель — прорыв германского фронта — не была достигнута, «отчасти потому, — объяснял я, — что атаки велись против участков, уже ранее атакованных, а также потому, что длительная подготовка не могла возместить потери элемента внезапности».

Некоторым утешением для русской армии могло явиться только обнаружение на французском фронте гвардейского и десятого корпусов, вернувшихся из России в самом плачевном, обтрепанном виде.

Инициатива военных операций оставалась еще в руках немцев, но «моральное превосходство, по мнению французов, уже переходило на сторону союзных армий».

Нам с Наем сентябрьская операция дала богатейший материал для изучения всех новых тактических приемов, выработанных на опыте французского фронта.

Мы все еще надеялись, что русское командование сумеет сделать выводы из тяжелой летней кампании и поймет необходимость не отставать от быстро развивавшихся современных методов войны.

Разве мыслима была еще совсем недавно подготовка атаки трехдневным методическим огнем 1285 полевых и 650 тяжелых орудий на фронте в 32 километра, с расходом 1 320 000 снарядов!

Приходило ли в голову возвращение к тактике Петра Великого, создавшего полковую артиллерию: некоторым французским полкам были впервые приданы 65-мм пушки — прародительницы современных ротных орудий!

Могла ли авиация еще несколько недель тому назад помышлять о вооружении самолетов пушкой, срывающей без труда излюбленные немцами привязные сигары.

Но больше всего поражал нас внешний вид пехоты в стальных касках, устранивших три четверти всех ранений в голову. Тщетно навязывал я этот вид снаряжения нашему командованию, предлагая использовать с этой целью налаженное во Франции изготовление касок. Николай II, которому были продемонстрированы высланные мною образцы, нашел, что каска лишает русского солдата воинственного вида. Потребовалась и тут острая телеграфная посылка к Петрограду, чтобы получить разрешение на срочный заказ через французское правительство одного миллиона касок.

★ ★ ★

Сентябрьская операция ознаменовала начало конца карьеры Жоффра. Безрезультатные повторные наступления, связанные с крупными потерями, дали богатую пищу для той закулисной работы, которая велась против главнокомандующего и его окружения некоторыми влиятельными членами парламента. Первоначально и одной из главных причин их недовольства был уверенный отказ в выдаче парламентариям пропусков не только на фронт, но даже в зону армии.

Открытое выступление в Палате депутатов в военное время было невозможно, и потому враги решили работать за кулисами. Они нашли для себя надежного сотрудника среди ближайшего окружения главнокомандующего, в лице представителя прессы, депутата Андре Тарье. Жоффри не подозревал, что за его скромным обеденным столом сидит пригретый им предатель и что сентябрьское наступление 1915 года является предлогом для нанесения ему первого, а верденская операция 1916 года — последнего удара, уже давно подготовленного соединенными усилиями Тарье и его закадычного друга Мажино.

В звании пехотного сержанта Мажино был серьезно ранен в ногу и, опираясь на палку, тяжело передвигался. Этим он заслужил законное право

критиковать начальство и выдвигаться в председатели военной комиссии палаты депутатов. Под личиной горячего патриота, отдавшего себя без остатка военному делу, Мажино представлял собой тип испытанного с юных лет политического интригана, считавшего депутатский мандат, а тем более министерский портфель, если не прямым источником крупного личного обогащения, то во всяком случае обеспечением привольной парижской жизни: двери богатых ресторанов и объятия красивых женщин должны были открываться перед ним сами собой. Одна уже послевоенная липия Мажино представляла верный способ наживы если не для самого ее создателя, то для всех его многочисленных подруг и друзей.

Мажино был моим старинным знакомым, и потому я несколько не удивился, когда однажды после сентябрьской операции этот рыжий великан позвонил мне по телефону, предлагая позавтракать с ним запросто в ресторане «Буазен». Не смутили меня также его рассуждения за хорошим стаканом бордоского вина о беспилотности частичных переходов французской армии в наступление. До меня уже ранее доходили слухи по этому вопросу от тыловых стратегов. Но вдруг неожиданно, после небольшой паузы, Мажино, как бы обдумывая заранее подготовленные слова, пасунил, как обычно, свои густые брови и в упор меня спросил:

— А что бы вы, русские, сказали, если бы мы прогнали Жоффра?

Столь непочтительный отзыв о главнокомандующем, у которого я как раз это утро был с докладом, меня покорибил.

— Да ничего не скажем,— резко ответил я, чем совершенно обезоружив давнишнего бывшего сержанта, которому, конечно, прекрасно были известны мои отношения с Жоффром.

— Это ваше внутреннее дело,— продолжал я,— и мы в него не вмешиваемся, тогда как у вас только и разговоров о Распутине, императрице и Сулляминове. Это тоже наши внутренние дела.

— Но, дорогой полковник,— уже с заискивающей улыбкой попытался Мажино возобновить неудавшийся разговор.— Вы говорите со мной как официальное лицо, а я просто хотел узнать ваше личное мнение.

— Что мне еще вам сказать!— начал я.— Единственный человек из ваших генералов, про которого слышали русские солдаты на фронте,— это «панъ Жоффр». Его популярность на всех союзнических фронтах громадна. А что касается вашей собственной армии, то, помните мое слово, если «проедания», как вы выражаетесь, Жоффра, вы разрушите тем самым его рабочий аппарат,— столь вам целюбезный Грап Кю Жэ, то не пройдет и шести месяцев, как вы окажетесь в самом тяжелом положении.

Я почти не ошибся: генерал Жоффр был смещен с должности главнокомандующего 2 декабря 1916 года, а предпринятое его преемником, генералом Нивелем, наступление в феврале 1917 года,— то есть через два месяца,— повлекло за собой столь тяжелые потери, что французские армии оказались почти на краю гибели.

Медленно, но неумолимо закатывалась звезда Жоффра. Сентябрьское наступление оказалось концом и моей активной работы по осветождению, так как с прибытием вскоре после этого представителя ставки генерала Жюлиана началось изучение даже таких крупных и важных операций, как верденская битва, для нас с Панцем невозможным.

От поездок на фронт у меня остались, как дорогое воспоминание, два эскадрона немецкого снаряда, угодившие в крыло и в покрывку моего родильщика, заменившего в этой войне верного старого манчжурского Васю.

Неужели, думалось не раз, вся моя работа в Гран Кю Жэ окажется не только нецененной, но и бесполезной для России?

Глава десятая

НАЧАЛЬНИКИ И ПОМОЩНИКИ

Долгие годы, проведенные за границей, хотя и не оторвали меня от моей матери-родины, но несомненно скрыли от меня многое из русской действительности.

В мирное время я поставил себе за правило, всеми правдами и неправдами, добиваться разрешения подышать русским воздухом по крайней мере раз в год: явиться и получить указания начальства на Дворцовой площади отобедать и посидеть за стаканом вина в родном полку на Захарьевской, навестить семью в Чертолине и с крыльца отчего дома потолковать со смердинскими и карповскими крестьянами, заехать по дороге в Белокаменную поклониться древнему Кремлю и за ботвиньей в «Славянском Базаре» послушаться московских «дворянских сплетен».

Эта возможность отпала для меня с первого дня войны, и пришлось жить на тех запасах мыслей и чувств, что были накоплены с детства воспитанием и службой в русской армии.

Если после русско-японской войны можно было, поругивая за глаза высокое начальство, строить планы о необходимых реформах, то в мирную войну на мою долю выпало уже сгорать не раз от стыда не только за своих начальников, но и за некоторых ближайших помощников. Трудно бывало внушать иностранцам старую военную мудрость «не сунуться в гарнизон не первому встречному плохому одетому барабанщику». Еще труднее, бывало, убедить соотечественников, что многое из того, с чем можно было мириться у себя дома, нельзя было выносить на суды и нересуды союзников.



Первым русским высоким гостем, посланцем самого царя во Францию явился свиты его величества генерал-майор князь Юсупов граф Сумароков-Эльстон. Соединение в одном лице двух титулов и трех фамилий объяснялось очень просто: у последнего из рода князей Юсуповых, предку которого Пушкин посвятил стихотворение «Вельможа», была единственная дочь — наследница, между прочим, и великолепного подмосковного имения «Архангельское». Она была не столь красива, сколь прелестна с седеющими с ранних лет волосами, обрамлявшими лицо, озаренные лучистыми серыми глазами, словом она была такой, какой изображена на знаменитом портрете Серова.

В молодости княжна «выезжала в свет», то есть танцевала на всех петербургских балах высшего общества. Все ее товарки давно повиновились замуж, но красивой княжне никто не смел сделать предложения: богатыми невестами, конечно, не брезгали, но Юсупова была уже настолько богата, что гвардейцы даже самые знатные опасались предлагать ей руку из боязни запятнать себя браком по расчету. Каким-то друзьям удалось, наконец, убе

ить одного из кавалергардских офицеров, хоть и недалекого, но богатого и дослывшего уже двойную фамилию Сумароков-Эльстон, жениться на Юсуповой.

Неглупая и очаровательная супруга сделала карьеру этого заурядного гардейца, но ума, конечно, ему придать не смогла.

На этот раз миссия, возложенная на Юсупова, была, правда, не очень сложна: он должен был вручить Жоффу за победу на Марне высшую русскую боевую награду — Георгиевский крест 2-й степени (Георгия 1-й степени — ленту через плечо имели в мое время только два фельдмаршала: Турко и великий князь Михаил Николаевич).

Жоффр, узнав от меня об этой награде, был крайне польщен и решил придать встрече посланца царя возможно более интимный характер. Он знал, конечно, что деловых разговоров иметь с Юсуповым не придется, и потому решил привести его из Парижа в Гран Кю Жэ прямо к завтраку, ровно в полдень. Этот священный для французов час соблюдался, между прочим, и на войне: от двенадцати до двух на фронте заключалось как бы негласное перемирие, и пушки с обеих сторон переставали стрелять.

Зная, насколько скромен стол главнокомандующего, я посоветовал майору Бузелье обратить особое внимание на меню завтрака и качество вин, до которых, как мне было известно, Юсупов был большой охотник.

Выйдя в назначенный час с Юсуповым в кабинет Жоффа, я не сделал себе права, как обычно, представлять соотечественника: боюсь уж он был знатым, и потому предоставил слово самому представителю царя. Но мой план не удался: Жоффр стоял переди комнаты, ожидая, как это подобает военному, какого-то приветствия со стороны прибывшего младшего его в чине, а Юсупов тоже молчал, рассчитывая, что Жоффр обязан первым расстыпаться перед ним в любезностях. После неприятой заминки Юсупов что-то пробередтал и передал Жоффу коробку с орденем, а тот произнес заранее составленный комплимент по адресу русской армии, чем считал официальной частью законченной. Но не тут-то было. Юсупов захотел не только объяснить значение ордена, но и лично воздеть на шею поскляжого толстяка Жоффа белый крест на черно-желтой ленте. Это оказалось не так просто сделать. По французскому обычаю шейные кресты в минуту их получения завязывались для ускорения поверх мундира, а Юсупов не хотел этого признавать и настаивал, чтобы главнокомандующий снял при нем мундир. Тот не согласился предстать в подтяжках, вероятно по первой свежести, перед раздетым двусторонним генералом, и позвал на помощь дежурного ординарца. Юсупов, однако, не унимался и полез сам завязывать ленту под расстегнутый наполовину мундир покрасневшего от конфуза старика. Я, вероятно, тоже покривился, но укротить «его сиятельство» не мог.

Облегчению вздохнув, перешли мы, наконец, в соседнюю крохотную комнату столовую, где был накрыт стол на шесть кувертов. Начался завтрак, за ним беседа или, точнее, монолог Юсупова, не прекращавшийся в течение трех мучительных часов.

— Надо, чтобы вы знали, — хвастливо врал Юсупов, — что такое георгиевский крест. Я, например, обещаю госпиталю и приказалю на грудь всех раненых или георгиевский крест, или медаль.

«Неважная награда», — мог подумать Жоффр, не зная различия между

офицерским георгиевским крестом и солдатским «егорием», то есть «знаком отличия военного ордена».

Сидевший направо от меня Пелле снисходительно улыбнулся, а Жоффр, заправив за воротник салфетку, усерднее стал пожирать устрицы. Он всегда отличался хорошим аппетитом.

— Главным нашим несчастьем является немецкое засилье. Представьте, мой генерал,— продолжал тараторить Юсупов на петербургском, то есть полуграмотном французском языке высшего общества.— В Москве, например, уж это кажется русский город,— наш офицер не может себе купить бикопля. Хозяева магазинов — немцы запрятали товары и не хотят их продавать!

Пелле перестал улыбаться, а Жоффр, отбросив салфетку свои пышные седые усы, не удержался и сочувственно изрек:

— *Ce n'est pas possible!* (Не может быть!)

Когда после поездки во Францию Юсупов был назначен генерал-губернатором в Москву, то произведение погромы магазинов на Кузнецком мосту меня не удивили. Они уже в Шантильи представлялись мне неизбежными.

— А кроме того, большим несчастьем для нашей армии являются интенданты,— неизвестно почему избрал подобную новую тему уже слегка раскрасневшийся царский представитель; он уже который раз нарушал установленный обеденный ритуал и требовал от денщика Жоффра подливать себе в стакан только красного вина: другого он не признавал.

— Русские солдаты имеют вот какие ноги,— показал он широким жестом обеих рук,— а интендантство поставляет вот какие малюсенькие сапоги.

Жоффр сделал вид, что не слышал, Пелле тоже уставился в тарелку, но зато сидевший налево от меня злоязычный Тарье, давно толкавший мою ногу под столом, на этот раз не выдержал, и нагнувшись, шепнул мне на ухо:

— Правда исходит из уст младенцев, это ведь совсем не то, что вы нам рассказываете.

Юсупов, заметив, вероятно, что на воспыле темы французы не реагируют, перешел на духовные, и поплел уже такую сложную белиберду про интриги не то ярославского, не то вологодского архиерея, что я сам разобраться в них не мог, мысленно заткнув уши и ожидая конца нитки.

Перед подачей кофе денщики по общеустановленному обычаю стали поспешно прибирать всю посуду со стола, но Юсупов категорически запротестовал.

— Оставьте мой стакан, оставьте,— повторял он, удерживая рукой очередной подопитый стакан красного вина. Тут уже сам Жоффр вступился и приказал не только не убирать, но продолжать подливать вина русскому гостю...

Короткий зимний день уже склонился к вечеру, когда, выйдя из-за стола и распростившись с хозяином, я собирался увезти уже побагровевшего генерала в Париж. Но и это не удалось.

— Игнатъев, на фронт! Везите меня на фронт! Вы вот тут тыловые не знаете, что такое фронт!— и, перебив на русский язык, он стал разговаривать со мной уже тем начальническим тоном, каким привык говорить с офицерами, не имеющими чести носить, как он сам, кавалергардский мундир. Французы могли только подозревать, что генерал чем-то крайне доволен и сочувственно пожимали нам руку, оформляя разрешение для поездки на выбранный по их совету ближайший боевой участок.

Для того чтобы только до него доехать, требовалось не менее двух-трех часов и терять бесцельно драгоценное для меня время на шодульяного дупера казалось нестерпимым.

Как я и предупреждал, мы подъехали к тыловому ходу сообщений в толной темноте. Густой холодный туман спустился на Компьенский лес, участок был спокойный, но громкий разговор на передовых линиях был воспрещен. Для курьера требовалось спускаться в убежище.

— Труссы! — негодовал Юсунов, не выпускавший изо рта папиросы. Его уже совсем развезло, и, останавливаясь через каждые сто шагов, он негодовал, что его не доставили на машине ближе к переднему краю. Наконец за одним из поворотов хода сообщений мы встретили бравого бородатого зуава в феске и лиричайных красных шароварах. Это был хороший пример оставаться и предложить зуаву папиросу из шикарного золотого люрсенгара с марским бриллиантовым вензелем, но часовой любезно отказался.

Траншеи становились все глубже и темнее, а его снательство все ворчливее.

— Где же, наконец, стрелковые цепи? Где резервы? — мучил он меня вопросами. Объяснить, что в окопах выставлены только наблюдатели, не стоило, и я почувствовал истинное облегчение, спустившись, наконец, в ближайшую глубокую офицерскую землянку: тут уж князь мог накуриться асласть и вдоволь помучить рассказами о российских порицках совершенно растерявшегося французского капитана, проведенного жизнь между скучной газармой и жаркой африканкей пустыней.

Посещение фронта было закончено, но почетного гостя довести до Парижа мне все же не удалось: проезжая через какую-то деревушку и узнав, что желтый фонарик обозначает штаб кавалерийской дивизии, князь вышел из машины и заявил знакомому генералу, что он сам кавалерист и может на этом основании у него переночевать.

Я просто махнул рукой, к тому же меня в Париже ждали срочные и гораздо более важные дела.

Казалось бы, что практика мирного времени должна была меня приучить к сатрапным повадкам Юсуновых и Романовых за границей, но непонимание ими истинного смысла войны еще более углубило пропасть между ними и тем скромным военным французским миром, с которым я сроднился, но который они никак понять не могли.

★ ★ ★

Война явилась переоценкой многих ценностей. Этой судьбы не избежала и франко-русская дружба: «друзья и союзники» решили, что наступил удобный момент использовать союзные отношения для личной денежной и служебной выгоды.

Начало этого нового рода деятельности было положено в Бордо, а инспирировал его не кто другой, как Озиобкинин. Чувствуя, что его проекты не встретят сочувствия с моей стороны, он нашел себе союзника в лице жены друга — госпожи Извольской. Как всякая лютеранка, она, кроме пенния по воскресным дням соответствующих месалмов, была обязана «делать добрые дела» и никому, например, не отказывать в рекомендации. Этим не замедлили воспользоваться не только укрывшиеся в тылу французские шпионы, но и

несколько опасные авантюристы. Шесол знал эту слабость своей супруги и предупредил меня:

— Если кто-нибудь явится к вам с рекомендательной карточкой моей жены, я заранее прошу вас, полковник, во всем ему отказать!

На Ознобишина Извольский уже давно махнул рукой, и мой помощник мог беспрепятственно воспитывать симпатичных ему французов в духе франко-русской дружбы, как он всегда ее понимал. Еще задолго до создания в России пресловутых «земгусаров», он облачал в военную форму сынков богатых родителей, владельцев роскошных лимузинов и образовал из них две «русские санитарные автомобильные колонны», испросив для них, конечно за моей помощью, высочайшее покровительство самой императрицы. Наконец для «вещной важности» во главе колонии были поставлены два русских штатских приятеля Ознобишина, хорошо говорившие по-французски и переодетые в какую-то фантастическую полувойсковую форму с царскими коронами на золотых погонах.

Вот каким образом под русским флагом был создан очаг самого беззащитного укрывательства, дурная слава которого не замедлила достигнуть до самого Гран Кю Жэ. Под благовидным предлогом пришлось это «доброе начинание» ликвидировать, а наиболее наглых из молодчиков познакомить с менее привольной жизнью во французских окопах.

★ ★ ★

Едва я успел потушить скандал в колоннах Ознобишина, как меня ожидал новый сюрприз, и на этот раз уже от моего ближайшего подчиненного штабс-ротмистра Шагубатова, присланного в мое распоряжение еще в мирное время.

Звоню я как-то раз Ознобиннику в Париж и прошу прислать мне срочно в Шантильи одну нужную бумагу. Он предлагает использовать для этого не сложного дела Шагубатова, и не возражаю, и через два часа этот мясца себя красавцем улан, воздев на себя боевые ремни, саблю и револьвер, прилетает ко мне в Гран Кю Жэ.

Передав пакет, он просит разрешения на обратном пути заехать «на еду только часечек» в знакомый замок, нанести визит молодой герцогине Граммон. Запрещать что-либо без уверенности, что приказ будет исполнено было не в моих правилах, а потому, не имея времени заниматься перевоспитанием незадачливого ловеласа, я согласился и тут же, признаюсь, про него забыл. Однако не надолго: уже на следующее утро, направляясь в помещенье штаба, я встретил мчавшийся по направлению к Парижу какой-то донотный открытый автомобильчик; в нем восседал мой собственный помощник а рядом с ним держал в руках уланскую саблю усатый французский жандарм Семенский не оставалось — Шагубатов был арестован.

В Гран Кю Жэ Дюлон, снисходительно улыбаясь, посвятил меня немедленно во все дело, а отпущенный по моему ходатайству на свободу Шагубатов, в тот же вечер, с возмущительным спокойствием дополнил мне в парижской канцелярии всю картину произошедшего. Оказалось, что в Шантильи он мне «врал» и визит к Граммонам выбрал только как предлог для проезда на передовые линии фронта. Ему хотелось просто похвастать подобным «подвигом» перед великосветскими героями парижского тыла.

Но выезде из Шантильи он приказал тому самому шоферу, что вывозил его когда-то из Парижа в Бордо, ехать на этот раз не на запад, а в сторону немцев, — на восток.

Карты, как всегда у Шагубатова, не было, а потому, сбиваясь постоянно в сторону, он лишь в полной темноте добрался до передовых линий. Никто по дороге не смел задерживать «помощника русского военного агента», как было указано на специальном пропуске в зону армий, полученном Шагубатовым при переезде в Гран-Кю-Мэ.

И вот он в окопах. По темному ходу сообщений его проводят в убежище старого командира, который в первую минуту сражен и польщен визитом столь высокого гостя. Его надо угостить, и несколько офицеров, собравшихся к ужину в землянку, посылают срочно за шампанским, чтобы выпить за здоровье храброй русской армии. Они с любопытством рассматривают ее предстателя и засыпают его вопросами, но ответы Шагубатова изводят старшего из столем капитана на более чем странные размышления.

— Скажите, — спрашивает он Шагубатова, — сколько орудий в вашей первой батарее?

— Восемь! — с дипломом отвечает помощник русского военного агента, подозревая, что всякому французскому офицеру известно о переформировании русских восьмiorудийных в шестiorудийные батареи.

— А сколько пулеметов приходится у вас на батальон?

— Хорошо не помню, — бормочет Шагубатов, — но достаточно.

Не может быть! — думает про себя французский капитан, — чтобы русский офицер, да еще военный атташе, не знал бы организации собственной армии. Не самозванец ли этот лохотный молодой человек с закивающим лысым взглядом и напускной серьезностью? Проверить бы его документы!»

— Но как же нам удалось прообраться к вам? — неожиданно задает напоследок французский капитан.

— А вот мое разрешение, — не смущаясь отвечает Шагубатов, вынимая из внутреннего кармана походного кителя шикарный бумажник.

— Ах, какой красивый, позвольте полюбоваться, — и француз, нетерпясь и продолжая беседу, начинает рассматривать содержимое бумажника.

— Говорят вот, что револьверы у вас хороши. Может, вы скажете, какой из систем?

В ответ Шагубатов, желая похвастаться своим оружием, вынимает пистолет из кобуры и передает его через стол хозяйшу землянки.

— К великому моему сожалению, — спокойно положив руку на револьвер, объявляет свой приговор француз, — я вынужден вас арестовать!

Напрасны были слезливые протесты потупившего глаза Шагубатова: немой объяснения капитан вынул из его бумажника и молча показал присутствующим фотоснимок, изображавший германского офицера в парадной форме, в каске и при всех орденах.

— Это, это портрет возлюбленного одной моей возлюбленной, мадемуазель Жермен д'Англоман, — бормочет Шагубатов. Этот человек состоял перед войной секретарем германского посольства в Париже и, уезжая, оставил ~~за~~ на память эту карточку, а мадемуазель, опасаясь подозрений со стороны французской полиции, просила меня ее сберечь.

— Ну, простите, сударь, — возмутился капитан (за военного он Шагуба

това уже не считал), — я не в силах поверить вашим объяснениям. Во всей французской армии не найдется офицера, который бы согласился принять на себя от женщины подобное унижительное поручение.

Он обезоружил плачущего, как баба, Шагубатова и пригласил его провести ночь на скамье, греясь у камина, под надзором часового, поставленного у входа в землянку. К утру донесение ротного командира успело уже пробежать по телефонным проводам по всей восходящей штабной лестнице до кабинета самого Дюнона.

Шагубатова я откомандировал в Россию, но аттестация с описанием его «подвигов» на французском фронте послужила только к его возвышению в Петрограде: Ланглюа как приятную для меня новость сообщал, что Шагубатов катается по Невскому и состоит адъютантом при одном из великих князей.

★ ★ ★

И все же, несмотря на диссонанс, нараставший с каждым днем в моих отношениях с Петроградом и сильными мира сего, мне удавалось, не имея даже дисциплинарной власти, ликвидировать самолично все возникавшие с французами трения и недоразумения, опираясь на авторитет старшего военного представителя русской армии. Вот почему уже само известие о прибытии во Францию полномочного представителя верховного главнокомандующего меня немало смутило. Как бы это не повело к самому опасному врагу всякой работы и всякой дисциплины — двоевластию.

Впрочем, эти соображения отходили на второй план, самый выбор парем своего представителя вызывал недоумение. Трудно было найти для Франции менее подходящего генерала, чем Жилинский. Его, как главнокомандующего Варшавским фронтом, союзники не без основания считали главным виновником гибели армии Самсонова, а у Жоффра о нем сохранились, кроме того, неприятные воспоминания от последнего предвоенного совещания начальников генеральных штабов в Петербурге.

— Чего порядочного можно ждать от республиканского режима? — говорил мне в свою очередь не раз Жилинский. — Все что есть хорошего во Франции, было создано при королях!

Таких недоступных сухарей, кичившихся своими чинами и положением, как Жилинский, среди наших генералов встречалось немного. Чем бы его ублажить, как встретить, а главное, как примирить с «монастырским уставом» Гран Бю Жё?

— Выставьте на пристани в Булони почетный караул со знаменем, разучите русский гимн, вышлите при мне представителя Жоффра в чине не ниже генерала, реквизируйте не меньше, не больше, как замок самого Ротшильда, в двух километрах от Шантильи, поднимите лучшего повара в Парже, обеспечьте не таким столом, каким мы тут с вами довольствуемся, а самым изысканным, с лучшими винами, — учил я мало тароватых и непривыкших к русскому хлебосольству своих французских друзей. Все было выполнено ими, как по нотам, но принято Жилинским, только как должное, с подобающим на его взгляд величественным достоинством.

— А деньги для меня переведены? — был одним из первых обращенных им ко мне вопросов.

— Прикажу своему счетному отделу помелленно выписать положенные мнему высокопревосходительству суточные, столовые и жалование. Когда и куда прикажете доставить?

— Нет, уж я вас попрошу лично доставлять мне деньги в гостиницу «Континенталь». Я занял там постоянный номер, так как сидеть безвыездно в Шантильи не собираюсь,—отдал мне приказ Жилинский, подчеркивая этим мое подчиненное положение. Оно, впрочем, было уже установлено телеграммой, извещавшей меня о его приезде.

Во время пребывания генерала Жилинского при французской армии выходящиеся в подчинении его высокопревосходительства и должны сообразоваться с его действиями и допущениями по всем вопросам, кроме приказов, с его указаниями».

— Виноват, ваше высокопревосходительство, с непривычки,—являлся подбирая с пушистого ковра в раззолоченном салоне «Континенталь» серебряные и медные французские сантимы. Они как бы нарочно выпали из принесенного мною конверта с деньгами.

Жилинский пересчитывал, как хороший кассир, светлолиловые стофранковые билеты, но, стараясь из вежливости притти мне на помощь, прервал это занятие и тоже склонился. Он понял.

— Можете присылать на следующий раз жалование с одним из ваших французских офицеров, только знайте,—офицера с выправкой.

Не иначе как с бравым красавцем Тессе, с его кирасирской каской и также с напашом,—заранее решил я. Холодного оружия никто, между прочим, во время войны во Франции не носил, что тоже бесило Жилинского.

Церемонии передачи жалования мне захотелось использовать для установления распорядка работы в Граф Кю Жэ,—вопроса, которого Жилинский всячески старался избегать. Сам он, разумеется, ничем заниматься не собирався и привез с собой только личного адъютанта, сына своего старого полкового товарища Панчулдзева. Кто же будет поддерживать связь с французским генералом? — спрашивали мы себя с Нацем, и в конце концов решили рекомендовать Жилинскому задержать при себе командированного в Париж полковника Бивенко. Последний, как это часто случается в подобных случаях, оказался в отношении ко мне, вероятно из зависти, большим врагом.

Одно лишь удалось уберечь от всей неразберихи, вызванной появлением в Граф Кю Жэ вместо одного — двух русских органов: ничто не могло помешать нам посылать в Россию ежедневные телеграммы со сведениями о противнике.

Основной причиной командирования Жилинского явилась вторая междоусобицеская конференция главкомандующих, собравшихся в Шантильи 5 декабря 1915 года после длительных политических переговоров. Ставка, на этот раз, сама находила необходимым обезуждение между союзниками текущих вопросов, намечая для этой цели Лондон. Асквит предлагал даже учредить постоянную организацию, которой подлежали бы не только военные и дипломатические, но и политические вопросы. Бриан считал, что достаточно собирать периодические совещания. Наконец все согласилось, что после безрезультатного сентябрьского наступления на французском фронте и стабилизации на военный срок русского фронта, надо было найти выход из создавшегося безотрадного положения, используя, например, уже созданный к тому времени, хотя еще и очень слабый, Салоникский фронт.

После перехода на сторону немцев Болгария и разгрома пре-

всходящими германо-австро-болгарскими силами доблестной сербской армии, — Балканский театр приобрел особое значение. Союзникам хотелось привлечь на свою сторону во что бы то ни стало Румынию и через нее подать руку русской армии. Однако взгляды в этом вопросе резко расходились.

Французы, воспитанные на наполеоновской стратегии, считали, что война может быть выиграна только после разгрома главного противника и на кратчайшем стратегическом направлении.

— Все силы против Германии, а об австрийцах поговорим, когда вы будете в Берлине, — давал мне советы в начале войны Мессини. К тому же французы опущали присутствие немцев у самых ворот Парижа и при этом мне известной узости политических горизонтов, долгое время не были склонны уделять свои силы на Салоникский фронт. Сентябрь их протрезвил, и Жоффр стал прислушиваться к мнению Алексеева, считавшего, что при борьбе с мощнейшей удар надо направлять против слабого противника с тем, чтобы отвлечь его от более сильного. В конце концов и Россия и Франция были склонны к развитию операций на Салоникском фронте, не рассчитывая даже особенно на содействие Италии, хотя аппетиты ее на Балканском полуострове им были хорошо известны.

Не так смотрела на этот вопрос Англия, привыкшая простираť свои интересы не на один какой-нибудь театр войны. Это последний раз подтвердила последняя моя беседа с лордом Китчером, возвращавшимся осенью 1915 года из своей инспекционной поездки на Восток. Новедомому, наши лондонские споры об американском рынке не были и им забыты, и притом через Париж он неожиданно вызвал меня в английское посольство.

— Скажите, — с обычной прямотой спросил меня маршал, — зачем вам понадобился Салоникский фронт? Я твердо решил отозвать наши войска с Балканского полуострова с тем, чтобы развить наступление на Египет и в Гурнии.

— По примеру Моисея через Черное море, — улыбнулся я. — Как бы мне ни хотелось быть вам приятным, милорд, но полагаю, что эта хождеция по пустыням, позанятым противником, особого интереса для нас представить не могут.

— Опять станем спорить, — полусмущенно замечал разговор Китчер и стал расширивать, насколько я удовлетворен материальной помощью союзника России.

Подобные противоречия между союзниками во взглядах на Салоникский фронт не предвещали больших результатов от предстоявшей конференции, в которой должен был выступать Жилинский.

Он накануне приказал мне на ней не появляться, но вместе с тем и случаться из Шантильи на случай, если ему понадобится какие-либо справки. В последнюю минуту он, однако, позвонил мне по телефону и сухо заявил:

— Жоффр хочет, чтобы вы непременно присутствовали. Приходите немедленно.

В одном из кабинетов Гран Кю Жо я снова застал знакомую картину конференции с той разницей, что она носила вполне военный характер: вместо Мильтерана председательствовал Жоффр. Направо от него сидел маршал Френго своим, как обычно, многочисленными сотрудниками, а налево — Жилинский, к которому я и подсел, раскланиваясь на ходу со всеми собравшимися.

Не успел Жоффри закончить свою довольно пространную речь, как Жилинский, наклонившись ко мне, на ухо прошептал:

— Скажите этому хаму, сидящему против меня, чтобы он ел прилично.

— Ваше высочайшее превосходительство, это же сам начальник штаба английской армии, генерал-лейтенант Вильсон, я не имею права делать ему замечаний.

Между тем мой английский приятель, закинувший высоко ногу за ногу и перевернувший рукой пиджоронок, не подозревал, конечно, что своей обычной позой может помешать почтенному русскому коллеге обсуждать вопросы государственной важности.

Телеграммы с отчетом об этой конференции Жилинский, как обычно, мне не показал, чем, быть может, объясняется отсутствие какого-либо о ней сведения в моем отчете, так и в моей памяти.

Мне, впрочем, уже давно стало очевидным, что в моей работе польза для России можно извлечь только из совещаний о материальном снабжении и распределении между союзниками запасов мирового сырья. Подобных случаев пропускать не следовало, и потому было очень досадно не получить приращения и на следующую междусоюзническую конференцию в Париже 27 марта 1916 года.

В разрозненных залах Её д'Орсэ собрались на этот раз такие люди, что председательствующий Бриан, Жоффри, Альбер Тома, Асквит, Грей, Ллойд-Джордж, Китченер, Салаандра, Титтони, Кадорна, Ианнини. Представителями России были назначены только Извольский, Жилинский и как технический консультант, советник посольства, Севастовуло.

Все, кроме русских, имели при себе, между прочим, заранее составленные программы и требования по снабжению.

Мартовская конференция оказалась самой грандиозной за все время войны. Правда, и момент был решающий: сама «Марна» поблекла перед величием многопедальной и в конечном счете победоносной для французов борьбы за Верден. Их армия была обескровлена, но и немцы потеряли в этой авантюре большую часть своей боеспособности. Несмотря на мобилизацию промышленных ресурсов Франции и даже Англии, — центральные европейские державы сохраняли еще свое превосходство в технике и особенно в тяжелой артиллерии.

Во Франции к тому времени звучал бархатистый бас ее любимого франтера, Аристиды Бриана, того самого Бриана, которого Клемансо характеризовал как человека, ничего не знающего, но все понимающего». Новый председатель совета министров высокий, слегка горбинный бронет с гривой седых волос и пышными опущенными вниз густыми усами, благодаря чисто французской тонкости ума и умению изящно выражать свою мысль, был вжиком дипломатом.

— Я знаю жизнь, меня ничем не удивить! — говорили за него изборожденные глубокими складками красивые черты его лица.

«L'enfer est pavé de meilleures intentions» (Ад вымощен панамучными намерениями), — говорят французы, и Бриан, равно как его английский интимомыслиник, пылкий Ллойд-Джордж, главные инициаторы мартовской конференции, верили, что можно еще добиться объединения высшего руководства военными операциями на различных фронтах мировой войны.

Они давно уже осознали также, что в общем деле эгоизм — плохой советник, что Англии и Франции необходимо поступиться собственными материаль-

ными ресурсами в пользу союзников, в первую очередь русской армии. К нашим солдатам они оба питали несомненно высокое уважение и были мно-
этим особенно симпатичны.

Я нередко задавал себе вопрос: с кем лучше иметь дело, с высокими начальниками, полными добрых намерений, или с исполнителями, искажающими в дебрях канцелярской волокиты полученные ими директивы? Во всяком случае, будучи отстранен от участия в конференции и зная о ее программе, не от своих начальников, а через своих французских друзей, я надеялся, что такие бы решения ни были приняты, их всегда удастся изменить при сохранении добрых отношений с чиновниками, двигающими громоздкую машину французского министерства вооружений.

В самый день конференции я, таким образом, спокойно сидел за разбором дневной почты в своей парижской канцелярии, но около полудня Тессье взволнованно доложила, что меня просит к телефону не больше не меньше, как сам председатель совета министров. Я сразу узнал бархатистый бас Аристидаса:

— Я прошу вас, полковник, простить нас за произошедшее недоразумение и сделать мне лично большое одолжение, согласившись приехать к нам на завтрак, запросто, без церемоний, как вы есть!

Через десять минут я входил по парадной лестнице в министерство иностранных дел и не без удивления увидел на верхней площадке ожидавшего меня Бриана с вечной пезатухающей папирсой в зубах. Со свойственной ему экзанисивностью он стал мне жать не одну, а обе руки:

— Кого вы нам прислали? В какое положение нас поставил ваш генерал перед лицом всей конференции? Он громкогласно заявил, что ружья, которые итальянцы вам уступили, ни к чорту не годны. Вы один можете уладить этот инцидент, и я приказал оставить вам место за завтраком между итальянским равновомяющим Галорна и начальником их военного снабжения, генералом Далолио.

И с этими словами Бриан ввел меня в давно мне знакомую *salle de l'Horloge* (зал с часами), где стал представлять тем высоким членам конференции, как, например, Асквиту и Памичу, с которыми мне до того времени не приходилось встречаться.

Я поздоровался и с Извольским, но Жилинского в зале уже не было. Я стал его искать и нашел задумчиво шагающим в полном одиночестве по отдаленному залу бильярдной.

— А, здравствуйте,— как обычно с высоты своего величия приветствовал меня.— Вы знаете, между прочим, что вы избраны членом комиссии по снабжению. Ну и положил же я им!

— Кому, ваше высокопревосходительство?— скрывая свою беседу с Брианом, спросил я.

— Да этим подлецам итальянцам,— и он повторил уже мне известные подробности об уступке ружей.

Завтрак, как помнится, был столь же вкусен, как сладки были мои беседы с нашими невоспеченными союзниками, а последовавшее вслед за этим заседание с Ллойд-Джорджем и Альбером Тома неслило, как всегда, хоть и деловой, но не лишенный юмора характер.

— Ну, знаете,— сказал, между прочим, Ллойд-Джордж,— всяких аргументов наслушался я от нашего русского коллеги, но его мотивировка об исклю-

ительной важности для России алюминия, как средства борьбы с бездорожьем и опаснейшей распутицей, доказывает его изобретательность и наше невежество!

В действительности, стремясь выторговать несколько лишних тысяч тонн этого драгоценного в то время металла, я указал на необходимость ввиду бездорожья всячески облегчать снаряжение нашего пехотинца, заменяя например тяжелые медные котелки, принятые за границей, алюминиевыми.

— Отказывать Игнатьеву очень трудно, — добавил Ллойд-Джордж, — я только выражаю некоторое опасение — достаточно ли серьезно при обсуждении потребностей России он относится к священным обязанностям переводчика между мною и моим уважаемым коллегой Альбером Тома.

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать,—
В Россию можно только верить.

(Тютчев)

Кому действительно из высоких участников парижской конференции могло прийти в голову, что именно та армия, которая больше других нуждалась в материальной поддержке, моральные силы которой должны были быть глубоко потрясены тяжелым отступлением 1915 года, она-то первая и перейдет в наступление и еще раз поддержит славу своих старых знамен. Что летняя кампания 1916 года на русском фронте не только заставит немцев окончательно отказаться от Вердена, но и вынудит их к переброске своих дивизий на поддержку деморализованных австрийских армий! А это, в свою очередь, облегчит французам прорыв германского фронта на Сомме.

Вот какое влияние на ход мировой войны имел тот переход в наступление войск нашего Юго-Западного фронта, о котором, как всегда, ранее получения служебных телеграмм, я прочел на страницах всех парижских газет от 6 июня 1916 года.

«Русские прорвали австрийский фронт в нескольких местах на протяжении 350 километров, они перешли границу, форсировали линию реки Серет, они двинулись на Львов, они взяли сто тысяч, триста тысяч, в конечном счете 420 000 пленных и 600 орудий».

Радостные вести с родины следовали одна за другой, поддерживая дух французского народа, уже истомленного длительной войной.

Недолюбливали наши цари вождей, выдвигавшихся в народные герои. Пало было быть великим, как Петр I, или столь неглупой женщиной, как Екатерина II, чтобы возвеличивать имена достойных русских полководцев и государственных мужей без опасения затемнить собственную славу.

Не по плечу было Павлу I переносить славу Суворова, не по душе был Александру I Кутузов, не мог перенести и Александр II популярности выдвигавшегося в русско-турецкую войну «белого генерала» Михаила Скобелева.

Вероятно, по тем же причинам имя Брусилова прогремело во Франции раньше и сильнее, чем при русском дворе.

Подобно любящей жене, продолжающей видеть в седовласом старце все того же юношу, каким она знала своего мужа при первой встрече, для меня

Алексей Алексеевич Брусилов представлялся все тем же щупленьким полковником с тоненькими усиками стрелкой, в армейском, зеленом сюртуке с красным воротником, каким я встретил его в кавалергардском манеже на первом уроке верховой езды у Филлиса.

И была тогда безусым гвардейским корнетом, а он скромным и уже немолдым полковником, помощником начальника Офицерской кавалерийской школы, которой в то времена редко кто интересовался. Она была не в моде, выезжали там коней по-старинке, и самому Николаю Николаевичу — генерал-инспектору кавалерии не сразу удалось перестроить школу по-новому, выдвинув в ее начальники Брусилова.

— Мы дерукаем, — говорили завистники Брусилова, — что он усердный работник, что ему не подгушался переучиться на старости лет верховой езде в такой смене с молодежью по какой-то «фантастической» системе (Филлиса), что подтвержденный «лукавым», он воспитан в кавалерийской школе некоем поименном лухих кавалерийских начальников, что в конце концов он мог даже быть терним, как начальник 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. Хотя конечно от строя отстал. Но как могли ему дать нехотелый корпус, сделать помощником начальника Варшавского военного округа!?

На деле же оказалось, что Брусилов, являвший пример русского офицера-труженика, хотя и не кончал Академии генерального штаба, но под тихими сводами старых арабескеских казарм на Шналерий, изучил всесторонне военное дело, что и доказал столь блестяще на суровом экзамене первой мировой войны.

Как жаль, что пришлось столь мало служить под начальством Брусилова! Быть может, и он поминул тобрым словом своего бывшего подчиненного, пробивая вражескую оборону фугасными гранатами, успевшими к этому времени прибыть на Юго-Западный фронт из далекой Франции! Мне же на старости лет суждено было только поклониться свежей могиле этого образцового офицера на родной земле, которую он так любил.



Как бы ни старались союзники быть объективными в оценке операций на русском фронте, они не могли учесть того значения, которое обнаружила впоследствии беспристрастная история. Брусиловское наступление, казавшееся французам только блестящей операцией местного значения, не только внесло смятение в умы верховного немецкого командования, но и нарушило его планы дальнейшего натиска на Верден. К сожалению, неподдержанная остальными фронтами эта блестящая наступательная операция не получила дальнейшего развития.

Силою девяти дивизий, из коих четыре (3-я резервная гвардейская, 215-я 53-я и 7-я кав. дивизии) были переброшены с французского фронта и пяти (92-я, 93-я, 202-я, 205-я и 224-я) вновь сформированы — немецкому командованию удалось восстановить положение в Галиции, остановить бежавших перед русскими войсками австрийцев.

Хуже обстояло дело в нашем тылу. Мобилизация русской промышленности еще сильнее подчеркнула несоответствие заводского оборудования и запасов сырья требованиям, предъявляемым России длительной войной. Если в первые месяцы было невозможно добиться сведений о наших потребностях, то теперь

русские органы снабжения за границей были завалены телеграммами, друг другу противоречащими, раздувавшими размеры заказов до астрономических цифр (при заказе тягачей наше начальство ошиблось на один ноль и вместо 10 000 унорно требовало высылки в Россию 100 000). Чувствовалась между-прочимственная неразбериха, бессилие центрального аппарата регулировать поставки и распределение сырых материалов между частными собственниками заводов.

Так ощутую, на практической работе, готовился военный дипломат, превращенный силою судеб в начальника управления по снабжению, к военному принципу государственной монополии внешней торговли.

Неразбериха с заказами к лету 1916 года приняла столь угрожающие размеры, что потребовала командирования за границу специальной комиссии в главе с начальником Генерального штаба Беляевым. Его правою рукою оказывая мой бывший берлинский коллега уважаемый Александр Александрович Михельсон. Тяжеловатый генерал, он привез с собой также же тяжеловесные дела с широкими возможностями наших потребностей и сведения об удовлетворении заграничными заказами. «Три дня и три ночи» сидели мы над этими документами, но толку все же не добились.

Прибытие Беляева в Париж было почему-то скрыто от меня до последней минуты. Из России я об этом извещен не был, и только накануне мой лондонский коллега, генерал Ермолов прислал мне законическую телеграмму с перечислением фамилий прибывавших. Ермолов добавлял: «Комиссию сопровождает английский военный агент в России полковник Ноке».

«При чем тут Ноке? — подумал я. — Неужели наш начальник генерального штаба для посещения Франции нуждается в английском советнике?» На деле оказалось, что вся поездка Беляева была организована англичанами.

Когда на следующий день, извещив о приезде комиссии и французское правительство, и Гран Кю Жэ, я устремился для встречи высшего начальства на Северный вокзал, то перед недостроенными нашими истроенными в образцовом порядке повозками английские военные машины, окрашенные в светлорусиновый защитный цвет. Мои различные французские машины рдели в сравнении с этими жалкий вид и болтались где-то вдали. Ноставив свой автомобиль первым выехавшим с вокзала, я конечно приказал своим люфферам истроиться к нему ряд, вперехи английских.

Беляев, мой старый коллега по штабу Куропаткина, при выходе из вагона русски меня обнял. Его примеру последовали остальные члены нашей комиссии, а затем из вагона вышел тот самый угрюмый полковник Ноке, что впоследствии играл первую роль при Колчаке.

— *Aufully glad to meet you* (сильно счастлив вас встретить!). — менялись мы приветствием и крепким рукопожатием с хитрым англичанином.

— Мы едем в отель «Ритц»? — спросил Ноке, из чего я понял, что это правительство наняло даже именованно для нашей комиссии в Париже.

— Нет. — вежливо заявил я, — мы едем в отель «Милан», где я уже заказал комнаты, — и спокойно предложил Беляеву сесть в мою машину. На красной и белой полосе — стилистическом знаке Гран Кю Жэ, темнеющей на дверцах машины, красноречиво выкрик: «*Attaché Militaire de Russie*».

Вечером в Шантильи я уже направлялся у Жоффра разрешивши предать ему на следующий день нашу комиссию.

— Нокса я приму отдельно, — заявил старик — его мне должен представить их английский агент Ярд-Буллер. Вы его предупредите.

Этикет был соблюден.

Целенко было вызвать на откровенность Беляева — эту «мертвую голову», как мы его прозвали в Манчжурии. Он все с тою же осторожностью и бдительной онаской касался всех вопросов, налагающих какую-либо тесть на начальство, а тем более на царя, которого он даже в частной беседе с благовоением и сканном-то особым придыханием титуловал «государем императором». Не думая я тогда и не гадал, что этот пугливый чиновник окажется, по протекции Распутина, последним царским военным министром.

— Войдите в мое положение, — жалуюсь я, — как мне выносить запрос нашего генерального штаба, полученный уже несколько недель тому назад о том, какие меры принимаются во Франции по подготовке к демобилизации? Вы же видите, что война здесь в полном разгаре и подобные вопросы никому еще в голову не приходят.

— Да, вы правы, сделайте вид, что вы подобн й бумаги не получали.

— А скажите, — почти шепотом спрашиваю я, — вот французы боятся, что у нас много дезертиров. Неужели это правда?

— А сколько у них самих? — старается отклонить вопрос мой высокий начальник.

— По моим сведениям тоже не мало, что-то около пятидесяти тысяч, считая в том числе и «уклонившихся», — привожу я цифры, полученные незадолго перед этим по секрету от Гамелена.

Беляев смущенно поправляет цепею и еще более тихим, чем обычно, голосом произносит со вздохом:

— А у нас в несколько раз больше!

— Неужели дисциплина уже так пала? Неужели война так непопулярна? — забрасываю я вопросами Беляева.

Он молчит.

— В таком случае пора кончать, — так же глубоко вздохнув, заканчиваю я беседу, возвращаясь из Шантильи и подъезжая к парижскому предместью.

Глава одиннадцатая ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРПУС

Само название — экспедиционный корпус — создает представление о каком-то крупном военном соединении, выполнявшем в мировую войну самостоятельную задачу, где-то за пределами России. Однако я сам, как это ни странно, услышал про Русский экспедиционный корпус только после войны, приехав из Парижа в Москву, где ознакомился с обширной литературой, посвященной этому корпусу. Оказалось, что дело идет о тех четырех пехотных бригадах, которые одновременно были посланы во Францию и в Салоники, под начальством генералов Лохвицкого, Марушевского, Дидерихса и Леонтьева. Две из них находились на французском фронте, а другие две — на салоницком. Они входили в состав французских армий и корпусов и никаким общим русским руководством объединены не были.

Бригады эти численностью около 7 тысяч человек каждая, причем, за исключением первой, не отличались от обыкновенных русских бригад, хотя

и носили название «косоных». Они, конечно, не могли повлиять на ход военных действий.

Посылка наших войск во Францию оказалась, конечно, политической ошибкой, но совершена она была не французским и не русским командованием, а теми парижскими политиками, которые, не продумывая достаточно вопросов, принимают упрощенные решения за гениальные.

Один из таких вопросов возник осенью 1915 года: военная промышленность из-за нехватки рабочей силы оказалась в столь тяжелом положении, что для работы на заводах пришлось возвращать солдат с фронта, из поредевших уже рядов французской армии. Парижские мушкетеры решили разорвать этот узел одним ударом топора, выгнав людей из России, представлявшей, по их мнению, неиссякаемый источник пополнения.

Этот проект свалился на меня, как снег на голову. Однажды, в начале ноября, я только что вернулся с утреннего доклада Жоффру и заканчивал главную сводку о противнике, как неожиданно раздался телефонный звонок из Парижа, и сам Извольский, в этот необычный для него ранний час, просил меня срочно приехать в город для обсуждения какого-то важного вопроса.

В кабинете посла я уже застал сенатора Поля Думера, будущего президента республики, а в то время председателя военной комиссии Сената. Думер был посетителем доживавшей свой век французской либеральной буржуазной культуры, согласно которой, республиканский режим казался непогрешимым, а Франция представлялась посетительницей высших политических идеалов. В отличие от большинства деятелей Третьей республики, Думер был примером безукоризненного семьянина, а потеря в первые же недели войны всех своих четырех горячо любимых сыновей создала ему ореол истинного патриота. Он бодро переносил свое горе, и только седина в бороде и черный траурный галстук напоминали о перенесенных им тяжелых испытаниях.

— Господин сенатор выезжает завтра в Россию, — объявил мне Извольский, — и я хотел узнать ваше мнение по тому вопросу, который является главной целью его путешествия.

— Вам, конечно, известна главная причина трудности нашего положения, — стал тут же объяснять приятным до вкрадчивости голосом Думер: — это большие потери в людях и недостаточность годовых контингентов новобранцев, между тем как затяжной характер войны требует такого большого расхода в людях, что угрожает нашей обороноспособности, — и он начал развивать передо мной набившую оскомину теорию о неисчерпаемых русских людских ресурсах.

— У вас нехватает даже ружей, чтобы их использовать, тогда как мы, привезя сюда сотни тысяч ваших солдат, можем пополнить ими редущие с каждым месяцем ряды нашей пехоты.

— Пожалейте вашу пехоту, — попробовал я разрушить одним махом проект Думера. — Не вливайте в нее хотя бы и самые отборные, но чуждые ей и по физике и по воспитанию элементы.

— Что вы! Что вы! — с апломбом возразил мой собеседник. — Мы же в нашей армии имеем аннамитов, ни слова не понимающих по-французски, но прекрасно воюющих под нашим начальством.

Господин сенатор, — сдерживая возмущение и переходя на официальный тон, заявил я. — Русские — не аннамиты, и я позволю себе вам посоветовать воздержаться от подобных сравнений.

Извольский, опасаясь обострений отношений с Думером, а вместе с тем и особенно поддерживая меня, перевел разговор на героизм, проявившийся нашими войсками в дни тяжелого летнего отступления.

Компашоном Поля Думера для поездки в Россию те же мудрые и притом политически выбрали совсем не мудрого, но славного старика, генерала По — то, что он еще во франко-прусскую войну 1870 года потерял руку. Тяжелое увечье не помешало этому доблестному солдату продолжать ездить верхом, а в первые дни мировой войны даже командовать импровизированной группой территориальных дивизий, собранных для прикрытия чересчур быстрого отступления на юг английского генерала Френча. При поездке в Россию бедный старик должен был произвести своим увечьем надлежащее впечатление на наши высшие военные сферы.

Вся эта антреприза показалась мне настолько несерьезной, что я не замедлил вернуться в Шантильи, где и нашел единомышленников среди офицеров Гран Кю Жэ. Оказалось, что и для Палле проект Думера явился сюрризом, и что военный министр запросил главного командующего только об оформлении выработанного правительством проекта.

Палле, конечно, понимал всю нелепость приезжаки из России маршевых батальонов, но, не желая претрещать лично вопроса о тех или иных русских войсковых соединениях, просил меня составить об этом записку не позже как к следующему утру.

Советников, кроме Пана, у меня не было, но от этого осторожного генштабиста не легко, бывало, добиться его собственного мнения по вопросам выходящим из строгих рамок официальной инструкции для военных агентов мирного времени.

С одной стороны было необходимо предоставить русским войскам известную долю самостоятельности, но вместе с тем не возлагать на них чересчур большой ответственности. Дирекция, а тем более корпус казались нам соединением слишком крупным, состоящим из всех родов оружия, применение которых в специальных условиях Западного фронта, насыщенного всякого рода техникой, могло вызвать для наших генералов чересчур большие трудности.

С другой стороны, являлся единичей, которой французы могли бы помыкать, не считаясь с нашими русскими уставами и обычаями.

«Нет! — решили мы, — во главе русского соединения должен быть поставлен генерал, тем более что этот чин пользуется во Франции гораздо большим почетом, чем в России.

Вот так создавался проект командирования во Францию наших подкреплений в форме отдельных бригад: эти войсковые соединения лучше всего отвечали требованиям военно-политической обстановки.

Предупреждая нашего военного министра о целях поездки Поля Думера в Россию, я в письме к генералу Беляеву называл наивным планом посылки в Францию двухсот-трехсот тысяч русских солдат.

«Проект этот, — писал я, — доказывает:

1) полное незнание духа и чувств русского народа;

2) пренебрежение религиозной, служебной и даже материальной стороной солдатской жизни...

Тем не менее появление наших солдат на Западном фронте имело большое моральное значение, поднимая дух союзников и являясь неприятным сюрризом для немцев».

Я находил также, что главным затруднением для отправки целых войсковых соединений явится недостаток у нас офицеров.

Некомплект в среднем командном составе был вечным злом в русской армии.

Несоразмерно большие потери в офицерском составе в первые месяцы войны и запоздалые меры по подготовке прапорщиков создали подлинную угрозу боевой способности русской пехоты. Казармы ломились от запасных батальонов, а обучить и вести в бой этих солдат было некому.

Все это, как и многое другое, было мне известно от моего верного осведомителя Ланглуа, а потому, как обычно, под видом сведений о французской армии я использовал письмо Беляеву для полезных, как мне казалось, советов в отношении собственной армии.

«Во Франции,— писал я,— большинство чиновников, в том числе и министерства иностранных дел, мобилизованы, число адъютантов, ничтожное даже в мирное время, еще более сокращено, а генералы, не служащие на фронте, их совсем не имеют. Раненым, больным и отпускным офицерам ведется строжайший учет (Ланглуа мне говорил, что Петербург и Москва ими переполнены) и пребывание в тылу строго ограничено. Между фронтом и тылом происходит постоянный обмен, причем тыловые должности заполняются преимущественно тяжело ранеными офицерами. Для штабной работы пользуются женским трудом (что в ту пору являлось большой новинкой)».

«Не в бровь, а в глаз попадаю»,— думал я, излагая подобные соображения и зная наперед, сколь неповоротливо и трусливо наше высшее военное руководство.

«А как же быть со штатами?»— воскликнет, наверно, читая эти строки, наш добрый Беляев!

Как видно из этого письма, несмотря на какие-то предчувствия, я все же не высказывался категорически против посылки во Францию русских бригад. Кроме того, здравому мышлению моему сильно препятствовали в ту пору привитые мне с детства идеалистические понятия: в мою голову не заглядывалась мысль, что французы попросту стремятся купить за свои снаряды русское пушечное мясо. Понять это мне помог, несколько дней после отправки письма Беляеву, сам Пуанкаре.

Во Францию в те дни прибыла, наконец, давно затребованная мною из России комиссия фронтовых офицеров для ознакомления с техническими достижениями французского фронта. Я надеялся, что компетентные представители нашей армии смогут подкрепить мои донесения о необходимости коренных изменений в методах ведения боя на русском фронте.

Как обычно, деятельность командированных началась с представления министру чинам военного министерства, но для придания комиссии исключительного значения, я испросил для нее аудиенции у самого президента республики. Офицеры наши были в восторге и заранее предвкушали удовольствие личной беседы с Пуанкаре.

Он принял нас без всяких церемоний, в своем рабочем кабинете Елисейского дворца, и после представления ему каждого из моих спутников любезно предложил рассесться вокруг своего письменного стола. Все ожидали, что глава государства станет расспрашивать о положении на фронте русской армии, но Пуанкаре, забыв про офицеров, начал излагать мне мотивы поездки Думера в Россию. С логикой, трагичавшей с цинизмом, скандируя слова,

этот бездушный адвокат объяснял, насколько справедливо компенсировать французскую материальную помощь России присылкой во Францию не только солдат, но даже рабочих.

Тщетно старался я направить мысли президента в другое русло, напоминая ему истинную цель моего визита, обращая внимание на присутствие русских офицеров, совершенно не посвященных в тайну командировки Думера.

— Какая мерзость, какая низость! — набросились на меня наши офицеры, выходя из ворот дворца президента. — Что же, мы станем платить за снаряды кровью наших солдат?

Первое невыгодное впечатление, полученное от союзной страны, было заглажено поездкой на следующий день в Гран Кю Жэ, где удалось для нашей комиссии организовать посещение наиболее интересных, а потому и более засекреченных, участков фронта.

Сам я, подхваченный вихрем работы по срочным отправкам боевого снаряжения в Россию, и не замечал, как летели недели, а вопрос о присылке бригад ограничился визитом ко мне Поля Думера по возвращении его из России.

— Я заехал к вам, дорогой полковник, чтобы позжать вашу руку и искренно поблагодарить вас за предостережение, сделанное вами тогда, в кабинете Извольского. Представьте себе, что даже сам царь, встретивший нас крайне любезно, противился посылке во Францию своих солдат, но говоря уже об упрямом генерале Алексееве. В конце концов мы добились, что все же будет послана в виде опыта одна бригада, но из опасения подводных лодок ее направили не обычным путем, из Архангельска, а через Владивосток!

Подобного безумия я, конечно, предвидеть не мог, тем более, что за все время войны ни один из посланных мной пароходов потоплен не был.

Началась подготовка достойного приема наших войск.

Французы со своей стороны всячески шли навстречу малейшим нашим пожеланиям. Лагерь Майльи, избранный для 1-й бригады, считаясь образцовым, был наиболее близким как к фронту, так и к большой дороге из Шалон в Париж, что облегчало сношения русского командования и с фронтовым и с тыловым французским командованием.

Хотя русские офицеры, окончившие Инженерную академию, были действительно на все руки мастера, однако полковник Антонов несколько смутился, когда я поручил ему руководить постройкой русской бани: подобным постройкам составителями академических учебников не были предусмотрены.

— *C'est épatant!* (Это потрясающе!) — изумлялись французы, поддаваясь русскими шайками.

К стыду своему, и мне пришлось впервые узнать, что гречневая каша такой же моде в Бретани, как и у нас в России.

Самым серьезным представлялся мне вопрос о переводчиках, необходимых не только для усложнявшейся с каждым днем связи с артиллерией и авиацией, но и в войсковом быту. По всем французским армиям понеслись запросы о лицах, знакомых с русским языком, и, после двукратного отсева лагеря Майльи, их заставили пройти специальный курс подготовки. Кого только не пришлось там встречать: сын богатого московского хозяина Фирма Эйнем, скромный еврей-картузник из Парижа, сын французского парикмахера из Петербурга — все штатские люди, которых война одела в военные мундиры.

Подготовка к приему нашей бригады послужила, наконец, предлогом для издания вновь выпущенных французских боевых уставов на русском языке. Когда-то еще дойдут до русских полков все наши телеграммы, осведомлявшие о новых методах ведения боя! Да и чего они будут стоять, если довоенные уставы останутся в силе! Война может кончиться прежде, чем могут быть изданы в России новые уставы. Они ведь потребуют утверждения самого царя!

Надо рискнуть и, минуя начальство, дать нашим войскам вполне официальный документ в кратчайший срок.

Помогла нашему начинанию все та же французская бережливость. В архивах национальной типографии сохранились в полной неприкосновенности русские шрифты времен Александра I. Ими пабирались в 1814 году все русские правительственные распоряжения и военные приказы по оккупационному корпусу. Нашлись и русские наборщики, и прекрасная бумага, что позволило в какие-нибудь две недели издать в прочном картонном переплете боевой устав французской пехоты с придуманными нами выходными данными:

«Печатается по распоряжению военного агента во Франции».

Отрадно было узнать впоследствии, что высланный в Россию значительный тираж этого документа имел в русской армии большой успех.

* * *

Настал, наконец, давно жданный день прибытия в Марсель первого эшелона нашей 1-й бригады. Трудно описать волнение последних часов, отделявших меня от желанного свидания. Ведь со времени последнего посещения господином Пуанкаре перед войной красносельского лагеря я не видел родных солдатских лиц, а тут доведется не только на них полюбоваться, но и отвечать за их жизнь в чуждой им стране, гордиться ими перед французской армией.

Наконец сама поездка для встречи их в Марсель представляла для меня, как всегда, праздник. Сколько раз благословлял я судьбу за возможность расстаться с зимним серым небом и холодной слякотью Парижа, с тем чтобы проснуться на следующий день под лазуревым небом, на берегу лазурного моря, в солнечном до ослепительности Марселе.

Солнце и свет исцеляли все недуги, а толпы как будто всегда праздничных, никуда не спешивших людей, заволакивавших бесчисленные кафе с открытыми настежь дверями и окнами, призывали смотреть веселее на собственную и на чужую жизнь. У марсельцев были, конечно, тоже свои заботы и неприятности, но эти южане были не похожи на парижан, вечно бегавших за заработком. Марсельцы довольствовались малым, любили свой город — этот райский уголок, а море и опять-таки солнце заменяли им красоты и развлечения других городов.

Марсельские анекдоты в большой моде во Франции, но всякая пикантная история рассказывается на таком неподражаемом марсельском жаргоне, что самые большие волюнты становятся вполне приемлемыми.

Когда перечитываешь «Трех мушкетеров» Александра Дюма или «Тартарен из Тараскона» Альфонса Доде, то герои этих романов переносят тебя мысленно в столицу юга Франции — приключенческий Марсель. Он сохранил и до наших дней свой оригинальный фольклор в форме пикантных рассказов о похождениях остроумного и умиротворительного Мариуса.

Марсельцы — охотники до всевозможных преувеличений и не без гордости

говорят, что «если бы Париж располагал Канеберой, то он в право был бы именоваться Марселем»; а я бы только прибавил, что тот, кто не постиг прелесть Марселя, тот не знал Франции.

Канебера — широкая городская артерия — упирается в сохранившийся с времен парусного флота старый порт. Теперь им пользовались только бедные рыбаки да богатые яхтмены, в его узкий выход бесшумно проскальзывали море то желтые, то красные паруса, а у бетонной низенькой дамбы, замывшей совсем еще недавно деревянные мостки, стояли на причале сотни разноцветных лодочек и яликов.

Здесь, в самом центре города, уже пахло морем. Бесчисленные корзины из ливняка были наполнены ракушками самых разнообразных местных названий. Их подавали на закуску тут же на берегу, в потемневших от времени крохотных ресторанчиках, где ели горячий «буябес» и прочие чудеса марсельской кухни, рекомендуемые любителям рыбы и чеснока.

Едва вы сядились за столик на открытой круглый год террасочке, как перед вами на мостовой появлялись местные уличные артисты — скрипач певича, развлекавшие вас провансальскими народными песнями.

Позади вас — над городом высятся гора с собором святой Марии, покровительницы моряков. Перед вами, на южном берегу порта, — старый квартал красочных базаров и совсем не таинственных публичных домов — этого позорища Франции, прибежища иностранных туристов и моряков. Религиозность и проституция уживаются друг с другом почему-то особенно хорошо в французских портовых городах.

Неумолимое время изменило, впрочем, многое в этом старинном городе основанном финикийцами за шестьсот лет до нашей эры. В самом городе кипела лишь оптовая торговля этого первого по величине порта Франции — хлебная биржа. Погрузка и разгрузка товаров давно уже были вынесены за городскую черту. Туда, к застланному пароходным дымом бесчисленными причалам, должны были подойти и наши транспорты с первым эшелона 1-й бригады.

Как только обрисовались на горизонте контуры двух громадных морских транспортов, я вышел на широкий мол и долго шагал в ожидании причала отдавая последние распоряжения. Мне, между прочим, казалось крайне неприятным появление наших солдат безоружными из-за недостатка в России винтовок, а потому, невзирая на протесты французского интендантства, жалавшего записывать фамилии солдат и номера выдаваемых им французски винтовок, я организовал заранее живую цепочку, которая должна была плавая взбежать по трапу и без всякого предварительного учета вручать ружье не на берегу, а на самом борту парохода.

Вот стали собираться вокруг меня представители военных и гражданских властей. Вот выстроился почетный караул из эскадрон гусар в «светлоглубы мантиках». Наступает торжественная минута.

Серо-зеленая пелена, покрывающая палубы обоих морских чудовищ, к мере приближения к берегу оказывается плотной массой наших солдат защитных гимнастерках. Вот уже можно различать лица, вот у трапа затылятся офицерские погоны, а с берега французский оркестр, как всегда, затывает и без того медлительный русский гимн. Слова «царствуй на стра врагам» уже давно не говорят ничего моему сердцу: передо мной встал жалкая фигура Николая II.

В ответ наш оркестр, гораздо более мощный, чем французский, исполняет марсельезу, и до моих ушей докатывается опьяняющее, неподражаемое русское «ура!»

Французы кричать не умеют и, стоя позади меня, лишь исправно, очень долго, держат под козырек.

Первым сходит на берег командир бригады, генерал-майор Лехвицкий. Довольно высокий блондин, элегантно одетый в походную форму, при боевых орденах, он держится с той развязной, почти небрежной манерой, которой многие гвардейские офицеры, даже по выходе из полка, стремились как будто показать свое превосходство над запутанными армейцами. Как все окончившие академию генерального штаба не по первому, а по второму разряду, этот храбрый боевой генерал, несмотря на боевые отличия, вечно считая себя если не обиженным, то недооцененным. Хотя и не будучи со мной знаком, он, в знак солидарности русских офицеров за границей, троекратно меня обвиняет. Из его объятий я попадаю в руки старого товарища по академии, Ивана Ивановича Шолокова. Этому уже было действительно на что обижаться: из начальника оперативного отдела ставки он превратился в начальника штаба бригады.

Пока идут знакомства и представления, на берегу быстро и бесшумно строятся первые наши роты, раздаются русские команды, и по скалистым берегам Средиземного моря разливается русская песня:

Было дело под Полтавой,
Дело славное, друзья!
Мы дрались тогда со шведом
Под знаменами Петра!

Не дожидаясь построения батальонов, роты одна за другой шли в оборудованный для нас временный лагерь, а мы, старшие начальники, были приглашены на обед к командиру XVI Военного округа.

Эшелон в составе трех батальонов должен был на следующее утро отправиться по железной дороге к месту постоянного расположения, в лагерь Мальи. Однако после обмена горячими приветственными речами за обедом у генерала растрогаанный мер города, поддержанный префектом департамента, настойчиво стал просить отложить отъезд и дать возможность марсельцам взглянуть на русских солдат. Первый полк, укомплектованный почти исключительно добровольцами разных полков, выглядел действительно гвардейским. Мы согласились на просьбу французов.

Выходя с обеда, я предложил было русскому начальству проехать взглянуть на лагерь, расположенный в пяти-шести километрах от города. Но генерал и господа полковники устали с дороги. Это меня кольнуло, и я, не прощаясь, отправился в лагерь, где, неожиданно для себя, пришлось вступить чуть ли не в командование отрядом!

Все офицеры по приходе в лагерь сразу укатили в город. И французский план раздачи ужина одновременно из нескольких котлов провалился. Какой-то чересчур старательный подпрапорщик решил установить собственную очередь «подхода поротно» к одному котлу, и в результате — в десять часов вечера люди еще продолжали стоять голодными. Обидно было, что все мои старания о достойном приеме французами дорогих гостей оказались тщетными.

— Придется вам ночью не поспать, — сказал я на прощание своему импровизированному адъютанту, ротмистру Балбашевскому.

Людей, наконец, накормили и уложили, но меня беспокоило, как устроиться на ночлег офицеры?

— Проверьте, последите за порядком и приходите ко мне в гостиницу к шести часам утра.— сказал я Балбашевскому.

— Господин полковник, приказание исполнил,— докладывал мне с сильным кавказским акцентом разбудивший меня на следующее утро Балбашевский.

Это был очень худой красивый брюнет, кавалерийский офицер, давно вышедший в отставку и застрявший в Париже по каким-то любовным делам.

— Нашел командира первого полка, полковника Печволодова, с адъютантом и большой компанией офицеров, в «старом квартале»,— горестно вздохнув и поднимая глаза к небу, докладывал Балбашевский.— «Военный агент будет крайне недоволен»,— заметил я. А он мне говорит: «Я — георгиевский кавалер и чхати хочу на вашего военного агента. Французы должны знать, как умеют гулять русские офицеры». А шампанское льется рекой, и деньги летят,— снова с глубоким вздохом закончил Балбашевский, уже «испорченный» пресловутой французской страстью к экономии.

Ушам не верилось. Вот что значит оторваться надолго от своей среды, забыть про все безобразия развращенной военной аристократии, жить иллюзиями русских песен, мечтать о подвижничестве всех и вся в тяжелые годы войны. Там где-то — фронт, а тут вот — неприглядный тыл.

Когда я передал рассказ Балбашевского Лохвицкому, то он не смутился.

— Да, Печволодов — человек не без оригинальности, но парень неплохой и любим солдатами. Вы же должны помнить его еще по Манчжурии. Он был тогда переводчиком при Куропаткине, а теперь, как видите, стал боевым командиром.

В ожидании прохождения войск мы прогуливались с Лохвицким перед городской ратушей, и нежный морской воздух солнечного утра быстро рассеял мысли о ночном кошмаре. Перед нами открывалась новая незабываемая картина: со стороны Старого Порта, на широкую Кансбьер вытягивалась яркая многоцветная лента. Это была наша пехота, покрытая цветами. Когда в романе Сенкевича описывались победные римские легионы, украшенные цветочными гирляндами, то это казалось фантазией художника, тут же с приближением головных рот сказочное видение оказалось действительностью.

Впереди полка два солдата несли один грандиозный букет цветов, перед каждым батальоном, каждой ротой тоже несли букеты, на груди каждого офицера — букетик из гвоздики, в дуле каждой винтовки тоже по два, по три цветка.

Весь путь наших войск оглашался восторженными кликами экспансивных южан, страстных любителей всяких зрелищ. Темноглазые смуглые брюнетки не знали, как бы выразить лучшие свои чувства белокурым великанам, прибывшим из далеких северных стран, чтобы спасти их дорогую Францию.

— Oh, ceux-la nous sauveront pour sur! (О, эти наверно нас спасут!),— слышались громкие рассуждения в толпе, совсем как когда-то на больших маневрах в Монтбанае.

Этот неожиданный военный праздник лишний раз заставил пережить то же, что еще совсем недавно я почувствовал на параде не нашей, а французской пехоты на фронте.

«Как хорошо быть русским!» — подумал я, забывая про Юсуповых, Ознобишиных, Шагубатовых и не предчувствуя всех разочарований, вызванных впоследствии именно нашими бригадами.

★ ★ ★

Занятия в лагере Мальи начались с подготовки к парадам и прохождению церемониальным маршем перед высшими французскими начальниками. Охлаждать тот пыл, с которым Лохвицкий и Нечволодов наслаждались маршировкой в сомкнутом строю, убивая драгоценное время на ранжир и безукоризненную внешнюю выправку, было, конечно, очень трудно. Они неизменно оправдывались желанием не ударить лицом в грязь перед союзниками. Выпрасно убеждал я Лохвицкого приняться как можно скорее за освоение новой пехотной тактики, созданной на Западном фронте под давлением небывалого роста техники. Все предлоги были хороши, чтобы отложить подобные занятия, Лохвицкий, между прочим, ссылаясь на невыносимые французские требования — как, например, обязательные прививки против тифа и столбняка; от этих прививок наши солдаты болели по нескольку дней.

Безрезультатным оказался и мой личный доклад, сделанный всему офицерскому составу бригады, по окончании которого наступило томительное молчание.

Некоторые распоряжения нашего командования должны были, как мне тогда казалось, вызывать серьезное недовольство у наших солдат. Что может быть дороже, например, для всякого человека на фронте, чем отпуск? Во французской армии порядок увольнения в отпуск был единым, от главнокомандующего до рядового, и строго при этом соблюдался. Что же могли думать русские солдаты, запертые в лагере Мальи, глядя чуть ли не на ежедневные поездки в казенных французских машинах своих офицеров в Париж!

— Солдат ни под каким предлогом отпускать в город я не намерен! — заявлял Нечволодов. — Париж полон русских революционеров, и контакт с ними моих солдат недопустим.

Это же был шестнадцатый год!

Не стесняя себя французскими правилами, Нечволодов демонстративно заседал со своими офицерами в литерной ложе Фоли-Бержер, что, как ему казалось, вернее всего спасало офицеров первого полка от зловредной парижской политической атмосферы.

Случилось однако, что Нечволодову не удалось уберечь одного из своих личнейших от гораздо большей опасности — подлинного немецкого шпионажа.

★ ★ ★

По установленному порядку моей канцелярии, всех посетителей женского пола, как не серьезных, хотя подчас и очаровательных, должен был принимать толстяк Ознобишин, и потому я был не мало удивлен, когда мой адъютант Тессье стал упрашивать меня, в виде исключения, принять в конце дня какую-то даму. Она наотрез отказывалась идти к Ознобишину и уже третий день сидела в приемной, настойчиво прося пропустить ее в мой кабинет. Фамилии своей она не называла.

— Ну, впустите,— раздраженно ответил я, но через минуту, сознаюсь, смягчился, увидев перед собой элегантную, очень высокую, хорошо сложенную смуглую брюнетку, непринужденно и почти вызывающе расположившуюся на моем диване. Приглядевшись к грубоватым чертам лица и толстым чувственным губам, я несколько разочаровался. Особенно неприятен был какой-то горловой тембр голоса, а тяжеловатый фламандский акцент во французском языке выдавал ее иностранное происхождение, заставляя даже насторожиться.

— Я безумно влюблена,— без всяких церемоний заявила мне красавица-брюнетка,— и очень несчастна. Вы не можете себе представить, как мы друг друга полюбили. И только вы один можете рассеять мою бесконечную тревогу за моего любовника.

— Но кто же он такой? — спросил я в конце концов, терпеливо выслушав все подробности романа, происходившего в излюбленной всеми русскими гостинице «Гранд-отель», в самом центре Парижа.

Не без труда удалось добиться, что сидевшая передо мной героиня романа оказалась отмеченной уже шумной рекламой танцовщицей Мата-Хари, а героем — капитан нашего первого полка, — некий Маслов.

— Вот уже неделю, как я не имею о нем известий, и прошу вас сказать мне, где находится его полк. В лагере или на передовых позициях?

Подобный вопрос был так плохо увязан с романом «Гранд-отеля», что невольно вызвал, если не прямое подозрение, то во всяком случае какое-то сомнение в правдивости всего длинного рассказа посетительницы.

Я отговорился неосведомленностью, обещал позвонить в бригаду и просил зайти за ответом через два-три дня. Любопытство Мата-Хари меня, правда, меньше всего интересовало, но зато я был обеспокоен любовной связью скромного нашего офицера со столь шикарной женщиной. Маслова я отметил еще в Марселе как симпатичного молодцеватого блондина с Владимиром с мечами на груди. Лохвицкий и Печволодов дали мне о нем наилучшую аттестацию и обещали предупредить об опасности.

Незначительный сам по себе факт моей встречи с Мата-Хари, которой я не преминул отказать в исполнении ее просьбы, представился вскоре в совершенно другом свете.

С приходом к власти грозного Клемансо, Мата-Хари был вынесен, одной из первых, смертный приговор. Она была обвинена в шпионаже в пользу Германии, хотя осведомленные люди утверждали, что ее услугами пользовался одновременно дурной памяти капитан Ладю, возглавлявший в то время французскую контрразведку.

Дочь колониального офицера нидерландской армии, женившегося на туземке, Мата-Хари пошла на казнь с гордо поднятой головой и, но дрогнув, в элегантном костюме-тайер, приняла залп в грудь от чужих ей солдат.

Маслов, которого она, по показаниям на судебном следствии, действительно любила, по окончании войны постригся в монахи.

Шел 1916 год. Русские войска обаялись. Гуро приходил в восхищение от наших солдат, побивших все рекорды, поставленные французами по метанию ручных гранат. Для наших войск это было новинкой. Таким же нововведе-

нием явились стальные каски, которые пришлось специально заказать не с французским, а русским гербом.

Четвертая армия Гуро вместе с нашей бригадой вошла в состав центрального фронта, во главе которого был поставлен генерал Петен. Трудно было вспомнить его внешность, в ней не было ни одной характерной черты, и я до сих пор не знаю, способен ли он улыбнуться или даже рассердиться. Это был истукан, главным качеством которого, быть может, являлось хладнокровие в тяжелые минуты сражений, но и это опровергается мемуарами Пуанкаре, развенчавшего славу Петена, как спасителя Вердена.

Наслышавшись о строгости нового командующего фронтом, я решил предотвратить возможные недоразумения и лично поехать на осмотр им нашей бригады. Гуро уже стоял на фланге войск, шtroеопных на плацу, до которого надо было пройти пешком через лагерь.

При выходе из машины я приветствовал Петена от лица русской армии и после сухого военного рукопожатия пошел сопровождать мало приветливо на вид генерала.

— Ну, посмотрим, как ваши солдаты освоились с нашей винтовкой. Они ведь у вас сплошь безграмотные.

— Не совсем так, генерал, — ответил я, — а что касается винтовки, то наш «лебел» много хуже и проще нашей трехлинейки.

В ответ Петен подзвал одного из встреченных нами солдат и предложил мне приказать ему зарядить и разрядить ружье. Из дальнейших вопросов стало ясно, что Петен принимал нас за дикарей, а все служившие в мировую войну во Франции могли объяснить выдвижение этого генерала на роль жалкого главы правительства только тем режимом, который, опасаясь чересчур ярких военных фигур, предпочитает использовать устарелые военные посредственности.

1-я бригада, после длительной подготовки, заняла, наконец, небольшой участок на фронте, к северу от Шалона. Он был специально выбран по соображению с Гамеленом, как один из наиболее спокойных. Наши солдаты быстро освоились с жизнью во французских окопах и находили их много комфортабельнее наших. Особенно занимали их камуфлированные посты для наблюдений: пенёк, заменяемый в одну ночь точной копией из стали, бугорок, незаметно обрабатывавшийся в современный дзот. Они даже привыкли к замене чая кофеем и водки — коньяком. Очутившись в первой линии, офицерство заметно подтянулось, и Лохвицкий не без гордости обращал мое внимание на порядок, царивший на его участке, продолжая жаловаться на французов за их невнимание к больным и раненым солдатам. Это создало для меня новую работу по организации тыла, и военный агент, без всяких распоряжений из России, превратился в печальника тыла на чужой земле, отвечая решительно за все, вплоть до уплаты хронически недополучаемого на фронте жалования. «Не на эти ли деньги катаются ваши офицеры в Париж?» — спросил я как-то Лохвицкого. Это была еще одна из неясных мне страниц деятельности нашего русского командования.

3-я бригада, под командованием моего старого коллеги по академии и маньчжурской войне, Володи Марушевского, проходила переподготовку в лагере Матьи. Большой ловкач, этот малосенький блондинчик применился к французским порядкам гораздо скорее, чем Лохвицкий, и беда Марушевского заключалась только в его супруге, красивой брюнетке, на две головы выше

его ростом. Это обстоятельство, как будто уже давало ей повод чувствовать свое превосходство, вмешиваться в его служебные дела, получать букеты цветов от офицеров, принимая не только дежников, но и вообще солдат за рабов, обязанных ее обслуживать. Охлаждение наших отношений с бывшим «зонтом» стало неизбежным.

★ ★ ★

Салоникские бригады прибывали уже по налаженному англичанами морскому пути от Мурманска до Бреста, где погружались на железную дорогу и снова перегружались на суда в Марсель.

Для встречи и передачи от меня приветствия каждому эшелону я командировал всегда того же Балбашевского, привыкшего разрешать самостоятельно бесчисленные мелкие затруднения и возникавшие с французами трения. Все, казалось, было налажено, как неожиданно, в ночь со 2 на 3 августа 1916 года, у моей постели в Париже раздался телефонный звонок из Марселя.

— Господи полковник, большое несчастье — докладывал Балбашевский. — Солдаты убили командира эшелона 4-й особой бригады. В лагере настоящий бунт. Офицеров нет. Солдаты никого не слушают. Сейчас лично арестовал при содействии французов 3-ю пулеметную роту и вывез ее из лагеря на форт Сен-Никола. Я знаю, что вам невозможно отлучиться из Парижа, но я прошу вас принять какие-нибудь меры. Французы очень встревожены. Лагерь окружен разездами гусар...

— Сам приеду. Встречайте меня после завтра на вокзал и успокойте французов, — ответил я Балбашевскому и, вызвав тут же машину, полетел в Шантильи.

Мне надо было прежде всего доложить обо всем Жилинскому, являвшемуся высшим начальником над нашими бригадами. Он пользовался по отношению к нам дисциплинарными правами главнокомандующего фронта.

Но и в семь, и в десять утра его высокопревосходительство еще, конечно, отдыхали, между тем как адъютант Жоффра уже звонил по телефону Наму, вызывая меня к главнокомандующему. Жоффр был в курсе марсельского происшествия и принял меня немедленно.

— Нам уже было известно, — сказал он, — что эти войска еще при посадке в Бресте произвели менее благоприятное впечатление, чем прежнюю ваши эшелоны, но бунта мы на своей территории допустить не можем. Нам, конечно, нетрудно навести порядок в кратчайший срок, у нас для этого войска в Марселе достаточно, однако судите сами, какая это будет пища для немецкой пропаганды: французы расстреливают собственных союзников! Необходимо, чтобы вы сами привели ваши войска в порядок. Поезжайте в Марсель: я предоставляю в ваше распоряжение, на всякий случай, все воинские части 15-го и 16-го военных округов (Марсель и Ницца).

— Очень вам благодарен за доверие, генерал, — ответил я. — но надеюсь, что ваши войска не понадобятся. Я обязан только доложить об этом генералу Жилинскому, который вам и сообщит свое решение.

— А так ли это необходимо? Впрочем, делайте все, как найдете нужным, — отпустил меня с этими словами старик; он был не в духе.

В роскошной столовой виллы Ротшильда свита Жилинского благодушно разливала утренний кофе, ни о чем, конечно, не подозревая. Представитель

сравного командования принял меня в своей спальне и, выслушав мой доклад, раздраженно заявил:

— Вот они (из презрения к французам, он всегда употреблял по отношению к ним это местоимение) хотели получить себе части войска, пусть и управляются с ними, как хотят. Нам с вами до этого дела нет, и во всяком случае никого из «своих» посылать в Марсель не стану.

Напрасны были мои горячие доводы о чести русского имени, о престиже России, напрасны были соображения о немецкой пропаганде.

Серовато-желтое лицо Жилинского оставалось неподвижным, а безразличное отношение ко всему происходящему объяснялось его искренней неприятием ко всему, что имело малейший запах демократизма,— будь то русский солдат или французский республиканский генерал.

— Что же вы сами можете предложить? — пропел, наконец, сквозь свои чересчур длинные и скошенные зубы Жилинский.

— Самому поехать в Марсель,— почтительно, но твердо, по-военному, ответил я, и заметил с удивлением, что генерал способен оживиться.

— Вот это прекрасно! Я передаю вам мои полномочия, все права главнокомандующего, действуйте от имени государя императора,— и мы стали уже в более приятном тоне обсуждать вопрос о командировании в мое распоряжение одного батальонного и четырех ротных командиров из состава 1-й бригады. По моим предположениям, прежде всего надо было заменить командный состав марсельского эшелона. «Рыба с головы воняет»,— говорил Михаил Иванович Драгомиров.

От Шалопы до Парижа в хорошей машине можно было доехать за три часа, но так уж создан был старый русский мир, что для выполнения столь простого распоряжения Жилинского потребовалось не один, а целых два дня. Офицеры запоздали, и мне пришлось выехать с вечерним поездом в Марсель в полном одиночестве.

На этот раз город-весельчак не смог отогнать тяжелых мыслей. Дело шло о жизни и смерти людей, о репутации русской армии за границей. В первую минуту хотелось помчаться с вокзала Марселя в знакомый уже мне лагерь, но, рассудив, я решил подготовить предварительно свое появление перед взбунтовавшимся отрядом, выработать заранее план действий.

Вспомнился и завет отца, который как будто предчувствовал, что сын может оказаться в положении, еще более трудном, чем он сам, принимая командование курляндскими уланами, не ответившими на приветствие своего командира. «Старайся говорить с восставшей толпой,— советовал отец,— только утром, когда первые еще успокоены ночным отдыхом. Как ни странно, но после полудня люди и хуже работают и не столь здраво рассуждают».

Из допроса, učinенного встревоженному Балбашевскому и встретившему меня еще на вокзале временному начальнику отряда, полковнику Крылову, выяснилось, что убитый полковник Краузе оказался в роковой вечер единственным офицером, кроме дежурного прапорщика, не уехавшим из лагеря в город. Солдаты были взволнованы недополучкой жалованья и запрещением выхода за пределы лагеря.

Темнело, когда Краузе пошел их утешать, но беседа приняла, повидимому, столь угрожающий для него характер, что он вынужден был резко ее прервать, а затем, под улюлюканье толпы, направиться к выходу, сперва спокойно, а потом, испугавшись, почти бегом. Это и решило его судьбу.

Несколько человек из толпы бросились за ним и, повалив его, нанесли ему смертельный удар. Находившийся в десяти шагах от происшествия караул не принял никаких мер, а дежурный офицер совсем скрылся. Единственным защитником полковника оказался лагерный сторож, старый французский унтер-офицер, которого солдаты только оттеснили, но выместили свою злобу на пытавшемся их уговорить собственном фельдфебеле из вольноопределяющихся, Лисицком. Ему пробили череп.

Офицеры, вызванные срочно из города французскими переводчиками, прибыли, когда уже все кончилось и люди разошлись по баракам. Виновных не оказалось, а дознание дрожащий от страха Крылов боялся начать.

Дело, впрочем, было уголовное и требовало производства немедленного судебного следствия. К счастью, на рейде стоял случайно наш крейсер «Аскольд», и, связавшись по телефону с командиром, мне удалось получить в свое распоряжение морского следователя, очень спокойного и культурного судейского подполковника. Это дало возможность избежать вмешательства французских судебных властей, а тем временем заняться выяснением самой личности покойного.

Удалось лишь узнать, что Краузе был кадровым офицером, исправным, подтянутым служакой, всегда одетым с иголочки, в лакированных сапогах и узких рейтузах, не пехотного, а кавалерийского образца. Дослужившись до штаб-офицерского чина и получив в командование батальон, он стал подтягивать не только офицерскую молодежь, но и самих ротных командиров, придираясь, по словам Крылова, даже к мелочам. Что считал Крылов «мелочами», добиться от него было невозможно, но по его одутловатому и плохо выбритому лицу, да и по кителю не первой свежести можно было догадаться, что на внешнюю дисциплинированность старик уже бросил обращать внимание.

При подготовке эшелона в России солдаты привыкли уже к строгости своего молодцеватого батальонного командира, но офицеры простить ему начальнический тон не желали и, как только погрузились в Архангельске на морской транспорт, стали взваливать на своего командира все неприятности, связанные с морской перевозкой. С первых же дней пути стали ходить пеленые слухи о неизбежном потоплении парохода германскими подводными лодками, которые якобы будут действовать по указанию Краузе, благо он носил немецкую фамилию.

По прибытии в Марсель задержки в выдаче ротными командирами жалованья солдатам так же объяснялись нераспорядительностью Краузе, как временно заведывающего хозяйством отряда.

— Благоволите, — нанутетвовал я Крылова, — построить отряд завтра в шесть часов утра и подойти ко мне с рапортом (это меня несколько смущало, так как престарелый Крылов, очевидно, был старше меня по производству в полковники), а при обходе мною отряда называть мне поутно номера рот, так как «братнями» я завтра называть ваших солдат не собираюсь.

— А как прикажете, господин полковник, выводить войска при оружии или без оружия? — вялотебеса, таинственно спросил меня Крылов.

«Неужели офицеры настолько боятся собственных солдат?» — мелькнуло у меня в голове.

— Не только при оружии, а и при боевых патронах, словом с полной боевой выкладкой, — резко отчеканил я, торопясь еще успеть нанести визиты

нашему французскому местному командованию. Я просил его снять, как можно, описание лагеря французской кавалерией.

На следующее утро, точно в назначенный час, я, в сопровождении Балашевского, считавшего себя моим телохранителем, вошел через ворота той самой каменной ограды, окружавшей лагерь, через которую еще казалось так недавно проходили покрытые цветами первые роты наших солдат.

Мне впервые пришлось оказаться в роли строевого командира пехотного отряда, и потому не без волнения услышал я команду: «Смирно! Слушай караул!», увидел почтенного полковника Крылова, пересекавшего дуг с поднятой под высь шапкой для отдачи мне рапорта.

— Здорово третья! Здорово одиннадцатая! — здоровался я с людьми, проходя неторопливо по фронту, вглядываясь в солдатские лица.

Состав был смешанный: рядом с безусыми повобранцами и бравыми кадравыми унтерами попадались много бородачей, напоминавших старых манчжурских соратников. Все «ел глазами начальство», и трудно было поверить, что перед тобой стоят бунтовщики, убившие собственного начальника. Но, чу!

— Здорово восьмая! (роты были разных батальонов и стояли не в порядке номеров).

В ответ, вместо обычного «Здра-а-а-вия желаем!..», только несколько неуверенных голосов. Останавливаюсь, а Крылов неправильно подсказавший мне номер роты, шепчет мне на ухо: «Пятнадцатая».

— Виноват, — говорю, — я ошибся. Здорово пятнадцатая!

И сразу слышится не только дружный, но почти радостный ответ.

Окончив обход, направляюсь в самый угол каменной ограды, откуда отступать, подобно Краузе, мне некуда. Солдаты окружили меня плотным кольцом, и я начал речь. Я ее не готовил и не записывал, а только обдумал. На какие чувства моих слушателей я могу рассчитывать. Речь — это не доклад: доклад требует строгой продуманности, основанной на документации и логике, тогда как речь призвана пробуждать мысли и доходить до сердца. Вот почему восстановить все, что я говорил в течение доброго получаса, невозможно.

— Подумайте о позоре, которым вы себя покрыли, об огорчении, которое принесли своим близким на дорогой нам всем родине, о чести русского солдата, оскорбленной перед иностранцами. Я не в силах признать вас всех виновными, но смыть с себя позор вы можете только выдачей убийц. Военный закон вам известен. Он неумолим, и я не хочу, чтобы перед ним отвечали неповинные. Я даю вам шесть часов на размышление.

Никогда мне не забыть того низенького бородача, левофлангового рядового, что отбивал шаг по густой траве в последней шеренге отряда, пропущенного мною в заключение церемониальным маршем, как не изгладятся из памяти и все те, подобные ему, простые русские люди, что били лбом землю на паникиде перед гробом Краузе.

— И вы, ваше высокоблагородие, и ты, господи боже, — читалось в глазах этих наивных русских крестьян одетых в военные шинели, — видите, какие мы усердные служаки, как бы мы хотели заслужить прощение, не брать греха на душу!

А едва смолкли звуки «Вечной памяти», как зазвонели в ушах медные рожки альпийских стрелков, загудели барабаны невиданных чернокожих солдат африканских дивизий и засверкали серебряными позументами светло-

голубые ментики тусар на непокорных тонконогих арабчонках. Это были представители марсельского гарнизона, прибывшие для отпущения воинских почестей умершему полковнику союзной армии. Было с чего русским людям голову потерять.

К четырнадцати часам были уже арестованы, если не ошибаюсь, четыре или пять унтер-офицеров, уличенных в убийстве, а в шестнадцать часов — весь отряд в образцовом порядке погрузился в поезд для отправки в лагерь Мальи. Вновь прибывшие офицеры вступили в командование, а погодные были откомандированы в Россию для предания суду.

Моя миссия была закончена. Марсельский отряд поступал под непосредственное начальство Жилинского, который решил строго придерживаться закона и приговора полевого суда.

Героями умерли на французской земле семь унтер-офицеров и солдат, приговоренных к расстрелу, героями сражались и умирали на далеких Балканах в последние недели перед революцией их товарищи 4-й особой бригады!

Покидая Марсель, с тяжелым чувством садился я в тот же вечер на парижский экспресс... Мне удалось устранить французам от вмешательства в наши дела, предотвратить неизбежно суровую и, как всегда, чересчур поспешную французскую расправу с нашими солдатами. Я не мог забыть русских волонтеров Иностранного легиона, которых мне не удалось спасти от расстрела французами в первые месяцы войны.

Когда поезд тронулся и, выйдя из темного длинного марсельского туннеля, начал плавно рассекать безлюдные тихие равнины Прованса, стало очень грустно на душе. При последних лучах солнца, заходящего где-то там, далеко на Западе, расставался я с теми представлениями о русской армии, которые уже сильно были поколеблены в русско-японскую войну.

В памяти вставала вся марсельская трагедия.

Кроме той полуграмотной массы, что молилась на панихиде, появились солдаты, каких я до тех пор не видал. Озлобленные, готовые на все, смотрели они на меня, когда, закончив дела в лагере, посетил я еще и арестованную Балбашевским пулеметную роту. Я впервые почувствовал, что на таких людей могу иметь воздействие, только показывая им собственное бесстрашие, и выстроил их нарочно на узенькой площадке, между крепостным фортом и обрывом неприступной скалы. Малейший толчок одного из стоявших передо мной солдат свергал меня в море. Быть может, спокойный тон, в котором я старался с ними говорить, примирил их с моими полковничьими погонами, но я уже чувствовал, что ненадолго. Это были пулеметчики, окончившие Ораниенбаумскую школу, о революционной репутации которой мне довелось как-то мельком услышать.

Так вот они, те русские люди, которых называют революционерами, те левые, которые, по выражению Энгельгардта, грозили «захлестнуть русских либералов». Кто и как сможет с ними справиться?..

Государственная власть стала, видимо, уже так слаба, что и военное командование пытается избегать чересчур близкого общения с собственными подчиненными. В этом убедили меня некоторые офицеры, с которыми я три часа подряд говорил сегодня в лагерной канцелярии. Разве подобные начальники способны поддерживать честь и достоинство нашей армии? Участвуя в той или иной форме в провоцировании солдат на выступление против чересчур строгого начальника, они после его убийства не решались сами спро-

свить своих подписанных, увиливая всеми способами от объяснения моего поведения.

Так этот день, проведенный в Марселе, создал для меня одну из отправных точек для суждения о грядущей революции. Я почувствовал с ужасом, что с разлагающимся офицерством мне будет не по дороге. Чем дороже тебе человек, тем тяжелее бывает разочарование в нем. А русская армия была для меня дорога.

Сколь великим и трудно достигаемым счастьем казалось для меня когда-то производство в офицеры, сколь священным казался и серебряный погон и белоснежный мундир родного кавалергардского полка! Как живые запечатлелись в памяти скромные герои-офицеры сибирских стрелковых полков на далеких манчжурских сопках, и как будто еще вчера я слышал рассказы о наших гвардейцах, ходивших во весь рост в атаку в великой галицийской битве, о кавалергардских офицерах, подававших рапорты о переводе в пехоту при замене своих товарищей, павших смертью храбрых.

Горько будет со всем этим расстаться.

Солнце закатилось, а экспресс продолжал нестись сквозь ночную мглу на север, в Париж, где ожидала меня снова работа и работа без конца.

Глава двенадцатая

ОДНА НОЧЬ

В ночь с 7/20 на 8/21 марта 1917 года я в Гран Кю Же поехал и после рабочего дня вернулся на отдаленный от городского шума остров святого Людовика, где мы уже второй год жили с Натальей Владимировной на ее старой квартире, в доме № 19 по Бурбонской набережной.

Злая судьба разлучила нас с первых месяцев войны. Они показались нам особенно долгими, и по возвращении Натальи Владимировны в Париж мы упоминали о предвоенной весне как о потерянном рае.

Вот камин и кресло, на котором, еще совсем недавно напевали мы старые любовные дуэты:

Давно все это было
И с вешним льдом уплыло...

Наташа так любила мою гитару. Теперь было не до песен, а к камину пришлось пристроить из-за недостатка угля для центрального отопления чугунку, нарушившую гармонию в обстановке кабинета эпохи и стиля Ампира.

Вот наружная лестничка в садик с древними ясениями и двухсотлетним деревом спрепи. То ли от войны, то ли от старости, оно раскололось на две части и погибло. Илонка лестницы с черными чугупными перилами, без окрашивших ее когда-то цветов. Теперь тоже не до них.

Не досягая из гостиной звуки рояля, на котором так любил играть наш друг, композитор Дюкас, не садится за большой круглый обеденный стол под хрустальной венецианской люстрой элегантный Анри Барбюс и эксцентричный Жюлье. Их заменяют мои скромные ближайшие друзья и сослуживцы с Эдже Веллю. Пожелтевший от работы Ильинский не перестает жаловаться на тех своих «врагов внутренних», что по недоразумению сами «подтачивают сук, на котором сидят».

Когда они уходят, Наташа мне постоянно повторяет: «Не горюй, все будет по-хорошему и по-нашему!» Что означают слова «по-нашему», мне еще не ясно. Неужели же наступит час, когда все эти сознательные и бессознательные немецкие пособники, саботирующие нашу работу во Франции, получат заслуженное возмездие? И как это может произойти?

Что творится в России?

Единственным источником осведомления за последние десять дней являлись для нас французские газеты. В коротких телеграммах, якобы от собственных корреспондентов из России, они сообщают о каких-то уличных беспорядках в Петрограде, вызванных очередями за хлебом. Эта причина мне кажется мало правдоподобной: неужели в России нет хлеба?! Впрочем, кому же, как не мне, было знать, чего стоят французские газеты в военное время!

Приходилось, как обычно, жить догадками. А ну как действительно хлеба нехватало? При строгом режиме в питании, введенном во Франции с первого же дня войны, меня поражали письма Наталии Владимировны из России о «кадачиках» и «расстегаях» в Москве, а позже разговоры с Ланглуа заставляли серьезно призадуматься: по его словам, наша армия с первых дней войны получала чуть ли не двойной, против мирного времени, хлебный и мясной рацион. Не в пример Франции, мясо в России всегда считалось роскошью, и чертолиньские крестьяне позволяли себе есть солонину только по праздникам, а хлеба им хватало лишь до весны.

Если, по словам Шингарева, мы теперь пужаемся «решительно во всем», то, пожалуй, при подобной государственной беспечности миллионы мобилизованных людей могли съесть и мясо, и хлеб всей страны.

Уличные беспорядки сами по себе не означали еще революции: за царствование Николая II мы уже к ним привыкли, но вот причина их — недостаток хлеба — напомнила по аналогии о ближайшем аналоге к французской революции. Мысль эта, впрочем, только промелькнула: я был так поглощен войной, что инстинктивно устранил с пути всякую помеху ее конечному успеху. Перенести уже одновременно и войну, и революцию России, как мне казалось, будет не под силу. Революция 1905 года мне достаточно ясно это показала.

«Нет,— думал я не раз за последние два года,— надо терпеть и надеяться, что без большой ломки, одной заменой главных руководителей, мы сможем добиться разгрома вильгельмовской Германии. Заменен же был Сухомлинов либеральным Поливановым и честным Шуваловым, а Сергей, хотя и великий князь,— таким славным русским человеком, как Маниковский».

Истекшая зима сильно, впрочем, поколебала во мне уверенность в возможности поворота внутренней политики. Я никак не мог себе представить во главе правительства того самого Штурмера, который, по-моему, только и был способен заведывать церемониальной частью министерства иностранных дел и в раздушенном италийстерском мундире указывать дорогу иностранным послам через залы Зимнего дворца.

Еще большей загадкой явился для меня приход к власти Протопопова. Он ведь только что побывал в Париже, во главе нашей парламентской делегации. Болезненный, нервный, неуравновешенный либерал, он, по словам всегда хорошо осведомленного в этих делах Севастополю, превратился неожиданно в ярого реакционера.

Они, Штурмер и Протопопов, были таким ничтожеством, что по сравнению с ними не только Витте и Столыпин, но даже Коковцев представлялись великими государственными людьми. Приезжавшие из России офицеры сухо и осторожно объясняли, что высшие посты предоставляются по указаниям Распутина. По мысли, что на государственные дела может иметь хотя бы даже отдаленное влияние какой-то развратный полупьяный мужик, не складывалась в моей голове. Многие, что говорилось о Распутине, хотелось в это время приписывать селянским, и только его таинственное убийство уже казалось былью. К чему было только князю Юсупову и великому князю Григорию Навловичу мартыть руки о подобную мечеть! Вероятно, иначе они с ним кончить не могли.

Серьезно призадуматься над «беспорядками» в столице заставили промелькнувшие намеки на участие в них солдат Волынского полка. Варшавская армия! Как могла она появиться в Петербург? Это могут быть, наверное, только запасные батальоны этого полка, решил я. Надо же быть Белявым и Хабловым, чтобы додуматься, для обеспечения порядка в столице, набить ее запасными войсками, подающимися легче всего к разложению! Французские представители поступали хитрее, отводя на отдых в окрестности Парижа только самые надежные и наиболее дисциплинированные части — кавалерию. Они действительно доказывали, что армия «стается «вне политики», но по существу считали ее, конечно, опорой республиканского режима. Они, правда, не жалели денег на хорошую полицию, не упоминали в своих военных уставах, в противоположность нашим, о «врагах внутренних», но все же рассматривали на армию как на последний «полицейский резерв».

Только наивные российские политики могли не постичь, что с начала XX века царский режим держался на миллионах двухстах тысячах солдат, связавшихся в армии по инерции мирного времени.

Пошатнулась армия и развалилась, «как карточный домик», по волеизъявлению тех же наивных политиков, Российская империя.

Не раз приходилось вздыхать о роли охранителя «порядка», навязанной русской армии, но когда в парижских газетах появилось известие о выдаче войсковых пулеметов столичной полиции, о переделывании в нашу военную форму горюховых и жандармов, легион презираемых русской армией, меня охватило глубокое возмущение. Впервые, быть может, я почувствовал себя на стороне бастующих.

По-своему погодова на последних царских правителей и всегда такой неукротимый Матвей Маркович Севастопуло. Мы облизались с ним за последние время еще и потому, что с появлением в Париже Жилинского посол разделялся со мною мыслями. С моим мнением он мог уже не считаться. Сменивший Жилинского Федор Федорович Палицын все тот же «Федя», при известии о начавшихся в Петрограде серьезных волнениях поступил, как всегда, «мудро»: он оказался в Гран Кю Жэ, перескакившим к тому же из Шантильи в отдаленный от Парижа Бове.

24/16 марта, под вечер, Севастопуло позвонил мне на службу и просил срочно захватить в посольство. Говорить по телефону в Париже во время войны было не безопасно из-за строго установленного полицейского контроля.

— Царь отрекся, этого, конечно, надо было ожидать, — объявил мне Севастопуло. Его спокойный тон меня сразу от него отшатнул. Неужели он не понимает всего значения этих слов? Я просто верить не хотел, как это мо-

жет русский царь добровольно уйти с престола? Как может Россия существовать без царя? И, сильно взволнованный, я, вместо канцелярии, прямо поехал на Ка Бурбон, чтобы привести в порядок свои мысли.

Наташа, однако, тоже понять меня сразу не смогла: для нее царь представлялся только тем «Колькой-Миколькой», каким уже давно прозывали его в Москве, а о политике она рассуждала по рецептам, преподаанным французской революцией. Пострадают ведь одни только аристократы.

На следующее утро во всех французских газетах большим буквами уже было напечатано:

ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II ОТРЕКСЯ ОТ ПРЕСТОЛА В ПОЛЗУ СВОЕГО БРАТА МИХ. ИЛИ АЛЕКСАНДРА СЕВЧА

С этим недочкой мне уже приходилось встречаться.

При входе в свой служебный кабинет первым, что бросилось мне в глаза, был овальный, очень плохо выполненный портрет Николая II в преображенской форме. По странной случайности, он был поднесен мне моими подчиненными только недавно, к Новому году. Когда и кто возымел эту злощастную мысль, так и не удалось установить, но удовольствия подобный подарок мне не доставил: я никогда не украшал даже своего рабочего кабинета портретами царей.

— Снимите портрет и замените его тем же зеркалом, которое всегда тут висело, — приказал я Тессье и продолжал обычную работу.

Позднее этот простой жест был истолкован эмиграцией как нечто чудовищное:

— Игнатьев-де, сорвал портрет царя со стены и публично тентал его ногами.

К полудню ко мне вошел Лохвицкий и требовал точных указаний, что я как ему объявлять войскам. Солдаты уже были в курсе преходившего в России и могли обвинить офицеров в сокрытии от них совершившегося переворота. От своего прямого начальника Палилына Лохвицкий по телефону толку добиться не мог, но и я, к сожалению, никаким официальным документом не располагал. Мне тоже надо было подумать о непосредственно мне подчиненных русских комендантах, о больных и раненых солдатах, разбросанных по всей территории Франции.

От великого до смешного — один шаг, и к вечеру того же дня Извольский вызвал меня для решения вопроса о форме сктении на всенощной в посольской церкви: была суббота, и почтенный отец Смирнов требовал указаний: помянуть ли великого князя Михаила Александровича как царя или нет и как же совершать «большой выход» на литургии? Вся ведь церковная служба была переполнена молениями о царе и августейшей семье, что уже с давних пор мне было не по душе.

— Граф Игнатьев знает церковную службу не хуже вас, — заявил Извольский отцу Смирнову, — пусть он и решает вопрос.

Каждый час, проведенный без официальной телеграммы из России, казался вечностью, но мое начальство, повидимому, оставалось верным себе и попросту позабыло о своих заграничных представителях.

Прошел день, прошли два дня, и первым, получившем телеграмму, сформированном какого-то правительства, назвавшего себя «временным», ока-

жился наш морской агент, капитан 1-го ранга Дмитриев — «борода», как называли его не очень с ним считавшиеся мои сослуживцы. В Петрограде среди работников морского штаба уцелело еще несколько офицеров «младотучных», рожденных Цусимой. Они приветствовали революцию, особенно подчеркнув, что она произошла «без малейшего пролития крови».

Этот оптимизм как нельзя более соответствовал настроению и моих ближайших сотрудников с Эльзе Реклю. Близко принимая к сердцу всю мою борьбу за сохранение тех устоев, от которых зависел наш военный кредит во Франции, они надеялись, что революция, да к тому же «бескровная», сможет «переворнуть», «деловую атмосферу», выкинуть за борт темных дельцов и взяточников.

В артиллерийской комиссии, где продолжалось благодушное безделье, революция дала возможность использовать служебные часы на бесконечные чересчур, а в авиационной — старик-прапорщик Доросhevский, оказавшийся ярким монархистом, безуспешно громил интеллигентную, обитавшую со в «крушении империи».

Вынимая из бумажника русские кредитные билеты и тыча пальцем на изображенную на них эмблему России, подвывавший Доросhevский твердил: — «Эт, смотрите, за эту женщину в коконнике погибаю!»

Французские знакомые сочувственно пожимали мне руку, как бы считая, что после падения царского режима для меня в России места не найдется.

Военные французские друзья предлагали мне без замедления перейти в ряды французской армии. Пройдя школу усовершенствования для высшего командного состава в Шалоне, я, по их мнению, мог получить командование бригадой и быстро продвинуться по службе.

Некоторые «Рыцари промышленности», как Ситроен и в особенности главный директор Шнейдера Фурнье, не замедляли открыть передо мной широкие горизонты для работы в военной промышленности на почетной, не чересчур обременительной, а главное — очень доходной должности в conseils d'Administration (правлениях). Их интересовало сохранить через меня связи с Россией, развить дела с Англией и Америкой.

Альбер Тома уже несколько дней избегал встречи со мной. Он, как и большинство политических деятелей, занял по отношению ко мне выжидательную позицию.

Отречение Михаила Александровича внесло еще большее смятение в обещанные бригады, и Лохвицкий продолжал звонить мне по телефону из лагеря Милы и просил указания: кому же присягать? Посольство, однако, не получило даже манифеста об отречении царя на русском языке, а солдаты требовали документа. Таков уж русский человек — словам не верит, требует показать не только документ, но даже подпись.

В конце концов я понял, что для разрешения всех недоразумений нужен какой-то приказ. Посол отдавать его не может, Паллецын не хочет, — значит, все будет служить документом приказ по управлению военного агента, которым я вынужден был с некоторых пор окрестить мою когда-то скромную наемную канцелярию.

Кстати, утром 7 марта пришла, наконец, давножданная телеграмма за подписью Занкевича. Я догадался, что это тот Занкевич, который был только на два года старше меня по выпуску из академии, из чего я понял, что в генеральном штабе произошли перемены — власть захватила молодежь.

Кратко сообщая об отречении Николая II и обращении к народу Михаила Александровича, новый генерал-квартирмейстер не говорил прямо о принятии на себя временным правительством верховной власти, а только указывал, что:

«Все главные управления военного министерства продолжают без изменения функционировать под руководством временного правительства».

Слово «руководство», как не совсем военное, мне особенно не понравилось.

Вся революция ограничивалась тем, что: «название «нижний чин» заменялось словом «солдат» и что «солдатам приказано (кем приказано не указывалось) говорить «вы», а они титулуют начальствующих лиц «господин генерал или полковник» и т. д.

Отменены ограничения (слово тоже мало вразумительное), установленные статьями 29, 100, 101, 102 и 103 устава внутренней службы».

Никакой революционной решительности и твердости в этом документе не чувствовалось, но все же он давал какой-то материал для установления нового порядка вещей.

«Объявляю по вверенному мне управлению следующую телеграмму генерал-квартирмейстера».--- перечитываю я теперь конию своего приказа от 8 марта 1917 года за № 15, сохранившуюся на пожелтевших от времени листах французской бумаги.

Изложив манифест отречения царя и отказавшегося от «невыгодного наследства» его брата, я заканчивал свой приказ так:

«На основании вышеизложенных документов предписываю:

1) Сохраняя впредь до могущих быть изменений все военные законы и уставы, за исключением вышеупомянутых параграфов устава внутренней службы, считать высшей властью в России временное правительство.

2) Начальникам отделов, старшим и младшим комендантам объяснить, с особым вниманием, офицерам и солдатам смысл совершившегося в России государственного переворота и необходимость соблюдения более чем когда-либо все требования закона и воинской дисциплины.

Обращаю внимание всех подведомственных мне лиц и учреждений во Франции на необходимость делом и примером поддержать в настоящую минуту честь русского имени офицера и солдата в глазах наших союзников. В настоящий момент главной целью нашей жизни является победа над внешним врагом, и потому прежде всего все мы должны проникнуться сознанием воинского долга перед бесконечно дорогим всем нам отечеством.

Подлинный подписал:

Полковник граф Игнатьев.

С подлинным верно:

Капитан Нардынов».

Последний пункт был вызван, повидимому, брожением умов в солдатской массе и распушенностью в офицерской среде.

Перед окончанием служебного дня Приказ уже лежал передо мной, перепечатанный на машинке. Оставалось его подписать. Он показался мне вполне обоснованным, однако моя собственная формулировка: «Считать высшей властью в России временное правительство» в последнюю минуту еще лишний

раза меня смутила. Этими словами я принимал на себя какую-то самостоятельную политическую ответственность.

— Тут вот два опечатки нашлось,— сказал я своему секретарю,— они допустимы в таком документе. Велишь переопечатать, а завтра подпишу,— я, положив черновик в карман походного кителя, вернулся на Кэ Бурбон.

Большим для меня подспорьем в жизни являлось привытое смолоду уважение к подписи. Сколько горя хлебнули целые русские семьи из-за необходимого подписания мужьями или сыновьями денежных обязательств, и как много было скомпрометировано французских политических деятелей их страстью к писанию писем по всякому поводу, к выдаче совсем на первый взгляд невинных рекомендаций. Подписав за время войны одних только казенных чеков больше чем на два миллиарда франков, я привык еще осторожнее давать свою подпись. Это очень мне пригодилось во всей моей последующей службе России, а в советское время создало репутацию надежного хранителя чужих торговых интересов за границей.

— Передайте эти векселя на подпись Алексею Алексеевичу,— сказал мне-то один из наших работников по Внешторму,— он зря не подпишет.

Понятно, какое значение придавал я и подписанию своего приказа в февральской революции.

Казалось бы, что за дни и часы, прошедшие после отречения царя, было время определить свое личное отношение к событиям в России. Однако так уж мы созданы, что и радость и горе ощущаются не сразу. Время их только усугубляет. Влюбиться можно подчас с первого взгляда, а глубоко полюбить случается лишь пройдя вместе через тяжелые испытания.

Обрадовались мы революции, но что она с собой принесет?

Для меня, усталого не от работы, а от борьбы, жаждавшего коренных перемен в управлении России, революция, в первую минуту казалась великим счастьем. Но как Россия может быть без царя? Что скажет нам многомиллионный народ? Как отнесется к революции наша великая армия?

Мысли и чувства перепутались, противоречия душились...

Их надо было во что бы то ни стало разрешить, и притом раз и навсегда. Я еще не ясно сознавал, но предчувствовал, что, подписывая приказ, я определяю этим всю мою дальнейшую судьбу.

Тихо было в эту памятную для меня ночь в нашем кабинете на Кэ Бурбон. Наташа легла спать, а я, положив перед собой чистый лист бумаги, стал писать. Еще в академии у меня была привычка думать с карандашом в руках: для военного человека не бесполезно уточнить и закрепить на бумаге свои соображения. Но беда моя была в том, что мыслить приходилось не о войсках, не о снарядах, а о чем-то отвлеченном, что я только опасался назвать «политикой». Офицерам подобным делом заниматься не полагалось.

Сперва мысли продолжали лезть друг на друга, а когда я, потеряв лоб, стал искать причину этой неразберихи, то с ужасом убедился в своей почти абсолютной «политической безграмотности».

Поступая в академию, я основательно изучил французскую буржуазную революцию.

В первую русскую революцию узнал о существовании «асеров», вооруженных браунингами, и «эсдеков», не вооруженных, но более опасных для существовавшего режима, опиравшихся не на разрозненное крестьянство, а на организованные рабочие массы. Читал я как-то в Париже о Плеханове, но о других вождах левых партий даже не слышал.

В разнице между кадетами и октябристами разбирался плохо, так как не мог понять, чем отличается бородач-гастроном Миша Стахович, видный кадет, от моего корпусного товарища Энгельгардта — октябриста.

С Пуришкевичем знаком не был, и речи его представлялись мне только не лишенной таланта болтовней. А Марков 2-й казался просто грубым хамом.

Заграничная служба, в особенности во Франции, вынудила меня ощупью разбираться в темном лабиринте политических партий, от которых зависела обороноспособность нашей союзицы. Читал газету Жореса и слышался о забастовках, как о крайнем средстве борьбы рабочих с предпринимателями.

В конце копцов я был больше знаком с политической физиономией Франции, чем со всем происходившим за последние годы в России.

«Как жаль,— думалось мне,— что нет у меня ни одного русского, с кем бы я мог посоветоваться. Извольский растерялся, Севастопуло мыслит о России, как иноплеменец, а мои сотрудники, даже полковник, уже ничего в политике не смыслят».

Одиночество заставило вспомнить об упреждавших уже в могилу дорогих и близких мне людях. Как бы они думали и поступали, очутившись в моем положении?

Помню, как в раззолоченном мундире камер-лажа приглашался я по воскресеньям, после обеда у бабушки, на завтрак к дяде, Николаю Павловичу, и, пользуясь его особым расположением, проходил прямо в рабочий кабинет этого бывшего государственного деятеля. Он сидел у письменного стола, вечно заваленного — вероятно, по привычке — какими-то бумагами, а я, ожидая, что он кончит писать, смотрел в окно, выходявшее на Мойку, насупившись красного знамени придворных коношеч.

— Смотрите, дядя! — не удержался я от восклицания, — казаки идут! Едут к вам, я слышал от извозчика, что на Казанской площади студенты бунтуют. Неужели казаки будут их рубить?

— Какого там рубить! Все это, братец, пустяки. Вот когда с «топориками» народ пойдет, тогда ты обо мне вспомни, — сказал старик и продолжал писать.

Но пошел ли уже народ «с топориками» — вот вопрос.

Революция в России долгое время представлялась мне великим народным бунтом, направленным не только против помещиков и властей, но и против всех интеллигентов, которые не имели никаких корней в родной земле.

Мой единственный жизненный друг — стоц Алексей Павлович, не смог бы тоже дать мне совет. О революции он избегал говорить и только учил меня с детства, что «единственным справедливым актом во французской революции являлось лишение политических эмигрантов их имуществ во Франции». Как бы отнесся Алексей Павлович к эмиграции, мне догадаться было трудно, но я хорошо помнил, что даже переводы некоторыми русскими богачами денег за границу он считал тяжким нарушением интересов России.

Для обоих этих русских людей понятия о России и о царе являлись не-

идеалистами. «Основные законы Российской империи» были для них священными, и вот почему даже «Манифест 17 октября» так сильно их смутил. Взирая на каску, завешанную деду Николаем I и хранившуюся под стеклянним колиаком в кабинете на Гагаринской, Игнатьевы должны были помнить, как понимал этот самодержец служение отечеству.

«Я — первый слуга России, — будто бы говорил он, — вам, генералам. должен быть вторым, в противном случае — в Сибири!»

Как же должен был страдать после этого Алексей Павлович, убедившись в ничтожестве Николая II! Неподаром он помышлял в свое время о дворцовом перевороте, но все же представить себе Россию без царя не мог.

Как из потустороннего мира воскресли в эту ночь передо мной все эти понятия о русском самодержавии, я, несмотря на все возмущение, накопившееся против самой личности Николая II, я все же понимал, что с его уходом изменится коренным образом лицо моей родины.

Те, кто ею управляли, никогда не вернутся к власти.

«Держи вожжи тройки, которая тебя понесла, столько, сколько можешь. Никогда не перебирай вожжей. Лошади почувствуют твою слабость, и другойлучер, быть может много слабее тебя, лучше с ними справится», — вот на каком примере мой отец объяснял мне один из главных принципов управления людьми.

«Не течет речка обратно», — вспоминались мне также мудрые слова песенниковских казаков.

Я уже не отделял Россию от революции, но смогу ли я, однако, служить моей родине, так как служил при царе? Чьи приказы я должен буду исполнять? Кому подчиняться?

Нейтральным я оставаться не могу: я всегда презирал нейтралов.

Революционером, «подтачивающим государственные устои», тоже не был.

При таких условиях не лучше ли отойти в сторонку, приказа не подчиняться, сделать Францию своей новой родиной и в рядах ее армии продолжать выполнять свой военный долг?

Однако от одной мысли, что я могу перестать быть русским, сердце сжалось до слез. Как могла такая нелепость в голову прийти?!

«Надо взять себя в руки, — решил я, — и хладнокровно проанализировать свои мысли и чувства, точь-в-точь как когда-то в юности на уроках Ентеевского анализировали мы характеры героев тургеневских романов».

Ведь все, что я решу сегодня ночью, должно остаться неизменным до конца моих дней.

Вот концы того листа, что сохранил я навсегда, как «отходную для старой жизни», как «путевку» в новый мир:

Д О В О Д Ы

ЗА ТО, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ
РУССКИМ
ОПТИРОВАТЬ ЗА РЕВОЛЮЦИЮ:

Естественная, и потому необъяснимая, привязанность к матери-земле.

ЗА ТО, ЧТОБЫ ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ РЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
И ОПТИРОВАТЬ ЗА ФРАНЦИЮ:

Семейные традиции верности царскому престолу, не дающие права служить революции.

Чувство бесконечной благодарности России и русскому народу за всю прожитую жизнь, за все успехи, что я имел за границей как русский и как представитель русской армии во Франции.

Глубокое, до боли, возмущение против павшего царского режима за преступное ведение им войны.

Слепая вера в творческий гений русского народа. Он всегда сумеет определить свою дальнейшую судьбу.

Чувство удовлетворения от победы демократических начал в России, ценность которых, как крупного фактора в обороне страны, я осознал во Франции.

Сознание служебного долга перед Россией за сохранение кредита, необходимого ей для продолжения войны и нравственной ответственности перед Францией, оказавшей мне формой этого кредита личное доверие.

Нет! Какие бы личные выгоды и покой ни сулила мне Франция, не в силах я буду лишиться права ходить по родной земле, дышать русским воздухом, любоваться белыми стволами берез (они во Франции не растут), слышать русскую песню или даже просто русский говор!

Что же еще меня удерживает от подписания приказа, знаменующего мое вступление в ряды тех, кто сверг царя с престола?

И в эту минуту какой-то внутренний голос, который я не в силах был заглушить, помог разгадать загадку:

А присяга?... Офицерская присяга?... Ты забыл про нее? Про кавалергардский штандарт, перед которым ты ее приносил, поклявшись защищать «царя и отечество до последней капли крови». Отдавая приказ, ты не только ее сам нарушил, но и потребуешь нарушить ее и от своих подчиненных.

Стало страшно, хотелось порвать все написанное...

Но сам-то царь, кто он теперь для меня? Мне предстоит отказаться только от него, а он ведь отказался от России. Он нарушил клятву, данную в моем присутствии под древними сводами Успенского собора при коронавании.

Неохота стать участником тех насилий, которые неизбежны при всякой революции.

Возможность продолжать дело освобождения и России, и Франции от германского нашествия, в рядах французской армии, с которой я так сроднился.

Уважение и доверие к французам, вытекающее из совместной с ними работы в военное время.

Неуверенность в возможности использовать для России весь тот опыт, который был приобретен с затратой стольких сил и энергии в течение трех лет войны.

Материальная обеспеченность завтрашнего дня.

Витиеватые слова манифеста, оправдывающие отречение от престола, для меня не убедительны. Русский царь «отречься» не может.

Уж на что жалкой фигурой казался мне всегда Павел I, но и тот нашел в себе мужество сказать в последнюю минуту своим убийцам, гвардейским офицерам, предлагавшим ему подписать акт об отречении: «Вы можете меня убить, но я умру вашим императором»,— и он был задушен, а его преемник, Александр I, только благодаря этому и смог, пожалуй, беспрятственно вступить на престол.

Николай II своим отречением сам освобождает меня от данной ему присяги, и какой скверный пример подает он всем нам, военным! Как бы мы судили солдата, покинувшего строй, да еще в бою? И что же мы можем думать о «первом солдате» Российской империи, главнокомандующем всеми сухопутными и морскими силами, покидающем в разгар войны свой пост, не помышляя даже о том, что станет с его армией?

Когда-то мой brave молодой гвардейский улан 3-го эскадрона отказывался покинуть пост часового у деревянного склада до прихода «разводящего».

Я тоже был воспитан в строю, и как старый гвардеец останусь чуждым при вверенном мне многомиллионном денежном ящике до прихода «разводящего»!

Считает. Мое решение принято, и оно бесповоротно.

Царский режим пал, но Россия жива и будет жить.

Я подписываю приказ.

Как бы мне ни хотелось, подобно многим, рассматривать вчерашнее событие только как великий праздник,— для меня, знающего историю, это начало длинного пути, полного трудностей и тяжелых испытаний.

Да пролетит революция хоть немного света на мою темную родину.

Я буду служить ей столь же самоотверженно, как служил и до сих пор.

Я обязан всем, решительно всем, русскому народу.

Пусть он отныне и будет моим единственным повелителем.

*Июль 1913 года;
Москва.*

КОНСТ. ФЕДИН

НЕСКОЛЬКО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

(Записи)

Пять городов — Мценск, Орел, Карачев, Жиздра. Людиново, десятки разрушенных сел и деревень, сотни километров военных дорог, утопающих в зеленой пучине пыли, — вот что оставил я позади, прежде чем сесть за стол и написать о впечатлениях, небывалых в моей жизни никогда.

С пером в руке я попытаюсь пописать то, что, иногда казаясь, не поддается никакому пониманию и повторить путь по следам врага среди людей и самой природы, ставших жертвой врага, и рядом с людьми, которые врага побеждают.

ОН

В тех местах, где немец побыл, где прокатилась его армия, постоянна его власть, его зовут — он. Горожанка-обывательница и красноармеец, крестьянский мальчик и старик-мастеровой почти никогда не скажут — немец, германец, противник, враг, но всегда односложно и запечатлевающее: он.

Он угнал. Он спалил. Он похоронил минной. Он искалечил. Когда он пришел. Когда он уходил...

Он — это олицетворение всего, принесенного изомной волей. Он — это разрушение, двоиницы. Он — это война. В кратчайшем и как бы ускользнув выговариваемом этом слове слышится что-то отверженно-чуждое. За пределом этого звука начинается небытие. На пределе этом — конец света.

Очень часто кажется, что развитое воображение способно создать любую картину горя и разрушения. Пожарища войны представляешь себе тотчас, как только произнесены эти два слова. Но воображенная картина лишена силы переживания, а сила, полнота переживания дается лишь действительностью. И самая изобретенная фантазия без спора

уступает место картинам действительности современной войны.

Все сметено на пути отступающего немца. Вынужденный бросать места, которые тепло насидел, покидать позиции, крепости, которые со вкусом понастроил, оставлять навеки край, сладость которого текла по усам и едва не попала в рот, немец уничтожает все, что поддается уничтожению.

Он жжет, палит огнем хаты, избы, амбары, сараи, риги — всякое строение, будь то ивовый дом, будь то собачья конура — лишь бы оно горело. Он рвет каждый мост через реку, каждый мосток через канаву, переселы и переправы. Он рубит и выжигает леса, как во времена Батия, устраивая засады против преследующей его Красной Армии. Он уничтожает железные дороги, подрывает рельсы на каждом стыке, перекладывая взрывчаткой нескончаемые территории станций, разбегов, вокзалов. Он разбрасывает минами здание за зданием, переходя от одного к другому, точно в адеской кадрили.

Позади его остаются руины. Исторические памятники гибнут.

кирпичной крошки, известковой, бетонной, глиняной пыли, припудренной сверху пеплом и сажей. Глен великого прошлого. Следы землетрясения. Былье. И больше ничего.

Но дороге ко Мценску мне пришлось переночевать в крошечном городке Черни Тульской области. Чернь продолжила была занята германской армией в 1941 году во время славной обороны Тулы — первого русского города, перемогшего осаду немца и отбросившего его от своих неприступных ворот. Гордые брустверы поперек тульских улиц уцелели и поныне. В Черни дефиат немцу было нечего разгуливать: негде городок скромный, незримый, как подорожник. И хотя немец в 1941 году был не тот, что теперь — были его тогда в эту войну мы только выходы, и он вероятно считал, что случился просто какой-то малообъяснимый курьез, — природы своей, однако, он переменил не мог и городок разрушил. Он выбрал, правда, что получить: новую школу, крупные здания районных учреждений, все, чем могла похвастаться Чернь, которая так же строилась до войны, как любой наш город, — выбрал лучшее и взорвал. Это лучшее, однако, составляло почти девять десятых всех строений. С тех пор, после его изгнания, шло второе лето, и я мог на примере изучить во всей образности понятие «фактор времени», столь значительное в условиях войны. Руины Черни сплошь покрылись бурьяном фантастической силы, много выше моего роста и непролазной чащобой. Чертополох и крапива, репейник, размахом в доброе дерево, доухи, садменные как из камня, дубода и колодаи состязались в мощи и долговечности, удушая насмерть растения старые группы былых садов с обмороженными черными гангренозными кустами. Споры нет, — вот живое искусство, буйно радующееся войне — бурьян.

И вот сколько нужно времени, чтобы из городка, горящего на солончакных стенах зданий, крапивной жутьюкрым лучистости отблесками стекол, образовался крошечный холм земли, обмороженный вросшим глухой зелени, рыжеющей от жаркой пыльной скуки: во-

сколько месяцев, два печальных лета.

Но, начиная со Мценска, следы немецких разрушений еще не прикрыты обманчиво-живописным покровом сорняков и простираются на запад во всей своей устрашающей наготы.

Передняя линия немецких окопов, за ней вторая, раскинутые на стороны проволочные заграждения, починенные свежевыструганные мосты, первый десяток вскрытых минных оболочек, отброшенных в кювет, за обочину шоссе, увидение огороды германских солдат, насаженные позади траншей руками подневольных мценских горожан (о, бесмертная скопидомная немецкая практичность!) — и я вступаю на освобожденную землю орловщины.

Здесь хочется минуту постоять, как у могилы бесстрашного солдата, как у памятника славы. На этих холмах, по ленивым их склонам, на виду у отдаленного горизонта, кое-где завянуто простыми и милыми перелесками, двинулись вперед наши войска, после того как полторы тысячи оружейных стволов пробили брешь в оборонительной стене врага. Рывком с этих полей войска перекинулись через реку Зушу и пошли к Оке, воронкою раздвигая прорыв, шире и шире охватывая отступающих немцев. Здесь началась орловская битва. Здесь подломилась и рухнула одна из немецких военно-политических иллюзий — вера в летний сезон, как в сезон успешных немецких наступлений. Здесь, наперекор отживающему немецкому счастью, поставлена исходная дата летних побед Красной Армии 1943 года.

С этих холмов начинается раскрыться картина немецких поражений и становится видно, с каким безумием сопротивлялись потрясенный враг, отходя, убогая или пятась с Востока на Запад.

Белокаменный Мценск взорван. Глыбы кирпичей, сращенных известкой в массивы, навалены по обе стороны Зуши. Все ценное повержено в прах. Усталыми муравьями поднимаются и клонятся к земле между развалин люди, в надежде что-то откопать, и только по окраинам уцелели деревянные домики, и народ в великой заботе сует по улицам.

Орел — это десятикратно умножен-

ные развалины Мпенска. Завихренное первозданного хаоса на месте вокзала и станционных путей, обрывки которых перевиваются, точно вытянутые жилы из развороченной туши. По нащупываемому плану улиц и по грандиозности развалин видно, как огромен был город и как он был красив. Немец рвал его минами замедленного действия. Люди, входившие в город сейчас же после его взятия и затем вновь приехавшие, спустя три недели, уже не нашли виденных картин: все это время улицы сотрясались взрывами, и разрушения продолжались.

Как и во Мпенске, руины центра опоясаны в Орле сохранившимися пригородами. Город превратился в растянутое кольцо деревянных слобод, которое надето на кладбище каменной крошки.

Шоссе Орел — Карачев являет собой наглядный образец той новой разрушительной фазы, в какую война вступила с момента прорыва на Зуше. Через каждые полкилометра — воронки от разрывов мин и бомб. Надо спускаться с шоссе, обходить воронки. Сотни таких объездов сливаются в конце концов в особую дорогу обок с полотном шоссе. Сквозь океанскую купель рыже-зеленой пыли на минуту выглядит пепелище деревьев, и слова все застилает неодолимая стихия пыли, намолотой войсками на этих импровизированных дорогах рядом с шоссе, которое выведено из строя, умерщвлено войной.

Так по пути отступления немца, по пути смерти въезжаешь в город Карачев. Стоя в центре этого города, свободно видишь окрестные горизонты. Ничто не препятствует взору, всякое сооружение, возвышавшееся когда-то над землей, низвергнуто и сравнено с низиной, валяющейся сюда из далеких болот и лугов. Признаки жилья ведут так основательно уничтожены, что между центром и окраинами не стало разницы, и зритель беспрепятственно несет сюда с недавнего пригородного поля боя: только-слабкий, содрогающий многого человека зрелищный захв.

Приходит на ум вопрос, который задаешь себе, желая понять врага: что стало с немцами? Что делается

с ним в лето 1943 года, когда он был принужден не только бросить мысль о наступлении на Восток, но уходить и уходить на Запад, оставляя громадные области земель, пропитанных его кровью, что сделалось с ним? Ведь судить о состоянии, в каком он находится, можно прежде всего по тому, как он ведет войну. А в Карачеве слишком ясно видно, что ведет ее он в иступлении безразсудства.

Даже в разрушениях войны обычно являлась суровая целесообразность: уничтожили железнодорожную станцию, телеграфа, завода, который может быть легко использован противником, позитивно. Но расходы и старания, употребляемые немцами на уничтожение каждой халупы и всякого коровника, обывательского флигеля и старой церкви — окупаются ли они тактически?

Немец говорит: он превращает землю в зону пустыни. Но пустыни Африки не спасли Роммеля от разгрома. Но спасают немца от поражений и создаваемые им новые пустыни на дорогах его отступления из России. Он говорит: он ведет войну на износ, войну на истощение. Но, уничтожая позади себя следы наземных человеческих поселений, немец изнашивает, истощает дух своей армии, которая понимает, что так уничтожать может только тот, кто не надеется когда-нибудь возвратиться на эти разоренные места. Он понимает, что пространство, за которое он бился полдня два года, уходит из-под его власти, и так как он уходит из-под его власти навсегда, то он и уничтожает все, за обладание чем еще недавно ожесточенно дрался. Он видит, что произойдет непоправимая перемена с того времени, как он стоял у Вязьмы-казанки и под Сталинградом. Он мечтает теперь не о дороге через Баку на Индию, но о том, чтобы удержаться на Украине. Война ведется действительно на износ — на износ немецких восточных планов. Над всеми неисчислимыми крестами, которые немец натикал в России на могилах своих солдат, он ставит пыно огромный черный крест своим расчетам на Востоке. И поэтому, уходя, он «хлопает дверью». Он хлопает ею "из всей

оставшейся у него силы — он день и ночь без сна и отдыха, без пере-
еды и до седьмого пота уничто-
жает, уничтожает все на Востоке и
обсиживает на Запад.

Вот что можно сказать о состоя-
нии немца, судя по тому, как он ве-
дет войну в лето 1943 года.

Сумасшедший чувствует, что скоро
его огнемут не только нож, но
и нагребленное, и чтобы отбиться от
утириателей, он поджигает все и
прижигает за огнем. Огонь настигает
сумасшедшего и спалит его.

Я поднимался на самолете в рай-
оне между Нарачевом и Жиздрой.
Чудом нестаревший «У-2», с мото-
ром-трещоткой и беспринципным
угрозором на все шесть сторон, по-
казал мне орлиные деревни с воз-
духа. Мы с детства помним краску
по имени «берлинская лазурь». Это
резкая синяя краска, самая ядовитая
из холодной лазуревой гаммы. Этой
краской кажутся покрашенными си-
ние пожарника деревень, пепелища
русских крестьянских изб. Селений
не осталось, есть только их планы —
лижескользящие асфальтовые коробки.
Все живописные краски в которых
помянуты берлинской лазурью —
мрачной краской Берлина, заливаю-
щего мир своим ледяным ядом.

Объезжая дороги войны, где-то по
пути к Жиздре я напал на деревуш-
ку, почти полностью уцелевшую и
живую. Среди пустыни она показ-
алась мне такой же неунывающей,
как «У-2». Лишь подбоготились она
на пригорке, точно на вираже. Ее
неожиданную жизнелюбность мож-
но было легко разделить, потому
что она выглядела воочию бездель-
но: их опрокинул наш удар, и из
этой деревни они бежали так, что
было не до выполнения неременной
разрушительной программы. В де-
ревню возвратились из лесов жите-
ли; и женщины, дети, старики по-
стоенны благодатным осенним тру-
дом вокруг урожая.

В одном из сараев деревушки раз-
местился питабный отряд, занимаю-
щийся изучением противника. Я
подсел к столу под открытым не-
бом, поодаль от сарая. Стол был
завален немецкими письмами к
солдатам от родных и приятелей: в
белых рубашках полыхала почта
оставшейся германской части.

Сразу полторы сотни самых свежих
писем из Германии. Во многих из
них повторилась записка о том, что
дело, против оцмиданий, немножко
затянулось и что было бы приятно,
если бы оно поскорее кончилось.
Пересчитывать это становилось скуч-
но, как вдруг в глаза бросилось
внушительное послание на солидном
бланке под фирмою «Тодор Ган, в
Оберштейне, на реке Наа — жестынал
и водопроводная мастерская».

Заведание это очень почтенно, у
него имеются три текущих счета —
почтовый, во Франкфурте-на-Майне.
во Всеобщем Эльзасском банковском
обществе Идар и в отделении немец-
кого банка в Оберштейне. Письмо от-
послится к концу июня, принадлежит
владельцу предприятия — Эрнсту Га-
ну, пишет он, очевидно, брату, Эми-
лию Гану, и описываемые житейские
события развертываются в самом
Оберштейне, в Рейнской области.
Чтобы оценить этот документ, его
надо привести полностью.

«Милый Эммиль,

сердечное спасибо за твое первое
письмо от 30 мая, на которое я могу
ответить лишь сегодня. Моя правая
рука была несколько недель забинто-
вана. Совершенно неожиданно у меня
и запястье появились боли, и д-р Фи-
шер сначала установил, что это было
заражение. После того, как я около
десяти дней носил гипсовую по-
вязку, руку разбинтовали. Но уже
приблизительно через четырнадцать
дней опять возобновились страшные
боли. Они стали возникать всегда
ночью, когда сейчас так трудно до-
биться врача. На другое утро сдела-
ли рентген, но ничего не установи-
ли. Опять наложили гипсовую по-
вязку, которую я проносил около
трех недель. После того, как ее сня-
ли, боли до некоторой степени про-
пали, но работать я совершенно не
мог. Писать еще удавалось. Сейчас
начали коротковолновое облучение с
известным успехом. После пятнад-
цати облучений боли прекратились,
только я все еще не могу правильно
двигать рукой. Врачи сначала ничего
не могли сказать, что это, собствен-
но, было. Сейчас они признают, что
это воспаленные сухожилия. Страшно
скучная история. Писать мне все
еще трудно, поэтому ты и получа-

ешь это письмо на машинке. Надеюсь, каких-либо новых историй больше не случится. Вирт года полтора назад неловко повернул руку, и сейчас обнаружился перелом в запястье, который установлен на прошлой неделе доктором Финнером. Сменено, что подобная история дает себя знать с таким опозданием. Правда, у него все время были боли, когда приходилось поминуту стучать, но он на них не обращал внимания. Мне теперь придется слегка побереечь руку Вирта. Поэтому я уже купил электрические ножницы и постараюсь получить для нас фальцевую машину. Новые машины этого рода больше не изготавлиются, и надо, наверно, раздобыть какую-нибудь на другом предприятии. Со стальными слесарями изготовить такую машину невозможно, потому что у них много работы над более важными вещами.

В работе у нас недостатка нет, а последнюю неделю хватает и болезней среди моих людей. Вчера поутру я стоял в мастерской всего с одним человеком. Антон тоже должен был выйти из строя, потому что у него что-то случилось с глазом. Гергард вот уже с апреля на трудовом фронте, а от учеников больше нет никакого проку. Едва они выучились, как их забирают на трудовой фронт. Да и ученье обычно заканчивают поскорее, чтобы ребята отправлялись на трудфронт.

Меня очень радует, что ты хоть на короткое время смог вырваться на отдых, потому что вы на передовой линии это основательно заслужили. Как только ваш участок упоминается в сводках, я должен всякий раз о тебе думать. Будем надеяться, что ты благополучно вылезешь из этой истории и война скоро закончится. Но мы надеемся на это уже много лет, а все еще не видно никакого конца.

Я опять затеял большое птицеводство на Наз; с тою малостью мяса, какую нынче получаешь, приходится заботиться о балансе. В настоящий момент у меня шесть старых уток, четыре молодых нынешнего года и еще три совсем маленьких. Разгуливают шесть кур и двадцать семь пухов. Самое замечательное в моей ферме то, что три утки сидят сейчас на яйцах. Очень интересно, что из этого получится? Из восьми яиц на

сегодня осталось под утками три штуки, потому что остальные сожрали всякое зверье. Много работы мне с этой живностью, но ведь если не постараться, ничего не выйдет. Мои куры и утки очень хорошо неслись, и я должен был сдать триста шестьдесят яиц. Это я делаю с охотой, потому, что ведь взамен получасишь гораздо больше. Ведь оплата сдаваемых яиц очень хороша. Получасишь за один курячий яйцо 9,5 пфеннига и за одно утиное 8,75 пфеннига. Можно сделать большое дело. Ты можешь себе представить, во что мне обходится мое птицеводство. Когда ты был в отпуске, ты ведь видел, как приходилось изворачиваться, чтобы прокормить пернатых.

Живется нам еще хорошо, брюхо у меня пропало, но мы выдержим.

На сегодня сердечно приветствую тебя, а также моя жена желает тебе всего хорошего.

Эрнст Ган.

Так живет и работает водопроводчик Эрнст Ган у себя в Рейнской области. В разгар тотальной мобилизации, когда его вот-вот должны были забрать в гитлеровскую армию, он почувствовал совершенно необъяснимую боль в руке. Знакомый доктор Финнер за пару уток принялся лечить страшную болезнь, и, так как утки были вкусны, страдания Эрнста Гана все затихивались и возрастали. Тем временем очередь по мобилизации дошла до Вирта, и у него тоже открылась болезнь, которую он никогда в жизни не подозревал. Доктор Финнер принялся лечить и Вирта, тотчас потерявшего работоспособность. Молодые птенчики из птицеводства на реке Наз могли сыграть в усложнившейся болезни Вирта известную роль. И поскольку тотальная мобилизация продолжается, боли не проходят ни у Эрнста Гана, ни у Вирта. Но вот и Антону потребовалась срочная помощь доктора Финнера, потому что если доктор Финнер не откроет у него какой-нибудь застарелой болезни, его угодят по мобилизации на трудовой фронт, как уже угнали беднягу Гергарда. Что же случилось с почтенной фирмой Тодора Гана? В мастерской у электрических ножниц пригорюнился безрукий Вирт, на пороге, в ожидании пока Эрнст Ган ходит по

предприятиям Оберштейна, раздобы-
ли поношенную фальцевую машину.
Евлит одноглазый Антон. Учеников
равно не осталось, станки останови-
лись, тихо и грустно в мастерской
Она.

Эрнст Ган, опора и фундамент
режима немецких национал-социали-
стов, решительно не желает идти на
гитлеровский трудфронт. Он не
хочет, чтобы у него опалили послед-
них рабочих, он недоволен, что у
него отбирают учеников. Он думает
только о том, чтобы его брат вы-
шел живым с фронта. Он мечтает
и о славе (что слава? — думи), а о
том, чтобы война ~~конец~~ кончи-
лась. Ему не по душе, что он дол-
жен сдавать яйца, которыми намере-
вался заменить отсутствующее мясо.

Но самое для нас ценное в длин-
нейшем послании Эрнста Гана то,
что он не может и не хочет скрыть
неудовольствие своим положением.
Он даже не побоялся подчеркнуть
издевательские слова насчет того,
что «концата яиц счень хорошая». И,
напоследок он зло высмеивает крас-
ногубый лозунг воинствующей
Германии: — Мы, немцы, выдержим.

Этот лозунг возник в тяжелые дни
вильгельмовской Германии времена
1918-го года и повторялся всюду с
тупым упрямством, вопреки и напро-
тив здравому смыслу. В конце концов
обыватель, которому осточертело
фанфаронство глашатаев официаль-
ного благополучия, стал употреб-
лять пресловутый лозунг в самых
неподобающих случаях, принося
ему совершенно обратное значение.
Поворилось, например: «скоро будет
приказано мыться мыльной картош-
кой и вытираться талочом из песты-
но, но мы, немцы, выдержим». Или
так: «за последний месяц к двадца-

ти пяти государствам, объявившим
войну Германии, прибавилось еще
три, а мы, немцы, все-таки выдер-
жим, нам хоть бы что!» Насмешка
эта звучала не иронией, а юмором
васильника, и это понималось во
всей Германии.

Времена неосторожны. Германия
Гитлера поет на все свои казенные
голоса, что она продержится, что
она — неколебимая крепость на За-
паде и на Востоке.

А вот германский обыватель
Эрнст Ган из Оберштейна в лето
1943 года прокомментировал офици-
альный гитлеровский оптимизм на
свой лад. Эрнст Ган сказал: «Брюхо
у меня не слабое, но мы, немцы, вы-
держим». Сказал в письме на восточ-
ный фронт, в момент, когда этот
фронт дрогнул, не выдержал, и он
сказал это, от этого юмора васильни-
ка, пахнуло дуновением 1918 года.
Приятнее дуновение, и слышать его
огордно.

Поэтому я привожу убогое письмо
полностью как документ большой
важности и поэтому в уцелевшей ор-
ловской деревушке, в штабном от-
деле, занимающемся изучением про-
тивника, я мысленно связал письмо
на бланке фирмы Тодора Гана с кар-
тинами опустошений, причиненных
немцами русской земле, и подумал:
итак, там, в глубоком тылу Герма-
нии, немец чувствует, что он не
может выдержать. Не отсюда ли раз-
гул и бесповорот немецкой жажды
разрушения? Да, отсюда. Немец не
верит в свою победу, он знает, что
будет побежден. Он уже усвоил, что
вместе с трупами своих солдат на
Востоке им оставлен среди разруше-
ний бездыханный труп великогерман-
ских надежд, которым никогда не
сбыться.

ПАЕШАЯ КРЕПОСТЬ

Добрый километр иду я немцами
опом, и он все изнема, и ему не
идно конца. Это «передний край»
отрядных германских позиций,
завоеванный нами «узел сопротивле-
ния» — твердичи современной рейны.
Чтобы разойтись в его окопе со
стрелочным, надо повернуться, богом.

Чтобы выглянуть за его пределы,
надо подняться на две головы. По
обойм краям окопа сделаны земля-
ные насыпи, спереди — щиги, сза-
ди — ниже, в защиту от огня. Под
ногами на всем протяжении траншеи
настланы слои с поперечными ко-
ротенькими планочками в виде ре-

пешки, для предохранения от сырости. Окоп построен зигзагом, повороты зигзага неравномерны — вот идешь длинным прямым коридором, вдруг через каждые десять шагов начинаешь поворачиваться то лицом, то спиной к солнцу. Здесь, на углах и выступах кривой, кроются орудийные и пулеметные гнезда.

Что должен преодолеть красноармеец, когда он пошел в атаку на такую крепость?

И взбираюсь на насыпь. Необозримый горизонт раскрывается вокруг крепости, приглушенной по дальним краям темной зеленью Бийских лесов. Чем ближе, тем явнее местность: остатки сожженных деревьев, виднеются ржавыми пятнами; места, где могли располагаться наши войска, совсем обнажены; и пространства между ними и промежуточные позиции — «нычейное поле» — голо, как ледяной. Во всех подробностях с высоты насыпи видны подступы к узлу — сам узел — охватенная котловина окопа — песчаная возвышенность окруженностью в десятки километров.

Итак, красноармеец пошел в атаку. Поднявшись из своего укрытия, он наталкивается на первое провололочное заграждение вынужно думая, больше, чем по пояс и глубиной метра в три. Затем его ожидают минное поле — пространство, засеянное противопехотными и противотанковыми минами. За этим полем следует второй косяк провололочного заграждения такой же, как первый. После него — опять минное поле. Антидуперный косяк подготовка предварительно прочищает ходы в этих препятствиях, рвет проволоку, разматывает колья, вырывает мины. Но эти ходы недостаточны для атаки: наступая, она должна расширять их и создавать новые.

Преодолев минные поля, красноармеец встречает третью линию провололочного заграждения — спиральную проволоку Бруно. Это густая бесконечная спираль колючей проволоки, диаметром около метра, наматанная на деревянные козла. Спираль Бруно — серьезное препятствие, придумал его старательный дьявол с немецкой фамилией: так как проволока скручена другами, то, когда ее рожешь, она распускается, как пружина, залпывая прорезанные брешь

и лазы. Но вот и спираль осталась позади, и атакующий видит перед собою насыпь неприятельского окопа. Однако на пути к нему скрыты еще одно препятствие — «спотыкач». Это тоже провололочное заграждение на колышках высотой в четверть аршина, по шпиколотку, так что его почти не видно в траве и об него ноги не спотыкнутся. Спотыкач делается вынужно шагом в пять, ставит его не только перед окопом, но и на минных полях. Он опасен тем, что незаметен и встречается в самом неожиданном месте, когда преодолевая какой-нибудь одна преграда и атакующий устремляется к другой. Местность, на которой сооружены все эти заграждения, совершенно открыта, и каждая линия препятствий находится на прищелке.

На тот случай, если смельчаки преодолеют все заграждения незаметно и ворвутся в окоп, у немца создана сигнализация. Она очень простая своей простотой, но вполне действенная. В стенку окопа вделан кусок проволоки, на него подвешена связка сухих жестинок из-под консервов. К противоположной стенке прикреплен другой кусок проволоки, конец которой загнут крючком. Днем приспособление находится в бездействии: на одной стороне окопа висит связка жестинок, напротив, на другой стороне крючок. Ночью же связки подцепляются крючком и перекрывают собой проход по окопу. Стоит задеть это перекрытие, как оно разбегит дьявол глухого. Немцы расставлены в окопах довольно редко, большая часть их находится в блиндажах и землянках. Консервные балки имеют сторожевую службу там, где не хватает постовых солдат.

В блиндажах к потолку подвешены сухие медные стаканы орудийных шаржеров, внутри них на веревке горят выжвочные патроны. Стаканы — это колокола, патроны — языки. От стаканов протянута проволока к труж, к постам. В случае тревоги, язык меди поднимает на ноги все население узла. Такие же медные языки развешены по окопу, в них бьют болтами, железными пластинами, чем подало, и этот дикий набат несет на модернизованным фортификациям современной крепости.

Немец устраивается в обороне с удобствами. Рядом с пулеметным гнездом — глухая землянка на одного-двух человек, где можно поспать, укрывшись от непогоды, как в крошечной норе. Около орудий — блиндажи с перекрытиями в несколько метров неподъемных основных кражей, парами на восемь человек. Немцы пропаганда не скупится на пыльное печатание картинок и голые красотки, глазастые кино-дивы во всех позах соблазна облепляют оренчатые стены блиндажа, создавая уют совершенно в духе его потребностей.

Тревога прозвонела, немцы кинулись к оружию, к тем самым «огненным точкам», которые для нашего водителя давно перестали быть воином термином.

Вот гнездо пулемета. Его стены обложены бумажными мешками с песком. В нем свободно поворачиваются два человека. Амбразура довольно широка, ее видит наш наступавший автоматчик, а так как позами гнезда светит солнце, то он различает и силуэт головы пулеметчика. Поэтому на входе в гнездо немцы повесили аккуратную темную занавеску, она загораживает свет, и силуэт исчезает. Вот более просторный «дот». В нем умеваются несколько человек, стреляющих из миномета и противотанкового ружья. Амбразура дота защищена стальным щитком толщиной в танковую броню, щиток открыт к земле. Вот, наконец, самое сильное оружие узла — вкопанные в землю танки. Они обнесены особым окопом, проволочным заграждением и насыпями со всех сторон на случай прорыва и нападения с флангов и тыла. Это крепость в крепости. Точные башни затонувшего корабля, вытравляют танки на поверхность.

Как же может быть взята такая крепость?

Красноармеец берет ее. Он берет прежде всего искусством русской артиллерии, со времен Ивана Грозного всегда устрашающей врага. На месте немецкого танка торчит переметное металлическое ведро. Наши пушки изготовили этот стальной выстрел. Рядом виднеется другой, как будто совершен-

но сохранный танк. Мы забираемся в него, сопровождающий меня офицер садится за управление, и башня танка словно со вздохом сокращения наклонит свой медленный жуткий поворот. Ей и правда есть о чем пожалеть: ствол ее орудия отбит нашей артиллерией, танк выведен из строя.

Красноармеец берет современные крепости не только силою своего оружия, но и умением воевать. Описанный мною узел сопротивления близкий поселка Островского, в районе Жиздры, попал в наши руки целехонек и по сохранности годен занять место в музее орудий пыток. Наши войска обошли его, немцы вынуждены были отступить, крепость пала.

В летнюю кампанию 1943 года немцев преследовал призрак Сталинграда, они заблаговременно изобогали опасности окружения и, боясь мешков и котлов, покидали позиции весьма увертливо и торопливо. В окрестностях Островского видны отчетливые следы бегства — разбросанные пригодные пулеметные ленты, множество нерасстрелянных патронов. Был немец в обороне встает перед глазами неприкосновенный, со всеми его картинками, сигаретками, консервными банками, журналами и провинциальными газетами, в которых доказывалось, что под Орлом русские разбиты наголову... Читать эти газеты, когда мы находились на марше к Брянску, было крайне занимательно.

Одна женщина в Жиздринской деревне сказала мне:

— Ушли, теперь уж больше не вернутсЯ, чай, окопаны.

— Окопаны? — переспросил я.

— Ну да, окопаны. Пришли, окопались на земле нашей...

— Не могут вернуться, — сказал я. И вспомнил так свежо все земляные норы павшей крепости у селения Островского. Немцы ушли из нее ходами внутреннего сообщения — узкими траншеями, выводившими далеко прочь из переднего края окопа. Дно траншеек, когда я смотрел, было уже затянута стоячей позеленевшей водой. В ней сидели скучные лягушки.

В Орле, на виду у монументного моста через Оку, по которому шумит поток грузовиков, людей, разнокалиберных орудий, повозок, стоит у бережка дедушка-рыболов. Засучив по колено штаны и войдя в струящуюся воду, он перекидывает тонехонькую лесочку, пороя подсесть уклейку. Удивителен облик этого рыболова: он совершенный Иван Сергеевич Тургенев, с его серебряной благообразной бородой и с вьющимися концами до голубизны седых волос, подстриженных в кружало. Сразу вспоминаешь, что ты на родине Тургенева, и радуешься, что этот живописный русский тип сохранился, живет и никакими силами не будет искоренен из своих родных земель. Позади рыбакова лежат в развалинах орловские улицы, вокруг него грохочет история народа топорами саперов, восстанавливающих большой окский мост, скрежестением гусеничного транспорта, а он невозмутимо и настойчиво перекидывает удочку, делая это так заманчиво-приятно, что хочется сбегать к нему на бережок, залезть в воду и тоже попытаться счастье на уклейку, да поговорить с ним, может, о Красной Мечте, может, о Вожжином луго, а то и о самом Иване Сергеевиче, который легко мог видеть старика-рыболова тут же, на Оке, еще маленьким мальчонкой.

Грохот истории одних оглушает, в других будит самоотреченные силы героизма. Но и в огне войны не стирает повседневная забота человека о своем существовании. Неизвестно, не воткнул ли благообразный, как Тургенев, дедушка вилы в бок немцу, когда будет подходящий случай, но каждый день ему хочется похлебать окуневой ушницы. А окунь берет на живца. И — что поделаешь? — этой на старости лет по колено в воде, да ловчая подсесть на муху торкую уклейку.

Одни из миллионов людей, имя которых, кажется, бесцвечно — жители — орловский этот рыболов пел грозный удел войны: находится во власти врага. Заботясь о горьком стариковском прожитии и он наверное бебег в груди драгоценное чувство — правдивость своей зем-

ли. Поражает стойкость этого чувства.

По обочине дороги тинет самодельную двухкопесную тачку женщина. Лицо в натуре страшных усилитель меники и узлы пожитков тяжелей кривые колеса откатывают таме вбок, но женщина тащит ее без роздыха, как одержимая, вперед и вперед. Сзади девочка налетела на мшиной одной худенькой рукой, а другое подотскаивает прутком козу, выпраженную пристяжной и бестолково дергающую тачку в сторону. Таких картинок по сечью по проселкам и в болынаках. Народ возвращается домой, из тыла, в деревни, откуда был на время отселен, из лесные тайшиков, куда бежали от немца и: невольни, куда были им угнаны.

— Знаю, — говорил мне много видавший из войны человек, — такая это страсть — тяга домой, что удержат ее ничем нельзя. Мучаются, еле не ни волочат от усталости, но не спят лишней минуты — скорей до хаты. Приходят, а никакой хаты нет одна зола. Поплачут и начинают жить. Все-таки, говорят, лучше — дома. Спросил я иную женщину: да ты хоть землянку выкопать знаешь? Нет, не знаешь. Да как же ты жить будешь? Как-нибудь. И, пони-маете ли, ни разу еще я не видел чтобы назад возвращались, в тыл или новое место искали. Прилепляются к своей земле.

Прилепляются к земле — очень верное слово. Как дома стены помогают так помогает своя земля. Вера в эту силу народа непоколебима.

По пути к Карачеву, в сомкнутой деревне, возле колодца, уцелевшего от крестьянской усадьбы, расположился перевязочный пункт. Мы пошли попить воды. Медицинские сестры, молодые и приветливо-важные зачерпнули ведро воды, дали нам в стаканах, кристального напитка — совершенное чудо в недрах пыли, и: которой мы не вылезали сутками. Слышим — топориком рядышком стучат стук: два красноармейца рабочей командой рубят складную избу. Спрашиваем сестер: — Для пункта, что ли? — Нет, — отвечают, — для хозяйки, хозяйка отстраивается. — Да где же она? — А вон, корову гонят.

Востроглазая, с быстрой речью, вылащивая жаром работы, от которой на минутку оторвалась, хозяйка горела:

— Добро мое уцелело, самое главное, все как есть — сак-пальто и шуба. Это со мной в яме находилось. И корова. Ну, все как есть.

— А дом?

— А дом он сожжет. Как шел вдоль деревни, так подряд и жег. Только хлеб у меня тоже уцелел, ничего. Наци, как начали наступать, так лютовки сбросили: не снимайте хлеб, немец пожрет. Я доверилась, хлеб у меня весь в поле и стоит. А некоторые потропились снять, в крестцы сложили или заскридовали, так он дога все сожжет.

Она обернулась. Красноармейцы, вставив верхом на стену, конюхилили называемым.

— Помощь, выку, — сказала женщина одобрителем. — Моя была о пяти стенах, а эта помеще будет, четверехстенка. Ничего. Пока хозяин выидет, поправлюсь.

— Где же хозяин?

— В Красной Армии, с начала войны. Я рада, что добро, все как есть, уцелело; придет — увидит: сак-пальто и шуба. А соседка моя побежала прятаться в другую яму, — ее убили, вместе с коровой. Хорошая корова была, куда боле моей — удою давали.

Стоя на погелище своего дома, эта крестьянка говорила о будущем с естественной уверенностью, что оно принадлежит ей. И правда, оно словно улыбалось ей: росли стены ее нового жилища, корова, уминая свою жвачку, глядела на хозяйку задумчивым, атласным глазом, собака, брошенная немцами и привязанная к дереву, помахивая хвостом, ждала, когда повзрослевшая ее повзрослевшая бросит ей кукло.

Одно из самых тяжелых испытаний, выпавших на долю жителей подвластного врага, — это угон в плен. Отступая, немец старается сгнать с собой всех до последнего человека, не исключая детей и старух. В этом нет ничего стихийного, это не родилось из какого-нибудь военного самовозникновения — «на войне, как на войне». Нет, это есть разрабатанная система, насильственная свержу методами варварскими из Берлина. Геббельс печатно

провозглашает, что считает «основным принципом» германской стратегии — «вырвать максимум пространства и людей у противника, не только для того, чтобы лишить его последних, но и, что еще лучше, поставить их себе на службу».

Стремись покорить наши земли, гитлеровские оккупационные власти жадно эксплуатируют природу и труд населения, превращая человека в раба своих военно-грабительских целей. В захваченных областях немцы принуждают жителей работать на оборону германских войск. О международных соглашениях на этот счет, запрещающих использовать гражданское население противника в военных целях, немец никогда и не думал, давным-давно с наглостью разорвав этот «клячок бумаги», как и все прочие международные акты.

В Лютинове, на другой день после изгнания немцев, нам встретилась семнадцатилетняя девушка Римма, которая успела затопить спрятаться в лесу, когда немцы угоняли народ, и потом, в числе первых, прибежала в освобожденный город. Мы расспрашивали ее о многом и прежде всего, конечно, о том, как же вот такой молодежи жилось под немцем?

— А как старым, так и молодым.

— Ну, а все-таки, что же вы делали? Учились?

— Нет, какое там!

— Служили?

— Нет.

— Ну, значит, ничего не делали.

— Да, как бы не так, попробуй!

— Тогда, выходит, работали?

— Угу.

— На какой работе?

— На всех на одинаковую гоним. На земляную.

— Это что же такое?

Девушка помолчала, оглядев нас, застыдившись и являя робость. Вероятно, мы показались ей не слишком грозными, и она решилась:

— Окопы рыть, — сказала она потише, словно больно застыдившись.

— Все население гонили?

— Все. Партиями. Уроки давали.

— Какие уроки?

— Обыкновенные: вырыть полтора метра в длину, полтора в глубину —

урок. Как выраешь — еще добавят полметра, или сколько...

Я вспомнил немецкую крепость близ селения Островского. Отлично выравненные стенки окопа, решетки под ногами, гладкие насыпи над головой, сколько крови и слез пролили наши женщины и девушки под окрики немецких солдат, под кнутами и револьверами фельдфебелей, чтобы добиться этой вылизанной добротности укреплений?

Отступая и утняя с собой подневольное население, враг еще более беспощадно, чем при оккупации, «ставит его себе на службу», превращает в придонный механизм своей военной машины. Угнанные жители вынуждены не только рыть немцам окопы, готовить колья для проволочных заграждений, рубить на лесных дорогах засеки. Плетясь в хвосте отступающих, они исполняют роль живых заслонов, немцы прикрываются ими, употребляют их на разминирование минных полей и бросают пощипать, либо добивают, либо гонят дальше, в плен. Каждый знает цену своей жизни, если его забрали немцы, и так понятен трепет в лучистых, почти детски-наивных глазах Риммы, когда она, после рассказов о том, как жились под немцем, вдруг, точно в испуге, спохватывается:

— Правда ведь, Красная Армия больше от нас не уйдет?

И потом совсем не по-детски:

— Все равно теперь ни за что не останусь. В армию не возьмут — в лес убегу.

Каждый несет в себе это неиссякаемое желание — любой ценой уйти из-под немца.

Останется в моей памяти село Белый Колодез. Когда-то оно было красиво, хорошо отстроенное, обнятое приветливыми полями. Немцы поставили в нем гарнизон и особые команды по сельскохозяйственным заготовкам. Солдаты обжились, у каждого дома нагородили палисады из березовых жердинок с воротами и скамеечками. К березе немец имеет пристрастие (дерево редчайшее в Германии), и всячески березовые завиточки и украшения насаждались германской армией еще в первую мировую войну, а теперь сооружения из березки

сделались как бы условным знаком всего немецкого: березовые огородки около изб, от простых до самых замысловатых, означают, что в избе стоят солдаты, или гарнизонный штаб, или офицерское казино, или пост, или какое-нибудь начальство. Несчастливые березовые наделки на клadbицах немецких солдат — трюфы.

При отступлении из Белого Колодеза команды по заготовкам превратились в команды по поджогам. Селения. Перед пепелищами изб сохранились одни палисады из березовых жердинок, ровно тянущиеся вдоль длинной сельской улицы, по коим на могильные ограды. Селение.

Многие жители Белого Колодеза успели скрыться в лесах, а после прихода Красной Армии вернулись домой, уже погорельцами, на тлеющие углы и поселились в землянках, в которых и прежде жили, вытесненные из своих изб немцами гари.

Старуха у входа в свое подземелье толчет в деревянной ступ картошку с муницей, на лепешки. Все в сборе. С поля к обеду пришел хозяин — колхозный бригадир. Глубоко из землянки глядят на свет двубелых детских рожицы, еще одна женщина возится там, во мраке погребца, с головатым, на крик орущий ребенком. Рассказы мало чем отличаются от того, что мы знаем, и горе у всякого свое, особенное: слезы свои, особенные, и старуха толчет, толчет жилистой рукой мясо в ступе, и ровны и неспешны слабые удары, и так же ровно неспешно текут у ней слезы и морщинам щеки и каплют в ступ. Солон будет обед.

На минуту рука приостанавливается, старуха вытирает щеки, говорит разумительно:

— Шеснадцать полицейских держал он у нас, подумай-ка, милые шеснадцать на одно наше село. А нас всего сто двадцать шесть дворов считали. На сколько дворов выходы полицейский? Вот они, знай, догладят, да подгоняют, все дай, да да. Вот что нам теперь оставили.

Деревянным пестом, вымазанным картошкой, она показывает на землянку и принимается опять толочь

Молодая ее жесту, хозяйка, загора-
ла женщина с темными кругами
под глазами, оборачивается и мед-
ленным взглядом обводит брошенный
на солнце пук кудели, подсыхающее
липовое лышко, сматывное в кольца,
которые наизаны на мочалину, как
бранки, да две дорожных желтых
рыквы. Женщина улыбается одним
взглядом устало и все понимающе:
правда, моль невелико богатство. Но
глаза ее сухи и в больших тенях
вижутся испытанно-спокойны.

Большого вида человек, наполовину
военный, наполовину питавый, по-
дойдя к ней с дороги, сказал:

— Бригадир, чего же ты смот-
решь, — опять она спонинки свои
золотит.

— А что я с ней сделаю? Я гово-
рила. Она рвется вымолотить, как
бешеная.

— А потом, не передохнувши, опять
в поле. Надо колхозное кончать.

— Она разве против? Она плач
выполняет.

— А что я говорю — против? Я го-
ворю: сказано, в обед чтоб отды-
хали.

У соседнего пепелища молодуха,
зажав под мышкой сноп пшеницы и
перекинув его колосями через
скамью, усердно выбивала зерно пал-
кой. Палева мерно хлопала по широ-
ко расставленным бронзовым ногам,
конец палки выпыхивал и гаснул на
солнце, зерно лениво выбрызгива-
лось из снопа на маленький, в два
пала, ток. Длительная эта молотба
производилась с таким жаром, буд-
то только она и могла поправить все
разорение. Человек прилепился к
земле, и она поила его соками веры,
что труд на ней все переможет.

Много полей заброшено колхозами
во время хозяйничанья немца. Земля
едичала, зачерствела, речейник по-
ял ее, паглый и сильный, как
кустарник. Великие пространства за-
хвачены сурепицей. Она в цвету,
и на целые версты оделись поля в
лимонно-желтый крикливый ее по-
кров.

Около деревень жмутся приуса-
дебные узкие ленты и клинья посе-
вов. Потемнела коричневая греча,
рыжие человека стоят густо-зеленые
лещи коноплей, уже высыпаясь
пуганные ветром овсом. Разоряя
край, немец торопился уничтожить

хлеба. Кое-где он успел прокатить
по полям катки и примял посевы к
почве. Но это только вблизи дорог,
а дальше, вглубь, урожай ждет убор-
ки. И как ли много жителей угнал
с собою немец, там и тут видны лю-
ди за жнитвом и вязкой снопов, и
уже повсюду высятся горбатые
сирды.

Когда работники на счету, когда
от былых уборочных машин оста-
лась одна память, — всякому очеви-
ден расчет общественного труда, и
работа на колхозных полях идет
дружно.

— Нет с бабами стовору, своеволь-
ный народ, — сожалеительно сказал
большой человек, тряхнув головой на
молотильницу.

— Наш председатель колхоза, — от-
рекомендовала его хозяйка, опять
улыбнувшись усталыми своими гла-
зами в кругах.

— Много ли вас здесь, мужиков? —
спросил я.

— Сколько видите, — ответил пред-
седатель и посмотрел на хозяйку. —
Воюй с ними. Один против деревни.

— Отвоевался с немцами, повоюй
с нами.

— Я вот в партизанах инвалидом
стал. Теперь на гражданском поло-
жении. Больше года в отряде был.
Надежду в них поддерживал, — доба-
вил он, снова глядя на хозяйку.

— Это верно, поддерживал, — утвер-
дила хозяйка в полном спокойствии,
поменявшись с ним своим особенным
взглядом, и я увидел, что между ней
и этим инвалидом существует им хо-
рошо известное понимание, не мимо-
летное, а испытанное и потому ре-
шительное и спокойное.

Понимание это росло из связи, су-
ществовавшей на Орловщине между
населением и партизанами.

Партизан тут было много — рядом
начинались Брянские леса, до сего
дня кое-где непроходимые, велико-
лепные своим первозданным убран-
ством. Немцу страшны были лесные
болота, страшна чаща зарослей, но
еще страшнее был русский парти-
зан.

В деревне Песочне, недалеко от
Карачева, в крайней к реке избе
жил немецкий фельдфебель — на-
чальник отряда, занимавшего дерев-
ню. Никто не позавидовал бы доле
этого braveго служакки. Лес подхо-

дны сюда совсем близко. Партизаны держали Песочню на мушке. И фельдфебель каждую ночь праздновал со своим отрядом труса.

Его изба произвела на меня внушительное впечатление. Во-первых, на изрядном расстоянии она кругом обнесена серьезным проволочным заграждением. Во-вторых, окопана большим земляным валом. В-третьих, загорожена высоким забором. В-четвертых, укреплена баррикадой из нагромождения бревен с досками. В добавок на территорию, столь основательно защищенную, никто не имел права входить, под страхом расстрела. Легко допустить это тем, что по ночам испуганный фельдфебель загораживал дверь в избу столбами и скамейками, а окна затыкал тюфяками. Но так как партизаны все продолжали тревожить окрестности Песочни, то фельдфебель соорудил за деревней, у самого моста, по всем фортификационным правилам земляную крепость, со множеством бойниц и четырьмя дотами по углам, пригодную для длительной обороны. И в ней доводилось ему отсиживать себя от безбоязненных партизан на радость всей Песочне, крестьяне которой не могли пройти мимо забаррикадированной избы, не отвернувшись, чтобы скрыть смех.

Тайна связи жителей с партизанами была тайной величайшей, ибо раскрытие ее означало смерть. И то, что партизаны поддерживали надежду всех, кто ждал освобождения, тоже было сокровенной тайной, и редко жители могли доверить ее друг другу.

Людиновская Римма во время разговора вдруг спросила:

— Вы не видели такого военного... он тут вот был, вот у этого дома. Я не знаю, как называется, — у него одна звездочка.

— Какая звездочка? Маленькая?

— Да, маленькая... ну, не совсем такая, побольше...

— Майор, что ли?

— Не знаю.

— А зачем он нужен?

— Он мне велел сходить за одной женщиной. Адрес ее дал... ну, чтоб я ее привела. Он чего-то сказать, что ли, ей хочет.

— А что за женщина?

— Просто одна жительница. Она на углу дожидается, я ее привела. — Да куда же военный велел ее привести?

— Вот он тут стоял. Я думала, он дожидаться будет.

— А что, женщина вам знакома?

— Так, немножко... Мы на одной улице живем.

— Ну-ка, позовите ее сюда.

Римма побежала.

Все это происходило на заброшенной плотине Людиновского озера — чудесной водной глади, мирным зеркалом своим разделяющей город на две: на том берегу — крошечные домики, напоминающие обыденную русскую слободу, здесь — каменные белые дома большого города. За час до разговора германские «Юнкерсы» заняли центр Людинова. Бурно наступавшие войска нашей армии не дали немцам выполнить их методичскую программу разрушений, и они старались бомбардировками, доделать то, чего не успели совершить при бегстве. Издали огромные здания техникума, выхлестывая из всех окон огненные потоки. На набережной медленно корчились, железные крыши двух больших домов, подожженных днем раньше. Дымовые столбы в небе багрово-рыжие, исчерна-тиловые — вехи оконченных и потерянных немцами битв. Треск пожаров наполнил воздух. И странно: под этот треск и под стоны рушащихся в огне строил уже возвращались в город жители, переживавшие в лесах артиллерийский бой либо ускользнувшие по дороге от немцев, и уже торопились на своих дворах выкопать из земли спрятанное драгоценное добро.

Женщина, которую подвела к нам Римма, тоже как будто не обращала внимания на пожары. Она была не любопытна, хмура, и трудно сказать, кто кого подозрительнее оглядывал — мы ее или она нас. Не успели мы вызвать из нее двух слов, как Римма сказала:

— Вот идет военный, который меня послал.

Она переглянулась с женщиной. Обоим не двигались с места.

— В чем же дело, — спросил я, бегите, скажите ему, что вы исполнили поручение.

Она не сразу пошла, опять бросив взгляд на женщину, а та пореминившись с ноги на ногу и шурилась на удалявшегося офицера.

— Скорее, а то он уйдет. — потопил я.

Наконец, все ускоряя шаг, Римма догнала офицера и, поговорив с ним, замахала рукой женщине, чтобы та подошла. Женщина двинулась без всякой охоты, в неуверенной поступки ее было что-то такое, точно ей хотелось повернуться и убежать, но она все время пересиливала себя. И подумал — чисто ли тут дело?

На плотине больше и больше появлялось людей, — с громоздким шарбом, с телесжакан, с детьми, — они останавливались, чтобы рассказать, как свистели через их головы снаряды, когда они прятались в ложбине, или как обманул немец: велел выгнать коров за город и сказал, что спасет от огня жителей вместе с коровами, а за городом согнал скот в стадо и увел его со своим обозом.

Среди этих вавонозованных людей, несчастных и обрадованных, что уцелели, опять появилась Римма. И вдруг подбежала та женщина, за которой посылал офицер. Только это была уже не та женщина.

У нее был открыт рот, но не то, чтобы она смеялась, или собиралась что-то воскликнуть, или была чем-то моражена. — Все эти чувства и желания, и еще какие-то чувства, может быть, все, какие она знала в жизни, заключались в движении этого открытого рта, и было непонятно, как за несколько минут перед тем женщина эта могла произвести такое нерасполагающее впечатление хмурой замкнутостью и почему она так подозрительно на нас смотрела.

— Ты что? — немного робко вырвалось у Риммы.

— Завтра придет, — вдруг, захлебнувшись и обращаясь ко всем и ни к кому, проговорила женщина. — Вышел! Соединился с Красной Армией. Вместе с отрядом вышел. Командир от его видел, говорит, из его рук — атрес мой. Я же боялась, что сей-

час скажет, что его* в живых нет. А он говорит — завтра придет. Два, говорит, ордена получил!

— Тетя Маша! — громко сказала Римма и потянулась к ней.

И все стали поздравлять тетю Машу, будто это она получила два ордена. Она заплакала. Видно, ей сделалось легче, что с нее спал груз тайны и теперь все знают, что она жена партизана и что ее муж вышел из Брянских лесов на соединение с Красной Армией. Все радостались ее радости, будто затмившей своим светом пламя пожаров, пыл которых слышали наплыв лица.

Жена партизана могла свободно рассказать нам, как видалась с мужем год и семь месяцев назад в деревне, куда ее позвали в гости, и он явился внезапно из леса, тоже в гости, и объявил, что теперь надо долго и проститься. Она рассказывала, как надо было хоронить такую тайну, потому что тех, кто не умел ее уберечь, немцы обречали на страшную судьбу.

— Вот маленький мысок выдается в озеро, — сказала она. — Видите, к нему тропинка спускается с берега. На этом мыске он расстрелял нашего народа — никто счету не знает. Расстреливал и в воду бросал. Это уж вам весь город скажет.

— Да, — прибавила Римма. — кто по этой тропинке один раз спустился, тот назад не поднялся.

Все молча глядели на тропинку, на мысок, на безразличную гладь Людиновского озера. А я посмотрел на лица девушки и женщины. На них уже не было минутной радости, наверно, ее застонила память о тех, кто не поднялся назад по тропинке. Но было в этих лицах, пожалуй, больше, чем радости: была в них необыкновенная сила сознания. Мне показалось, что Римма знала тайну жены партизана и сохранила ее. Это не мало для нее. Кто она? Девушка, почти ребенок, просто — жительница, как она назвала тетю Машу — жену партизана.

Впрочем, ведь и сами партизаны тоже — просто жители.

НА МАРШЕ

Во всем русском известна картина «Воинский совет в Филях» — помнишь? — Кутузов в крестьянской избе, его генералы за столом под образами, девочка на печи — эта картина должна, конечно, оживать на разные лады, в ходе движущейся отечественной войны в деревнях и селах, где останавливаются наши штабы. Но дивисься, когда она откроется тебе в красочных подробностях иногда с точностью юности: бревенчатая изба с двумя мастовыми залавешенными орудиями, образа в переднем углу, вымытый пол, печка, с которой слышен запах завязанной одеялом квашни, девочка в длинном сарафанчике, плыряющая из сеней вгорючку и обратно, жут на лавке, своеобразно повернувшийся задом к пришедшим людям и за столом — генералы Военного Совета армии. Воинский труд и воинская слава витает в крестьянской избе над советскими мундирами и орденами и кажется — мы видим неумиравший дух русской истории на старом нештатном поле боя.

Деловой разговор окончен, генералы выходят на крыльцо, мимо которого, по дороге, идет войско.

— Посмотрим дивизию, — говорит командующий.

Всю ночь лил дождь, и полки словно перебрались — ни следа пожелтого от суро-зеленого покровы были, потемнела земля и почернела все, что на ней обреталось — чехлы на оружии, парусина на обозах, плащ-палатки на плечах командиров, шинели рядовых. Блестят вымытые лошади, сверкают кокухи тягачей, автомашин, стволы пулеметов, штаны винтовок — повсюду дрожат светящиеся капли, струятся змейки воды, скальваются под ноги серебряные ручьи.

Пряж уже давно размещена на дороге в обочинах до идеального состояния какао, но ее продолжают мести с фабричной методичностью, подбавляя воды и чередуя процесс обработки — то пропусканием через стальные гусеницы, то сбиванием лошадиными копытами, либо взбалтыванием орудийными колесами, либо расстиранием щетками грузовиков.

По бокам, рядом с орудиями и по-

возками, марширует шехота, узенькими цепочками. Боец за бойцом подобрал полы шинелей за пояса, солдаты идут рассчитанным, натыранным шагом, который нельзя назвать скорым, но в мерности которого заложена покоряющая сила устремления. Когда долго видишь этот шаг, начинает казаться, что ты идешь сам, что ты не можешь не идти, что находишься во власти этого движения легко, и в нем, в его неуловимости — победа. Чем дольше развертывается по дороге легкий полчок, тем торжественнее становится на душе — другого слова и не найдешь, — так распрямляешься, такой гордый голос слышишь внутренним настроенным слухом.

А люди идут, идут, повторяя друг друга, как в зеркалах, своим вооружением, своими конями, тысячами предметов и существ, делающих войну. Точно стальные носилки, нехотицы понаромусут на плечах длинные, нестерпимо-длиннящиеся от дождя противотанковые ружья. Другие маршируют, держа на спине стволы пулеметов. Песнями ротами проходят автоматчики, а внутри их строя, посередине дороги, батытен, пожалуй, плывут в руке-какао коротконосые минометы.

Ка-нибудь повернет голову к крыльцу и нечаянно увидит генералов. Молодой большеклювый паренек, может быть, — волжанин, с ясным, распахнутым взором; горчично-волнистый узбек, тонкое лицо которого, умытое дождем, будто вынуто из глиняного плаката; здоровяк-северянин с бобообразным мокрым локотком и с вылезшим из-под пиджачка с мажновыми щеками, — взглянув на командующего, может быть, узнали его, может быть, догадались — кто это и сразу, от одного к другому: смотри, смотри! И улыбки, в которых любопытство смешалось с удовольствием, освещаются и как будто подтягивается марш, порыв его становится острее, и обоняет, заметивший внезапную перемену движения, быстро вывобождает руку из-под тяжесного размокшего плаща и поднимает ее к фуражке.

— Весело идут, знают, что — на ступать, — говорит командующий, и

на лице его отражается улыбка солдата.

Блудт пекарни и кухни, дымки замишляются над трубами, повара, сидя на козлах, шинкуют вилки капусты. А вот и хвост какой-то большой компании: бычки и коровы с погонщиками — будущие обеды и ужины армии.

Марш начался глубокой ночью, но солнца проходившему войску не было ни утром, ни днем. С этого часа на крыльце избы, напомнившей мне картину Военного совета в Филях, и долго разделяла поход армии и передко другие картины военной истории приходили мне на память.

В сосновом лесу, на песчаной тропе — следы схватки; французский заслон прикрывал отход немецких частей. Ожесточение его не спасло, он опрощен, уничтожен. Песчинки насыпь над ямой, где закопаны трупы немцев. Валиются ключья серых курток, грязный солдатский погон с зеленым кантом танкистов — я поднимаю его и бросаю наземь, вон каска лежит на боку, как выкинутый горшок, и в воронки от разрывов снарядов заглавы вестер совсем еще свежие германские газеты, доказывающие немцам, что все обстоит превосходно.

Немного дальше, под березовыми крестами, — унылый ряд немецких могил. И вот она — новейшая военная история Германии, каллиграфически выведенная на солдатских могилках солдатскими руками: вот выплата Гитлера за наступление на Москву в 1941 году, вот его плата за отступление на запад в лето 1943 года. Сколько его солдат погибло тогда и сколько сейчас? Два года назад, еще одержимые дикой манией — разбить Коеную Армию — немцы изливали свои чувства черной краской на торцы березового столба: «Deutschland muss leben, auch wenn wir sterben müssen» — «Германия должна жить, даже если мы должны умереть». Теперь, на обратном позорном пути, у них уже нет времени заниматься рисованием на вырезках, да если бы и было время, они перефразировали бы свое вышпешенное изречение, наверно, на такой лад: — Мы, конечно, умрем, но будет ли жить Германия? Как тут

не вспомнить солдат Наполеона на пути из Москвы на запад?..

Через несколько шагов я вижу могилу, вызывающую совсем иные чувства. Это — русская могила, которую сразу узнаешь по привычной кладбищенской ограде из тесаного штабелника, заостренного сверху. Я подхожу к ней с некоторым чувством опасения — достойно ли похоронены люди, отдавшие жизнь за свою страну? Но тотчас меня охватывает волнение: на высокой насыпи положены цветы — не пышные, почти суровые цветы, потому что уже осень и травы отцвели. Коричнево-желтый зверобой и пушковый репейник собраны чьей-то рукой после битвы, может быть, в ту минуту, когда другая рука писала на дощечке имена двух бойцов, похороненных в этой ограде.

Молодые красноармейцы из полка, идя подходить к могиле, стоят молча, заглядывая через штабелник. читают имена погибших старших товарищей, и два слова, начертанных крупнее: «За Родину» — и вдруг один из них перегибается через ограду, берет цветок репейника броском поправляет на плече вестовку и уходит дальше. И за ним все так же молча, идут другие...

В сумерки, когда насlech готовят ужин, чтобы успеть потушить костры до наступления темноты, я попадаю в полевую редакцию дивизионной газеты. Она тоже на марше, но дивизия обгоняет ее, а она торопится выпустить листовку.

Мне приходилось не раз читать об американских газетах, в которых три-четыре человека пишут рассказы, сочиняют рекламы, набирают, печатают, продают свои издания в розницу и разносят их по абонентам. Но американцы могли бы поизбавиться предприятием совсем другого типа, успевающим во время наступательных сражений и перебросок дивизии выпускать газеты, печатать экстренные телеграммы в условиях, где небо является крышей, поваленное дерево — корректорской, ноги печатника — типографским двигателем.

Сама типография, в кабине грузовика, стояла под придорожной липой, маскируясь от немецких самолетов ее сенью. Половина грузовика

вылезла на дорогу, и под его колеса были подложены кирпичи. Маршировавшие мимо войска оглашали его и, узнав типографию по грохоту печатной машины, похрюсав на матанье чирбака в пустом яшике, кричали: — Эй, товарищи издетишки, что там пошло?

Два наборщика, под той же лентой, наклонясь к керосиновой лампочке и набросив на плечи шинели, мерно рассказывались над кассами. Два полукота потового набора, по всем правилам, легали наклонно на колымажках, вбитых в землю.

Мы забрались к редактору в палатку и заглянули такую же лампочку, как у наборщиков. Скоро холоднейшей ночью, земля и промокшего брезента потребовали возмещения, которое охотно было дано поджаренным на сковороде, чаркой водки и фронтowym душевным разговором. Но фронтowym душевным разговоры очень далеки от фронта, а наш хозяин не видал тыла ровно два года и потов был всю ночь распрямивать о Москву. Поэтому, чтобы не уклониться от темы моих записок, я выпускаю весь разговор в палатке, кроме конца. В конце это, как подбавляет редактору, хозяин не удержался и попросил меня написать что-нибудь для его газеты, и я сказал:

— Всякая газета хочет, чтобы писалось о том, что ее интересует. Вас интересует лапка дивизии. Но я пока ничего о ней не знаю и не могу сказать, что лапку, когда узнаю. Может быть, вы мои писания ми за что же напечатаете. Дочитавшись лучше так: я отыщу в вашей дивизии нечто такое, чего вы не заметили, и сообщу вам. Тогда вы сами и напишете.

Вряд ли особенно понравился мое предложение редактору, но, исполняя обещанное, я хочу обратить его внимание на один примечательный факт.

Меня познакомил в дивизии с подполковником Жульевым, командиром артиллерийского полка, и однажды он меня отпустил по своим делам.

Я ходил по густому, красному участку леса, где в кустах созревшей, под ударами первых заморозков, кашаны, расползались стойла, и уважительно осматривал заслужен-

ных коней, в гривы которых почти вплетались гроздь красных ягел. Природа заслуженно ценчала животных: среди них было много участливых боев на Дунае и под Орлом. Мне показали двух великоплетных жеребцов, ходящих в корону гаубичной запряжки, то-есть, основной палкой плетеры — белого и карего. Оба они были ранены в боях, и лежали в лазарете, и они снова вошли в строй, как старые бойцы. Я ощущал рубцы их ран — следы осколков авиабомб.

Потом я смотрел орудия, легкие и тяжелые. Одна гаубица оказалась дважды подобной, первый раз знаменитым боем под Новоселем, при прорыве германского фронта, второй — под Орлом, где была разорвалась в полутора метрах от нее — было убито три человека из расчета. Гаубицу мыли, и после мытья она возвратилась в строй. Я ощутил ее закрашенные пятки на стальной лафете, прорывавшейся в многих местах. Это — раны гаубицы. Одно ее колесо заменено новым. Это — новая лага, протез гаубицы.

Потом я проводил время с артиллеристами и узнал один совершенно особенный по существу расчет орудия: командир расчета — татарин Назаров, — замковый — армянин — Александр Геррадзе, выжидчик — его брат Исидор Геррадзе и податчики — украинцы Черный и украинский Оразов.

— Да, что вы, особенно задаете: целью так подобрать людей? — спросил я.

— Нет, — засмеялись все четыре национальности, — печально получить. Это — новый расчет.

— Чья вина — новый?

— Смотря тому, из которого трон убитой миной.

— Стало быть, вы — расчет это разоренной гаубицы?

— Да.

— Исвольте, — сказал я, помедли и задумавшись, — может быть, ваш гаубицу возят раненые кони?

— Да, та пара жеребцов — на таран, белый с карим.

— Вот и весь рассказ о просто в сущности, совпадении. Но думи об источниках нашей силы, я откровенно считал это совпадением простым. Оно же случайно, оно энциклопедично и глубоко. И предает

дивизионной газеты, разумеется, на-
писал историю коней, паубицы и
расчета командира Назарова. Ору-
жие находится в баларсе старшего
лейтенанта Дикарева, в полку Жу-
льева. Тому, кто знает дивизию пол-
ковника Кубасова, легко разыскать.

Тогда, в палатке редактора, я еще
не знал сюжета этого рассказа. Я
уснул, согретый фронтовым разгово-
ром, проснулся на рассвете от све-
жести утренняя.

По дороге шли и шли толпы, как
будто не кончались вчерашний день
и не начинался нынешний. Мне чу-
дается, что, лежа в палатке, при
дороге, я слышу дыхание армии,
стук ее сердца. Колеса погромыхи-
вали по колеем, и, переставиваясь
с ними, неутомимо катал свой чур-
бан печатный станок.

Вдруг густой бег раздался у са-
мой палатки, кто-то застучал в
фанерный кузов типографии и по-
стреленному ясно прозвенел голос:

— А ну, газета, сводка есть? Дай
листовочку.

Сокунду было тихо, потом сапоги
запыхали, удаляясь, и тот же голос
молодо, со смехом прокричал в
утро:

— Ребята! Взяли Сумы. Айда
экоре, а то все возьмут, нам ничего
не останется!

Я быстро встал и вышел из
палатки. Дорога уходила далеко по
отлогим песчаным холмам, и осве-
щенные в сплыв, с востока, подтяги-
вались на холмы колонны пехоты
своим легкорым шагом.

Но листочка я взобрался в типогра-
фию. Листочка была готова. Печата-
лась газета, и мастер, выкладывая
бумагу, размеренно давил ногою пе-
чать «американизм». Сколько раз сде-
лает он это движенье за время вой-
ны? Это — его мари, его бесстраш-
ный, тяжелый, все преодолевающий
выход за победой, в котором он, как
ослепленный солдат, не может ни на ми-
нуту отойти от своего оружия.

Мне надо было догонять ушедшую
дивизию, и экоре, выехав с
своим офицером в палатку, я опу-
стился в лесу. Марширующие по
покатым холмам колоны остались
вдали. Мы были совсем одинокими и,
остались, без всякого шума, блуж-
дали по извилистым, «жердящим»
дорогам, настанным по лесному бу-

лону из жердей. Офицер, сидевший
впереди, не отрывал пальца от кар-
ты, на каждой просеке мы остано-
вливались, и он осирал местность две
строже и строже, а шофер глядел на
него все снисходительнее.

В эти минуты остановок мне до-
слалась виднее картина, в которую
был вписан наш блуждавший газик.
Слова Бринских лесов создалась не-
даром. Могучие стволы вздымаются
тут к небу несчитанными дружи-
нами выскочков, пикирующих сверху
темными пилотами листвен и хвои, а
слизу обитых сырым подростом.
Немцы навалили всюду заграждения
из порубленной ели и осинника. Эти
непродолаемые крепости времени Орда
были уже отстранены с дорог Кра-
сной Армией, но тем страшнее выст-
лились завалы леса по сторонам, пре-
ращающие местами в титанические
земные тушины. В палатке сучья
и веток, в шевелящейся гати, жер-
ди которой внезапно выскакивали
из-под колес и стронились по бокам
машины частотомом, облавая нас
всем содержимым болота, я в
полную меру оценил достоинство
старого газика. Он лишен только
одной способности — летать по воз-
духу, все остальное ему доступно
как хорошему цирковому артисту.
Он может даже быть полетчиком
если прихотится летать сверх
виза.

Нежданно в шум малой езды
пресалось несколько очередей ав-
томата. Офицер жестом приказал
остановиться. Снова сделал свои
переборы автомат, раз, другой, пу-
ли со щелканьем прожигали листья
совсем близко от нас.

— Выключи мотор, — тихо при-
казал офицер и, пригнувшись,
вынул из кобуры револьвер.

Мы стояли некоторое время в по-
подвижности. Потом, никак в деся-
ти от дороги, раздался выстрел и
на нас глянуло пламя пулемета, в пят-
нах солнца, лицо красноармейца
Улыбаясь, весьма понимающе, он
сказал с добротушеством:

— Езжайте, ничего. Тут кругом
происсаяно. Это я прибрал оружие.

Офицер швырнул револьвер, спро-
сил, верно ли едем, и мы опять с
приветом выдвинулись по жердящим.

— Я расстрелян, забеспокоился,
сказал офицер в много потогла и до

бавил для ясности: — за вас... А вы волновались?

— Да, когда увидел, что волну-
етесь вы. А вообще я начинаю пони-
мать, что значит быть на марше.
Найти новое расположение части —
значит неизвестными путями про-
браться к неизвестному месту. Вся-
кое может случиться. Знаю, как мы
недавно искали штаб армии?

И я рассказал, как нас застал в
нужу ливень, спутавший наши рас-
четы времени, и как, обогнав колон-
ны, мы плыли по размытым колеям
в непроглядной глубине ночи. Пер-
вое время автомобильные фары
вырывали из мрака стоявших на
перекрестках, как в цветной кино-
картине, девушек-регулирующих,
которые, обвешанные от воды крас-
ными флажками, показывали нам
повороты незримых дорог. Затем
эти беззаветные помощницы опера-
тивных отделов начштабов исчезли,
и мы должны были мысленно отпу-
стить вояков, как отпускает их сбив-
шийся с пути крестьянин, полагаясь
на лошадей. Конечно, те, кто нас ве-
дали, что они делают, однако, уве-
ренность их быстро уменьшалась.
В отдалении сначала вспыхивали
фары, похожие на наши, но потом
ночь стала озаряться дымиными огнями.
Мы потушили свет, остановившись у
какой-то речонки, и пошли смотреть,
годен ли для переправы мост. Вле-
за ввышками неба неслись к нам
перекаты разгоревшегося артилле-
рийского боя. После каждой гро-
мовой зарницы мы окунались в такую
черноту, что рядом с ней любое
городское затемнение показалось бы
иллюминацией. В этой черноте,
словно из самых недр земли, прогу-
дел вразумляющий бас:

— Чего ты тянешь? — Я разве
сказал — тяни?

— А чего ты молчишь? — спокойно
вы спросил из тех же недр тонкий
голос.

— Скажу, тогда тяни. Торопыга.

Тянули связь под мостом, как мы
установили путем переговоров с не-
драми, и весь дальнейший диалог так
и протекал с людьми-невидимками.
Под сопровождение артиллерии и
внезапно затворивших пулеметов.

— Далеко ли бьют? — спросили мы
у тьмы.

— Километра полтора, — ответила
тьма тонким голосом.

— Километра три, — поправила она
басом.

— А передний край далеко?

— Километра два, — сказал тонкий
голос.

— Километра четыре, — возразил
бас, — а то и шесть.

— За шесть пулемета не услы-
шим.

— Смотря по местности, а то и
за восемь услышим.

С такой же толковостью шли рас-
суждения о нашем маршруте. Стало
ясно только то, что не надо ехать на
артиллерийскую стрельбу. Мы дви-
нулись, как объяснили связисты,
через мост направо, затем опять на-
право; затем спустились в ложбину,
поднялись, повернули налево и, на-
конец, решительно запутавшись, по-
гасили фары, остановились и опять
начали слушать артиллерию, которая
уже редела «сигна», без передышки.

Стало очевидно, что перед нами
естественный путь — вернуться на-
зад к связистам. Мы начали раз-
ворот в темноте, потом зажгли фары
и в сдвиг миг увидели перед своим
лицом фанерную доску с надписью:
«Мины!» Мы чуть не свалили ее ра-
диатором. Мне показалось, что ма-
шина ползла сама, без малей-
шего участия пехоты...

Все кончилось благополучно, ив-
че я не рассказывал бы об этой но-
чи офицеру в лесной даче, когда
мы с ним догоняли дивизию.

Я прибыл к новому расположению
дивизии вечером, сразу лег спать в
палатке и к рассвету вскочил от
холода. Я услышал прежде всего
рык артиллерии, начавшей утру-
дную дуэль с немцем. Хрустнула
переломленная хворостинка, за нею —
другая и третья, то ближе, то даль-
ше от палатки, и словно по сигна-
лу — сразу затрещал и захрустел
весь лес: полки разжигали костры
и кудрявые дымы курились в бере-
зовых вершинах.

Я думал, что после марша, длив-
шегося несколько дней, начнется
заслуженный отдых. Да я и не
ошибся, он начался. Но только это
был отдых на фронте, отдых-ученье.

Не успели прогнать костры,
как рота за ротой, с песнями, ушла
в поле — строить укрепления и бить

их, обороняться и ломать оборону. И я вспомнил, что ведь эти полки, вставшие Орел, ввели на фронте предварительную тренировку в штурме нарочно построенных укреплений и затем применили свою выучку, свою репетицию на немцах, взломали их позиции и принудили врага к бегству.

Тогда еще одна историческая кар-

тина приходит мне на память: Суворов репетирует взятие Измаила, и Суворов берет его.

Рокот артиллерии несется с передовой линии, пушки пробивают дорогу на запад. Им отвечают пушки позади фронта. Они совершенствуются, чтобы облегчить работу тех, что впереди. Один марш кончился, но медленно готовятся другие.

КОМАНДИР ДИВИЗИИ

Армия наша молодая, судьбы ее воинов стремительны. Начал войну рядовым, сейчас — лейтенант и командир роты: таков сапер Кудрявцев, рассказавший мне, как он разоблачает ухищрения немцев. Начал генерал-майором, сейчас — генерал армии.

Полковник Кубасов начал войну капитаном и летом 1943 года получил дивизию, наступавшую на Орел. Перед приходом Кубасова, дивизию три дня подряд бомбили немцы, она вытерпелась от непрерывного огня с воздуха — это было первое впечатление, полученное новым командиром. Он сказал, в полухотку, но внушительно:

— Конечно. Приехал Кубасов — бомбить больше не будут.

И все, шутя стали передавать полком: приехал Кубасов — конец бомбежкам!

Подоплечкой шутки, было обстоятельство, известное немногим. Кроме командирки: его дивизия только подерживала наступление на Орел с севера, и немцы, уразумев маневр, должны были перенести свои главные оборонительные усилия на другие участки. Так и случилось: он вдруг совсем перестал бомбить, как отрезал. И прибавится пошла хохот по дивизии веселее и веселее, и в какое-то особое ее значение немцы даже очень трезвые люди: приехал Кубасов, бомбить не будут!

Отдавал приказание о наступлении на Орел, Кубасов добавлял, что действовать надо быстро, чтобы вовремя попить чайку в Орле.

Полковник Макаров, будучи в це-

надцати километрах от города, так и повторял приказание по своему полку: «Вечером пить чай в Орле». А разведчик капитан Бодаев на следующую день доложил Макарову: «Ваше приказание выполнено: попил чайку в городе Орле, и даже не пустил, а с коньячком».

Надо тут сказать о двух вещах. Во-первых, с коньячком — дело не выдуманное, а истинное: человеку повезло — он попал на счастливого, не только радовавшегося приходу советских войск, но и припрятанного до праздничного дня бутылочку «Арарата». Бодаев тщательно записал себе в книжечку и адрес доброго орловца, и его имя, и запомнил обиду, нанесенную ему немцами. Это был телеграфист с двадцатилетним стажем, Голубев, немцы его от телеграфа отстранили и поставили чистить уборы. Во-вторых, Бодаев — не из тех, кто любит красное словцо, а из тех, кто берет города. Немцев в спину под Орлом он видел во впервые, но об этом речь пойдет дальше.

Дело же с чайком заключалось в том, что Бодаев попил его в шесть часов утра, зайдя в Орел с севера, в то время, как части других дивизий уже вошли в него раньше утром с северо-запада и с юга. Так что тема чайка в дивизии Кубасова долго, остроконечной, острой, командиры полков возвращались к ней, как к вопросу, подлежащему серьезному разбору, вроде задачи по тактике, и, капитан, артиллерия считала, что, когда она должна быть по центру Орла, а пехота находилась уже

на городском шоссе, то можно было бы, не колеблясь, сообщить о зайнятых городах, пехота же медлит, и в результате — орловцами именуемые другие дивизии, а не кубасовская.

Но тема о том, что первый попал чью в Орле, важна особо, а словечко — топнуть чью в Орле — без всяких заманок ходило по дивизии, и Кубасов это знает. К орловской теме в своей дивизии он относится просто:

— Городов впереди много. Наше дело брать. А называться мы будем почтешо.

И это уже не «словечко», как с бомбежками и с чайком, а уверенность, побуждающая к деятельности.

Понимание роли «словечка», его значения для солдата на войне пришло к Кубасову от суворовско-кутузовской школы, не только привычной нашему командованию, но от природы близкой, присущей ему. Кто из нашего офицерства не помнит и не любит знаменитого словечка отечественной войны 1812 года: «Приехал Кутузов бить французов».

Кубасов от природы быстр в движениях, и видно, что быстрою свою все время поддерживает, как люди молодые, работающие над своей выправкой. Его «китайскую» манеру лучше всего назвать отчетливостью — вокруг него нет ничего лишнего, так же, пожалуй, как в нем самом. Палатка его натянута, точно на винтах, барабана. Графин с водой, над ним прицеплена картинка, на черном приборе — ни одного пятнышка. Это все.

— Подли, — говорит он, стягивая за оплечу складки гимнастерки: ему все кажется, что можно было бы собрать себя всего еще покрепче, потуже, хотя он и так собран крепко — невысокий, мускулистый, гибкий.

Мы идем леском, где проторенная от палатки тропа узенько обнесена сучьями, подвешенными к деревьям, чтобы лес был уклониться с тропы или на шаг: по сторонам бродят с микроскопическими саперы — немцы только что выгнали отсюда.

У орудий выстроены пополнения, прибывшие в дивизию из состоящих из бойцов, возвращенных фронту «мелиталин». Люди разных возра-

стов, бывалые, серьезные. Когда Кубасов обходит строй, они глядят на него проинтеллигентными глазами солдат, привыкших распознавать начальника и оценивать его по первой встрече. А его взгляд кажется еще опытнее, искушеннее, и это братское взаимное знакомство рядовых с высоким командиром, который может быть, сегодня же пошлет их в бой, протекает в настороженной тишине. Слышю птичье перепархиванье в кустах опушки, шум листвы, да вдруг выплывает гул артиллерийской дуэли, напоминающий, что бой не прекращается ни на час.

Кубасов начинает говорить, как будто обращая самому себе и в то же время вызывая на ответ солдат:

— Ну, «буль вам выдана... шинели у вас есть... гимнастерки есть...

— Есть... есть, — все гуще раздается в строю.

— Чего же недостает? — спрашивает полковник, вдруг поднимая голос.

Секунда проходит в молчании, потом сразу несколько человек отзывается громко и одинаково, точно сговорившись:

— Винтовки.

— Правильно. Сейчас вам направят в части, и вы получите винтовки. Но вот, я умоляю, один из вас успеет зацепиться за винтовку. Откуда?

Загорелый, темноволосый, с широкими сердитыми бровями солдат из первого ряда — единственный во всем пополнении с винтовкой — на пачке — отвечает, вздергивая голову:

— Подобрал на дороге, товарищ полковник.

Кубасов быстро берет у него винтовку, поднимает ее обеими руками над своей головой и расстановкою, словно читая приказ, произносит:

— Курдюмармейды! Еще находится у нас такие преступники, которые бросают свое оружие. Военный закон карает этих людей без малейшего снисхождения, это вам хорошо известно. Но вот — рядовой, который на тяжелом переходе, подобрал брошенное оружие привел его в порядок, вычистил и вернул его в строй. Как фамилия?

Темноволосый, сурово поведя бровями, выговаривает глухо:

— Павлов.

— Объявляю от своего имени благодарность красноармейцу Павлову.

Кубасов возвращает солдату вишю, приветствует его под козырек и сильно пожимает ему руку в строю. Тишина словно возрастает, все стоит смирно. Мимолетно улыбувшись, Кубасов оглядывает весь строй, спрашивает:

— Может, еще кто подобрал что-нибудь?

Озорной, но неуверенный голос, немолодому оскланившись, отозвался из задних рядов:

— Вот я тоже вещь одну нашла... ракетницу, товарищ полковник.

— В добром хозяйстве ракетница тоже пригодится, — сказал Кубасов, смеясь, — смотри, чаклы се хорошиенько.

Одобрительно веселый говор легло прошел по рядам, и видно было, как в этом дуновении шума создаются ощущения, что разговор командира с рядовыми состоялся. Полковник был весел, потому что подтвердилась его уверенность, что он возбудит доверие и расположит к себе солдат, а они были довольны, что, оценивая их, он показал и цену себе.

Импровизация, находчивость в речи с подчиненными — стиль Кубасова, и, так как он говорит родной явлей енисейской скороговоркой, просто, без затруднения отыскивая слова, то общение его с людьми не принужденно и очень живо. Он весел не потому, что хочет быть веселым, а ему на самом деле доставляют радость всевозможные отрадные обстоятельства.

Мы опять у него в палатке, и он по телефону поздравляет награжденных орденами командиров частей своей дивизии. Улыбка удовольствия походит с его лица, как будто это его награждают орденами и он принимает поздравления. Хотя он произносит всего одну фразу и в одной интонации, но много начинает казаться, что он рассказывает какую-то историю замечательной увлекательности и рассказывает ему самому становится все интереснее:

— Поздравляю вас, товарищ подполковник, и желаю вам дальнейших боевых успехов. Поздравляю вас, товарищ подполковник, и желаю вам дальнейших боевых успехов...

На другой день он вручает ордена

награжденным, и опять я вижу его очастливо-приподнятым, и снова одна и та же фраза, тихо, даже интимно произнесенная, очень разнообразно выражает его праздничное расчлененное духом:

— Поздравляю вас, товарищ подполковник, с высокой правительственной наградой и желаю вам...

Постыла, как зеленый обруч, а нескоптенной траве, вокруг нее — являю от ветра берозы. Посредине выстроились офицеры. Один за другим подходят они к строю, принимают из рук командира дивизии орден, и, возвратившись, становятся позади строя. Волнуясь, они невольно помогают друг другу наложить ордена, делаясь в этом занятии «чужими на мостовых» юности училки, которую только что произвели и она еще не освоилась с непривычным мундиром.

Но сиюминутно летят разрозненные облака, и пятна света ярко пробегают по постыле. Веселое это движение заставляет меня яснее увидеть переменяющую историю клочья земли, на котором мы находимся.

Здесь домовито жили немцы. Вот стоит приземистый, обложенный дерном, блиндаж. Здесь обитала германская команда. Здесь долгими зимними вечерами она строгала письма, вырезала картинки из газет, чиркала на губных гармошках. Отсюда она методически, утром и вечером, по часам, стреляла из тяжелого орудия, зашпленного брусом, вером, который тоже обложен дерном и выскитя поодаль от блиндажа. Отсюда она высылала своих солдат в лес, на дозоры и в разведку. Здесь были поверки, раздвигались обрывки выкрики фешенфельды.

Вся эта заведенная машина однажды на упру щелкнула орехом и рассыпалась и разлетелась: наши часты застали здесь только след убегавшей немецкой команды — потопытанный ящик для блиндажа, картинный по стенам, подбитый газетой, врасстрелянные снаряды да разбросанный по траве мусор.

Постыла переключилась. Вторую здесь соорудили почтенные дружинники дивизии — Татарины и Лизы танкет времени, прошедшего с большим количеством Орышны, заслужившие им освобождения. Тут были связи

тети, медицинские сестры, регулировщицы, санитарки, машинистки. Трудно сейчас представить себе Красную Армию без этих лиц. Женственные улыбки их сохранились непропущеными, но к ним добавилось знание жизни, какой она раскрылась в войне с горем, с беспощадностью, с требованием неустанной доблести и железного терпения. И когда девушки на поляне подыались, как одна, чтобы почтить память своих подруг, отдавших жизнь в орловских сражениях, глаза их наполнились слезами, но все они, пока оркестр играл печальный марш, стояли в крепкой выдержке солдат, неподвижно, ровно, мыслью и чувством принадлежало долгу, на верность которому они присягнули. Их головы были чисты и звонки, когда, призывая друг друга к мужеству, они обращались к собранию со словами женских увещаний:

— Девушки, мы — будущие матери... наши дети спросят нас, что мы сделали для защиты родины... Мы, девушки, сможем взглянуть в глаза наших детей открыто и прямо...

Я рассмотрел и сразу узнал среди этих воительниц санитарку с лицом, о каком говорится — маков цвет. Пробираясь узенькой лесной дорожкой между участков, только что обставленных надписями «мины», мы почти заделажи выскочившую из-за кустов девушку с санитарной сумкой.

— Стой! — крикнул мой спутник, сползая от толчка с сиденья. — Зачем ты лезишь по минным полям?

Поправляя пилотку и раскосматившиеся волосы, поддерживая коленкой расстегнутую сумку, девушка протрещала, запыхавшись:

— Там, товарищ подполковник, слышали? Мина подорвалась. Я думала, может, кому почало...

— Я спрашиваю, зачем ты бегаешь по минным полям? Кто тебя послал?

— Я думала, товарищ подполковник, может, кому почало, так перевязка потребуется...

— Кю тебе приказал?

— Я, товарищ подполковник... думала, может, перевязка нужна будет... если кому почало...

Так и не удалось с ней спорить...

...потому что она считала своим призванием спешить туда, где может понадобиться ее помощь.

Сейчас, на поляне, она слушала не неподвижным, возбужденным взглядом, и лицо ее было таким же, каким я увидел его, когда она выбежала с минного поля, — маков цвет. В словах: «Мы, девушки, сможем взглянуть в глаза наших детей открыто и прямо», в этих словах она, наверно, не видела ничего героического, исключительного или великого. Они были для нее только привычными...

На смену траурному, суровому серьезному явлению развлечение оркестра, пристроившись на пнях и поваленных деревьях, заиграл вальс, и было забавно смотреть, как в высокой траве заплетались ноги танцоров в красноармейских сапогах не слишком приспособленных для бала. Зато какой смех поднялся — поляны к небу, и как долго звенел он между берез в перекачку «музыкалы»!

Назавтра, перед закатом, та же поляна была свидетелем другой встречи. Молодые офицеры штабов сидят в кружок перед огромной картой, пристроившись к жерням, слушали доклад командира из штаба дивизии о положении на фронтах. Зеленой краской карты сливалась с окрестной зеленью леса. Колесик обшпеченного прута медленно двигался по зигзагам рек, от города к городу, указывая заповеданные территории. Воображение слушателей проектировало действительность, отталкиваясь от масштаба карты, а в эту минуту жизни, действительности врывалась и жизнь карты, стараясь изменить движение указки: над головами слушателей пролетали самолеты, по отпечаткам машин в отряде, по преклонным коленям на врага, и уже готовилась окрестность гулом нежданной нашей бомбежки.

Так складывалась переменчивая история лесной поляны. Складывал ее полковник Кубасов, выступавший на совещаниях девушек, и перештабными офицерами, и при награждении отличившихся старших командиров.

Он находил язык с любым солдатам, с любым офицером. Для него дивизии были, конечно, люди более

менее значащие. Но людей незнающих для него не существовало. Он мне оказал однажды:

— Писарь на войне тесно связан. Писарь — это симфония. Устрани часть инструментов, и полнота гармонии невозможна.

Он видит себя со стороны — оркестратором, дирижером своей войсковой симфонии. Но в этом взгляде, в этой оглядке на самого себя нет

рисовки. Мне кажется, чуть-чуть заметной улыбкой он сдерживает свое желание видеть себя, чтобы оно не развилось в самолюбование. Он контролирует даже свое здоровое воспоминание.

В отчетливой зоркости к своим людям и к самому себе — одна из новых черт нового командира. А полковник Алексей Федорович Кубасов — молодой и вполне новый командир.

СОЛДАТЫ

Немцы, как никогда за всю историю своих нападений на Россию, как никогда за все свои войны с ней, узнали в нашей отечественной войне русского солдата.

Разгадкой феномена, который называется русским солдатом, занимались многие иностранные историки. Они признавали за ним всевозможные достоинства, от выносливости до ярости. Один французский историк, рассказывая об осаде Севастополя, говорит с русским солдатом, как об «одаренном редчайшими воинскими качествами, бесстрашном, упорном, не поддававшемся унынию, напротив, после каждого поражения бросающемся в бой с возросшей энергией».

Каждое из этих качеств, наряду с другими, о которых свидетельствуют наши отечественные документы и крупнейшие писатели, заставляет глубоко задуматься над проблемой людей, бросившихся в бой под Москвою, когда немцы считали, что советская столица лежит у них в кармане; под Сталинградом, когда они полагали, что открыли ворота в Индию; под Орлом, когда немцы собирались повторить великоординарный набег на нейтральную Россию.

Для нас, кто всем сердцем прислушивается к движению души солдата Красной Армии, особенно интересно увидеть людей, добравшихся к переломной оплощенной битве после которой немцы начали свое окончательное отступление на запад. Люди эти просты. Лев Толстой за

ставил своего героя Пьера Безухова доискиваться главной причины, приведшей русских солдат к победе под Бородиным. И Пьер Безухов приходит к выводу, что солдаты завоевали победу потому, что они «не говорят, но делают».

Под Орлом русский солдат «делал», действовал, следуя велениям своей души и применяя свои разносторонние качества война...

Штаб полка, куда я прибыл, маскировался руинами деревни. Сам командир, полковник Макаров, стоял в разломанной спилядом хибаре с одной упавшей горнией. Всплывший сад крестьянской усадьбы наполовину был выкорчеван бомбежкой, на половину еще звизжал своими изогнутыми деревьями несчастную ископанную воронками землю. Хибара покрывалась этими остатками вишняка.

Мы лезли на землю и пили чай такого вкуса и букета, каких я не встретил во всей армии, в чем, к удовольствию полковника, и признался поставившей стачки Катюше — почтовой и грозной женщиной в красномармейской форме, с медалью. Как часто бывает, она оказалась жгущей мирного солдата и похвалой мои обеспечила нам к чаю малиновое варенье.

Именно чай подходил к нашему разговору, который Макаров вел уравновешенно, оторопливо. Все в его повестях было прочно, устойчиво.

они обладали истинным героизмом, далеким от пошлой красоты.

Он велел принести полковое знамя, и через пять минут я помог ему развернуть красное шелковое полотнище, и мы долго смотрели на него. Оно черна опалено разрывами авиабомб и разорвано по углам в ключа. Оно просияло осколками в десятке мест. От его дрова не осталось следа. Его несли и защищали по-очереды пять знаменосцев. Все они были убиты. Кровью они отстояли святыню, слава их смерти сделалась славой полка.

Макаров разглядел большой рукой спутанные щитки почерневших ключей шелка.

— У меня просили его отдать в музей, — сказал он. — Я отказался. Наш полк будет хранить его всегда. Мы так и будем жить под ним, на войне и после войны.

Мы сложили знамя опять.

Это — исторически живое напоминание о самом горячем деле дивизии — о деле на переправе через Оку, при деревне Савинково. Много спланилось здесь людей, сам Макаров носит за него орден Александра Невского. Страшная память об этом деле осталась у артиллеристов, принявших удар немецкой авиации. Но слава только и приходит тогда, когда преодолен страх и кровь пролита не даром: Ока была форсирована, путь к Орлу завоеван.

Вот тут, у Савинкова, среди прочих и прославился разведчик, капитан Бодаев, который потом попил чайку с коньячком в Орле. Тут он увидел немцев в спину, к чему, как я писал, начал уж привыкать, потому что гнал немцев первый раз под Малоярославцем, второй — под Сепуховом, где трижды был ранен, и вот теперь третий раз должен был принудить их к повороту.

Разведчик всегда уходит далеко вперед со своей частью. А под Савинковым, после того как немцы нахлынули со множеством танков и самолетов, и наша пехота, под их давлением, должна была стойти на позиции, Бодаев очутился оторванным от нас с горсткой автомалчиков. Он объединил их под своим командованием с десятью солдатами и у него получится отряд в двадцать пять человек. С одним противотан-

ковым ружьем и с пятнадцатью автоматами он начал обороняться.

Очевидно, там, где дело доходит до человеческого духа, математика отступает, и соотношение сил измеряется как-то иначе. Бодаев оставил семь самоходных орудий, два танка и батальон немецкой пехоты. И он перебил целую роту противника. Он захватил серьезные трофеи и среди них — противотанковое орудие.

Подобный материал совершенно непригоден для арифметических задачников. Но зато на войне его применение дает отличный результат. Капитан Бодаев сказал мне, что после Орла ему приходилось не раз захватывать в плен немцев, и первое, что они при этом кричали, было: «я — поляк, я — поляк!» А иные, в отчаянии забегая вперед, провозглашали: «Гитлер капут!»

В полку Макарова я слушаю эпопею солдатских деяний и убеждаюсь, что воинские подвиги совершаются глубоко сознательно, но в пылу страсти. Сами герои воспринимают их, как нечто подразумевающееся, естественное, и рассказывают о них, будто мастер — о проделанной работе, но о такой работе, которой он отдал душу.

Мы сидим вдвоем, среди все тех же развалин деревни. Два моих собеседника, очень непохожие друг на друга, обладают одним общим внутренним качеством: мне кажется — это ровность, ревность к делу. Они следят друг за другом с остропроницательностью, но благожелательно, как это бывает у супружески пар.

Коротенький, плотный, даже толстый Алексей Иванович Шилейкин — вольнопожарный рабочий, боевой товарищ, ему чуть-чуть за сорок, привычно — старшина. В обороне он был снайпером, но из самых выдающихся, заурядным.

— Сколько же на вашем счет немцев?

— Обыкновенно.

— Ну, а все же?

— Четырнадцать.

— Порядочно, — говорю я.

— Средственно. — уточняет друго собеседник, и по этому слову предполагаю, что он из курских.

— Курский, — подтверждает он

радостью. — Курский крестьянин, Аникеев, Иван Игнатьевич, с 1910 года.

Это — сержант, высокий худощавый, широкожестный. Руки его лежат на коленях, как отлитые. При прощании с ним я вполне оценил, что это за руки.

Когда полк форсировал Вуппу, завязался бой у деревни Крутая Круча. Само название ее говорит, какова была местность, а каковы бывают бои в момент прорыва немецких позиций и говорить излишне.

И вот Шилёнкин рассказывает.

— Начинает он кидать в нас мины. Мы залегли. А он кидает сильнее. Выбывает наш командир роты. Остались старший. Командую: «Рота, слушай моих приказаний, я принимаю командование!» А он все кидает. Люди наши горят под его минами. Санитары не успевают выносить.

— Где поспеть, — вмешивается Аникеев. — где поспеть! Санитары тоже убиты, а которые работали — те без начальника остались.

— Без начальника они не были никуда, — останавливает сержанта старшина.

— Как не были, если санинструктор...

— Погоди. Выбывает наш санинструктор.

— А я про что?

— Погоди. Выбывает санинструктор, и я тогда сразу надеваю на себя его сумку.

— А я про то же и говорю.

— А ты говоришь, санитары остались без начальника. Я надеваю его сумку и работаю за санинструктора: сам раненых перевязываю сам выношу, а сам все командую ротой. Немец думал — концы мы готовы. Попридержал огнем, пошел на атаку. Однако мы его не допустили. Он стал отходить назад. У меня опять минута нахождения. Я — к раненым. Перевязываю тяжелого раненого, сумку — немцы наших в плен захватили, ведут стороной. наших пять человек, их — одиннадцать. Оглянулся я. Вот так вот, как до этой минуты, около убитого бойца — пулемет. Подползаю я к пулемету. На убитом — граната. Я ее беру. Могу, укрылся, выкидаю. Сначала наши,

которые в плен попали проходят, за ними — немцы. Я тогда — раз! — гранату! И — за пулемет. Восемь человек их уложил, и тут вся лента вышла. Оглянулся я опять...

Но на этом месте рассказа Аникеев не выдержал, потому что ему давно хотелось выразить, как все это он пережил, а Шилёнкин рассказывал гладко, некуда было слова вставить.

— И тогда, — начал он, волнуясь.

— Погоди, — остановил старшина. — Оглянулся я, вижу: сержант Иван Игнатьевич из окопчика поднимается.

— Я подбегаю на пулеметную очередь, — опять начал Аникеев.

— Погоди, — безжалостно поребил Шилёнкин. — Я тебя вижу, как ты приближаешься, и командую: сержант Аникеев, помоги!

И старшина кратким жестом командира передал, наконец, слово Аникееву.

— Я про что же говорю, — третий раз начал тот. — Я слышу, как он мне командует: Аникеев, помоги! Бегу к нему, и, с колен, из автомата — сколько очередей, не помню. дал, — только остальных трех немцев кончил. Всех пятерых наших мы освободили. И стали мы тогда вместе с Алексеем Ивановичем раненых с поля боя выносить. Вынесли мы тридцать два человека.

— Тридцать два, — подтвердил Шилёнкин и прибавил: — он тут опять принялся мины кидать.

— В это время по связи передают приказание майору, — сказал Аникеев.

— Нет, погоди, — остановил Шилёнкин. — В это время, пока мы с тобой раненых выносили, я продолжал командовать ротой.

— Я ничего не говорю про то, когда мы с тобой раненых выносили. А я говорю, когда мы кончили выносить, поступило личное приказание от майора — это наш командир батальона: назначить сержанта Аникеева командовать ротой, — это меня.

— А Шилёнкин? — спросил я.

— Я остался санинструктором, — ответил он. — Дал мне, в мое распоряжение, фельдшер пять санитаров. И я продолжал сапработу.

— Как же сержант командовал ротой?

— А вот так, — сказал Анисков, поднимаясь ближе ко мне и этим показывая, что теперь он не нуждается больше вмешательства Шилёнкина в разговор.

— Как вышло приказание идти в контратаку, так поднял я роту и пошел. Как двинули мы до его позиций, так я командовал — в штыки! Было со мной тридцать бойцов. Поднялись они все и в один голос — ура! Как слышали «ура», так всю операцию и не переставали кричать. И я кричал.

— Какую операцию, — спросил я.

— Такую операцию, что ворвались мы к нему в позицию и первое — начали его колосить. Второе — он побежал, мы его бросились преследовать. Третье — мы очистили от него позицию, захватили четыре пулемета, телефон и две радиостанции.

— И что же, все время «ура» кричали?

— Одни уже начали винтовки снимать, которые захватили, а другие стоят с открытыми ртами, кричат. Я говорю, что орете, трофеи надо подсчитывать, наша победа. А они смотрят на меня, у них все еще рты не закрываются.

— Да, — сказал Шилёнкин. — Теперь узнали мы, что это значит.

— Теперь узнали, — спокойно соглашается Анисков. — Знаем, как добывать под ним победу...

Двое этих равнинных друзей по роте — сержант и старшина, крестьянин и рабочий — останутся в моей памяти навсегда. Но ricordo какой стали врезаться они в память друг другу, пройдя действительно сквозь воду форсированных рек, сквозь огонь вражеских крепостей, сквозь медные трубы пушечных и минометных жерл? Нет крепче в мире памяти, чем солдатская память друзей, испытанных боем.

И еще, в поиску Макарова, выдалась мне одна встреча, запавшая в сознание.

Юношески чистые глаза, но без застенчивости и без скрытности. Загорелые, но без нахальства. Походка настолько легка, будто нету того и глядя выскочат из отстающих сапог. Голенищи, правда, больно широки, и поэтому не спадают сапоги — загадка.

Ну, да, конечно, ему всего девятнадцать лет, а познати — столько дозидностей, столько званий: война любит быстрый рост. И при знакомстве со мной он уже не называет себя Алешей, он уверен, что ему идет только полное имя — Алексей Иванович Зайцев.

— Хорошо, Алексей Иванович, — говорю я. — А давно ли вы из школы?

— Давно.

— А как вы, Алексей Иванович, учились?

— Хорошо.

— А сильно ли вы, Алексей Иванович, озоровали?

— Сильно.

Это все произносится серьезно и даже в предупредящем тоне, в том смысле, что, мол, вы со мной как будто шутить собираетесь? — выпрасно. И вдруг — совершенно ребячий, обрадованный смех, точно солнце брызнуло савоз тучки:

— Теперь, на войне, пригодились

— Что пригодились, Алексей Иванович?

— То, что сильно озоровал.

Я обвиняю его с тем первым внезапного раскомования, который известен учителям, и задаю ему, как учитель задачу:

— Ну-ка, перечислите мне, Алексей Иванович, все должности, которые вы занимали с начала войны и до сего дня.

И он, сморщив брови, перечисляет, как у классной доски. Еще когда он был в учебном батальоне дивизии, его прозвали в сержанты. К моменту наступления на Орел он — первый заместитель командира взвода автоматчиков. Когда выбыл командир, он заменил его и командовал взводом до самого Орла, где «попил чайку» (словечко свое дело делаю — привыкло и живет!).

— Ну, отличился, все-таки чем-нибудь или нет?

— Так, просто. Где увижу немецкий пулемет — сейчас автомат за спину, пулемет тяну. Кумбат это заметил и назначил меня командиром пулеметной роты, взамен вышедшего командира. Я так ротой и командовал, пока не дали нового командира.

— Ну, а все-таки, что же ты такое сделал, что к тебе такое доверие?

— А ничего. Не дал ребятам в па-
ннику бросаться. У меня ребята дер-
жались во как!

— Кем же ты сейчас?

— Сейчас — командир расчета пу-
леметной роты. Моля учиться посыл-
ают на офицера, а я не хочу... По-
чему не хочу? Вот когда победим,
тогда захочу.

— Ты офицером и победить. Офи-
церы армии, знаешь, как дужны!

— Я раньше до Берлина дойду, —
выпаливает он, и вдруг опять у не-
го вырывается мальчишеский смех.

Но он сразу подавляет его, смот-
рит мне в глаза испытующе прямо
и выговаривает с неожиданной, ярой
запасчивостью:

— Эх, я там ему покажу!.. А что
ему спускаться? Он наших родных
будет калечить, а мы — смотреть?

Тут я захожу близу его глаза: нет,
это не мальчишечка, но юнец, это муж,
гневный, страшный и метильный
муж.

— Откуда же ты такой родом
выгляди, Алексей Иванович? — спраши-
ваю я.

— Я — чернский, — отвечает он

— Как чернский? — вскрикнул я. —
Из Черни?

— Из Чернского района.

Слово это пламенем осветило мне
развалившийся германцами когда-то
милый городок — куцы и горы ок-
сфордской почты, поросшей пегро-
лазным бурьяном. След землетрясе-
ния. Бильбо.

Так вот как отомщает маленькая
Чернь за свое поругание! Вот какой
огонь, посылает она эдакого-то за
изгнанным из нашей земли врагом!
Вот он — фактор времени в войне:
неудержимо быстро созревает мо-
лодое племя воинов, из мальчишков
делаясь мужами и мужей превра-
щая в богатырей.

И тут мне ясно увиделось, как
всякий городок, каждое селенье
что ли двор, что ли дом, разрушен-
ные немцем, отправляют на великое
поле боя своих беспощадных отмсти-
телей, напоминая сердце их болью за
родину и вынуждая — сам победи-
ши!

Еще раз обнял я Алексея Ивановича,
мальчуга-мужа и спускаю:

— Хорошо, Алексей Иванович, иди
на Берлин солдатом. Все равно пер-
нешься ты офицером.

ПОМНИ!

Я помню поздний, лютый холодный
вечер. Помню и по-осеннему часто
падающие звезды. Мне почему-то
кажется, что падающая, мчась и
пропадая в небо, риз осколки миров
возмолвлю и красоту подчеркнут
орлиное слово — помни! Миги эти
нельзя забыть.

На горизонте отыскиваются тенью
неба трепетные ветви земли.
Они то красны, то нежно розовы, то
беловаты: ответы пожаров, следы
сражений. Рыдания артиллерийского
боя пакутся в таланы и зми-
ают, снова растут, снова умирают.

В темноте толпы людей стоят по-
ходными, сжавшись, телом к телу.
Людям холодно, кто нигде не ухо-
дит. Над головами — черное небо в
излучах, по сторонам — черную об-

рывы оврага в смутных тенях пол-
зучих деревцов. Толпа смотрит глубоко
в овраг, лицами к его тунику. К
задней стенке, на которой повисла
и светится обобрамляющим черта-
ми далекой жизни маленькая экран.
Смотрят картину «Леди Рампальтона».
Корабли Англич, над парусами, бли-
зятся к Трафальгару. Адмирал Нель-
сон поднимает бинокль. Видна па-
руса противника. Катаня открывают
огонь. Рубится мачты. Герят палу-
бы. Адмирал падает. Адмирал умира-
ет. Далеко, далеко от Трафальгара
адмирала ищет леди Рампальтон.

Рвут орудия горющих кораблей.
Ревут экран. И в его раз недалеко
вспыхивает рыцарно боя на горизонте.
Блужда корабли на акраме. Идет
бой за персправы через Десну, там,

за горизонтом. Мэди Гамильтон ждет. Всегда и всюду кто-то ждет. Далеко, далеко.

Холодно. Люди стоят неподвижно, тело к телу. Никто не уходит. Это — картина. Это — искусство. Человек остается с искусством наедине. Молчит, разговаривая с ним. Думает о том, как оно похоже или как непохоже на жизнь. Смотрит на него, как на падающую звезду, которая молча, где-то вычерчивается: помни!

И еще.

Крошечная горница, уцелевшей избушки в орловской деревне. Крошечный экран. Генералы той армии, которая выиграла орловскую битву, сидя очень тесно на скамейках, плечом к плечу, смотрят только что доставленный на фронт фильм «Орловская битва».

Завывают орудия. Идут в атаку солдаты. Палают побежденные. Встают и шествуют победители. Белоглазый, непокоренный Орел припал к земле, истерзаный, в руинах. Мимо руин идут освободители. Генералы смотрят марш своих солдат.

Генералы, сидя перед экраном, смотрят на себя, как они вступают в Орел, как в Орле они стоят у гроба Гуртьева, павшего за Орел. Как они хоронят Гуртьева на площади Орла.

Гуртьев — герой Сталинграда. Он вел свою танковую дивизию на Орел. Командующий армией Горбатов поехал знакомиться с позицией Гуртьева. Оба генерала пришли на командный пункт и заняли места рядом. Это было в полутора километрах от немца. Он обстреливал позицию.

Я помню, как Горбатов говорил о смерти Гуртьева. Два осколка попали в Гуртьева — в спину и в голову. Горбатов прижал голову Гуртьева к своему плечу. Гуртьев истекал кровью. Он сказал:

— Я, кажется, умираю.

И умер.

Ему только казалось, что он умирает. Смерть была для него естественна. Для таких, как он, естественна жизнь. Я помню, как Горбатов говорил об этой смерти.

Орловцы смотрят на экран и видят себя, как свою память. Так они брали Орел.

Пролетела яркая звезда по высокому небу надежд нашей отчизны. Помни! — прочертила она. Помни о славных героях, павших за свободу нашей родины. Помни, что враг еще не уничтожен и что твой долг — нести ему смерть во имя нашей жизни.

Сентябрь—ноябрь, 1943 г.

Генерал-лейтенант Е. ШИЛОВСКИЙ

О ВОЕННОМ ИСКУССТВЕ

Русские войска всегда отличались мужеством, выносливостью, молодецкой силой штыкового удара. Под водительством Суворова, Кутузова и других полководцев они совершали замечательные походы и одерживали блестящие победы, выказывая чудеса храбрости и образцы высокого стратегического искусства и тактического мастерства. В первой мировой войне 1914—1918 гг. русские войска под командованием Брусилова нанесли ряд поражений австро-германским силам.

Красная Армия, развивая и продолжая лучшие боевые качества и традиции русской армии, за 25 лет своего существования сильно двинула вперед теорию и практику военного дела. К началу великой отечественной войны против немецкого фашизма ее военная доктрина была вполне современной и передовой.

В ходе войны Красная Армия приобрела необходимый опыт, закалилась в борьбе с сильным и наглым врагом. Ее военное искусство быстро совершенствовалось, становилось гибким и многообразным. Красная Армия одержала величайшие победы над немецкой и другими вражескими армиями. Но этих успехов она добилась в результате суровых испытаний.

...Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат!

Летом 1941 г. переломный шаг совергся в нашу страну, использовав все выгоды внезапного нападения. Это многочисленныя войска, вооруженныя мощной техникой и обладающие двухлетним боевым опытом войны в Европе, атаковали наши пограничные части. Это был удар огромной силы, и наш порыв стра-

тегический эшелон, ведя неравную борьбу с наседавшим врагом, был вынужден отходить вглубь страны, чтобы выиграть время для мобилизации, сосредоточения и развертывания наших основных сил.

В первые месяцы Красная Армия имела серьезные неудачи. Но, отходя, она изматывала и уничтожала в ожесточенных боях врага, подрывала его наступательную мощь. Главные силы немецко-фашистских войск и их сателлитов наступали на обширном фронте от Балтийского до Черного морей. Целые группы вражеских армий были двинуты на Ленинградском, Московском и Киевско-Харьковском направлениях.

Всем миром теперь признано, что ни одна страна, кроме нашей, ни одна армия, кроме Красной Армии, не выдержали бы подобного натиска. Но мы устояли, отмобилизовали свои силы и к зиме 1941/42 гг. взяли инициативу действий в свои руки. В великой битве под Москвой ярко выявились характерные черты военного искусства Красной Армии этого периода.

Наши кадровые части понесли известные потери при отходе. вновь сформированные дивизии еще не были полностью обучены и оснащены техникой. В маневренности и мобильности они уступали неприкасаемым войскам, хорошо снабженным автотранспортом. Проявлялось в технике было на стороне врага; в количестве танков под Москвой он превосходил нас в 2½ раза.

И все же в этих трудных условиях мы разгромили немецкие полчища под Москвой. Защитники Советской столицы в самые тревожные дни не дрогнули, не потеряли веры в свои силы. Они знали, что товарищи Сталин в Москве, слышали с Красной площади его слова, полные уверенности в нашей оконч-

чаторной победе. Исход сражения под Москвой решили в нашу пользу, в конечном счете, армии резерва Верховного Главнокомандования. Они были сформированы в глубоком тылу, скрытно сосредоточены за нашими флангами и введены в дело, когда ослабленный потерями враг делал последние усилия, чтобы прорваться к столице. Победа была одержана нами в очень сложном маневренном сражении, в той самой форме концентрического наступления с двухсторонним оперативным охватом, которую немцы считали своей специальностью. Пытаясь охватить Москву с обоих флангов, немцы сами оказались охваченными, а затем разбитыми. Попытка немцев осуществить грандиозные «Канни» под Москвой закончилась для них полным провалом и поражением.

Операции в стиле нашей московской битвы 1941 г., связанные с переходом в решительное контрнаступление после отхода, являются наиболее трудными и сложными. Нужно правильно определить допустимый предел отхода, все время чувствовать пульс боя и уловить благоприятный момент для перехода от обороны в контрнаступление. Военная история показывает, что только мужественные, стойкие войска и большие полководцы способны осуществить такие крутые повороты, добиться коренного перелома обстановки в свою пользу и разгромить зарвавшегося врага.

Мы знаем, что «чудо под Москвой», как его называли иностранцы, не было чудом. Величие духа, искусство и стратегическая мудрость нашего Верховного Главнокомандующего, непреклонная воля к победе всего советского народа, упорство и беззаветное мужество наших воинов обусловили успех в этом важнейшем сражении. В области тактики наши войска освоили и успешно применяли пока более простые способы действий. Сложные приемы, операции на окружение, глубокие прорывы менее удавались в этот период второго года войны.

Разгром немцев под Москвой явился переломным, решающим моментом первого года стечественной войны. В суровую зиму 1941/42 гг. Красная Армия, развивая наступление, отбросила немецкие войска на запад местами более, чем на 400 км.

Первый год отечественной войны закалял наших бойцов и командиров, оказал им подлинное лицо врага, научил ненавидеть его всеми силами души. Красная Армия выросла и окрепла. В борьбе повысилась ее организованность и техническая оснащенность. 1 мая 1942 г. товарищ Сталин в приказе указал, что Красной Армии есть все необходимое для выполнения стоящих перед нею великих задач по освобождению советской земли от немецко-фашистских захватчиков. Нехватало только умения полностью использовать против врага ту первоклассную технику, которую предоставляет ей наша родина. Верховный Главнокомандующий приказал бойцам и командирам Красной Армии настойчиво овладевать военным искусством, чтобы бить врага наверняка.

Воспользовавшись отсутствием второго фронта в Европе, немцы летом 1942 г. перебросили свои резервы на советско-германский фронт, создав ударный «кулак» на юго-западном стратегическом направлении. Перейдя здесь в наступление, немцы в ходе летних боев достигли значительных тактических успехов, продвинувшись на подступах к Сталинграду и в предгорьях Кавказа. Однако упорным сопротивлением советских войск враг был здесь остановлен.

В последующем зимнем контрнаступлении 1942/43 гг. Красная Армия покрывала свои знамена неуязвимой славою. Она окружила и уничтожила две отборные немецкие армии под Сталинградом, разбила пленила румынскую, итальянскую, венгерскую армии и, отбросив врага от Иссии и Терска, продвинулась на 600—700 километров на запад. Кроме того наши войска имели крупные успехи на других участках фронта: прорвали блокаду Ленинграда, выбили врага из Курска, Ржева, Вязьмы, Великих Лук, Демянска, других пунктов.

Рост военного искусства Красной Армии, поднявшегося на огромную высоту, и последовательное падение военного искусства гитлеровской Германии можно проследить в примере Сталинградской операции. Эта операция являлась наиболее крупным и ярким военным событием периода зимнего контрнаступления.

Подготовка операции производилась в трудных условиях. Войска и технику приходилось сосредоточить в издалеке в открытый степной район со слабой развитой сетью дорог. Общее соотношение сил не давало нам каких-либо решающих преимуществ. Но путем искусного маневра было достигнуто решающее превосходство в силах на направлениях главных ударов. Вся подготовка была проведена очень организованно и скрытно: она обеспечивала внезапность нашего наступления. План операции представляет замечательное достижение советского, великого воинского искусства, по целостности и глубине замысла, осознанию на правильном учете всех явных обстоятельств, определенности смен для перехода от обороны к наступлению и выбору направлений и главных ударов по флангам и тылам немецкой группировки. Полководец, который в очень трудной обстановке конца 1942 г. на юге, от задумать и осуществить подобную операцию,— приобрел право на бессмертие.

За пять дней был выполнен основной замысел наступления: оперативное прорыве с северо-западного и южного Сталинграда, разгром румынских войск и окружение главной немецкой группировки под Сталинградом. Войска и атомализованные части Армии показали здесь разрыв высокого тактического и оперативного искусства. Пехота и артиллерия мощными и согласованными ударами взламывали неприятельский фронт. Подвижные группы смело и успешно действовали в оперативной глубине вражеской обороны.

Отрывались в лучших случаях извещательные сообщения от своей хаты. Изменились силы и состав подвижных групп, включавших танковые, механизированные и кавалерийские корпуса: они стали более подвижными, с большим количеством техники, чем это было в московской операции.

Окружение тактических и оперативных группировок противника шло быстро и четко и завершилось полным разгромом окруженных войск. Техника операций возросла в три-четыре раза. Взамен линейных боев и операций, вымывавших противника из степей, еще в московской операции, здесь широко использовались

глубокие формы, гибко применялась тактика маневрирования. Наша авиация своими ударами с воздуха дружно поддерживала наземные части. Резко поднялось качество управления войсками и взаимодействия родов войск в ходе быстро развивающихся маневренных действий.

Разгром врага под Сталинградом представляет наиболее совершенный образец воинского искусства, какой знает военная история. Две наступавшие отборные немецкие армии численностью в 330 тысяч человек и первоклассным, мощным вооружением были окружены и ликвидированы, причем ни один солдат не вышел из кольца окружения. Так в новых условиях на русской, советской земле возродились классические операции на окружение, осуществившиеся «Канной» великой отечественной войны.

В приказе 1 мая 1943 г. Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза товарищ Сталин отметил, что сотни тысяч бойцов в совершенстве овладели своим оружием, а многие командиры научились умело управлять войсками на поле боя. Но успокаиваться на этом было бы неразумно. Остановиться в военном деле — значит отстать. А отсталых, как известно, бьют.

«...главное сейчас состоит в том, чтобы вся Красная Армия из дня в день совершенствовала свою боевую выучку, чтобы все командиры и бойцы Красной Армии изучали опыт войны, учились воевать так, как этого требует дело победы».

И Красная Армия, выполняя эти указания вождя, развешивала боевую учбу, овладевала более совершенными способами и приемами, она нарастала все более могучей и многоцелевой боевой техникой. Она напряженно готовилась к решающим битвам третьего года войны.

Летом 1943 г. немцы уже не были в состоянии наступать на широком фронте. Они сумели организовать наступление на сравнительно узком участке в количестве десятков танков и артиллерии в районе Курского выступа. Здесь немцы сосредоточили 38 дивизий, из них 17 танковых и 2 моторизованных, поддерживали большим количеством самолетов. Это был очень сильный и концентрированный удар. Первый этап боев показал, что наша оборона оказа-

лась, сильнее немецкого наступления, несмотря на введенную противником многочисленную боевую технику, в том числе новые тяжелые танки «Тигр» и самоходные орудия Фердинанд. Ценой огромных потерь врагу удалось лишь вклиниться в наше расположение на 9—35 километров. Но советские войска, измотав и обескровив врага, вскоре отбросили его в исходное положение, а затем сами двинулись вперед. Третье летнее наступление немцев было быстро и успешно ликвидировано нами при очень небольшом мажоре по глубине и без потери территории. Здесь мы видим новый характер операций — возросшую стойкость нашей обороны, способность к быстрым и сократительным ударам и переходу к контрнаступлению.

Таким образом решающее оборонительное сражение в районе Курского выступа было выиграно нами. Впервые в истории второй мировой войны оборона оказалась настолько сильной, искусной и упорной, что отразила наступление главной группировки немцев, без потери территории и с огромными потерями для врага. Такой результат является крупным стратегическим успехом и большой победой. Он немедленно и благоприятно сказался на общем ходе войны, повлиял на отказ Германии помочь Италии и способствовал падению Муссолини.

В докладе 7 ноября 1943 г. товарищ Сталин сказал: «Если битва под Сталинградом предвещала закат немецко-фашистской армии, то битва под Курском поставила ее перед катастрофой».

Советские войска не только сорвали летнее наступление гитлеровцев, но и сами перешли в решающее наступление на Орловском и Белгородско-Харьковском направлениях.

Несмотря на хвастливые заявления немцев о неприступности их обороны, наше наступление оказалось сильнее немецкой обороны. Поражение немцев под Орлом и Белгородом было началом наших дальнейших успехов. В упорных боях сопротивление немцев было сломлено, и весь обширный фронт от Азовского моря до «Смоленских ворот», протяжением в две тысячи

километров, пришел в движение. Был вырван из рук немцев Донбасс, важнейший угольный и промышленный район страны, освобождена левобережная Украина. Штурмом был взят Смоленск и наши войска вступили в Белоруссию. На юге были заняты Новороссийск, — важный военный порт на Черном море, и немцы были изгнаны с Таманского полуострова.

Преследуя отступающего врага Красная Армия на широком фронте вышла к Днепру и форсировала его в ряде пунктов. В результате стратегически проведенной операции с смелым обходным маневром 6 ноября наши войска овладели Киевом, столицей Советской Украины, крупнейшим промышленным центром и важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на правом берегу Днепра. Наступление советских войск успешно развивается на большую глубину.

В этих ожесточеннейших сражениях мы видим выросшую крепость и силу Красной Армии, ее многочисленную боевую технику, новое боевое мастерство бойцов и командиров. В приказе от 7 ноября 1943 г. товарищ Сталин указал:

«В наступательных боях истекшего года наши войска обогатились опытом ведения современной войны. Наши офицеры и генералы умело руководят войсками, успешно овладевают искусством вождения войск. Красная Армия стала самой мощной и закаленной современной армией».

В наступлении наших войск мы наблюдаем решительность действий основанную на правильной оценке обстановки, на учете слабых и сильных сторон врага, хорошо организованное взаимодействие родов войск и смелый, искусный маневр на поле сражения. На практике успешные наступательные боевые войска дали плодотворные результаты упорного труда по боевому совершенствованию, по изучению опыта войны, по освоению современной техники.

Год, прошедший от Сталинградской операции до побед Красной Армии под Курском, Харьковом, Смоленском, Киевом, был годом коренного перелома в ходе войны, пользу нашей страны. День нашей окончательной победы приближается.

II

Опыт последних войн показывает, что немцы тщательно отработывают свои тактические и оперативные приемы. Они нередко достигают хорошей слаженности действий войсковых соединений и различных родов войск при выполнении поставленных задач. В этом их сильная сторона. Но зачастую отработанный способ или прием (сам по себе имеющий определенную ценность) они затем применяют без учета конкретной обстановки, недооценивая силы и возможности противника и, таким образом, обращают этот прием в шаблон. Хотя немцы неоднократно и жестоко были биты за это, как в первую, так и во вторую мировую войну, — немецкое командование нередко продолжает ту же тупую и самодовольную линию, не будучи способно к гибкому и широкому применению различных приемов и способов действий в зависимости от конкретной обстановки. В этом их слабая сторона, которую мы используем все с большим и большим успехом для себя.

Наиболее крупным военным теоретиком Германии в XX столетии был Шлиффен. Основой его оперативно-го учения служили положения:

Для достижения решающего, сокрушительного успеха требуется наступление с двух или трех направлений, то есть с фронта и с одного или обоих флангов противника;

важнейшая задача руководителя сражения заключается в том, чтобы задолго до встречи с неприятелем указать всем армиям и корпусам дороги, пути и направления, по которым они должны продвигаться, назначить определенные цели движения на каждый день;

окружение противника по примеру «Канн» путем наступления с фронта, с флангов и по возможности с тыла — вот, по Шлиффену, наилучший способ достижения победы с полным уничтожением неприятеля. Сущность концентрической операции, по Шлиффену, заключается в том, что все колонны и группы войск наступают в заданных направлениях и атакуют неприятеля, где бы они его ни встретили. Координированные движения отдельных групп для их взаимодействия является задачей полководца.

Слабой стороной учения Шлиффена были его односторонность и схематизм, увлечение узко-оперативной стороной в проблеме ведения войны, где все приносилось в жертву односторонней тенденции, — двойному оперативному охвату, — и терялось представление о бесконечном разнообразии военной обстановки и отвечающих ей действиях.

Шлиффен свои положения и выгоды облек в форму, отражавшую одностороннее увлечение операциями с двойным охватом, обратив его в рецепт и тайну победы, единственным обладателем которых являлся, якобы, германский генеральный штаб. Это самомнение влекло за собой пренебрежительное отношение к стратегическим и тактическим взглядам противников, к их положению и действиям, за что немцам приходилось неоднократно расплачиваться на полях сражений кровью и поражениями. Поэтому Шлиффен является одним из наиболее ярких представителей схематизма и шаблона в военном искусстве.

Уже сражение на Марне на втором месяце первой мировой войны 1914—1918 гг. опрокинуло шлиффеновский план. Помимо целого ряда важных данных (ослабление правого ударного крыла немцев вследствие переброски двух корпусов на Восточный фронт для противодействия наступлению русских и пр.), одной из причин проигрыша немцами сражения на р. Марне в 1914 г. было также упрощенное представление, созданное к началу первой мировой войны, об управлении войсками при операциях в стиле Шлиффена. Кризис немецких войск на Марне явился в значительной степени кризисом управления и командования.

Общий ход войны 1914—1918 гг., образование сплошных фронтов, длительная позиционная борьба — явились новыми и непредвиденными обстоятельствами. Все это резко расходилось с учением Шлиффена. Когда приходилось наступать на сильно укрепившись противника, занимавшего сплошной фронт, следовало произвести тщательную подготовку, предварительно сосредоточить войска на узком фронте для совместного наступления и нане-

сентября единого мощного удара. На первое место выдвинулся фронтальный удар сосредоточенными силами в целях оперативного прорыва, чего учение Шлиффена никак не предусматривало.

Готовясь ко второй мировой войне, немецко-фашистское руководство вытаскило из-под свода шлиффеновского учения и несколько модернизировав его за счет моторизации и механизации войск, включило в свой идейно-теоретический арсенал как один из рецептов победы.

Важнейшим достижением немецкой теории и практики конца первой мировой войны, по мнению немцев, был так называемый «германский метод прорыва». Вскоре после установления позиционного фронта организация успешного прорыва укрепленных полос стала основной проблемой военного командования. Новый метод прорыва, отработанный и примененный Людендорфом в 1918 г., предусматривал сосредоточение подавляющих сил и средств на участке прорыва, использование внезапности, быстроты и силы удара для глубокого проникновения в расположение противника. Внезапность немцы стремились обеспечить скрытностью подготовки операции, занятием войсками исходного положения непосредственно перед началом наступления, отказом от артиллерийской артиллерии и широким применением химических снарядов. Значение танков немцы недооценили, и своих танков почти не имели.

Этот метод был разработан во всех деталях с немецкой точностью и полнотизмом. Примененный в мартовском наступлении 1918 г., этот метод дал возможность немцам одержать известные оперативные успехи, продвинуться вглубь бельгийского расположения на 60 километров, что создало кризис на англо-французском фронте.

По тому же методу немцы провели вторую большую операцию в мае 1918 г. на р. Эн. Они достигли значительных результатов, дошли до р. Марны, от Парижа их отделяло тогда только 70 километров. Считая, что рецепт победы находится в их руках, немцы организовали в июле 1918 г. третье большое наступление по тому же способу, обратившемуся уже в шаблон. Но союзники успели

уже освоиться с германским методом прорыва и подготовили «по контрмере». Противостоящие войска 4 и 5 французских армий глубоко эшелонировали свое расположение. Первая линия обороны занималась лишь слабым охранением. Немецкая артиллерийская подготовка по первой линии оказалась произведена вустую. Наступавшие немцы в линии встретили организованно сопротивляющиеся в глубине обороны понесли большие потери и останки выжили. Наступление немцев провалилось. А когда через три дня началось контрнаступление союзников на районе Виллер-Воттере, подержавшие большим количеством танков то шипиатина действий была немцам окончательно утеряна.

Так, второй основной способ действий — метод оперативного прорыва, подробно разработанный немцами, но обреченный ими в шаблон привел их к катастрофе в 1918 г. и к дальнейшей капитуляции на миссии победители.

Вероломно вторгнувшись в нашу страну в июне 1941 г., немецко-фашистское командование широко применяло метод бронирования клинцев, которые глубоко проникли в наше расположение и стремились окружить наши войска. Вначале этот способ действий давал немцам некоторые успехи. Но вскоре наши войска разгадали планы врага и научились им противодействовать. Генеральное сражение под Москвой поздней осенью 1941 г. немецко-командование пыталось провести «стило мото-механизированных «Кави» т. е. двухстороннего оперативного охвата. Однако командование Красной Армии своевременно разгадали замысел врага и приняло решительные контрмеры, о которых мы ранее уже говорили. За флангом наших войск, оборонявших Москву были сосредоточены резервные армии. Они были расположены так, что оказались вне немецкого кольца танкового окружения Москвы.

Немецкое командование обнаруживало упорство в битве под Москвой, но не проявило ни остроты понимания складывавшейся обстановки, ни гибкости в выборе способов действий. Им казалось, что шлиффеновский «рецепт победы» является магическим, и после первых успехов они считали, что уже достигли

победы. В конце ноября, когда командование Красной Армии осуществило свой контрманевр — сосредоточивало резервы, — германское командование в очередной раз неправильно оценило возможности своей армии, что Красная Армия уже разбита, и значительных резервов под Москвой в русских войсках не приходится. Вытиснув свои войска в глубину, немецкое командование с тупой самоуверенностью упрямо шло все вперед и вперед, не считаясь ни с потерями, ни с менявшейся обстановкой. В результате, как известно, немецкие бронетанковые клинья попали под Москвой в подготовленные для них русские клещи, из которых могли вырваться лишь с большим трудом и с тяжелыми потерями.

Московская операция наглядно показала, что даже такой выгодный и сулящий большие успехи способ действий, как двойной оперативный охват, может при наблюдении и схематическом его понимании, без учета конкретной обстановки, обратиться в свою противоположность и привести к поражению.

Под Сталинградом немцы снова жестоко поплатились за недооценку противника, за схематическое понимание обстановки и действия по шаблону. В ноябре 1942 г. немецкое командование вновь считало, что войска Красной Армии настолько ослаблены, что не в состоянии выступать. Несмотря на уроки первой зимней кампании, они полагали, что активные операции уже заканчиваются и нужно заботиться об устройстве на зиму. Они недооценили боевые качества своих союзников фланги главной своей сталинградской группировки. Такое положение благоприятствовало осуществлению немцами под Сталинградом: оно было полностью использовано командованием Красной Армии, которое проявило большую смелость и гибкость.

Внезапный и стремительный переход Красной Армии от обороны к наступлению, как мы знаем, завершился разгромом немецких войск на флангах и быстрым окружением немцев. Но понимая изменившиеся условия, возросшей силы Красной Армии, немцы полагали, что они (по примеру зимы 1941—1942 гг.), смогут отсиживаться в окружении,

пока их не деблокируют контрударами извне. В результате получилась замечательная победа Красной Армии под Сталинградом.

В июле 1943 г. немецкое командование, предприняв тщательное наступление на Курский выступ, повело излюбленную концентрическую операцию. Наше удары с севера и юга, на Орловско-Курском и Белгородском направлениях. Но и здесь немецкое командование провело схематическое понимание обстановки, недоучет сил противника, и действовало по обычному оперативному трафарету; оно переоценило свои силы и сделало большую ставку на тяжелые танки и новые самоходные орудия.

Однако излюбленный немецкий способ концентрических ударов и на этот раз дал осечку. Ход событий показал ошибочность немецких планов. Наши войска и командование неспешно изучали положение и тактику врага, совершенствовали свою подготовку. Ожидая немецкое наступление, они были готовы не только отразить его, но и нанести мощные контрудары с переходом в дальнейшее контрнаступление.

Товарищ Сталин отметил 7 ноября 1943 г., что с точки зрения военной теории поражения немецких войск на нашем фронте к исходу этого года было предусмотрено двумя важнейшими событиями: битвой под Сталинградом и битвой под Курском.

Несколькими примерами из двух последних мировых войн мы старались показать дефицитность немецкой стратегии, склонность немецких войск и их командования к шаблону и схеме. Таких примеров можно привести очень много. Благодаря заранее отработанному оперативным и тактическим приемам, немцам удалось провести отдаленно операцию. Но по случайным являлся тот факт, что хорошие стратегы в XX веке у немцев не было, и войну в целом они вели неудачно.

III

Мы видим, что развитие военного искусства Красной Армии идет по восходящей линии. Красная Армия закаляется в борьбе, улучшает свои приемы, получает все более мощное и совершенное вооружение. Ее

мудрая и смелая сталинская стратегия приобретает все более широкую и прочную основу, уходя своими корнями в толщу народную. Ее гибкая тактика маневрирования быстро развивается. И все с большими и решающими успехами использует более совершенные приемы и способы действий, применяя искусные маневры на поле сражения.

Мы видели, как в наиболее трудные, кризисные моменты борьбы под Москвой, Сталинградом, у Курского выступа и в других местах мудрая советская стратегия своим решительным воздействием создавала перелом в ходе боевых действий в нашу пользу (правильно определяя время и направления главных ударов, создавая и группируя резервы) обеспечивала выигрыш сражений.

Мы также видели, как авантюристическая гитлеровская стратегия погнала в 1941 году немецко-фашистские полчища на Москву с растянутым тылом, вытянула войска в линию, чтобы выиграть в силе первого удара, а в решающий момент генерального сражения оставила их без резервов и умыла руки. Эта же метафизическая гитлеровская стра-

тегия в 1942 г. загнала лучшие немецкие войска в тупик под Сталинградом и обрекла на пассивное ожидание уготованной им там плачевной участи. Крупнейшие просчеты были также допущены германским командованием в летней кампании 1943 г. Гитлеровская стратегия неоднократно ставила немецкие войска в условия, способствовавшие их поражению.

Красной Армии удалось перебить в перемолотые наиболее опытные старые кадры немецко-фашистских войск умножив и вместе с тем закалив в успешных наступательных операциях свои собственные кадры. Теперь немецкая армия уже не та, что прежде.

Оперативное искусство и тактическое мастерство Красной Армии быстро растут в ходе отечественной войны. Наше наступление развивается во все возрастающем масштабе.

Весь ход событий отечественной войны вселяет в нас чувство бодрости и уверенности в завтрашнем дне. Впереди встает яркое солнце победы, завоеванной трудом, кровью и военным искусством нашего великого народа.

16 ноября 1943 г.

Академик Е. Тарле

КНИГА О СУВОРОВЕ¹

Эта небольшая, весьма содержательная книжка производит с первых же страниц очень выгодное для автора впечатление. Прежде всего: она написана прекрасным литературным языком, без тех ненужных и безвкусных стилистических вывертов, которые уже давным-давно успели навредить советскому читателю и набить ему оскомину, но, к сожалению, еще не наскучили многим авторам популярных исторических и историко-беллетристических работ.

И чем больше мы вчитываемся в эту книжку, тем больше крепнет в нас убеждение, что перед нами очень удавшаяся характеристика великого русского полководца, написанная на основании серьезного изучения разнообразного и довольно обильного материала.

Автор дает в сжатой форме очень продуманную и основательную картину «генеалогии» и развития наиболее характерных черт полководческого искусства Суворова. Он связывает суворовские наставления с традициями, идущими от «Устава воинского», данного Петром.

Денис Давыдов писал о Суворове, что он «удеситерил пользу, принятому повиновением», сочетав его с «чувством воинской гордости». Суворов, как неподражаемый и недостижимый идеал воинского воспитателя, рисуется в разбираемой книжке необыкновенно ярко и отчетливо. Вспомни с этим хочется выразить, как уместно и удачно с чисто архитектурной, так сказать, точки зрения, — автор окружает центральное солнце русского «взблеска славны» (Суворов на племени вождей и героев, воочи

тавших на суворовских традициях: Кульнева, Дениса Давыдова, больше всех Багратиона и Кутузова. И при этом он не старается вымучивать аргументы для доказательства несомненного тезиса о полном тождестве суворовской и кутузовской военной манеры (а этим иногда грешат биографы обоих военачальников), но совершенно правильно говорит. «Кутузов-полководец образовался в суворовской школе: пройдя через нее, он стал тем, чем он был для солдата, не тенью Суворова, а Кутузовым, русским полководцем». С другой стороны, К. Пигарев не впадает и в обратную ошибку шаблонного противопоставления Суворова, как представителя только наступательной тактики Кутузову, будто бы представляющему только тактику отступления. Это является несомненным достоинством работы К. Пигарева.

Автор справедливо защищает Суворова от часто делавшегося упрека в неумеренном честолюбии. Кто же из военных героев не был честолюбив? Можно по этому поводу вспомнить, что говорил как раз об этой черте Суворова собиравший его иконографию Ровинский, известный автор «Русских народных картинок»: если бы Суворов мечтал начинать свою жизнь, стать святым угодником, то он воздержался бы от таких страстей, как честолюбие, — но ведь он мечтал стать не угодником, а фельдмаршалом. И добавим: он мечтал стать также народным героем, прославившим русское имя. Это ему и удалось в полной мере. Важно было, что он ставил нечто выше своей личной славы — это была честь и слава России, и слышал он во имя не своих интересов, а во имя интересов русского народа.

¹ Кирилл Пигарев, Солдат-полководец. Москва, Гослитиздат, 1943, стр. 164, цена 4 руб.

и государства. Кстати: в этой связи читатель вправе был ждать от автора внимательного анализа небольшого суворовского произведения «Разговор в царстве мертвых между Александром Великим и Геростратом» (перепечатанного в этой же книжечке в виде приложения). Ведь тут именно и идет принципиальный разговор о честности, и самое замечательное в нем то, что Герострат у Суворова оказывается очень сильным спорщиком и кое-где ставит Александра в довольно затруднительное положение. А между тем настоящего разбора этого произведения мы у К. Пигарева не находим. Прибавлю, что вообще этот «Разговор» (несколько раз печатавшийся) настолько любопытен и столько там неожиданный, что он очень и очень достоин самого пристального внимания исследователей. Без этого источника нельзя понять всей разносторонности и независимости мысли молодого Суворова. Несколько безглых строк (на стр. 65 книж. К. Пигарева) совсем не достаточно.

Богато насыщены фактическим содержанием страницы, говорящие о Суворове, как о военном ораторе и как о военном писателе. Тут весьма доказательно обрисован Суворов, как мастер доходчивого до солдатских сердец русского слова. Понятно тут же охарактеризованы и более или менее видные словесно-литературные подражатели Суворова: Кулишев, Иван Скобелев (дядя), Федор Глинка, Погодинский, Драгомиров. Замечу, что в следующем издании своей книжечки (которого должно ждать и желать) автор хорошо сделает, если исключит ложное (по общепринятому повествованию Ростопчина о том, как Суворов при нем ни с того ни с сего во время разговора закричал пехотом и что будто бы сказал при этом (стр. 90). Эту явную ростопчинскую небылицу пустил в ход впервые доверчивый журналист Сергей Глинка, но уже в сороковых годах драгунского века ростопчинским «анекдотам» о Суворове вообще мало кто верил. Ведь мы хорошо знаем, что чем знаменитее бы человек, тем больше лгал о нем граф Ростопчин: много о Барклае, больше о Кутузове и естественно больше всего о Суворове. О некоторых устно, о других — письменно.

Очень тонко очерчен у К. Пигарева образ «героя», как он сложился в уме и в воображении Суворова. Ему хотелось, чтобы понятия «солдат и герой» совпадали. «Я солдат, я умираю за мое отечество... смелыми шагами приближаюсь к могиле, совесть моя не запятнана... Тело мое изувечено ранами, а бог оставляет меня жить для блага государства», — писал он своей любимой дочери.

А что русский солдат очень часто оказывался героем, кому же это было лучше знать, чем Суворову? Почему он был в таком бешенстве, когда Павел стал заводить немецкие порядки в русской армии? Да потому, что самая мысль о подражании немцам ему казалась чуждой: «русские прусских всегда бивали, что же тут перенять?». — ядовито спрашивал великий полководец. Русский солдат может другим давать пример, а самому ему брать примера не с кого. Так полагал Суворов в 1797 году, едва ли бы он изменил это свое суждение и в 1913 году!

Автор не задается целью анализировать во всей полноте стратегию и тактику Суворова, он по основному своему заданию не обязан ни придергиваться старого хронологического порядка в изложении, ни даже перечислять все победы русского героя. Но все-таки следовало бы назвать наряду с Наполеоном хотя бы Прагу, штурм которой немалым уступал в некоторых отношениях изматывающему, а по своему политическому воздействию даже превосходящему его. Советский писатель, знакомясь с Пушкиным, читает обращенный к «Клемузицам России» стих: «Для нас безмолвны Кремль и Прага!» Но ведь и для него, юного пионера, тоже будет «безмолвна» Прага, если ему ничего не говорить об этом великом подвиге Суворова, одном из самых трудных и блестящих исторических дел.

Очень нужны, хороши и новы по содержанию страницы, посвященные анализу своеобразнейшего языка Суворова. Сколько жизни, сколько могучего темперамента, горячая кровь, огонь было во всем, что говорил, и во всем, что писал этот необыкновенный человек! Что удивительного, если перечисленные военные писатели, подражавшие ему, никогда не

могли с ним сравниться в слове так же, как не могли с ним сравниться в бою самые талантливые подражатели его стратегии и тактики?

К. Пигарев говорит о том, как умел и любил Суворов награждать за воинские подвиги. Это совершенно правильно отмечено. Можно, кстати, указать автору на любопытнейший документальный материал, никак не обследованный и даже, кажется, никем из исследователей не упомянутый. Это — рукопись, занимающая почти целый фолиант и хранящаяся в Архиве древних актов в фонде «Бумаги канцелярии кн. Потемкина-Таврического». В рукописи (точнее

в целом ряде приложенных к этому том рукописей) подробно перечислены подробно мотивированные предложения к наградам всех войск, одержавших победы в битвах Итальян. Предложения эти снабжены еще полными мотивировками листками с пояснениями каждого Суворова, сделанными его дружкой. Да и самые мотивировки, конечно, тоже исходят от него. Эти документы очень интересны для характеристики зоркого взгляда и безграничного участия, каковым пользовался Суворов.

Приветствуюм познанию дружкой и хорошо информированной канцелии К. Пигарева, и желаю ей успехов.

Т. Мотылева

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЗАПАД¹

В дни отечественной войны по-новому перечитываются родные, памятные страницы Пушкина, Лермонтова, Толстого, Горького, в которых отразилась неразрушимая внутренняя мощь русского народа. Ныне по-новому раскрывается величие русской литературы.

Наша литературная наука непростоительно мало сделала для определения вклада, внесенного русскими писателями в сокровищницу мирового искусства. Теперь этот вопрос поставлен самой жизнью в порядок дня.

История русской литературы в сопоставлении с литературой других стран дает ценнейший материал для понимания того, какую большую творческую роль сыграла русская нация в развитии мировой культуры.

В этой связи интересны мнения различных иностранных писателей и критиков о русской литературе. Разумеется к их мнению следует относиться критически. Однако, судя оцены эти ярко свидетельствуют о том влиянии, которым она обладает на русскую литературу и на своих читателей за рубежом, они

ценны и тем, что помогают почувствовать своеобразие русской литературы, ее отличие от литератур других народов, те ее качества, которые завоевали ей за последнее столетие громадный международный авторитет.

Прислушаемся к некоторым характерным отзывам Запада о русских писателях.

И. Тэн находил, что Тургенев по законченности своего мастерства может быть сравним только с художниками древней Греции. Английский критик Маккэйль также считает, что Тургенев по высоте своего художественного таланта стоял во главе европейского искусства своей эпохи.

Общезвестно, что Флобер при чтении «Войны и мира» восклицал: «это — Шекспир!». Анатолий Франс, как и ряд других западных писателей, сравнивал Толстого с Гомером.

По определению Томаса Манна, Достоевский — «первый психолог мировой литературы». Стефан Цвейг, соглашаясь с этим, ставит Достоевского не ниже Гете и Гомера. Автор известной немецкой монографии о Достоевском, Эмиль Лушка, утверждал, что герои Достоевского по глубине и богатству своего внутреннего мира превосходят шекспировских героев.

¹ Сокращенное изложение доклада, сделанного в Институте мировой литературы им. А. М. Горького.

Мельхиор де Вогюэ — первый исследователь и популяризатор русского романа во Франции — сравнивал Гоголя с Сервантесом, а Толстого с Гете.

В нашей печати уже приводились слова английского критика Миддлтона Марри о том, что «писатели других народов могут лишь играть у ног таких гигантов, как Толстой и Достоевский».

Все эти разнообразные оценки и сравнения говорят не только о величии русской литературы, — не только о том, что она достигает уровня поэтических образов, созданных величайшими гениями человечества. Характерно, что русские писатели XIX века часто сравниваются с художниками эпох наивысшего расцвета мирового искусства, античности и Возрождения, — с величайшими мастерами эпического, философски-обобщающего искусства, каких когда-либо знал мир. Уже сами эти сопоставления свидетельствуют о том, что русские классики среди своих европейских современников занимают особое место.

В западной критике делалось немало попыток определить особый характер русской литературы, ее специфику, ее напор. Одним из первых это сделал Мериме. Известны его слова, сказанные в беседе с Тургеневым: «Ваша поэзия имеет прежде всего правду, а красота потом приходит сама собою...» У Пушкина, говорил Мериме, «поэзия... расцветает из самой трезвой прозы». Эта мысль французского художника о высокой правдивости русской литературы, о ее трезвости, близости к жизни, о красоте русской литературы, органически («сама собою») вырастающей из идейной ее чистоты, — впоследствии неоднократно развивалась писателями и критиками разных стран Запада.

Томас Манн вкладывает в уста своего героя Тонио Крегера слова «святая литература». Это определение русской литературы Тонио дает с восхищением и завистью. Хрупкий и одинокий поэт, мучительно ощущающий, как его непреодолимая отчужденность от людей обедняет и губит его дарование. — Тонио Крегер считает недостижимыми для себя то непосредственное общение с народом,

ту этическую целеустремленность, которые свойственны русским писателям. О «святости» русской литературы писал Томас Манн и в своих публицистических работах.

Отношение левой европейской интеллигенции XX в. к русской литературе хорошо формулировал Стефан Цвейг: «Поэтизм — смысл и миссия России в истекшем столетии заключались в том, чтобы со священной тревогой и беспопачно мучительной страстью раскрыть все моральные глубины, затронуть все социальные проблемы и обнажить их до самого корня, — и с бесконечным благоговением склоняемся мы перед коллективным подвигом духа гениальных ее художников».

Несколько иной оттенок в оценке русской литературы у Арнольда Цвейга. Вернер Бертин, герой его трилогии об империалистической войне восклицает: «Какая литература у русских, какой могучий поток мастерства! Дух мятежа пронизывает и, как молния, ослепляет каждую страницу. Когда же оглядываешься на нашу литературу, включая и свое собственное творчество, — хочется плакать от досады...»

«Дух мятежа», присущий русской литературе, сумели ощутить далеко не все ее западные читатели. Приведенные слова Арнольда Цвейга взяты из его романа «Возведение на престол короля», написанного им сравнительно недавно, уже в антифашистской эмиграции. В дооктябрьских западных оценках — так же как и во многих послеоктябрьских — обычно подчеркиваются не столько социальные, сколько этические качества русской литературы, и передовые социальные устремления русских писателей истолковываются именно в этическом духе. Например английский историк литературы Эми Круз — книга которой о литературе послевикторианской Англии вышла накануне второй мировой войны — говорит, основываясь на высказываниях ряда опрошенных ею лиц, что англичане, читавшие русские романы, «обретали большую свободу ума и духа и более глубокое сознание братства людей».

О высокой совести русских писателей, об их гуманности, об их любви к человеку — обо всем этом не

Западе писали много раз. Но негрудно понять, почему немалая часть этих зарубежных оценок приводит нас к нескольким двойственным впечатлениям. Нередко бывает, что в этих оценках искреннее восхищение сочетается с непониманием или даже со стремлением как-то «обезвредить» русских классиков, выдвинуть на первый план не их революционные черты, а слабые стороны их мировоззрения. Так, например, нередко поступали немецкие критики с Толстым и с Достоевским.

Чаще всего и те представители зарубежной интеллигенции, которые понимают и принимают передовые, освободительные устремления классической русской литературы, которые склонны считать русских классиков образцом — во многих отношениях недостижимым — для литераторов Запада, не могут ответить на вопрос, чем обусловлен высокий идейный и моральный уровень русской литературы, ее художественное величие. Обычно они вместо объяснения ссылаются на «русскую душу», понимая ее, как нечто раз и навсегда данное, неизменное.

«Русский человек — самый человеческий человек», говорит Томас Манн. «Русская душа — самая душевная из всех душ», вторит ему швейцарский критик Матье.

Это звучит очень искренне и... очень наивно. Разумеется, особенности русского национального характера наложили очень существенный отпечаток на всю нашу литературу. Но сам национальный характер — далеко не постоянная величина. Он постепенно складывается и изменяется в результате исторического развития нации. Этого не понимают западные писатели, охотно оперирующие понятием «русская душа», — нередко с помощью этого понятия пытаясь объяснить, оправдать или идеализировать пережитки патриархальной старины и быта и сознание масс дореволюционной России.

Следует учесть, что в странах Западной Европы, — где до сих пор почти не знают Белинского, Чернышевского, Добролюбова, но хорошо знают, например, книгу Марджо-евского о Достоевском и Толстом, —

русская литература нередко воспринималась преимущественно сквозь призму реакционно-мистических или либерально-народнических истолкований. Ходячее среди западной интеллигенции представление о России и ее народе до сих пор не свободно от различных ложных, иррационалистических примесей (о том, как живуча экзотика «широкой русской натуры» даже в сознании искренних друзей России, свидетельствует хотя бы русская девушка Ася в «Очарованной душе» Ромэна Роллана — образ, в котором глубоко привлекательные человеческие черты сочетаются с чисто декадентским хаосом страстей и некоторым примитивизмом мысли).

Илишне доказывать, насколько неприспелы для нас воззрения, выводящие своеобразие и красоту русского национального характера, русской культуры из черт отсталости в прошлом нашей страны. Известно, как настойчиво искоренял Ленин «предрасудки старого русского самобытничества». Тем более нетерпимы подобные предрасудки сейчас. Перечитывая книги и статьи западных писателей о России, мы тем отчетливее видим, насколько необходимо очищать историю русской культуры от остатков славянофильских и народнических легенд.

Источники силы русской культуры — не отсталость, а борьба против отсталости, вся многолетняя «история протеста и борьбы самых широких масс населения... против остатков крепостничества во всем строе русской жизни» (Ленин). Свообразие русской литературы не может быть понято, если не учесть этого протеста, этой борьбы.

И у нас, и на Западе много раз, объясняя причины расцвета литературы в России в XIX в., напоминали о том, что художественная литература долгое время была почти единственной легальной трибуной, с которой передовые русские люди могли обращаться к народу. Это верно, но как объяснение недостаточно. Это обстоятельство действительно помогает понять причины концентрации талантов русского народа именно в литературе. Но оно не объясняет, почему русский народ на протяжении одного столетия

породил так много выдающихся талантов и в других областях государственной и культурной жизни России — от военного искусства до музыки (уже одно это доказывает ложность суждений тех иностранных литературоведов, которые утверждают, будто за богатство своей литературы Россия расплачивалась бедностью в других сферах жизни).

Не раз писали о том, что русская литература в течение всего XIX в. черпала свою силу в революционном народном движении (с которым она была связана гораздо теснее, чем литературы других стран Европы).

Это объяснение гораздо более глубокое и верное. Недаром Ленин подчеркивал, что мировое значение Толстого отражает и мировое значение русской революции. Однако, русское революционное движение, при всем его мировом значении, явление в высшей степени своеобразное, обусловленное своеобразием русского исторического процесса.

Общезвестно, что в новейшее время в эпоху империализма Россия стала центром мирового революционного движения. Но вступление русской революции — как и, несколько десятилетий ранее, русской литературы — на международную арену было подготовлено всем ходом многовековой истории России.

Очень важным положительным фактором развития русской культуры явилось то, что Россия сравнительно рано сформировалась в государство.

Известно указание товарища Сталина о том, что в странах Восточной Европы, еще до возникновения в них капитализма «интересы обороны от нашествия турок, монголов и других народов Востока требовали незамедлительного образования централизованных государств, способных удержать напор нашествия» (И. Сталин, Марксизм и национально-колониальный вопрос).

Таким образом, было ускорено становление нации: первые русские цари в этом смысле сыграли весьма прогрессивную роль — как и первые абсолютные монархи в странах Западной Европы. Энгельс писал, характеризуя процесс возникновения национальных государств в эпоху позднего средневековья: «Что во всей

этой всеобщей путанице королевская власть была прогрессивным элементом, — это совершенно очевидно. Она была представительницей порядка в беспорядке, представительницей образующейся нации...» В этом процессе Энгельс отводит место России рядом с Англией и Францией как передовыми европейскими государствами, сумевшими своевременно объединиться, — в противовес Германии и Италии, где надолго закрепились феодальная раздробленность. «...Даже в России покорение удельных князей шло рука об руку с освобождением от татарского ига и окончательно было закреплено Иваном III. Во всей Европе были еще только две страны, в которых не было ни королевской власти, ни без нее тогда немислительного национального единства или они существовали на бумаге: Италия и Германия».

Все это существенно имеет в виду при сопоставлении русской литературы, например, с литературой немецкой. Великие русские писатели, начиная с Ломоносова, чувствовали себя писателями великой страны: у них была та общенациональная широта кругозора, то острое чувство ответственности за судьбы родины, которого не могло быть даже у крупнейших художников Германии, так или иначе отмеченных печатью филистерской узости. Передовые немецкие писатели разных эпох и масштабов — начиная с Гете и до Генриха Манна — не раз становились на позиции «сверхнационального» космополитизма; их привязанность к собственной нации не могла не ослабляться тем, что в Германии XIX—XX вв. отстаивание национальных интересов обычно приобретало пруссачески-реакционный характер. Это создавало крайне неблагоприятные условия для развития немецкой литературы — особенно во вторую половину XIX в. В противовес этому деятели русской литературы имели историческую возможность сочетать всечеловеческие идеалы с патриотизмом, имели возможность сознавать себя частью большого общенационального целого — и творить во имя этого целого.

Пафос общенародного единства — единства, необходимого для защиты

родины от врагов — звучит уже в таких ранних произведениях русской литературы, как «Слово о полку Игореве»; еще более ярко и полно выражена патриотическая тенденция в русской литературе нового времени. Вместе с тем глубокая любовь к родине, стремление к ее процветанию, богатству и славе всегда сочеталась у русских классиков различных поколений и взглядов со стремлением к общечеловеческому благу. Именно на этой почве возникло в русской литературе ощущение величия исторической миссии России, желание видеть ее, как говорил Белинский, «воплощением идеала человечества».

Другой важнейший фактор, помогающий развитию передовой русской культуры, — положение крестьянства в расстановке общественных, революционных сил России. Ленин указал (в письме к Скворцову-Стпанову), что центральный вопрос буржуазного переворота в России — крестьянский вопрос, в отличие от Германии, где центральным был вопрос о государственном объединении нации. Если в Германии затычка в разрешении национального вопроса отвлекала внимание масс от классовых отношений, благоприятствовала появлению реакционно-шовинистических демагогов и крайне отрицательно сказывалась на всех сферах идеологического развития, — в России, напротив, выдвижение на первый план крестьянского вопроса, затрагивавшего жизненные интересы большинства нации, в течение всего XIX века сплачивало практически слои населения страны вокруг насущных народных требований, создавало атмосферу нарастающего внимания к социальным проблемам, атмосферу нарастающего революционного подъема. Это давало русским писателям огромные преимущества перед писателями не только немецкими, но и французскими и английскими. Пусть даже многие выдающиеся представители русской дворянской интеллигенции тяготились своей оторванностью от народа, — они, сами не всегда это сознавая, были более тесно связаны с народом, чем их западные собратья. «Крестьянин-собственник на Западе, — писал Ленин, — сыграл уже свою роль в демократическом движе-

нии и отстаивает свое привилегированное положение по сравнению с пролетариатом. Крестьянин-собственник в России стоит еще накануне решительного и общенародного демократического движения, которому он не может не сочувствовать. Он еще смотрит больше вперед, чем назад». Именно благодаря этой своеобразной исторической роли крестьянства в России значительные круги русской интеллигенции — дворянской, потом разночинной — вовлекались в поток широкого общенародного демократического движения или так или иначе подвергались его влиянию. Крестьянин, глядевший вперед, а не назад, силою своего гнева против господ, силою своего горячего стремления к справедливой жизни оплодотворял русскую литературу.

Наконец характерная особенность русского исторического процесса — непосредственное перерастание буржуазно-демократической революции в пролетарскую, отразившееся в преобладании эталов освободительного движения. В силу особенности развития капитализма в России — где буржуазия никогда не была революционной силой — русское революционно-демократическое движение, по сравнению с западным было более тесно связано с народными низами, более свободно от буржуазных иллюзий и предрассудков. Уже это облегчало переход к революционности пролетарской. Ленин не раз указывал, что в истории России была полоса, когда «демократизм и социализм сливались в одно неразрывное, неразделимое целое». Тенденция демократизма и социализма по-разному сочеталась в творчестве нескольких поколений русских писателей, от Белинского и Герцена до Чехова и Короленко, — именно это сочетание спасало от социального отчуждения тех художников, которые, перерастая рамки общедемократических воззрений, все же, в силу исторических или личных условий, не могли быть социалистами. В России не было того разрыва демократической и социалистической традиций, который имел место в странах Западной Европы во второй половине XIX в. В годы, когда трагический исход революции 1848 г. завел в тупик

социального одиночества крупнейших писателей Запада — в русской литературе сохранялась демократическая широта апелляции к народу, — и в то же время возникла острота постановки социальных проблем, которая пошеюла социалистическому сознанию. То решительное «отставание интересов народных масс», которое Ленин считал характерной чертой русского просвещения, — явилось общей идейной базой, на которой развертывалась деятельность ряда поколений русских революционеров и литераторов.

История России за последние столетия насыщена героикой революционной борьбы, вдохновляющей лучших людей страны, ее художников, ее писателей, — даже тех из них, которые по личным своим взглядам с этой борьбой не были связаны.

Всемирная история не знает такой интенсивности, такой стремительной быстроты общественного развития, какая была присуща России в новейшее время. С такой же быстротой развивалась и русская литература, русский реализм XIX—XX вв. Синтетически вобрав в себя опыт европейского искусства и мысли нескольких столетий, он в неслыханно короткие сроки создал самостоятельные художественные ценности мирового значения, превзойдя многие из своих западных образцов.

Старое русское литературоведение охотно подчеркивало, сколь многим обязаны русские писатели своим иностранным учителям. Действительно, русские классики не обособлялись от мировой литературы, охотно черпали из сокровищницы переловой западной мысли, — и это сыграло большую роль в формировании и развитии русской литературы (особенно в XVIII и первой половине XIX в.). Однако надо видеть, что русские классики воспринимали эти идеи Запада активно, творчески; активность их проявлялась и в самом отборе образов. Некоторые из зарубежных критиков (например, Брандес) справедливо отмечают, что русские писатели умели тайне чутко улавливать все прогрессивные влияния, идущие с Запада.

Вместе с тем русские мыслители,

зачастую независимо от западных, умели самостоятельно поднимать и бесстрашно разрешать проблемы, возникавшие в ходе развития мировой философской и социальной мысли.

Это творческое отношение к идеям, шедшим из-за рубежа, проявилось уже у Радищева, у которого протест против крепостничества перерастает в протест против всякого угнетения человека человеком. Сопоставляя идеи западного просвещения (впоследствии — утопического социализма) с живыми впечатлениями неприглядной монархически-крепостнической действительности, русские писатели — уже на ранних стадиях развития реализма в русской литературе — находили свои, самобытные формы и образы, свои способы конкретного, реалистического обличения социальной несправедливости.

Не раз, например, писали о влиянии европейской деревенской повести (Жорж Занд, Ауэрбах) на «Записки охотника» Тургенева. Влияние несомненно было, его признавал сам Тургенев. Но неверно было бы отводить воздействию Запада решающую роль в возникновении «Записок охотника». По этому поводу высказался еще А. М. Горький в своих лекциях по истории русской литературы: «Идея Жорж [Занд] помогли установить, организовать известное отношение к мужику, но интерес и внимание к нему вызвал он сам, и вызвал грубейшим образом, именно, путем бунтов и волнений». Русская действительность, непосредственно наблюдаемая, конечно, в несравненно большей мере могла вдохновить писателя, нежели западные влияния. И достаточно самого легкого сравнения «Записок охотника» с повестями Ауэрбаха и Жорж Занд для того, чтобы установить, как много нового внес Тургенев в жанр деревенской повести, насколько он решительнее и острее ставит на болевшие социальные вопросы, насколько его образы крестьян написаны более трезво, более смело, быстрее, чем добродетельные герои «Маленькой Фадетты», чем романтически-трогательный мальчик из «Анжибо» или шаровальские крестьяне Ауэрбаха, в которых столь

ко искусственной, сентиментальной идеализации!

В царской крепостнической России порабощение человека человеком носило в высшей степени очевидный наглядный характер — более наглядный, чем в странах Европы периода расцвета капитализма, где эксплуатация затенялась фетишизмом денег, атомистической раздробленностью общества на обособленных друг от друга индивидуумов, вуалировалась видимостью гражданской свободы.

«Солдаты в войне всех против всех» — так назвал Стефан Цвейг героев Бальзака. Буржуазное общество в изображении классиков европейского реализма — общество, где сталкиваются миллионы противоположно направленных волей, где каждый отстаивает свои интересы в ущерб интересам других. Деление буржуазного общества на два больших лагеря — эксплуататоров и эксплуатируемых — было отображено западным реализмом лишь после 1848 года (например, в «Тяжелых временах» Диккенса). Русский реализм подошел к теме эксплуатации раньше западной литературы, он раньше нее ощутил наличие «двух наций» внутри одной нации. В «Крестниках» Бальзака крестьянин выступает преимущественно в своем «обшественническом облике». В «Записках охотника» крестьянин дан как угнетенный труженник. Своеобразная расстановка классовых сил в России дала возможность русскому художнику внести нечто принципиально новое в реалистическое изображение деревни.

Разумеется, тема угнетенной личности возникла в западной литературе раньше, чем в русской. — возникла еще в эпоху Просвещения. Но русские писатели, исходя из особенностей русской действительности, притали этой теме новую остроту, новую конкретность.

Западная литература XVIII и первой половины XIX в. не раз рисовала «маленького человека» буржуазного города — бедного труженника с нешироким кругозором, умеющего, несмотря на тяжкие условия жизни, сохранить свою человеческую целостность. В подобных образах — от статика Миллера из «Коварства и любви» до диккенсовских бедняков —

проявились лучшие, демократические устремления многих больших художников Запада. Русская литература подошла к образу «маленького человека» несколько иначе. Она первая показала разрушение личности человека под влиянием зависимости и бедности и выдвинула на первый план не бедность, а именно зависимость, то есть человеческое, а не вещное отношение. Всем нам памятно пушкинское: «О бедность, бедность! Как унижает сердце нам она!» Этот русский, пушкинский мотив «унижение сердца» лежит в основе таких произведений, как «Станционный смотритель», «Шинель», «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные» — произведений, где угнетенный человек выступает как фигура трагическая не столько в материальном, сколько в моральном аспекте. Именно в таком аспекте стало изображать «маленького человека» западное искусство в конце XIX — начале XX в. — под немалым влиянием русской литературы: если не Гоголя, то Достоевского.

Проблема эксплуатации вставала перед русскими классиками не только при изображении народных низов: она стояла перед ними всегда.

По верному замечанию Г. Лукача, образ угнетенного крестьянина неизменно присутствует в произведениях Толстого, если не в описаниях быта, то в сознании его героев. Это можно сказать и о многих великих предшественниках Толстого: незримый образ крепостного крестьянина присутствует, конечно, и в «Евгении Онегине», и в «Горе от ума». Даже там, где типы высшего класса не сопровождаются образами эксплуатируемых ими «душ» (вспомним Еремеевну из «Недоросля» и триста Захаров Обломов!) — в произведениях русской классической литературы многократно и истинно возникает вопрос: имеет ли человек право жить за счет труда других? Этот вопрос не мог появиться в сознании, скажем, Вильгельма Мейстера, или хотя бы одного из положительных героев Бальзака или обаятельного Фабрицио дель Лонго из «Пармского монастыря» Стендаля. Но без него немислимы герои Тургенева.

Конечно, это этическое неприятие эксплуатации, проходящее через всю

полном расцвете своих жизненных сил. С горькой иронией повествует Бальзак о триумфе своего героя: он сознает, что, как ни клейми он Растиньяков в романе, они торжествуют в реальной жизни.

Русская литература не могла с балканской конкретностью раскрывать бесчеловечную природу капиталистического дельца. Но она находила в силу присущего ей демократичности — в несравненно более демократической форме, чем литература западная, выразила свое отрицательное отношение ко всякой индивидуалистической погоне за личным, ко всякому собственническому эгоизму. В русских условиях индивидуализм означал поддержку отжившего строя, а принадлежность к господствующему классу — паразитическую бездельность: основываясь на жизненном опыте царской, крепостнической России, русские классики отвергали эгоизм во всех его разновидностях. Русская действительность давала им основание предъявлять более высокие этические требования к человеку, чем могла предъявить литература западная. Рассматривая жизненный путь молодого человека XIX столетия, русские писатели ставили вопрос не о его личном преуспевании, а о выполнении им своего человеческого долга. Русские «лишние люди», конечно, не так деятельны, как многочисленные герои западных романов, энергично пробивающие себе дорогу в жизни. Но высотой требований, предъявляемых к себе, напряженными своими поисками смысла человеческого существования Рудины, Ларионы, Бельтоны нашего выше сказанных зарубежных современников.

Позитивная оценка французским литературоведом Мазоном (автором знаменитой монографии о Гончарове) образа Алехандре Алонсо («Французская драма „Обыкновенной истории“ с героями французской литературы» — Рязань, изд. Любимов на «Утренних изданиях» Бальзака, Фредерик-Миро из «Воспитания чувств» Флобера, Мазон находит, что и Алонсо гораздо резче подчеркнута индивидуальность, бедность, того бланкетизма, которое приобреталось им тем погоном за карьерой. Он так подготавливает смысл финала романа Гончарова: «Посредственность тор-

жествует, таща за собой то недоброкачественное счастье, основанное на эгоизме и самообмане, изнанку которого столь энергично обнажает Толстой в жизни Ивана Ильича». Ссылка на Толстого здесь очень уместна: она помогает уяснить природу русского реализма, его органическую, непримиримую враждебность самым ходовым и общепринятым принципам буржуазного поведения. Гончаров в «Обыкновенной истории» дал совершенно оригинальный русский вариант разработки одной из центральных тем европейского романа XIX в.

«Обыкновенная история» появилась накануне революции 1848 года. С этой исторической датой принято связывать ряд сдвигов в западной литературе, как и в развитии других идеологий на Западе. Но до сих пор мало учитывалась та роль, которую с середины XIX в. стала играть русская литература в духовной жизни Европы.

Стало традицией говорить о падении идейного и художественного уровня европейской литературы после 1848 года. Но следует учитывать, что русская литература как раз в это время, став равноправной участницей мирового литературного процесса, начинает все более наглядно и бесспорно обнаруживать свои преимущества по сравнению с литературами Франции, Англии, но говоря уже о Германии.

Русская литература живо откликнулась на проблематику европейской революции. Брандес говорит о Герцене: «Он — 1848 год в человеческом образе».

Определяя исторические причины духовной драмы Герцена, Ленин делает характерную оговорку: революционность буржуазной демократии уже умирала в Европе...» (пол. черкнуто мною. — Т. М.). Революционность крестьянской демократии в России, в то время была жива. И это обусловило принципиальное различие в характере духовной драмы, порожденной событиями 1848 года у Герцена и у Флобера, художника, в переживаниях и творчестве которого наиболее ярко отразился кризис, вызванный этими событиями в сознании интеллигенции Запада.

Есть сходство в высказываниях Герцена и Флобера по поводу революционных дней в Париже. Герцен «с каким-то ясновидением заглянул в душу буржуа, в душу работника — и ужаснулся...» Флобер жутче ненавидел буржуа, но «протитанная завистью пуля пролетария» внушала ему недоверие и страх.

Интеллигент Запада после 1848 года мог участвовать в прогрессивном общественном преобразовании только на стороне пролетариата. Путь к пролетариату даже для наиболее честных западных интеллигентов и сейчас мучительно сложен. Для Флобера и его литературных современников он был невозможен.

Русский интеллигент в то время мог еще возлагать большие надежды на общее демократическое народное движение. Герцен, разочаровавшись в западной революции, помнит: «у меня в России есть свой народ!» Именно это убеждало его от отчаяния, от того отчаяния, которое привело Флобера в «башню из слоновой кости». Именно это убеждало его и других больших русских писателей от социального индифферентизма — от того равнодушия, которое, распространяясь во второй половине XIX в. среди европейской интеллигенции, оказало столь гнетущее влияние на развитие западного искусства.

Известно, что Тургенев долгие годы находился в тесном дружеском и творческом общении с крупнейшими французскими писателями его времени. Круг Флобера — Гонкуров считал его своим. Но как существенно отличался Тургенев от своих французских собратьев и по характеру творчества, и по своим взглядам на задачи художника.

Братья Гонкур первыми в западной литературе попытались в романе «Жермиен Ласерте» — героиней которого является прислуга — дать образ человека из народных низов не романтическими, а вполне реалистическими средствами, без той театральщины, которая была присуща Жюль Заню, Гюго, отчасти даже Диккенсу. Но они сами откровенно говорили о том, что выбрали демократический образ с чисто эстетической целью — ради его новизны. Социальная сторона темы их не ин-

тересовала, как не интересовала она и Флобера, когда он писал свой рассказ «Простая душа». Тот живой, напряженный интерес к судьбе и страданиям народа, который был присущ Тургеневу — от первых рассказов «Записок охотника» до стихотворения в прозе «Порог» — его французским друзьям был непонятен и недоступен.

Характеризуя пути развития русского и западного реализма во второй половине XIX в., зарубежные критики часто сравнивают русских писателей с Флобером, ибо в творчестве Флобера впервые ярко проявились тенденции, во многом определившие последующее развитие новейшего западного искусства.

Французский романист и критик Поль Бурже в статье о Тургеневе, говоря о грустных концовках романов Тургенева, добавляет: «Но вот чем отличается пессимизм Тургенева от пессимизма первого из наших современных романистов великого и мрачного Гюстава Флобера. Ощущение бесполезности человеческих усилий никогда не выливается у него в человеконенавистничество. Его пессимизм иногда становится очень острым, но никогда он не приводит к мизантропии».

Мельхор де Вогюэ в книге «Русский роман» сопоставляет горолевского Акакии Акакиевича с типами обывателей, созданными Флобером. «Тут же обрисовывается радикальное расхождение, образующее пропасть между идеалом русским и реализмом французским. У нас карикатурист ополчается на своего человека, издевается над ним, позорит его, обвиняет на него всю свою ненависть к глупости человеческой. Напротив, Гоголь подшучивает над своим человеком, но с оттенком жалости... Для первого из них нищий духом — это ненавистное чудовище; для второго это — несчастный брат».

Немецкий литературовед Мейер-Графе в монографии о Достоевском сравнивает Флобера и Достоевского с биноклями, отдаляющим и приближающим, противопоставляя флюберовской холодности эмоциональность русского художника. «Если бы,— говорит он о Флобере,— к этому саморазручителю обратились с призывом выполнить свой долг че-

ред народом, он считал бы это за варварство и не снизошел бы до ответа... Сильнее всего звучит речь Достоевского именно там, где Флобер чувствует себя обреченным на молчание».

Все эти конкретные наблюдения имеют принципиальный смысл. В годы, когда среди западной интеллигенции распространялись настроения пигилизма, мизантропии, равнодушия к жизни и к людям, когда в литературе Запада возникали упадочные художественные течения, русская литература не только сохраняла свою содержательность и народность, но и победоносно шла вперед — к новым высотам реалистического искусства.

Ко второй половине XIX в. русская литература становится передовой литературой мира, завоевывает прочное международное признание, начинает оказывать мощное влияние на развитие литературы Запада.

Быстрое развитие капитализма в пореформенной России способствовало обогащению содержания русской литературы, сделало ее вполне современной по своей проблематике. Если в «Мертвых душах» или «Евгении Онегине» зарубежный читатель имел дело с далекой от него, отчужденной непонятной ему действительностью, — то в «Преступлении и наказании» или в «Анне Карениной» он встречался с жизненными явлениями и проблемами, которые глубоко волновали его самого, и которые, вдобавок, в романах русских классиков были воплощены с несравненно большей реалистической силой, с несравненно большей глубиной, чем в книгах западных современников Толстого и Достоевского.

Упадочные идейно художественные течения, распространявшиеся на Западе в конце XIX в., мало отразились на развитии русской литературы, не затронули ее основы.

Снижение уровня западной литературы в новейшее время нисколько не привело к отходу от ее главных направлений. Декаданс в его различных разновидностях открыто отрицал реализм, ставил на место отражения реальной жизни фантастику, мистику, сводящуюся к эстетизму, формализму, декадентскому декоративизму. Это были поиски вымыс-

ленной красоты — за счет отказа от правды. С другой стороны, натурализм в его различных разновидностях опоплял реализм, сводил его к пассивному — без отбора — отображению реальной жизни, ее уродств, ее болезней. Это были поиски правдивости искусства, понимаемой эмпирически, пассивно — правдивости за счет отказа от красоты.

Русская литература успешно противоборствовала этим процессам упадка.

Эстетско-формалистические течения были, конечно, и в русской литературе, но занимали в ней лишь периферийное место. Большой русской литературе они были и остались органически чужды: красота для нее никогда не была самоцелью. Начиная от Пушкина, стремившегося «чувства добрые линой пробуждать», через Белинского, учившего, что «эстетическое чувство есть основа добра», через Толстого и Чернышевского до Горького, столь требовательного к морально-общественному облику художника, — русская литература настойчиво утверждает неразрывность связи эстетики с этикой, придает огромное значение активной воспитывающей функции искусства. Эстетика европейского декаданса, основанная на аморализме, возводившая в постоянный закон искусства отчужденность его от народа, его аристократическую замкнутость, — не могла привиться прочно в русской литературе. В 90-е и 900-е годы, одновременно с книгами русских символистов, вышедшими произведения Толстого, Чехова, Горького, Короленко, Вересаева, Купчина, Серафимовича. Традиция высокого реализма не прерывалась, а нарастала в русской литературе, как не прерывалась, а нарастала традиция революционной борьбы в русской общественной жизни.

Несколько сложнее обстоит дело с влиянием натурализма на русских писателей. Иные западные историки литературы приписывают к натуралистам Тургенева, Толстого, Достоевского, Горького. Но такой взгляд основан на недоразумении.

Зоя сводил отличие нового реализма (то-есть натурализма) к следующим основным признакам: 1) обыденность фабулы, отсутствие

интриги, максимальная близость повествования к ходу повседневной жизни, 2) обыденность героя. 3) объективизм повествования, отсутствие авторского вмешательства в оценку.

Эти требования отчасти осуществлены во многих произведениях русских классиков, но в своеобразном преломлении. Черты «нового реализма» проявились в русской литературе едва ли не ранее, чем в литературе западной. Предельная естественность, простота повествования, близость его к повседневной жизни — все это в высокой степени свойственно русскому реализму (английский критик Баринг так и определяет его «безыскусственный реализм»).

Западный натурализм принес с собой повышенное внимание к темным, страшным сторонам жизни: он впервые заглянул на «дно» капиталистического города, впервые откровенно заговорил о самых отталкивающих уродствах буржуазного быта. И это для русской литературы не было новинкой. В западной литературе мало страниц, которые по мрачной своей правдивости могут сравниться с «Записками из мертвого дома» или «Нравами Растеряевой улицы».

Все то, что в развитии европейского повествовательного искусства после Бальзака можно рассматривать как положительные черты — обогащение изобразительных и выразительных средств, демократизация тематики, смелость в изображении отрицательных социальных явлений — все это вполне соответствовало духу русского реализма и появилось в нем (как легко доказать, путем хронологических сопоставлений) независимо от зарубежных влияний.

На Западе все эти достижения несли в себе большую опасность, ибо шли за счет плетности, содержательности повествования. У нас они были связаны с поступательным развитием реализма.

В западном романе приближение его к будничным типам и ситуациям влекло за собой снижение духовного уровня героя, исчезновение драматизма повествования: буржуазное общество, клонясь к своему упадку,

давало все меньше простора развитию личности, — и яркие события яркие люди исчезали из литературы. Русская литература, насыщенная электричеством народной борьбы, находила в повседневной жизни неисчерпаемые источники драматизма, находила в обычных русских людях — от тургеневских барышень до горьковских босяков — большое духовное богатство. В западном натурализме действие вытеснялось описанием человек-вещью, характеры — обстоятельствами. В русском реализме человек, его переживания, его борьба неизменно оставались в центре внимания. В западном натурализме тяготение к объективистскому «невмешательству» в повествовании часто создавало оттенок безразличия — не только к изображаемому, но и вообще к человеку, к жизни. Русский реализм от прозы Пушкина до «Золотых и мифов», от Тургенева до Короленко, от Островского до Чехова умел без ложного пафоса, без навязываемой читателю дидактики силой своего образа выразить свое отношение к изображаемому, выказать свою скорбь, свой гнев, свои надежды.

Приципиальное отличие русского реализма от натурализма неоднократно отмечалось и зарубежной критикой. Например, польский историк литературы Брюкнер пишет: «Русский реализм всегда одухотворен, никогда не сводится к простому фотографированию или регистрованию...»

Проникновение западных натуралистов — за очень немногими исключениями — носило на себе печать пессимизма, бесперспективности. Русская литература всегда отличалась перспективностью, устремленностью в будущее, — и это наложило существенный отпечаток на самые мрачные, самые отталкивающие картины социальной действительности, создаваемые русскими писателями. Классики русской литературы умели видеть «лучи света в темном царстве», проблески будущего в настоящем. Их демократизм, их вера в народ давали им тысячи возможностей находить источники красоты, поэзии в повседневной жизни, в самых простых рядовых людях. Эта поэзия есть и в Соне Мармеладовой.

и в Акиме из «Власти тьмы», и в чеховском Ваньке Жукове.

Разрыв поэзии и жизни, красоты и правды — вот чем характеризовался кризис западного искусства на рубеже XIX—XX в. Русская литература указывала на выход из этого кризиса. Она давала читателю с нити без красоты и правды. Этот синтез, которым когда-то восхищался Мери-ме в Пушкине, много лет спустя нашёл А. Франс в Толстом. «Толстой, — сказал он, — это великий урок. Своим творчеством он учит нас, что красота возникает из правды живого и вполне совершенного, подобно Афродите, выходящей из глубин морских».

Сопоставление Толстого, Достоевского, Чехова с современными им западными писателями помогает осознать глубоко национальную сущность социалистического реализма Горького. И горьковская суровая правдивость в обличении «свинцовых мерзостей» собственнического уклада жизни, и горьковское вдохновение, радостное прозрение неисчерпаемых творческих возможностей, таящихся в человеке, в народе, все это, хотя бы в виде отдельных элементов, присутствовало и в классическом русском реализме, все это составляет неотъемлемую часть своеобразия русской литературы. Советские писатели, создающие искусство социалистического реализма, тем самым

развивают лучшие национальные литературные традиции.

Русская литература на протяжении XIX в. выросла во влиятельную общественную силу, формировала сознание ведущих деятелей русской истории, явилась одним из идеологических факторов подготовки русской революции.

Именно поэтому она в новейшее время оказалась в состоянии разрешить ряд сложнейших идейно-художественных задач, которые были не под силу литературам Запада. Понятно, почему она (несмотря на столь частые на Западе ложные ее истолкования) оказывала мощное притягательное действие на всех талантливых и передовых зарубежных художников, так или иначе связанных с освободительными народными устремлениями. Поистине, почему творческий облик Романа Роллана был бы иным без Толстого и Горького; Бернарда Шоу — без Толстого и Чехова; Стефана Цвейга — без Достоевского, Толстого, Горького; Томаса Манна — без Достоевского и Толстого; Голсуорси — без Тургенева и Толстого; Иоганнеса Бехера — без Толстого, Горького и Маяковского. Изучение связей новейшей литературы Запада с литературой русской многократно подтверждает правильность слов, с глубокой искренностью сказанных Ромэном Ролланом: «Русская мысль — авангард мысли мировой».

А. Лаврещий

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Статья первая

Социализм и патриотизм

1

Война нашего народа против самого жестокого из его врагов является отечественной войной. В этом смысле в ней много общего с защитой нашей родины в прошлом. Недаром мысль наша обращается к славным и священным традициям прошлого. Образы Александра Невского, Дмитрия Донского, Минина и Пожарского,

Петра I, Суворова, Кутузова зажили новой жизнью, как бы проснулись в народной душе, чтобы помочь ей и примерами и напоминанием о долге перед нею же самой, укрепить ее уверенность в своем бессмертии. И когда мы слышим и читаем о подвиге эпических подвигах русского человека в боях за родину, — подвигах, о которых будут слагаться песни и легенды, — мы узнаем русского

война — от дружинника до солдата, — вышедшего на своих могучих трудовых плечах историю России, историю шестой части света.

Но война, которую мы ведем сейчас, протекает в условиях особых, позитивных небывалых. Отчужденная по своему характеру, она имеет новый лик. Враг и трудности, созданные им, до того необычайны, что одоление их стало возможным лишь в силу новых качеств человека и народа — качеств, созданных социалистическим строем. Не немец только пошел на Русь, а немец-фашист, немец-гитлеровец, максимально методичный в подлости и гнусности, которые трудно назвать человеческими, до того степень их превосходит любое воображение. Враг этот, признавший бестияльность высшей нормой поведения, с неслыханным цинизмом отрешившись от всего человеческого как свойства «неполноценных» людей, оказался вооруженным всеми материальными силами порабожденной Европы. Этот натиск бронированного варварства, механизированного регресса, поставил вопрос о судьбе всей исторической работы всего человечества. Но решается этот общечеловеческий вопрос и акциями в борьбе их за свою родину, в зависимости от их истории, их характера, их социального уклада. В борьбе страны социализма с гитлеровским людоедством эти две стороны вопроса — всемирно-историческое значение борьбы с фашизмом и защита каждым ее участником своей родины — выступают особенно выпукло. Добиваясь полного разгрома немецких захватчиков, мы ратуем, говоря словами товарища Сталина, «за освобождение всех угнетенных народов, стонущих под игом гитлеровской тираннии».

Сила национального самосознания, фактор патриотизма, имеет здесь громадное значение не только для отдельно взятой страны, но и для общей победы.

Наш народ изумил спасаемый им мир превосходшей все исторические примеры любовью к родине. Чем же объясняется ее исключительная сила? Тем, что это патриотизм социалистический.

Новый тип война, социалистического человека на войне не нашел еще полного своего воплощения. Еще не создан эпос нашей войны

с отчетливыми человеческими характеристиками, типизирующими действительность, характерами, которые сохраняют для грядущего не отдельных людей, а именно человека эпохи в его социальном, и вместе с тем национальном, аспекте. Зато традиционный, но живой тип скромного русского героя, солдата и офицера, в котором мы узнаем наших старых знакомых по классическим образам литературы, снова восстает перед нами в своих потомках, других поколениях одной и той же семьи. Так, в фигуре Василия Теркина, несомненно, все же больше черт, созданных в нашей войне прошлым, нежели рожденных современностью. В этом образе большая правда, составляющая его обаяние, но не вся правда. Старый герой продолжает жить — и крепко, полно, характерно жить — в своих потомках, но они все же новые люди, с какими-то еще иными качествами. Последние труднее разглядеть и отобразить, чем старые. Ни Пушкин, ни Толстой, ни Некрасов здесь не помогут. И это понятно. Идея родины — чувство национальности — одна из самых сокровенных человеческих идей-эмоций. Социализм же как элемент конкретной человеческой психологии — явление новое. Для изображения этого нового писателю необходима способность схватывать историю на лету, в процессе образования.

Тем не менее новый социалистический этап в развитии национального типа не может в какой-то степени не отражаться в художественной литературе уже потому, что сам художник — человек ленинско-сталинской эпохи, дышащий атмосферой социализма. Если новые особенности патриотизма, новые стимулы для него не находят пока художественно обобщенного выражения в эпическом образе, то они мелькают перед нами в лирической реакции автора на впечатление от людей отечественной войны.

2

Перед нами одно из наиболее вдумчивых, человеческих по чувству и благородных по стилю произведений наших дней — «Народ бессмертен» В. Гроссмана.

Когда читаешь волнующие лирические страницы Гроссмана о комис-

дере Богарева и бойце Игнатъеве. Невольно истолковываешь их смысл так: в атмосфере социализма нет ничего более естественного, чем патриотизм. У нас нет того, что влечет к патриотизму в досоциалистическом мире; потому нет и предела для роста этого чувства. В социалистическом обществе шире стала личность, обогатилась новыми, ранее коллективными эмоциями, и в минуту смертельной опасности, угрожающей родине, любовь к ней оказалась здесь еще сильнее, чем могла быть когда-либо раньше. Человек с новым небывалым опытом жизни в стране, где все его касается и во всем он участвует, на войне — в этом величайшем коллективном деле — вырастает еще выше. В расширенной личности, живущей общим как своим личным, не может не обостриться ощущение родины, того великого организма, с которым человек связан миллионами переплетающихся нитей.

Боец Игнатъев говорит Богареву: «Я словно другим человеком на войне стал. Идешь — каждую речку, каждый лесок до того жалко, сердце заходится. А жизнь не легкая у народа была, да ведь тяжесть своя — наша. Земля наша, производство наша, жизнь наша, — тяжелая жизнь, а наша. Как же это отдавать? Я теперь часто задумываться стал. На войну шел — эх, думаю, все ничем. А теперь во мне сердце горит. Иду сегодня, а на поляно деревцо шумит, беспокоится, — так меня пронесло, как перекосило всего. Неужели, думаю, оно, махотское, к немцу отойдет? Нет, говорю ребятам, не будет этого. Мой друг один, Родимцев, говорит: горько ли, тошно, стоять надо, за свою землю воюем. Мало что бывало — и жрать нечего, а моя она, жизнь!»

Идея, которую хотел выразить автор словами Игнатъева, значительна и верна. Раньше патристическое чувство должно было прикладывать себе путь через тысячу препятствий. Надо было опутить своим, чужим то, что было господским, хозяйским, что отчуждалось от народа эксплуататорским строем. И душа народа пролагала, — верно, пробивала — себе путь к познанию и ощущению идеи родины, всей громадности этой идеи, несизмеримой не только с каждо-

дневным опытом, но и опытом целых человеческих жизней. В этом сказалось величие народной души. Без которого не было бы ни Медового побоища, ни Куликовской битвы, ни изгнания татарцев в 1612 году, ни разгрома великой армии Наполеона, ни Севастопольской обороны, ни многих других славных страниц родной истории. Но как же должно вырасти великое чувство патриотизма, какие новые качества приобрести, когда ничто не только не мешает ему, а все его поддерживает и вызывает?

Никто не может быть таким патриотом, как человек революционной эпохи. Это выразил уже Маяковский. Тому, кто отговесил родину у врагов, для кого она рождалась как бы заново в борьбе, кто создал ее творческим трудом, — тому она особенно дорога. Это придает советскому патриотизму особую силу, которую чувствуют на своих головах и спинах фашистские захватчики.

«Этот народ отовесывал свою землю. Богарев слышал топот сапог, это была поступь перешедшей в атаку России. Она бежала быстрее и быстрее, а «ура» все росло, все крепло, поднималось все выше, разливалось все шире».

К произведениям, не столько адекватно воспроизводящим действительность, сколько лирически откликающимся на нее, принадлежит и рассказ А. Платонова «Одушевленные люди». В предвоенные годы лучшие рассказы А. Платонова импонировали трепетным, подчас проникновенным ощущением рождения новых человеческих чувств, недоступных буржуазно-мещанскому миру. Романтика человеческих чувств, в которую уносился писатель под влиянием лирического переживания, часто волновала, а иногда и расхолаживала, когда при всей своей субъективной искренности казалась надуманной. Рассказы А. Платонова о войне тоже своего рода баллады о советском человеке, о его «одушевленности» как преобладающей отличительной черте, отделяющей его от тех, у кого фашистская автоматизация убила живую душу. Человек у Платонова дан с одной только стороны, интересующей художника, — правда, не схематически, а лирически, но не в том «многообразии определений», которое создает реалистический худо-

жественный образ. Лирическая односторонность романтики Платонова тяготеет к фантастике порой в ущерб реализму. Но именно потому, что это лирика, интересующий нас момент здесь дан явственнее, чем в эпических произведениях, которым он, по причинам трудности объективного изображения еще не установившихся человеческих черт, менее доступен.

В «Одушевленных людях» больше конкретности и меньше односторонности романтического изображения, чем в других рассказах Платонова. Но и здесь та же тема, что у Просмана, развитая специфическими средствами платоновского таланта: и «Одушевленным людям» свойственна известная архаизация стиля, торжественность интонации, намеренная или производящая впечатление нарочитости стилизация под народный язык, соединяющаяся с некоторой угловатостью, склонностью придавать символическое значение самым обычным положениям и деталям.

Но и сквозь эту символически затрудненную платоновскую лирику отражается в «одушевленных людях», этих социалистических людях, реальное изменение человеческого сознания: нет больше отчуждения родины от человека, отчуждения, которое хотя и преодолевалось раньше в годы страшной опасности величием души народной, но не могло все же не сказываться на полноте и свободе патриотического чувства. Советский строй жизни, непрерывно и неуклонно возвышающий трудящегося, его роль и значение в нашей стране, утвердил идею родины в сознании миллионов, устранил средостение между народом и его отечеством, средостение, которое составляли и воздыгали господствующие классы. Вот почему при социализме с его интернационализмом нет места равнодушию к своей стране и народу космополитизму, характерному и для оторвавшихся в своей родине и для оторвавшихся от своего народа. Космополитизм — не любовь, а безразличие к человечеству. В условиях нашей эпохи мировой жизни он граничил бы с предательством. Интернационализм — чувство полнотенности каждого народа, признание правомерности его самосознания, предполагающее полнотенность своего народа и собственное национальное самосознание. Кос-

мополитизм чужд и даже враждебен социалистическому интернационализму. Космополитическому равнодушию к родине гражданин социалистической страны противопоставляет свою страстную любовь к ней. В создании такого убеждения громадная, неосценимая роль принадлежит социалистическому государству. Противоречие между государственным патриотизмом и любовью к своему народу, противоречие, которое так сильно чувствуется среди передовой интеллигенции классового общества, в обществе социалистическом не может иметь места.

Для платоновского героя — политрука, — как говорит один из этих «одушевленных» социалистическим патриотизмом людей, — «родной были все мы».

Патриотическое чувство, по мере того как общество становится бесклассовым, приобретает теплоту конкретности, прозрачную ясность. Отношение к общему, требующее в классовом обществе определенной культуры мысли, становится столь же общепонятным и непосредственным, как личные отношения и связи людей. Прежнее «мы калужские» становится невозможным. Советский патриотизм — отношение советских людей, товарищей, друг к другу, помноженное на бесконечность.

«Комиссар говорил, что мы для него — все, что мы для него родина. И он тоже родина для нас».

Так чувствуют они родину в каждом, а каждый — во всех. Так ощущают ее, независимо от национальной принадлежности товарищей и сограждан, подлинно «одушевленные», социалистические люди.

Фильченко погубил на товарищей. Они раскинулись в последнюю очередь перед пробуждением. У всех их были открытые лица, и Фильченко взгляделся отдельно в каждое лицо, потому что эти люди были для него на войне всем, что необходимо для человека, и чего он лишен: они заменяли ему отца и мать, сестер и братьев, подругу сердца, и любимую книгу, они были для него всем советским народом в маленьком виде, они поглощали всю его душевную силу, ищущую привязанности.

Это не просто товарищество по несчастью людей одной роты, взвода или окопа. В этом не было бы ничего нового. Вспомним книги Ремарка и

Барбюс. Ново то, что в этом товариществе, как солнце в капле, просвечивает большое, что оно приводит к чувству неизмеримо более широкого единения, вызывает его: «Они были для него всем советским народом в маленьком ядре». В малом — большое. Они неотделимы, они качественно одно и то же, ибо родина повсюду, как воздух, которым дышат, — от нее не уйти, да никто и не ушел бы, если бы и мог.

Подобное представление о родине — один из характернейших признаков социалистического сознания с его расширенным и углубленным патриотизмом. Кто чужд любви и преданности своей стране, через которую приближается ко всему человечеству и всему человечному, тот далек от социалистического сознания и отношения к миру. Ибо что же такое интернациональная симпатия социалистического человека, как не ощущение других стран и народов достойным патриотизмом, сочувствие их патриотизму? Патриотизм советских людей должен быть особенно силен, как и все коллективные чувства; если последние настолько крепки, что приобрели стойкость инстинкта, то внутри, хотя бы и обширнейшего, но наиболее душевно дорогого коллектива — своего отечества — печалуют грани между ощущением себя и «другого», «близкого» и «далекого», личного и общего. На войне подвижность этих границ должна еще больше увеличиться.

В этом смысле характерен тот факт, что армия — воплощение государственности с ее суровой, сверхличной силой — становится чем-то аналогичным родному дому, в котором все — от генерала до солдата, к какой бы из многочисленных национальностей общего отечества ни принадлежали, — члены одной семьи.

Чувство единой семьи связывает армию, — свидетельствуют один из самых вдумчивых наблюдателей ее жизни: «Видели ли вы, с каким уважением слушают украинцы и волжские заунывную песню, которую заводят заснувший вечером боец-узбек? Тише. Рассулов поет, — скажет чей-нибудь сердитый голос, и все молча глядят на полузакрытые глаза и смуглое, печальное лицо певца» (В. Гроссман, «На южном фронте»).

Вернувшись после контузии в свою часть, танкист Богачев «почувство-

вал, как волна тепла разлилась в его груди, — такое чувство испытал он в детстве, вернувшись после scarлатины из больницы домой». Его ранят во второй раз: «В уме его стояло одно слово: пропал». Но слово это имеет здесь не тот смысл, как обычно в таких случаях. «На этот раз ему это казалось совершенно ясным: он уже не вернется в батальон. И несколько раз он говорил: «Потомте, чего вы так быстро идете...» Ему не было больно... Ему было страшно навсегда расстаться с товарищами и хотелось, чтобы этот печальный совместный путь продолжался подольше».

Когда при вторичном возвращении он не сразу нашел товарищей, то «дожил страшное чувство человека, пришедшего в свой дом и вдруг увидевшего, что чужой открыл ему дверь и равнодушно спросил: «Вам кого нужно?»

В литературе прошлого мы также можем найти аналогичные мотивы, но они имеют иной социально-психологический смысл. Меньше всего там имеется в виду рядовой боец. Но даже и в этом случае подобные чувства не вытекают, как у нас, из самого существа общественного строя, а скорее возникают вопреки ему, вследствие других причин.

Один из бойцов в цитированном нами рассказе Платонова полон счастья любви к далекой невесте: «Им владело постоянно одно кроткое чувство, которое невозможно было сравнить чем-либо другим, или разделить, или хотя бы на время отвлечься от него». Но именно потому, что этого сделать Красносельский не мог, и «воевал он с яростью и равным упорством, видимо, потому, что хотел своим воинским подвигом приблизить время победы, чтобы начать затем совершение другие подвиги — любви и мирной жизни».

Чувство родины и самые простые, самые интимные человеческие чувства — переплетаются друг с другом, приобретая особую остроту и силу. Лучшие русские люди знали это интимное чувство родины и раньше. Лучшим русским поэты, начиная Пушкиным и кончая Блоком, выражали его. Теперь оно становится общим достоянием. Защищая людей своей страны, наш боец оберегает и то что неотделимо от его детей, жены, стариков. От родины неотделимы

Его близкие, их жизнь, она в них
она — это они, а близкие не мысли-
мы без этой великой любимой маге-
ри — России, которая их хранит, за
них бьется, обливаясь кровью...

3

Своеобразное качественное содер-
жание социалистического патриотиз-
ма отражено также лирически в
поэме М. Алигер «Зоя». Здесь выра-
зилась такая любовь к родине, кото-
рой не нужна никакая идеализация,
никакое преуменьшение трудностей
строющегося нового мира, чтобы
остро ощутить его красоту:

И встал перед ней переносимый
мир,
Туманен и солнечен, горек и
сладок.

Каковы бы трудности ни были, у
мира нового, социалистического,
всегда будет преимущество перед
старым: оно уже в том, что он по-
истине молод, что он строится. В
росте не только специфические труд-
ности, но и с чем не сравнимая
поэзия.

В юности Зои отразилась цветущая
красота целого мира, его порыв
в творимое им грядущее, безгранич-
ность его перспектив:

Пусть мечта земной тропичкой
звизжет
У чиненых тупелек твоих,
Все, за что товарищи боролись,
Все, что увидеть Ильич хотел...
Чтоб уже не только через полюс,
Вкруг планеты Чкалов пролетел.
Чтобы меньше уставала мама
За проверкой письменных работ.
Чтоб у гор Сиерра-Гвадарамы
Победил неистовый народ.
Чтоб вокруг сливались воедино
Вести из газет, мечты и сны.
И чтобы папанинская льдина
Доплыла отважно до весны.

Ничто так не окрыляет, как пер-
спективность возможностей, а наша
родина, как много она ни дала уже,
еще больше обещает своим верным
сынам и дочерям, награждая счастье
преодоления и победы:

Кем ты хочешь быть?
И сердце взмоет

Прямо в небо.
Непочатый край —
Все на свете.
Мир тебе откроет
Все свои секреты, —
Выбирай!

И со всей своей силой наш геро-
ический комсомол восстал на тех,
кто посягнул на его свободу выбора
жизненных путей, кто посягнул на
манившие дали, кто пытается пре-
двигать будущее, не только у него
и у всего мира.

Лиризм нашей литературы вы-
зван тем чувства небывалой еще
силы пор любви к родине и к свя-
той, которые являются следствием
целого ряда преимуществ советского
строения.

Перед литературой нашей встала
задача показать, как особенности и
преимущества нашего социалистиче-
ского общества, запечатлеть в
(Сталинской Конституции), стали для
нашим людям и специфическим
человека именно советской жизни
даже советского быта. Свобода
советского человека от мистических
сил социально-экономического
развития, политическое равенство
ставшее реальным, а не формальным,
ощущается каждым в формах, свя-
занных с его личной жизнью, с
трудовой деятельностью. В каждой
жизни имеется своя нить, связанная
с великими целями, со
необъятным социалистическим
чувством. Для крестьянина — это
колхоз, для рабочего — его
завод, где труд стал искусством, где
творчеством. Отдельные ручейки
такого общего чувства нашего патри-
отизма, который у каждого имеет свою
определенную окраску, свой специ-
фический характер. Мы ждем от
наших художников, чтобы в их произ-
ведениях было раскрыто все богатство
связей советского человека с
его страной. В последнее время
являются произведения, которые
действуют о том, что литература
наша приступила уже к решению
этой задачи. Такова, например, книга
В. Горбатова «Непокоренные».

Героя повести — Тараса — связы-
вает с родиной прежде всего труд
— искусство, труд — творчество.
Он любит свою социалистическую
родину как патриот и как рабо-
чий человек. Любит ее и потому, что
был на ней строителем, создавал

обнаговав своими «золотыми», уминая руками:

— «Мои руки строились, мои руки рождались, мои руки и умирают».

Тарас любит в свои свое прошлое и свое будущее, мастера.

Действительный участник в создании справедливости, Тарас справедливо чувствует себя хозяином всех вещей, выставленных на продажу. Он умеет мерить. Базар был богат, но богат был и Тарас — мастер.

Лишь в Стране Советов мастер своего дела занял подобающее ему положение. Оно стало для него за годы советского строя столь естественным, так слесилось с его жизнью, что от него он никогда не откажется. Горбатов правильно отметил «непокорство» мастеров.

«Их знали все. Академики с ними советовались. Директора их побаивались. Новый директор представлялся сперва им, потом обком. Их можно было убедить, реже — уговорить, приказывать им было нельзя.

Они жили, крепко опираясь на плечи... постарели, лодались мастера... Но каждый держал голову высоко и прямо. Видно, из последних сил, из непокорства, которое самой силой крепче, старались они идти гордо и достойно... Словно и впрямь был для них этот козырь почетом.

Нет, это не плетенье, — позволяло подумалось Андрею — Эго... это — «непокоренные».

Связанный с родиной прежде всего трудом для нее, Тарас всем существом восстает против труда на немцев.

В этом отношении характерен его гневный выказ незадачливому сыну — Андрею.

Советский до корня человек, Тарас, однако, лишь в неспытанных и муках войны становится вполне социалистическим человеком, созревает в большевика.

Вначале он пытается отгородиться от напугавшей мерзости фашизма замками, засовами и другими слесарными изделиями. На это он такой покусник! В его «нас это не касается» слышится еще нечто похожее на пассивное сопротивление, «отказ от сотрудничества» со злом.

«Каждый по своей совести живет», — говорит он Степану. — Я про свою душу знаю, а до чужой мне дела нет.

— Вот оно и выходит, — отвечает ему сын-большевик, — приятная вещь — все мы в одиночку чистые...

Но скоро Тарас приходит к убеждению, запечатлеваемому кровью, что «быть в одиночку чистым» если и возможно, то бессмысленно:

— Нет, ты честность свою на стол клади, в борьбу кидай!

Связь с родиной через свое жизненное дело дана и в образе Степана.

Здесь она так же определяется как строительство, но более широкое. В этом смысле тема Степана — развитие темы Тараса. Если Тарас-мастер властвует над вещами трудом своих рук, то Степан — мастер руководства людьми. Трудовой человек становится народным вождем, облачается властью, которая не составляет для него его личной собственности, а остается навсегда народным полномочием.

«Еще вчера ходил он, Степан Яценко, по земле плотно, уверенно; властно; — сегодня должен красться тайком. По своей земле!

..Он знал ее всю, на сотни верст вокруг. Он ставил на ней города, прорубал новые пахты, он планировал, где и что рожать полям, и стоял над ними нежный, как муж, и заботливый, как строитель. И за это облекла его она властью над собой и над людьми, живущими на ней, и нарекла хозяином.

Он был беспокойным и строгим хозяином...

Игната связывает с родиной его колхозная земля. «Моей хозяйской душе», — заявляет он решительно, — без колхоза теперь жизни нема». А потому «поскольку нет на земле другой власти, согласной на колхозы, кроме советской», — так и для меня другой власти нет». И он по-своему воюет против немцев — за колхозы, советскую власть, за советскую родину.

В чистом пламени социалистического патриотизма перегорает всякого рода эгоизм: личный, семейный, местный, эгоизм «своей колхозницы», своей деревни. Вместе с ним перегорает и самый упорный эгоизм, шеголюющий патристической маской, — эгоизм националь-

ный. Мы уже отметили, что это ни в коем случае не означает космополитизма. Но идеология национальной исключительности или ограниченности никак не может быть отождествлена с патриотизмом, с мудро-человечной любовью к своей стране и народу.

Наше великое многонациональное государство уже по самому своему принципу есть воплощение патриотического интернационализма. Таково оно в своей идее, которая является мощной тенденцией самой жизни, преодолевающей вредные пережитки национальной исключительности и заносчивости. Мы знаем, что гитлеризм со всей свойственной ему грубостью, вмещающей все оттенки человеконенавистничества от маниакального изуверства до мелкого жульничества, пытался и пытался использовать эти пережитки; знаем также, что и эта ставка — один из тех его просчетов, о которых говорил товарищ Сталин.

Наша литература выполняет свою оборонную задачу, когда, опираясь на тенденции советской действительности, развертывает тему социалистического патриотизма в направлении братства народов нашей великой родины, не имеющей себе равных в этом отношении во всем мире. Это братство советских народов — источник подлинной национальной гордости каждого из них, и в особенности русского народа. Советские писатели начали разработку этой важнейшей темы, этого чувства, составляющего красоту и гордость советского человека, советского патриота.

Ванда Василевская в «Братстве народов» рассказала о танке, носившем это имя, — танке, экипаж которого составляют русский, украинец и еврей. В этих боевых друзьях замечательно то, что различие национальностей не только не отчуждает их, но делает их по-особому дорогими друг другу, придавая своеобразный колорит, своеобразную ценность их содружеству. Они дополняют друг друга, образуя нерасторжимый союз преданных своему общему отечеству на жизнь и на смерть людей. Эта дружба — опора в невероятно тяжелых испытаниях их боевой страды.

Еврейский поэт-фронтовик Э. Финнбергер в стихах «Мой отчет» со-

дал песнь о дружбе народов, окрепленной и проверенной кровью, пролитой за общее отечество. Социалистический строй изменяет психологию целых народов в их отношении друг к другу, утверждая вместе с тем их самосознание. Трепетно-чуткая любовь к советской земле и к ее ведущему народу сочетается с живым чувством своей национальности. Оставаясь евреем, он любит русскую землю; это и его земля; в ней он вырос, с ее природой дышал и дышит одной жизнью. Он не мыслит себя в другой стране, как не мыслит себя и без русского народа, с которым прожил свою жизнь, и встречал врага, встречал смерть на поле брани. Культура русского народа, не менее дорогая ему, чем своя, вдохновляющая его собственное глубоко национальное творчество.

Советская литература не может не отразить это взаимоприближение, это братское гостеприимство культур.

В повести А. Бека «На сговоре на первом рубеже» казах Аманжол Момыш-Улы — командир отряда из панфиловских батальонов. Он человек с ясно выраженным и сильным самосознанием.

«— Я был и останусь русофил, — сказал он. — Среди нашего народа попадают люди, стесняющиеся того, что они казахи. Когда я учился в школу вместе с русскими, многие ребята-казахи стали считать незначительным именем на русском языке. Меня стали звать Борисом Баранбаев. Я говорю: «Я не Борис, — Баурджан и останусь Баурджан». Мальчишки опять: «Боря!» Я кричу: «Боря! Вот тебе Боря! Баурджан — так и ступню».

Когда Момыш-Улы вырос, он привнес русскую культуру настолько, что «свободно владел богатством нашей речи», он не ушел от своего народа. Он предан ему, как верный сын, но именно поэтому он не знает национальной исключительности и не шадит своего соплеменника казаха, когда тот нарушает высший закон — равенства не только прав, но и обязанностей перед общим для всех народов Союза отечеством. Когда Баранбаев, которого Баурджан любит за ловкость и смывленность, доказывающую даровитость казахов, изменяет своему воинскому долгу

Момыш-Улы приказывает расстрелять его перед выстроившим батальоном.

Нелегко дается это Момыш-Улы, но поступить иначе он не мог. Это означало бы изменить не только полку командиром, но и своему народу, поступиться своей национальной гордостью, которая выражается здесь в требовании равной доли усилий, опасностей, неизбежных жертв...

Литература наша, как мы видели, уже оставляет большую тому социалистического патриотизма, а какие перспективы уже раскрываются перед ней, как только приподымает она эту завесу! Отражая природу нашего государства, справившегося с вопросом, труднейшим для классового общества, — вопросом национальным, она покажет миру еще неизвестный образ человека, который вмещает в себя и преданность своей национальности и преданность более широкой идее общего многонационального отечества; гордится и своим народом и своей дружбой, своим братством с другими народами, членом семьи которых он является.

5

Великая отечественная война наша против фашистских извергов исключительно не только по громадным материальным силам, но многомиллионности столкнувшихся человеческих масс. Она вышла за пределы столкновения более или менее ограниченных интересов воюющих государств. Рождения фашистско-германского империализма столь непомерны, что мир жаждал захватить в свои сети столько

жизней, столько стран и народов, такую прямую угрозу несет он самому существованию русской, украинской, французской и многих, многих других наций, что единство отечественно-свободолюбивых народов стало фронтом борьбы человечества, заплата национальностей и заживотности — общечеловеческим долгом. Подаром для нас люди Визни и всекие иные квислинги — изменники и предатели общечеловеческого дела. Национальная борьба против гитлеризма стала священной войной за общечеловеческую свободу, за возможность и право каждой нации жить по-своему, говорить и мыслить на своем языке, создавать свои культурные ценности, как неотъемлемую часть ценностей общечеловеческих. Создается несмелый гибель фашизму лагерь объединенных наций борющихся против врага, замеслившего истребление или, что равносильно, поражение всего мира. Поэтому воюствующий патриотизм сейчас не может не быть интернационален. Социалистическому человеку этот опыт времени особенно ясен. Воюствующий патриотизм отечественных войн современного мира раздвигает национальные рамки. Когда метят убийцам за взонх, за русских детей, неизбежно метят за всех детей, которых с куколками и мячиками в песочницах от холода ручонках ведут на расстрел (детей — на казни!..) выродки, которым нет места среди людей. Гнуснейшему отрицанию элементарной человечности не может не противостоять величайшее ее утверждение. И в войну против такого врага растет в нашем воине и гражданине своего отечества и борец за общечеловеческое счастье.

Без нимба светлого на лбу,
Густая пыль, топча порошу.
Они шесли свою судьбу,
Как кирпичей тяжелых ношу.

— Пусть их прикрасят! Не беда...

Романтическая гиперболка, известная условность, даже фантастичность не нарушают, а напротив, порой острее выражают реальную картину жизни, если художник проникает в сущность изображаемого и адекватно постигает скрытые в нем тенденции развития.

Но, ополчаясь против будничности и мелкого бытописательства, иные авторы готовы допустить любые формы приукрашивания жизни.

ли у нас уже сегодня литераторов, набивших руку на «высокопарных речевых», литераторов, склонных к восторгам и приукрашиванию, уверенных, что войну надо показывать позитивнейшей.

Этой-то литературе, из повсе-
местный взгляд вписане удивитель-
ной и даже кое-кем чтимой, а в
действительности выходящей за
потому безнравственной, в ее сере-
ны поистине наш обзор.

Несколько предварительных замечаний. Из множества образцов русской литературы мы выбрали только те, которые принадлежат к числу канонически сложившихся и признанию писателей. Мы не претендуем на всего их творчество — это была бы попытка разоблачиться в том, что писатели писали войну и войну писали для нас — в конце концов, это уже предприимчивые читатели. Наш выбор произведений в эссеистическом мере обусловлен почти исключительно тем их появлением на литературном рынке. Но в этом случае, как всегда, есть, как мы увидим, еще и другая закономерность.

[illegible]

На заснеженной улице Ленинграда, у подъезда большого дома ладает без чувств девочка. Голодная ворона набрасывается на оброненный ею хлеб. Мимо проходят двое краснофлотцев, один из них приводит девочку в чувство, другой оплошав ворону и подымает хлеб. Посочувствовав бедной девочке, краснофлотец берет бутылочку и хочет прихлопнуть ворону. Однако ей удается улизнуть от возмездия. Непосредственно после этого действие переносится в квартиру некоего композитора, где нашла себе пристанище девочка. Краснофлотцы принимают за растопку печки — это стоит им немалых нравственных мук. Оказывается печку можно растопить только книгами. Какую же книгу первой бросить в огонь? Чехова, Твена или Каверина? Радостно лишь со своими сомнениями и растопив печку, один из краснофлотцев находит ноты новой «Ленинградской симфонии». Пронхает такой диалог: «Поэтический краснофлотец: — Ах, ты чорт! Сразу как сильно берет! Времени нет, а то бы попробовать? (он нерешительно поднимает крышку рояля и трясает клавиши). Краснофлотец поглубже: — Нельзя. Скоро такая небесная музыка вылетит из банки!»

В эту самую минуту в комнате появляется мальпичский старичок в куском разбитой чугуниной оправе. Он входит со словами: «Странные вещи происходят в этой квартире». Заявляясь беседа о музыке, об архитектуре, и теперь уже краснофлотцы в свою очередь признают, что в квартире композитора Карпова происходят «странные вещи. Решившись, наконец, покинуть этот «тем чудес», они не забывают оставить бедной сиротке две крошки хлеба. Но девочка, только что пригласившая в себя после голодного обморока, не ест хлеба, а кладет его под крышку рояля, рассчитывая, что как только вернется хозяин квартиры, он сразу же обнаружит драгоценный подарок.

Так оно и случается. Приходит «полный человек с утомленным лицом», ставший за рояль, находит хлеб и признает ту же самую самоталовую фразу «странные вещи происходят в этой квартире»...

События в самом разгаре: снова

появляются краснофлотцы, вид у них заговорщический, они о чем-то шепчутся. Сильным рывком композитор распахивает окно. С улицы доносится мерный шаг отряда, идущего на позиции. Композитор садится за рояль. Ленинградская ночь оглашается звуками марша.

Заключается новелла Паустовского душнонасмешливой беседой; обрисовываются чудеса минувшей ночи и то, какие нарциссы следовало бы изобразить для великодушных детей.

После того как количество ночи рассеялось, нельзя ли призадуматься, почему Паустовский в своей новелле так пролеберт лирикой и не остановился перед самыми очевидными несуразностями. Что ему до того, что краснофлотцы, целиком посвятив себя делу милосердия, наглого покинули свой пост, что хрупкий и без сомнения голодный старичок таскает на себе пуды чугуна, что планшет тасками мушкетерует в погоню с арктической температурой?

Что это — реальный мир или сказка? Девочка из «Ленинградской ночи» вспоминает «Синюю птицу», старичок-архитектор верит в волшебство («Я всему могу поверить...»), какая-то магия рождает музыку на пустынной морозной улице, и слышавшая на рояле симфония заглушает грохот боя. Да существует ли на самом деле озабоченный Ленинград и квартира композитора Карпова где-то в районе Вирши?

Война не прервала творчество, не заглушила музыку. Да, это так. Но у Паустовского волшебство музыки заглушает «грохот грома» войны. В выдуманном мире его повелел война, в сущности, не признает. Она застревает где-то у войны. Музыка перестает у Паустовского быть формой служения обществу и становится целью, выхвачен в самом себе заключенным предназначением.

Великий город в напряжении всех сил отстаивает свое существование. Но не видите кропи в эпичной сказке Паустовского. В его картонном мире не льется кровь. На этой войне, без труда и потерь слушают музыку, читают стихи и коллекционируют удивчатый чугун с шпорцевых оград.

Реалистический тон военной журналистики отвергается Паустовским.

видимо, в силу своей «грубой материальности». Писатель ищет иной меры вещей и предлагает нечто удручающе парнасское, вознесение искусства над подвигами и трагедиями реальной жизни. Бумажные человечки из «Ленинградской ночи» слишком заняты игрой, чтобы совершать поступки. Кто поверит в их смелые фантазии, в их призрачное существование? Чтобы придать всему происходящему хоть видимость реальности, на помощь появились идеалистам и добропорядочной девочке призваны представители материального мира — краснофлотцы из ночного патруля. Но несмотря на самое свое предназначение, они такие же вымышленные, со своим портовым жаргоном, с пристрастием к музыке и демонстративным человеколюбием. Чтобы судить о степени заинтересованности автора в происходящем, попробуем еще присмотреться к героям его новеллы.

Кто они? — Девочка двенадцатилет с длинными косами. Краснофлотцы в заиндевевших шинелях: коренастый с белыми от снега ресницами и просто худой краснофлотец. Старичок, весь «покрытый инеем». Пожилый человек с утомленным лицом.

Что же в них примечательного, кроме инеев на ресницах, шинелях и очках?

Как мало должна беспокоить писателя судьба его анонимов, если он даже не задумывается об их предметном существовании. Девочка с косичками — это ведь не ампула. Пожилый человек с утомленным лицом — это не портрет.

Паустовский вообще не очень почитает предметное и земное. Не потому ли почти все герои его военных новелл мало связаны с грубыми, прозаическими спорами жизни? Это либо одухотворенный музыкант (если он участвует в оборонительных работах, то это в лучшем случае укладка мешков у Медного всадника), либо архитектор, посвятивший свою жизнь изучению чужбинных отряд, либо букинист, скрипач, учитель юстествознания, чемпион плавания. И что удивительно, управляясь с этим избранным обществом оказывается гораздо легче, чем с обыкновенными, простыми смертными. Кто смелет упрекать семидесяти-

летнего архитектора в тудачестве? Кому покажется странным, что скрипач прозвал звезду «своей подругой»?

Это как будто война и в то же время не война. И не в том, что никто из этих «избранных» не воюет в прямом смысле слова, а в том, что и во время войны эти люди продолжают свое особое существование, каковы бы внешние формы их участия в ней. Мало их быт; в том, что по отношению к участникам событий, они «отстраняют» между собой и этими событиями дистанцию, всегда оставляя при этом, порой заинтересованным, а чаще просто любопытствующим.

В нашей литературе Паустовский пользуется прочной репутацией романтика. Но в недостатках его романтических рассказов Паустовского романтика нет.

Однажды мне случилось присутствовать при беседе А. В. Паустовского с видным в то время критиком Н. Ярым сторонником «советского реализма». Поэт читал свои «избранные» лирические стихи, а Муначарский остроумно и долго доказывал, что что модное на Западе эстетическое течение не имеет ничего общего с революционным искусством. Когда обескураженный поэт спросил Муначарский задумчиво равное ему камин и сказал: — Понял, я сейчас Эзепесским именем ищишь приют? Просто дрянные стихи!

Не так ли с нашей Паустовского? Романтизм ищешь, не находишь. Просто плохой романтик. — Да что такое явление и творчество Паустовского, автора ряда талантливых произведений. Вместе с тем этот человек не случайная оплошность советского писателя. Это способ Паустовского приблизить жизнь в его военных рассказах. В остальных новеллах «белочка» — все тот же узкий круг, то же податливые картоны, то же бедность переживания, совершенно такое же злоупотребление театральным эффектом.

Вот маленький рассказик из шести страничек «Струна». Скрипач, случайно оказавшийся на чужбинном острове Эзеле, играет на одной струне. Когда последняя струна «не выдерживает силы звука» и рвется, скрипач становится «обыкновенным бойцом обыкновенной пехотной части». Но жизнь без музыки, по Пау-

«Лейтенант Шумский» — все та же скорей занимательная, чем человеческая литература, где война не более чем живописное зрелище. Грандиозные подмоетки, на которых разыгрываются — именно разыгрываются — героические и печальные сцены из современной жизни... Война, конечно, дает поводы для такого рода художественного замысла. В ее бытие есть пестрота, в ее судьбах неожиданности и противоречия. Но свести свою задачу к изображению этих превращений, значит сознательно опрощить круг своего опыта и жестоко унизить великий смысл народной борьбы.

Для этого искусства, рожденного любопытством, самое дорогое — затейливая выдумка. И если Никулин утверждает, что последний виденный уличного боя перед Шумкиным встало зарево над театром, напоминающее гигантскую огненную лиру, то мы позволим себе в этом усомниться и не только потому, что с близкого расстояния зарево не может казаться похожим на лиру, но и потому, что лейтенанту — молодому актеру не так уж дорог ветхий образ лиры, чтобы он померещился ему в предсмертный час.

Удивительно, что Никулин, писатель наблюдательный, с живым чувством современности, не смог устоять перед подорожными соблазнами джентльменской литературы.

Другой рассказ в том же сборнике Нинкултина называется «Бирнамский лес». В лесу под Вороножем писатель, проходя дождливым утром к коммашному пункту, слышит шекспировские строфы:

[illegible]

Страдос-рагист Званкин читает с чувством «Макбета» и изумительно говорит, что «Макбет проле этого Питлера». Наступает ночь, полная порохов и движений. В таинственном мраке присоатель отправляется к «выполоте 217».

..Ракеты, развешенные точно фляги над прибрежным берегом, втруг вырвати из моря обрыв над речной. Творные баши у стены монастыря.

похожие на стены рыцарского замка. Все это вместо называется на карте «высота 217»...

У этой высоты, господствующей над всем районом, идет бой, и из векового бора к ней движется высокий декоративный кустарник.

«Кутарник олиц. Он странно менял свое место, он двигался к переломному круто, к реке, к высоте 217. Вперед повелит зелье, пышные потоки шны, лес шел на высоту, с каждой минутой он был ближе к ней... Лес двигался вперед с оглушительным, сотрясающим грохотом, вот он уже совсем близко...»

Лейтенант Шумейкий, очутившись на сцене своего театра, спрашивал себя, по бредит ли он. Никулин тоже не верит глазам своим. Это непостижимо, говорит он — Что за наваждение!

И однако же никаких чудес не происходит — танцы, замаскированные зелеными ветками, двинулись на немецкие позиции. Тод, что однажды видел танцы, танцы ватаку, танцуют, но скажут, что это предвещает похороны на движущийся лес. Някулин этого не может не знать. Но как же быть с «Макбетом»? Бирн мог бы лесом? Теперь легко заметить, что танцуют Звонилин чинил Шелстипа не потому, что он чувствует в этом потребность. «Макбет» — это только романтизм в романтическом хозяйстве лесоводов.

Не слишком ли все подусмотрено, согласовано; функционирование развивается как по графику. Не похожа ли война Инжулинна на театральную стилизацию?

В этом декоративном мире нет простора для человека. С читателем Шекстива мы знакомимся на ходу, и о третьем томе нам сообщают подорожники... Это хорошее издание... в нем нехватает первых 30 страниц, на титульном листе надпись «Калуга, городская библиотека». Затем автору ташкинт Званкин, когда вокруг него таинственная типина Бирючьевого леса. Такого рода случаи мне впечатления о войне у нас до сих пор неизвестно почему называю романтической литературой.

Порывкий котла-то говорил, что романтизм — это искусство прежде всего возвеличивает человека и его земное дело. В произведениях наших

романтической литературы менее всего повезло человеку. Пользуясь классическим определением, можно сказать, что мы больно писали об осушке болот, чем о людях, их осушающих. Не самый подвиг, а обстоятельства, ему сопутствующие, не герой, а его поступки — таков преобладающий интерес этой «романтической» литературы, для которой деятель и его деяние все еще разобщенные понятия. Деятели притягивают, а деяние живится в воздухе, порою самых экцентрических. Писать о такого рода произведениях относится к первоначальному жанру сценария «Малахов курган». Войтехова, Зархи и Хейфец, посвященного обороне Севастополя экцентрик этот не впечатан, но что позволяем себе говорить о нем, так как он убеждался на просмотром сценарии кинодраматургов).

«Малахов курган» написан как бы с целью передать живописную картину боя в войне. Южные краски, четкий русский пейзаж, горы, море и город с белыми уллицами, обсаженными липами. Все это в ореоле экстремальности и необычайности: баррикады из несгораемых шкафов, труба в разбитом зеркале, осколок бомбы в кипящем самоваре; моряки толпятся на фронте и сразу дворянскими чистят их сапоги; батарея стреляет по своим, чтобы удержать позиции, куда уже просочились немцы, и все остальное в таком же роде. Разноцветная, мозаичная суета войны, осколки мирного бытия, видения повседневной жизни — в севастопольской осаде.

В сценарии есть такой эпизод: официантка ресторана «Прибой» толкает посетителей сдвигать штатные бутылки, комуто что «фронт требует посуды», и эти бутылки прямо с разбитых столиков, теперь уже наполовину горячей жидкостью, подлетают в разбитые танки. Можно ли в таких условиях веселой депринужностью передать подвиг севастопольцев?

Пять прославленных севастопольских бомбедейщиков ведут бой с немцами в танках. Чопоморские ребята в сценарии дерутся и умирают с таким выжидющим легкомыслием, что сами их подвиг воспринимается как шабашное молодечество.

«Федорченко (бросил бутылку под танк). Маруся, нуру шампанского!»

Лукьянов. Маруся, бутылку Климо!

Головки (выбрасывая пустой диск). Иластинка кончилась, умолк патефон!»

У Андрея Платонова в лучшем его военном рассказе «Одупеленные люди» гибель каждого из пяти севастопольских моряков — огромное горе. Мы прощаемся с героями для нас людьми. Читатель «Малахова кургана» не испытывает тяжести утраты. Это расставашио без мук, без сознания невосполнимой потери. Начальник коммунистич Лихачев говорит в сценарии: «Убивать, немцев — трудная работа». Но в «Малаховом кургане» нет трудной работы войны. Все развивается легко, непринужденно, с улыбкой.

Кажется вот-вот недавно, отшумели громы «Малахова кургана» и мы в Новороссийском порту встречали последние катеры с утлымими из Севастополя моряками. Это было совсем недавно, только вчера, а сценарий Войтехова, Зархи и Хейфец читался как рассказ о чем-то давно минувшем. Этот рассказ вызывает любопытство, а не гордость и гордость современника.

Авторов «Малахова кургана» можно упрекать в пристрастии к экцентрике, в условной манере изображения жизни, но им нельзя отказать в остроте отдельных наблюдений.

Теперь представьте «Малахов курган» без непринужденной легкости действия, без тонко подмеченных подробностей. Получится что-то очень примитивное.

Севастопольская новелла «Держимся, товарищ Нахимов» Паустовского тоже, очевидно, задумана как сценарий для кинематографа.

Умирает прекрасной смертью светлорылый юнша, моряк Гаврилов, последний защитник северной стороны Севастополя. До этого на протяжении пятнадцати страниц новеллы он произносит восемь — десять фраз, каждая из которых должна передать оттенок его душевного состояния.

Неуверенность: «Ночью катер проскочит с Корабельной, может выручить».

Интенсивность чувств и любовь к природе: «Наша весна как зацветет над морем, так на сотнях миль дышит акацией».

Любовный порыв: «Я вас так давно знаю, на все состязания ходил, чтобы на вас посмотреть. Полюбил я вас издадалека, как невесту. Да, вот как пришлось нам встретиться и расстаться». (Гаврилов, оказывается, тайно любил чемпионку по плаванию и вот благотельный случай привел ее на позицию в его смертный час).

И, наконец, самоотверженность: «Все равно мне смерть, Вася. Весь я пол кровью зашил. Плыть! Плыть немедленно!» (Раненый Гаврилов отказывается покинуть порт и принимает на себя последний удар немцев.)

Светловодный юноша складывается как портативная детская игрушка — любовь к жизни, преданность долгу, нежность, чувство природы. Совершенно гармонический портрет! Процесс писания в этом случае сводится к собиранию размеченных деталей.

Бедность наблюдений у Паустовского здесь так поразительна, что он вынужден в патетические минуты привлекать цитаты из фельетонов Эренбурга или приглашать самого Нахимова для беседы (кокетливо в шутку) с юным Гавриловым. Адмирал приветствует русских моряков и их вестей, умиленно полует в лоб чемпиону по плаванию и говорит: «Героиня! Наша душа! Наше счастье!» Умиляется Нахимов, умиляется его собеседник Гаврилов, умиляется автор новеллы. Так выглядит романтика Паустовского в последнем издании.

Помещенная в том же сборнике одесская новелла Паустовского уже не сказка, не протек, а обыкновенный волевище с участием старого дядюшки-буканиста, влюбленной парочки, смелного разбойника, зубного врача и бравого боймана на пелюхи; водовиль с недоразумениями, с путаницей, с подложным письмом и счастливым финалом.

Лейтенант сторожевого катера и молодая девушка избирают для любовной переписки в высшей степени странный способ. У буканиста в томике Пушкина они оставляют записки друг для друга. Однако же во

время артиллерийского обстрела дальнобойный снаряд убивает девушку, а лейтенанту на затра предстоит рискованная операция.

«Узнает лейтенант, — говорит симпатичный боцман дядя Федя, — душа у него сохнет, какой с него тогда будет командир. Ослабнуть может человек и пойдет он на рискованное дело с развороненным сердцем и очень свободно, что он проиграет это дело и через то погибнут сотни моряков. Не могу я этого допустить!»

И вот общими усилиями зубной врач, буканист и боцман сочиняют письмо олимпийской девушке. Лейтенант приходится в назначенный час и читает записку при свете ракеты. Вылазка моряков удается блестяще. К этому времени выясняется, что девушка жива и невредима. И довольно своим благородным поступком трое старичков отпугиваются в эвакуацию с таким чувством, будто они едут на дачу.

Что это — трогательно задушевно? Что в этом — ласковость, любовь к человеку? Такая розовая водичка и в мирное время вызывает неприятные чувства, а теперь она требует самого нелицеприятного осуждения. Нельзя же в этом деле думать, что убогого и жалкого аттракционного вроде «Томика Пушкина» придается по вкусу людям, уважающим величие и строгость войны.

Мы помним Октябрь 1941 года, сражающуюся, переломную, горячую, ожесточенную борьбу, руины Пушкинской больницы, деревья на бульваре, руины у оперного театра. Мы помним ее энтузиазм и ее отчаяние, и мы никак не можем понять, откуда у советского писателя могла возникнуть мысль написать об этом в шутку. Да, именно в шутку.

Помилуйте, скажут знатоки волевищной литературы. Что дурного в том, что мы не склонны видеть войну в трагическом свете? Каждому свое. Почему же напим утешом, не может быть трогательное и забавное, пусть водовиль, но водовиль добросердечный, способный принять душевность любому пустячку, всяким смешным подробностям жизни. Наши герои действительно не отличаются особой уточненностью, их подморожены вся на лапери, вы не обнаружите в них никаких ду-

плавных глубин, зато они люди простого сердца, кроткие и любвеобильные, и разве этого мало?

До чего же это характерно, что те самые литераторы, которые и тогда не ступят без интеллектуальности, без старичко-коллекционерской, орошаются в другую крайность и объявляют себя сторонниками простоты и общедоступности!

Разве еще задолго до войны Паустовский не написал пьесы «Простые сердца»? Название это отнюдь не случайно.

Разве не к тому времени относится и самое понятие «простые сердца», очень ходкое и теперь еще выражающее жизненную философию некоторых литераторов.

Но не к той простой случайностью, что, читая, что книга военных рассказов Б. Лавренева называется «Люди простого сердца».

Вот так непрерывно твердящий, что есть и простые души, что есть душа исконного, векового, довременного, вызывает у нас чувство неопределенности. Откуда эта уверенность в мирности и не оскорбительности и она для современного человека? Нет ли здесь снисходительности старшего к младшему, есть ли в унижающего восторга: «Ах, какие вы хорошие!» — и не является ли это все взитое вместе и выстроенное порождением барбаре, а не бедоверия писателя к «малой» и «ветхой» жизни обывателя нашего современника? «Простой человек оценивается в этой «простодушной литературе» не с точки зрения идей — полноты душевной жизни, ценности характера, но с точки зрения нашей новой этики. Простота — здесь до крайности. Простота — молодец без изыска, простота — милага, готовый услужить и обслужить ближнего, существо бесхитростное, добродушное, ни на что не претендующее, способное довольствоваться малым, — в общем какой-то хилый вариант каратаевщины и без ее нравственной идеи.

Такова она, литература «простых сердец», на одном краю которой ленинградский старичок — коллекционер узорчатого чулуна, а на другом — балаклавский грек Жора Фемелиди из рассказа Б. Лавренева «Чайная роза». Несмотря на всяче-

ское различие умственных и бытовых интересов, ленинградский драматург и балаклавский моряк представляют одну и ту же литературную разнородность. Романтизм замаскированный и выжидательный, один своим благородным чудачеством, другой своим простодушием и независимостью, они олицетворяют своей фальшивой глубиной и нестройной мешаниной чувств совершенно определенную иснующую тенденцию некоторых литераторов — приукрасить мир войны.

Из двенадцати рассказов, помещенных в книге Б. Лавренева «Люди простого сердца», мы сознательно останавливаемся только на «Чайной розе». У этого рассказа есть своеобразная предостерегающая, очень для нас поучительная. Об обстоятельствах жизни Жоры Фемелиди и старшего сержанта Бондарчук писатель уже однажды нам рассказал в своем очерке о знаменитом снайпере Людмиле Павличенко. Но то, что в биографии Павличенко составляло лишь мало-значительную подробность, в рассказе стало предметом повествования.

...Однажды в команду снайперов к Людмиле Павличенко пришли два дружка — Киселев и Михайлов, из морской пехоты. Двое анархически и дерзких «лихачей-кудрявичей». Увидев, к кому они попали в подчинение, лихачи переглянулись, сплоснулись, как по команде, на землю, расстегнули воротники бушлатов и с независимым видом уперлись руками в бока, как бы показывая, что Людмиле они начальством не признают...

Людмила заговорила с ними. Они отвечали, скали зубы, ослили слова. Она на них прикрикнула, как строгий командир. Лихачи опешили, но своей развязной тоной не изменили. Тогда, положив руку на кобурку нагана, она замолчала в таком спокойно непреклонном тоне, от которого свисают самые отчаянные сорви-головы. Дружки вытянулись в струнку и смарывали как овечки пошли по указанию Людмилы к передовому снайперскому посту. Задача, которая им выпала, была чрезвычайно трудной, но они держались стойко, зная, что за ними наблюдает из своего гнезда Люд-

мила. Это была уже гордость солдата. Осрамиться перед сержантом она не хотела и не могла. Потом Людмила подползла к ним.. Возвращались они вместе, и оба лихача, как по уговору, держались так, чтобы своими телами прикрывать старшего сержанта от немецких выстрелов.

С этого дня Киселев и Михайлов стали преданными друзьями Людмилы Павличенко. Однажды во время отхода она оказалась окруженной и огрешанной немцами. Киселев и Михайлов, пренебрегая смертельной опасностью, прорвались сквозь вражеское кольцо, отстрелялись и пробившись к нашим частям..

Такова первооснова рассказа «Чайная роза», изложенная в очерке В. Лавренева «Неукротимое сердце», опубликованном в сборнике «Сталинское племя» (изд. «Молодая гвардия», 1943).

Теперь попытаемся проследить за поэтической реконструкцией этих фактов. Как поступает с ними писатель, что он оставляет неизменным и к чему обращает свою фантазию.

Внешне схема рассказа остается та же. Лихач, сердцецед, самолюбивый и выпыльчивый моряк, грек из Балаклавы, Жора Фемелиди, но предсталиению лейтенанта, желającego отдохнуть от «шумливого потомка Гомера», попадает в снайперскую команду. Тут происходит совершенно незначительное недоразумение. Жора не замечает треугольников на защитных петлицах сержанта Бондарчук и ее появление комментирует по всем правилам морской галантности. Девушка с «точеным носиком и «по-детски припухшими губками» его обрывает: «Кто вы такой?» Тогда, по свидетельству Лавренева, обиженный Жора «напружил злостью, как морской огурец, головй плонуть зрелой мякотью», и брякнул: — Ну вот что, милая барышня, раз вам деликатный разговор непонятен, то и проваливайте мелким шариком.. Тоже чайная роза».

Конфуз необычайный, Жора узнает, что перед ним его командир. От неожиданного оборота событий он столбенеет..

На следующее утро Жора отправляется на снайперскую позицию. Здесь его обнаруживают, ралют в левое плечо и загоняют в смертель-

ную ловушку. Но в роковую минуту сержант оказывается рядом с Жорой. Несколькими выстрелами Бондарчук уложила немецкую засаду и вместе с Жорой стала караульаться савозь колючую лесную чащу к своим позициям. Они спускались по отвесному скалу через заросли дерна.. Здесь.. «на сломанном стебле перед его глазами медленно раскачивалась, гора на солнце, как волнообразная чаша, из прозрачного розовато-оранжевого фарфора, огромная чашка роза».. Вось в пыли, оборочившись, окровавленный, балаклава, грек Жора дал руку сержанту Бондарчук на вечную морскую дружбу и всунул в кармашек ее гимнастерки чайную розу. При этом глаза Жора «сверкали преданностью», и «сших зрачках сержанта «пробежал мысленный свет».

Из очерка «Неукротимое сердце» мы узнали, как война превратила анархически беспорядочных лихачей в образцовых солдат, како у них оказалось рыцарское сердце и какова сила фронтовой дружбы, заставившая этих людей рисковать своей жизнью, чтобы спасти своего командира. В очерке есть важная картина войны — драматизм положения, близость огня, чувство солдатского братства; но этот очерк, самая обыкновенная непротивительная военная публицистика. Но вот от очерка мы переходим к рассказу и как будто узнаем очно, существеиные подробности: там, рядом с Людмилкой было двое немцев в бушлатах, здесь Жора Фемелиди — корюптная жанровая фигура, там просто дружба, а здесь свет в глазах и всякие лирические намеки. Чем же объяснить, что, читая очерк, мы были совершенно убеждены в достоверности происходящего, а здесь это чувство исчезло с первой строки?

Все события в «Чайной розе» теряют свою определенность, будто их кутаюг ватой с блестками. Снайперский шоединок, джентльменское поведение Жоры, даже его ранение, все это беллетристические краски, а не война в ее подлинности. Самая композиция рассказа конструируется вокруг «Чайной розы», которая очевидно и служит поэтическим символом, ради которого написана новелла. Но символ этот простая невужность.

какая-то «Бата из «флирта цветов»,
это — абсолютно замшелое.

В разное время надо было
что-то сдаться, сдаться. Кто солдат-
ское дело берет свои орудия, он
обязательно натурой только, чув-
ствительный. Замысловатое отнеси-
те к этому, это откровенная багатель-
зация, снисхождение и любовью.
На скучно, трагически и в меру
подходящая. Вот у нас, отказы-
ваясь, литератураторы, которые в
своем, профессорски видят «президи-
умное» сердца «однако»,
а короче, «однако» и только.
И вот, же это происходит? В
судебных, революционных, военных.
Действительно людям много
отражений, она обрывает нас на раз-
дум, которая и почти непрерывные
размышления. Кто из нас не испытал
ее замечательной. Зачем же, думают
литератураторы, воз-
вращаются к ее несприятельной прав-
де? Будем о ее тиротах, най-
дем пути в стороннее и воображае-
мое, в мир прекрасного, вот какова
сущность этого искусства «простых
сердец».

Читаешь рассказы Лавренева о
простых людях и забавных пропе-
вениях, на войне, о том, как девять
стрелов, простили молодую женщи-
ну за старую бабку, как умер подле
портрета жены художник Лыкошин
и как влетел в госпиталь ка-
питан, который и со своей стропти-
вой женой, когда-то актрисой, а те-
перь доктором; читаешь и думаешь —
да ведь это уже знакомая нам бел-
летристика, умелая и равнодушная;
там же художественный принцип —
мы описываем, и по всякое описы-
ваем, а обязательно интеллигентное,
какое-то, что со сценическими эффек-
тами и с неожиданными встречами, с
неожиданными.

Против литературного
«беллетристики» во всех его видах,
против «беллетристики занимательной и
«беллетристики», мы тем самым
берем под свою защиту тех
художников, реалистов, которые
еще до нас объявляли себя сто-
ронниками художности и убежден-
ными приверженцами красоты и вымысла.

Нашему искусству эти педанты и

пропагандисты серогого так же
чужды, как и заведомо неинтересны
президиумному чужды. И по по-
тому мы отворачиваемся от них
Пустовозового, Латифовича и др.,
что их авторы нежелательны за нами
сез, ищут для «беллетристики»
острую форму, в общем, держим
словом и его силой преобразования, и
потому, что подчас эти показанные
равнодушные, страстные для нас
в наши дни, цеховое, узко профес-
сиональное понимание задачи ли-
тературы. Когда-то эти писатели
олимпийством, а теперь «беллетристика»
отчужденность от задач худож-
ственного искусства. Разве нам
дорого искусство романтическое и
возвышающее человека, силу его
чувств? Разве мы против ярких
красок и игры фантазии? Нет, мы
против литературного «беллетристи-
ка» и холодных приемов романа,
против «беллетристики» в том
именно смысле, какой при-
давали этому определению классики
русской литературы.

«...Бывает мгновение, когда нече-
рое солнце золотит предметы, на ко-
торые светит. Г-н Айвазовский берет
это мгновение и пишет золотую
картину... В ней корабль, стоящий
на ядре под берегом, освещен сол-
нцем так, что правый борт его весь
из розового золота. Бросьте два при-
пята из розового золота, как су-
ложил Гоголь в описании степи, но
покажете глаза зрителя и не да-
вайте золотой картины. Оттого-то
Дюма и не художник, что не может
удержаться в своей разнузданной
фантазии от преувеличенных эффек-
тов» (Достоевский).

Не довольно ли с нас разнуздан-
ной фантазии и преувеличенных эф-
фектов, не слишком ли много розо-
вого золота в этой либерально-ро-
мантической литературе?

Нет, нет, мы против упрощения
искусства, против пинущих краской и
более всего бесполезных об удоб-
ствах читателей — не портить
бы! — против беллетристики, которая
войну представить в самом недо-
ликотном виде, против грубой, «ожи-
вительной» литературы «простых сер-
дец», унижающих достоинство сопро-
менника.

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕОНИД ПЕРВОМАЙСКИЙ — Цикл стихов	1
К. СИМОНОВ — Дни и ночи, продолжение	6
ПАВЛО ТЫЧИНА — Реквием (перевод с украинского Л. Озерова)	64
Я. КИСЕЛЕВ — Три рассказа	69
АРКАДИЙ КУЛЕШОВ — Стихи	82
СТЕФАН ГЕЙМ — Заложники, роман, окончание	84
С. МАРШАК — Из английской поэзии	146
Н. КРАНДИЕВСКАЯ (ТОЛСТАЯ) — Стихи	147

★ ★ ★

Генерал-лейтенант А. А. ИГНАТЬЕВ — Пятьдесят лет в строю, часть четвертая, окончание	148
---	-----

С ФРОНТА

КОНСТ. ФЕДЬИН — Несколько населенных пунктов, записи	218
Генерал-лейтенант Е. ШИЛОВСКИЙ — О военном искусстве	247

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Академик Е. ТАРЛЕ — Книга о Суворове	235
Т. МОТЫЛЕВА — Русская литература и Запад	257
А. ЛАВРЕЦКИЙ — Социалистический человек в Отечественной войне	269
А. МАЦКИН — Об украшательстве и украшателях	278



Редколлегия: *Вс. Вишневский, Ал. Исбах, В. Лебедев-Кумач, В. Луговской, Е. Михайлова* (отв. секретарь), *А. Новиков-Прибой, М. Соколовский, Л. Тимофеев*

Адрес редакции «Знамя»: Москва, ул. 25 Октября, д. 10/2, Гослитиздат.
Телефон К0-52-93

Подписано к печати 24 III 1944 г. А7927. Печ. л. 18. Уч.-авт. л. 27.
В печ. л. 63 200 зн. Тираж 30 000 экз. Цена 10 руб. Зак. 1226

18-я типография треста «Полиграффиниш» ОГИЗ при СНК РСФСР.
Москва, Шубинский пер., 10